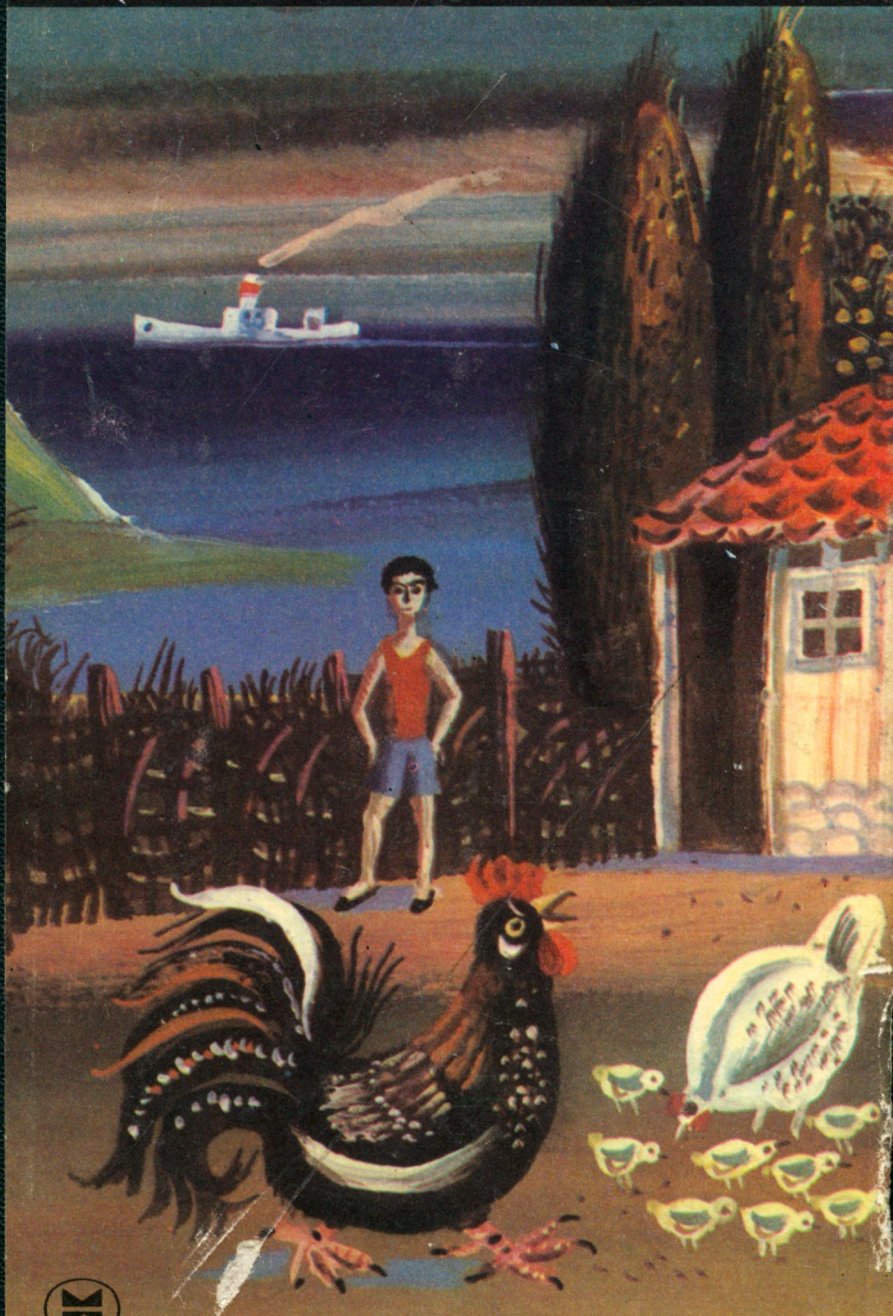


ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА

ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

ПРАЗДНИК
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА

РАССКАЗЫ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1986

84P7
И 86

Искандер Ф.

И 86 Праздник ожидания праздника : Рассказы. —
М. : Мол. гвардия, 1986. — 480 с., ил.

В пер. : 1 р. 90 к. 100 000 экз.

Главная тема сборника рассказов известного советского писателя — мир детства и отрочества. Автор исследует истоки нравственного формирования и воспитания личности молодого человека.

И 4702010200—104
078(02)—86 —112—86

ББК 84P7
P2

ПЕТУХ

В детстве меня не любили петухи. Я не помню, с чего это началось, но если заводился где-нибудь по соседству воинственный петух, не обходилось без кровопролития.

В то лето я жил у своих родственников в одной из горных деревень Абхазии. Вся семья — мать, две взрослые дочери, два взрослых сына — с утра уходила на работу: кто на прополку кукурузы, кто на ломку табака. Я оставался один. Обязанности мои были легкими и приятными. Я должен был накормить козлят (хорошая вязанка шумящих листьями ореховых веток), к полудню принести из родника свежей воды и вообще присматривать за домом. Присматривать особенно было нечего, но приходилось изредка покрикивать, чтобы ястребы чувствовали близость человека и не нападали на хозяйских цыплят. За это мне разрешалось как представителю хилого городского племени выпивать пару свежих яиц из-под кур, что я и делал добросовестно и охотно.

На тыльной стороне кухни висели плетеные корзины, в которые неслись куры. Как они догадывались нестись именно в эти корзины, оставалось для меня тайной. Я вставал на цыпочки и нащупывал яйцо. Чувствуя себя одновременно багдадским вором и удачливым ловцом жемчуга, я высасывал добычу, тут же надбив ее о стену. Где-то рядом обреченно кудахтали куры. Жизнь казалась осмысленной и прекрасной. Здоровый воздух, здоровое питание — и я наливался соком, как тыква на хорошо унавоженном огороде.

В доме я нашел две книги: Майн Рида «Всадник без головы» и Вильяма Шекспира «Трагедии и комедии».

Первая книга потрясла. Имена героев звучали как сладостная музыка: Морис-мустангер, Луиза Пойндекстер, капитан Кассий Кольхаун, Эль-Койот и, наконец, во всем блеске испанского великолепия Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

«— Просите прощения, капитан, — сказал Морис-мустангер и приставил пистолет к его виску.

— О, ужас! Он без головы!

— Это мираж! — воскликнул капитан».

Книгу я прочел с начала до конца, с конца до начала и дважды по диагонали.

Трагедии Шекспира показались мне смутными и бессмысленными. Зато комедии полностью оправдали занятия автора сочинительством. Я понял, что не шуты существуют при королевских дворах, а королевские дворы при шутах.

Домик, в котором мы жили, стоял на холме, круглосучно продувался ветрами, был сух и крепок, как настоящий горец.

Под карнизом небольшой террасы лепились комья ласточкиных гнезд. Ласточки стремительно и точно влетали в террасу, притормаживая, трепетали у гнезда, где, распахнув клювы, чуть не вываливаясь, тянулись к ним жадные, крикливые птенцы. Их прозорливость могла соперничать только с неумимостью родителей. Иногда, отдав корм птенцу, ласточка, слегка запрокинувшись, сидела несколько мгновений у края гнезда. Неподвижное, стрелчатое тело, и только голова осторожно поворачивается во все стороны. Мгновение — и она, срываясь, падает, потом, плавно и точно вывернувшись, выныривает из-под террасы.

Куры мирно паслись во дворе, чирикали воробьи и цыплята. Но демоны мятежа не дремали. Несмотря на мой предупредительные крики, почти ежедневно появлялся ястреб. То пикируя, то на бреющем полете он подхватывал цыпленка, утяжеленными мощными взмахами крыльев набирал высоту и медленно удалялся в сторону леса. Это было захватывающее зрелище, я иногда нарочно давал ему уйти и только тогда кричал для очистки совести. Поза цыпленка, уносимого ястребом, выражала ужас и глупую покорность. Если я вовремя поднимал шум, ястреб промахивался или ронял на лету свою добычу. В таких случаях мы находили цыпленка где-нибудь в кустах, контуженного страхом, с остекленевшими глазами.

— Не жалею, — говаривал один из моих братьев, весело отсекал ему голову и отправлял на кухню.

Вожаком куриного царства был огромный рыжий петух, пышный и коварный, как восточный деспот. Через несколько дней после моего появления стало ясно, что он ненавидит меня и только ищет повода для открытого столкновения. Может быть, он замечал, что я поедаю яйца, и это оскорбляло его мужское самолюбие? Или его бесила моя нерадивость во время нападения ястребов? Я думаю, и то и другое действовало на него, а главное, по его мнению, появился человек, который пытается разделить с ним власть над курами. Как и всякий деспот, этого он не мог потерпеть.

Я понял, что двоевластие долго продолжаться не может, и, готовясь к предстоящему бою, стал приглядываться к нему.

Петуху нельзя было отказать в личной храбрости. Во время ястребиных налетов, когда куры и цыплята, кудахтая и крича, разноцветными брызгами летели во все стороны, он один оставался во дворе и, гневно клокоча, пытался восстановить порядок в своем робком гареме. Он делал даже несколько решительных шагов в сторону летящей птицы, но, так как идущий не может догнать летящего, это производило впечатление пустой бравады.

Обычно он пасся во дворе или в огороде в окружении двух-трех фавориток, не выпуская, однако, из виду и остальных кур. Порою, вытянув шею, он посматривал в небо: нет ли опасности?

Вот скользнула по двору тень парящей птицы или раздалось карканье ворона, он воинственно вскидывает голову, озирается и дает знак быть бдительными. Куры испуганно прислушиваются, иногда бегут, ища укрытое место. Чаще всего это была ложная тревога, но, держа сожительниц в состоянии нервного напряжения, он подавлял их волю и добивался полного подчинения.

Разгребая жилистыми лапами землю, он иногда находил какое-нибудь лакомство и громкими криками призывал кур на пиршество.

Пока подбежавшая курица клевала его находку, он успевал несколько раз обойти ее, напыщенно волоча крыло и как бы захлебываясь от восторга. Затея эта обычно кончалась насильем. Курица растерянно отряхивалась, стараясь прийти в себя и осмыслить случившееся, а он победно и сыто озирался.

Если подбегала не та курица, которая приглянулась ему на этот раз, он загоразживал свою находку или отгонял ее, продолжая урчащими звуками призывать свою новую возлюбленную. Чаще всего это была опрятная белая курица, худенькая, как цыпленок. Она осторожно подходила к нему, вытягивала шею и, ловко выклевав находку, пускалась наутек, не проявляя при этом никаких признаков благодарности.

Перебирая тяжелыми лапами, он постыдно бежал за ней, но и чувствуя постыдность своего положения, он продолжать бежать, на ходу стараясь сохранять солидность. Догнать ее обычно ему не удавалось, и он в конце концов останавливался, тяжело дыша, косился в мою сторону и делал вид, что ничего не случилось, а пробежка имела самостоятельное значение.

Между прочим, нередко призывы пировать оказывались сплошным надувательством. Клевать было нечего, и куры об этом знали, но их подводило извечное женское любопытство.

С каждым днем он все больше и больше нагнел. Если я переходил двор, он бежал за мной некоторое время, чтобы испытать мою храбрость. Чувствуя, что спину охватывает морозец, я все-таки останавливался и ждал, что будет дальше. Он тоже останавливался и ждал. Но гроза должна была разразиться, и она разразилась.

Однажды, когда я обедал на кухне, он вошел и встал у дверей. Я бросил ему несколько кусков мамалыги, но напрасно. Он склевал подачку, но видно было, примириться не собирается.

Делать было нечего. Я замахнулся на него головешкой, но он только подпрыгнул, вытянув шею наподобие гусака, и уставился ненавидящими глазами. Тогда я швырнул в него головешкой. Она упала возле него. Он подпрыгнул еще выше и ринулся на меня, извергая петушиные проклятия. Горящий, рыжий ком ненависти летел в меня. Я успел заслониться табуреткой. Ударившись о нее, он рухнул возле меня, как поверженный дракон. Крылья его, пока он вставал, бились о земляной пол, выбивая струи пыли, и обдавали мои ноги холодком боевого ветра.

Я успел переменить позицию и отступал в сторону двери, прикрываясь табуреткой, как римлянин щитом.

Когда я переходил двор, он несколько раз бросался на меня. Каждый раз, взлетая, он пытался, как мне казалось, выключить мне глаз. Я удачно прикрывался та-

буреткой, и он, ударившись о нее, шлепался на землю. Оцарапанные руки мои кровоточили, а тяжелую табуретку все труднее было держать. Но в ней была моя единственная защита.

Еще одна атака — и петух мощным взмахом крыльев взлетел, но не ударился о мой щит, а неожиданно уселся на него.

Я бросил табуретку, несколькими прыжками достиг террасы и дальше — в комнату, захлопнув за собой дверь.

Грудь моя гудела, как телеграфный столб, по рукам лилась кровь. Я стоял и прислушивался, я был уверен, что проклятый петух стоит, притаившись за дверью. Так оно и было. Через некоторое время он отошел от дверей и стал прохаживаться по террасе, властно цокая железными когтями. Он звал меня в бой, но я предпочел отсиживаться в крепости. Наконец ему надоело ждать, и он, вскочив на перила, победно закукарекал.

Братья мои, узнав о моей баталии с петухом, стали устраивать ежедневные турниры. Решительного преимущества никто из нас не добивался, мы оба ходили в садинах и кровоподтеках.

На мясистом, как ломоть помидора, гребешке моего противника нетрудно было заметить несколько меток от палки: его пышный, фонтанирующий хвост порядочно ссохся, тем более нагло выглядела его самоуверенность.

У него появилась претивная привычка по утрам кукарекать, взгромоздившись на перила террасы прямо под окном, где я спал.

Теперь он чувствовал себя на террасе, как на оккупированной территории.

Бои проходили в самых различных местах: во дворе, в огороде, в саду. Если я влезал на дерево за инжиром или за яблоками, он стоял и терпеливо дожидался меня.

Чтобы сбить с него спесь, я пускался на разные хитрости. Так, я стал подкармливать кур. Когда я их звал, он приходил в ярость, но куры предательски покидали его. Уговоры не помогали. Здесь, как и везде, отвлеченная пропаганда легко посрамлялась явью выгоды. Пригоршни кукурузы, которую я швырял в окно, побеждали родовую привязанность и семейные традиции доблестных яйценосок. В конце концов являлся и сам паша. Он гневно укорял их, а они, делая вид, будто стыдятся своей слабости, продолжали клевать кукурузу.

Однажды, когда тетка с сыновьями работала на ого-

роде, мы с ним схватились. К этому времени я уже был опытным и хладнокровным бойцом. Я достал разлапую палку и, действуя ею как трезубцем, после нескольких неудачных попыток прижал петуха к земле. Его мощное тело неистово билось, и содрогания его, как электрический ток, передавались мне по палке.

Безумство храбрых вдохновляло меня. Не выпуская из рук палки и не ослабляя ее давления, я нагнулся и, поймав мгновение, прыгнул на него, как вратарь на мяч. Я успел изо всех сил сжать ему глотку. Он сделал мощный пружинистый рывок и ударом крыла по лицу оглушил меня на одно ухо. Страх удесятерил мою храбрость. Я еще сильнее сжал ему глотку. Жилистая и плотная, она дрожала у меня в ладони, и ощущение было такое, будто я держу змею. Другой рукой я обхватил его лапы, клешневые когти шевелились, стараясь дотянуться до моего тела и врезаться в него.

Но дело было сделано. Я выпрямился, и петух, издавая сдавленные вопли, повис у меня на руках.

Все это время братья вместе с теткой хохотали, глядя на нас из-за ограды. Что ж, тем лучше! Мощные волны радости пронизывали меня. Правда, через минуту я почувствовал некоторое смущение. Победенный ничуть не смирился, он весь клокотал мстительной яростью. Отпустить — набросится, а держать его бесконечно невозможно.

— Перебрось его в огород, — посоветовала тетка.

Я подошел к изгороди и швырнул его окаменевшими руками.

Проклятие! Он, конечно, не перелетел через забор, а уселся на него, распластав тяжелые крылья. Через мгновение он ринулся на меня. Это было слишком. Я бросился наутек, а из груди моей вырвался древний спасительный крик убегающих детей:

— Ма-ма!

Надо быть или очень глупым, или очень храбрым, чтобы поворачиваться спиной к врагу. Я это сделал не из храбрости, за что и поплатился.

Пока я бежал, он несколько раз догонял меня, наконец я споткнулся и упал. Он вскочил на меня, он катался на мне, надсадно хрипя от кровавого наслаждения. Вероятно, петух продолбил бы мне позвоночник, если бы подбежавший брат ударом мотыги не забросил его в кусты. Мы решили, что он убит, однако к вечеру петух вышел из кустов притихший и опечаленный.

Промывая мои раны, тетка сказала!

— Видно, вам вдвоем не ужиться. Завтра мы его зажарим.

На следующий день мы с братом стали его ловить. Бедняга чувствовал недоброе. Он бежал от нас с быстротой страуса. Он перелетал в огород, прятался в кустах, наконец забился в подвал, где мы его и выловили. Вид у него был затравленный, в глазах тоскливый укор. Казалось, он хотел мне сказать: «Да, мы с тобой враждовали. Это была честная мужская война, но предательства я от тебя не ожидал». Мне стало как-то не по себе, и я отвернулся. Через несколько минут брат отсек ему голову. Тело петуха запрыгало и забилось, а крылья, судорожно трепыхаясь, выгибались, как будто хотели прикрыть горло, откуда хлестала и хлестала кровь. Жить стало безопасно и... скучно.

Впрочем, обед удался на славу, а острая ореховая подлива растворила остроту моей неожиданной печали.

Теперь я понимаю, что это был замечательный боевой петух, но он не вовремя родился. Эпоха петушиных боев давно прошла, а воевать с людьми — пропащее дело.

ДЕТСКИЙ САД

Он был расположен на нашей улице совсем недалеко от нашего дома. Первое время, когда я скучал по дому, я подходил к решетчатым воротам и смотрел на темно-кирпичный двухэтажный дом с балкончиками на втором этаже. Было приятно убедиться, что он стоит на месте.

Обычно на балконе сидела тетя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями — учила их жить.

Сначала ходить туда было неохота. Хотел избавиться, но не знал как. Однажды мимо нашего дома, весело проыв сиреной, промчалась пожарка. «Детский сад горит!» — закричал я и бросился к окну. Все рассмеялись. Не понимал почему. Потом оказалось, что пожар совсем в другом месте.

Но с годами, как говорится, я к нему привык и в конце концов полюбил. Это было старенькое одноэтажное здание, облепленное со всех сторон флигельками, похожими на избушки из детских сказок. Наверное, в нем было тесно, но мы тогда этого не замечали.

Посреди двора был прорыт большой котлован. Мы зна-

ли, что здесь будет новое здание детского сада. Но строили в те годы слишком медленно, а мы росли слишком быстро, и было ясно, что не успеем пожить в новом здании. Но это нас не огорчало, пользовались тем, что было.

Бросали негашеную известь в канаву с водой. Булькало и шипело. Шел дым. Запах индустриализации щипал ноздри.

Однажды кто-то бросил в канаву котенка. Помню его мордочку, судорожно вытянутую над водой, и огромные замученные глаза. Такие глаза потом, взрослым, я встречал у актрис и у женщин, во что бы то ни стало решивших считать себя несчастными.

В этой же канаве мы запускали бумажные кораблики с бумажными парусами. Кораблики неподвижно стояли на воде. Внезапно, уловив движение воздуха, быстро пересекали канаву.

Мы не придавали игре большего значения, чем она стоила. Бумажные кораблики были бумажными корабликами, и ничего больше. Это потому, что рядом было настоящее море и по нему ходили настоящие корабли.

Лёсик был бледный, застенчивый мальчик. Обычно он молча стоял рядом с нами, не принимая участия в наших играх.

Однажды он вынул из кармана сережку и, краснея от стыда, протянул ее мне.

— Кораблик, — сказал он, стараясь понравиться.

Я понял, что он ничего не понимает. Я спрятал сережку и постарался отвлечь его великолепным каскадом остроумных выдумок. Лёсик порозовел от удовольствия. Я сделал королевский жест и подарил ему свой кораблик. Показал, как дуть в паруса, и предупредил ребят, чтобы его не трогали.

Я ему хотел еще подарить морскую пуговицу с якорем, но он уже вошел в азарт, и я решил что сейчас правильной будет не отрывать его от коллектива.

Почему-то я знал, что надо делать с сережкой. На углу рядом с детским садом стоял старик, с лицом небритым и морщинистым, как старая кора. Под стеклом лотка, как рыбы в аквариуме, горели малиновые леденцы. Старик продавал леденцы. Возможно, это был последний частник на нашей земле.

Мы с товарищем, выбрав удобный момент, пролезли в пролом ограды и побежали к этому лотошнику.

Хочется попутно рассказать о моем товарище, о нашей дружбе, вероятно, довольно странной. Во всяком случае, нетипичной.

Он жил со мной в одном дворе, и мы вместе ходили в детский сад. Я сейчас не называю его имени, потому что мне не хочется подрывать его авторитет.

Дело в том, что он теперь стал прокурором. Но я тогда этого не знал и сейчас со стыдом признаюсь, что я в те годы над ним тиранствовал.

Вообще-то, мне кажется, все нормальные дети так или иначе проходят, можно сказать, тираническую стадию развития. У одних она проявляется по отношению к животным, у других — к родителям. А у меня по отношению к товарищу. Я думаю, что настоящие, взрослые тираны — это те, кто в детстве не успел побыть хоть каким-нибудь тиранчиком.

Дело не ограничивалось тем, что, когда его родителей, а главное, бабки не было дома, я не вылезал из сахарницы. Но главное — халва.

Отец моего друга работал одно время на каком-то сказочном предприятии, где готовили халву. У нас говорят: кто варит мед, хоть палец, да облизнет. В доме бывала халва.

Она стояла на буфете. Она высилась над тарелкой как горная вершина, или, точнее, Вершина Блаженства, прикрытая, как облаком, белоснежной салфеткой. Ровная, гладкая стена с одной стороны, крутые спуски, опасные трещины и сладостные осыпи — с другой. Я вонзал в нее вилку, как альпеншток. Я с хрустом отваливал великолепные куски, попутно выколупливая ядрышки ореха, как геолог ценные породы.

Но пойдем дальше. Выкладываться, так уж до конца. Страшно признаться, но я его вынуждал воровать деньги у отца. Это бывало редко, но бывало. Конечно, деньги не ахти какие, но на леденцы хватало. Бедняга пытался остаться на стезе добродетели, но я с какой-то сатанинской настойчивостью загонял его в такой угол, откуда только один выход: или деньги на бочку, или клеймо маменькиного сыночка.

Возможно, именно в те годы я заронил в его душу прокурорскую мечту о вечной справедливости и правопорядке.

И все-таки я его очень любил.

После работы родители часто ходили с ним гулять.

Такой постыдно нарядный, тщательно промытый симпатяга между сияющими родителями.

О, с какой ревностью и даже ненавистью я следил за ними, чувствуя, что меня обкрадывают! Каналья все понимал, но делал вид, что его силком тащат, а он ни при чем. Но я-то видел, как ноги его пригарцовывали от радости.

Случалось, что мы ссорились. Я думаю, что эти дни для него были вроде каникул. А я мучился. Я пускал в ход всю свою изобретательность, подсылал знакомых ребят и не успокаивался до тех пор, пока нас не примирили.

Правда, внешне все выглядело так, как будто обе стороны пришли к взаимовыгодным соглашениям. Политика!

Однажды после особенно длительной ссоры нас примирили. Я, не сдержавшись, проявил такую буйную радость, что выглядел неприлично даже с точки зрения не особенно щепетильного детского кодекса.

Ради справедливости надо сказать, что я был сильнее и нередко защищал его от задиристых ребят с нашей улицы. Склонности разрешать уличные конфликты при помощи кулаков он и тогда не проявлял. Видно, как чертовски далеко он смотрел.

Можно сказать, напротив, он полагался не столько на руки, сколько на ноги. Бегал как олененок.

Это потому, что он был худеньким и нервным ребенком. Не знаю, отчего он был нервным (нельзя же сказать, что я его настолько задержал), но худеньким он был оттого, что его личкали едой. И как многие дети хорошо обеспеченных родителей, он рос в неодолимом отвращении к еде.

К тому же, в виде дополнительной нагрузки, он еще был единственным ребенком.

У меня все было проще. Я не был единственным ребенком и никогда не страдал отсутствием аппетита. Не помню, как насчет материнского молока, но всякую другую еду принимал с первобытной радостью.

Этим я не хочу сказать, что меня в отличие от товарища держали в черном теле или я вырос в сиротском приюте. Ничего подобного. Кусок хлеба с маслом в моей руке не был такой уж редкостью. Но все дело в том, какой слой масла на этом хлебе. Вот в чем штука.

Теперь я понимаю, что родители его отчасти терпели меня из-за моего аппетита.

Когда мой друг впадал в очередную гастрономическую хандру, меня призывали на помощь в качестве аппетитчика, или заразительного примера. Я охотно отзывался на такие призывы.

Обычно на стол подавала бабка, вынужденная примириться с моим присутствием под влиянием более могущественных сил. Легко представить, как она меня ненавидела, хотя бы по такому примеру.

Однажды после легкого набега, когда мы, как обычно, через форточку выходили из его квартиры, она появилась во дворе. По нашим расчетам, она должна была появиться гораздо позже.

От волнения, уже наполовину высунувшись, я застрял в форточке. Можно сказать, что дух мой уже был на свободе, а сам я висел на форточке в состоянии какого-то дурацкого равновесия. Вот так вот, покачиваясь, я смотрел на нее сверху вниз, а она на меня снизу. Я чувствовал, что ее особенно раздражает, как проявление дополнительного нахальства, то, что я продолжаю висеть. Но вот она вышла из оцепенения, открыла дверь, и, как я вслепую ни отбивался ногами, та часть тела, которая оказалась недостаточно сухопарой, порядочно пострадала. В конце концов я вывалился, оставив у нее в руках кусок штанов, как ящерица оставляет хвост.

Но ей этого было мало. Только я дома рассказал довольно правдоподобную историю о том, как злая соседская собака напала на меня на улице, а мама приготовилась идти устраивать скандал, как появилась бабка, держа в руке проклятый трофей.

Она, конечно, все выложила, и мама, побледнев от гнева, уставив грозный перст на несчастный клочок, спросила:

— Откуда это?

В глубинах ее голоса клокотал призыв закипающей лавы.

— Не знаю, — сказал я.

Мне тогда крепко досталось, так как ко всем своим проделкам я еще лишил ее удовольствия поговорить с соседкой начистоту. У них были свои счеты.

Так вот, эта самая бабка обычно подавала нам обед. Мне она накладывала не особенно густо, как бы для заправки основного мотора. Но я не давал себя провести и быстро съедал свою неполноценную порцию, пока мой друг ковырялся в какой-нибудь котлете, вяло шлепая губами, потрескивая накрахмаленным панцирем салфетки

и поглядывая на меня тоскливыми глазами вырождающегося инфанта.

Бабка начинала первничать и в сотый раз рассказывала жалкий анекдот про одного мальчика, который плохо ел, а потом заболел чахоткой. Внук вяло внимал, а дело двигалось медленно. У меня же, наоборот, чересчур успешно.

— Чай не на пожар? — спрашивала бабка ехидно.

— А я всегда так кушаю, — отвечал я неуязвимо.

Проглотив последний кусок, я глядел на нее с видом отличника, который первым решил задачу и еще хочет решить, была бы только потрудней. Чтобы оправдать истраченное, ей приходилось давать мне добавку. По лицу ее расплывались красные пятна, и она тихонько шипела внуку:

— Ешь, холера, ешь. Посмотри, как уплетает этот волчонок.

Внук смотрел мне в рот с какой-то бесплотной завистью и продолжал мямлить. Златые горы, которые обычно обещались на третье, не производили на него никакого впечатления.

Но стоило бабке выйти из комнаты на минуту, как он перебрасывал мне что-нибудь из своей тарелки. После этого он оживлялся и доедал все остальное довольно сносно. Сознание, что бабка обманута (не особенно поощрительное для будущего прокурора), вдохновляло его. А вдохновение, видно, необходимо и в еде.

Бабка чувствовала, что дело нечисто, но была рада, что он все-таки ест хоть так.

После такого обеда мне хотелось посидеть, поблагодарить, но бабка бесцеремонно выдворяла меня.

— Наелся, как бык, и не знает, как быть, — говорила она, — давай; давай.

Я не обижался, потому что никогда не был особенно высокого мнения о ее гостеприимстве. Удаляясь с видом маленького доктора, я говорил:

— Если что, позовите.

— Ладно, ладно, — бурчала бабка, выпуская меня за дверь, испытывая (я это чувствовал) неодолимую потребность дать мне подзатыльник.

Однако я сильно отвлекся — вернемся к леденцам.

Выскочив из детского сада, мы с товарищем осторожно подходим к лотку. Под стеклом простирается заколдованное царство сладостей. Беззвучно кричат петухи, беззвучно лопочут попугаи, и подавно безмолвствуют рыбы.

Большая лиса, льстиво изогнувшись, так и застыла рядом с явно пограничной собакой, бдительно наострившей уши.

В этом маленьком раю животные жили мирно. Никто никого не кусал, потому что все сами были сладкими.

Мы с товарищем иногда покупали леденцы, а чаще просто стояли возле лотка, глядя на все это богатство. Обычно старик, звали его дядя Месроп, не давал нам долго задерживаться.

— Проходи дальше, — говорил он и тарашил глаза. Может быть, ему было жалко, что мы бесплатно пожираем глазами его леденцы, а может быть, мы ему просто надоедали.

Зато когда он бывал под хмельком, мы устраивали ему концерт. Пели в основном две песни: «Цыпленок жареный» и «Гам в саду при долине». Песни разбирали Месропа. Бог знает, что он вспоминал! Толстые щеки его багровели, глаза делались красными.

— Пропал Месроп, пропал, — говорил он и сокрушенно бил себя ладонью по лбу.

Мне самому эти песни нравились. Особенно вторая. Потрясали слова: «И никто не узнает, где могилка моя». Я ее понимал почему-то не как песню бездомной сиротки, а как песню последнего мальчика на земле. Никого-никого почему-то не осталось на всем белом свете. И вот один-единственный мальчик сидит на крыше маленького домика, смотрит на заходящее солнце и поет: «И никто не узнает, где могилка моя». Ну кто же мог узнать, если все, все умерли, а он остался один. Ужасно тоскливо.

Дядя Месроп звучно сморкался и выдавал нам по пестушку. Это были мои первые и, как я теперь понимаю, самые радостные гонорары. К сожалению, он бывал готов к восприятию нашего пения реже, чем хотелось бы.

И вот мы с товарищем стоим перед лотком. Я вынимаю из кармана сережку и протягиваю Месропу. Я знаю, что он сейчас спросит, и потому приготовился отвечать.

Осторожно ухватив толстыми пальцами золотую сережку с водянисто-прозрачным камушком внутри, дядя Месроп подносит ее к лицу и долго рассматривает.

— Где воровал? — спрашивает он, продолжая глядеть на сережку.

— Нашел, — говорю я. — Играл возле канавы и нашел.

— Дома украд? Халам-балам будет, — говорит он, не слушая меня. — Месропу хватит свой халам-балам.

— Нашел, — старался я пробиться к нему, — халам-балам не будет.

— Как не будет! — горячится он. — Украд — халам-балам будет. Мама-папа халам-балам! Милиция — большой халам-балам будет!

— Не будет милиция, не будет халам-балам, — говорю я. — Я нашел, нашел, а не украд.

Лицо у Месропа озабоченное. Он достает большой грязный платок и протирает сережку. Камушек сверкает, как капелька росы. Продолжая бурчать, он заворачивает сережку в платок и запирает ее узелком. Платок осторожно всовывает во внутренний карман.

И вот открывается лоток. Волосатая рука Месропа достает двух петушков, потом, немного помешкав, добавляет двух попугаев.

— Халам-балам будет, — говорит Месроп, не то сожалея, не то оправдываясь, и передает мне увесистый пучок леденцов.

Я делюсь с товарищем, мы бегом огибаем угол и вот уже снова в саду. Прячась за стволом старой шелковицы, жадно обсасываем леденцы. Привкус чего-то горелого придает им особую приятность. Леденцы делаются все тоньше и тоньше. Сначала малиновые, потом красные, потом розовые и прозрачные, с отчетливой, в маленьких ворсинках палочкой внутри. Когда леденцы кончились, мы тщательно обсосали палочки. Они тоже были вкусными. К сладости примешивался смолистый аромат сосны.

На следующий день я снова встречаюсь с Лёсиком и осторожно навещаю, нет ли у него еще таких корабликов. Он радостно выворачивает карманы и подает мне всякую чепуху, явно не имеющую меновой стоимости.

Конечно, я понимал, что совершил проступок: взял у него взрослую вещь. Но угрызений совести почему-то не чувствовал. Я только боялся, как бы его родители не кинулись искать сережку.

И все-таки возмездие меня покарало.

Во дворе нашего сада стояло несколько старых, развесистых грушевых деревьев. Мы жадно следили за тем, как они цветут, медленно наливаются за лето и наконец поспевают в сентябре.

Иногда, прошеlestев в листве, груша задумчиво падала на землю, усыпанную мягким песком. И тут только не зевай.

И вот однажды на моих глазах огромная краснобокая груша тупо шлепается на землю. Она покатилаcь к бачку с водой, где пила воду чистенькая девочка с ангельским личиком. Груша подкатилась к ее ногам, но девочка ничего не заметила. Что это было за мгновение! Волнение сдавило мне горло. Я был от груши довольно далеко. Сейчас девочка оторвется от кружки и увидит ее. На цыпочках, почти не дыша, я подбежал и схватил ее, свалившись у самых ног девочки. Она надменно взмахнула косичками и отстранилась, но, поняв, в чем дело, нахмурилась.

— Сейчас же отдай, — сказала она, — я ее первая заметила.

Бессилие лжи было очевидным. Я молчал, чувствуя, как развратная улыбка торжества раздвигает мне губы. Это была великолепная груша. Я такой еще не видел. Огромная, она не укладывалась на моей ладони, и я одной рукой прижимал ее к груди, а другой очищал от песчинок ее поврежденный от собственной тяжести, сочащийся бок. Сейчас мои зубы вонзятся в плод, и я буду есть, причмокивая от удовольствия и глядя на девочку наглыми невинными глазами.

Теперь я понимаю, что я был к ней не вполне равнодушен. А так как приударить за ней мне не позволяло мое мужское самолюбие, я возненавидел ее и, как сейчас вспоминаю, распространял о ней самые фантастические небылицы. Теперь я убедился, что многие взрослые так и поступают в подобных случаях.

И вот я стою перед девочкой и медлю, предвкушая незуитское удовольствие есть на ее глазах грушу, смиренно доказывая при этом преимущества своих прав, одновременно не полностью отрицая и ее права. Теоретически, конечно. Но тут на беду подходит к нам воспитательница из группы девочки — тетя Вера.

— Что случилось, Леночка? — медовым голосом спросила она.

— Он взял мою грушу, тетя Вера, — ответила Леночка, ткнув пальцем в мою сторону. — Я пила воду и положила грушу на землю, — добавила она бесстыдно.

— Все врет она, — перебил я ее, чувствуя, что вообще-то я мог у нее отнять грушу и потому мне могут не поверить.

— Ну, хорошо, — сказала тетя Вера, — как поступают хорошие мальчики, когда они находят грушу?

Я затосковал. Я почувствовал непрочность всякого счастья. Я знал, что и плохие и хорошие мальчики съедают найденные груши, даже если они червивые. Но тетя Вера ждала какого-то другого ответа, который явно грозил потерей добычи. Поэтому я молчал.

Тогда тетя Вера обратилась к Леночке:

— Как поступают хорошие девочки, когда они находят грушу?

— Хорошие девочки отдают грушу тете Вере, — ласково сказала Леночка. Такая грубая лесть слегка смутила воспитательницу. Она решила поправить дело и сказала:

— А для чего они отдают грушу тете Вере?

— Чтобы тетя Вера ее скушала, — сказала Леночка, преданно глядя на воспитательницу.

— Нет, Леночка, — мягко поправила она свою любимицу и, уже обращаясь к обоим, добавила: — Груша пойдет на компот, чтобы всем досталось.

С этими словами тетя Вера отобрала у меня грушу и, не зная, куда ее положить, сунула в развилку ствола, как бы вернув плод ее настоящему хозяину.

Тетя Вера взяла Леночку за руку, и они удалились, мирно беседуя. Я чувствовал, что затылок Леночки показывает мне язык.

Убедившись, что грушу невозможно достать, я, как это ни странно, довольно быстро успокоился. Мысль, что моя груша пойдет на общий компот, доставляла взрослое удовольствие. Я почувствовал себя взрослым государственным человеком, одним из тех, кто кормит детей детского сада. Об этом нам часто напоминали. Я похаживал возле дерева, солидно заложив руки за спину, никого не подпуская слишком близко. Как бы между прочим, пояснял, что грушу нашел я и добровольно отдал на общий компот. Тогда я еще не знал, что лучший страж добродетели — вынужденная добродетель.

За обедом я не просил ни добавок, ни горбушек. Я просто понял, что горбушек не может хватить на всех. А если так, пусть они достаются другим. Во всяком случае, человек, отдавший свою грушу на общий компот, не станет лезть из кожи, чтобы заполучить какую-то там горбушку.

На третье подали компот. Я скромно ел его, аккуратно выкладывая косточки в тарелку, а не стараясь, как

обычно, выдуть их кому-нибудь в лицо. Сам я о груше не напоминал, но мне казалось естественным, что другие о ней вспомнят во время компота. Это было бы вполне уместно. Однако все весело уплетали компот, и никто не вспоминал о моей груше. Неблагодарность человечества слегка уязвила меня, и я почувствовал себя совсем взрослым.

Я вспомнил свою дорогую тетю, которая называла своих племянников неблагодарными, тогда как она всю свою цветущую молодость загубила на нас. И хотя я загубил на детский сад не молодость, а только грушу, я теперь ее хорошо понимал. Я глядел на лица своих товарищей, и мне было приятно видеть вокруг себя столько неблагодарных детей.

Наверное, я выглядел необычно, потому что добрая тетя Поля, кормившая нас, сказала:

— Что-то ты у меня сегодня квелый. Не заболел ли? — Она тронула шершавой ладонью мой лоб, но я с мрачной усмешкой отстранил ее руку.

Но самое страшное ждало впереди. Выйдя из детского сада, я заметил тетю Веру, она стояла на тротуаре и разговаривала с каким-то парнем. В руках ее покачивалась сетка, на дне которой лежала моя груша. Моя груша! Я не мог не узнать ее красный бок. Но я не хотел верить своим глазам. Я обошел тетю Веру и посмотрел на грушу с другого бока. Конечно, моя. С этой стороны она была разбита, как тогда, только рана потемнела. Полосатая, как тигр, оса пыталась присесть на нее. Ей не удавалось усесться, потому что тетя Вера все время покачивала сетку. Наконец сетка остановилась, и оса уселась на мою грушу. Я вздрогнул и посмотрел на тетю Веру. Наши взгляды встретились. Я почувствовал, что неудержимо краснею от стыда, боясь, что она догадается, что я все знаю.

Возможно, она просто так посмотрела, но я бросился бежать и бежал до самого дома.

Так окончилась моя вторая попытка стать взрослым. Во время первой я вымазал голову киселем и плотно зачесал волосы назад. Великолепная прическа держалась до вечера. Вечером голову мою нещадно намылили и, с хрустом раздирая волосы, вернули их в обычное состояние.

После груши я решил с этим делом не очень спешить, хотя все мои любимые герои, начиная от Иванушки-дурачка и до челюскинцев, были взрослыми людьми.

Возможно, я переусердствовал в этом решении, потому что теперь иногда попадаю впросак, как говорят, из-за детской доверчивости. Зато есть и свои преимущества. Так называемые душевные раны на мне быстро заживают, как на детях и собаках.

РАССКАЗ О МОРЕ

Я не помню, когда научился ходить, зато помню, когда научился плавать. Плавать я научился почти так же давно, как и ходить, но научился сам, а кто учил меня ходить — неизвестно. Воспитывали коллективно. Дом наш всегда был полон всякими двоюродными братьями и сестрами. Они спускались с гор, приезжали из окрестных деревень поступать в школы и техникумы и, поступая, проходили сквозь наш довольно тусклый дом, как сквозь тоннель. Среди них было немало забавных и интересных людей, некоторых я любил, но море мне все-таки нравилось больше, и поэтому я удирал к нему, когда только мог.

Летом море было ежедневным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора, а уж какое-то радостное волнение окрыляет шаги — быстрее, быстрее! Через весь город бежали на свидание с морем.

Конец улицы упирался в серую крепостную стену. За стеной — море. Крепость как бы пытается закрыть от города море, но это ей плохо удастся. Запах моря, всегда мощный и свежий, спокойно и даже насмешливо проходит сквозь каменную преграду.

Мне кажется, если к старинной стене подвести человека, никогда не видевшего моря, он догадается даже в полный штиль: за стеной живет что-то могучее и прекрасное, и не успокоится, пока не прикоснется к нему.

До революции крепость была тюрьмой, а еще раньше она была собственно крепостью. Из крепости легко сделать тюрьму, а из тюрьмы можно сделать крепость. Среди обломков сохранилась камера, где, говорят, сидел Серго Орджоникидзе, тогда еще фельдшер Гудаутского уезда.

Сквозь приплюснутое узкое оконце он смотрел вдаль, как танкист в смотровую щель. Оконце позволяло смотреть только в одну сторону, в сторону моря. Человек, который должен смотреть в одну сторону, или ничего не видит, или видит больше тех, кто вынудил его смотреть

в одну сторону. Если бы в долгие часы тюремного одиночества он видел только кусок моря, перечеркнутый железными прутьями, он смирился бы или сошел с ума. Но он видел больше и потому победил.

Обо всем этом мы тогда не думали. Мы проходили через крепостной двор, всегда вкусно пахнущий жареной рыбой, мимо ярко выбеленных рыбацких домиков. Белье, развешанное на веревках, плотно надувалось ветром, близость моря не давала ему покоя, пеленки подражали парусам.

И наконец, море! Огромное и неожиданное, оно врывалось в глаза и обдавало стойкой соленой свежестью. Обычно не хватало терпения дойти до него, и мы сбегали по крутой тропинке на берег и, не успев притормозить, летели в теплую, ласковую воду.

Когда пришла пора искать клады, один мой школьный товарищ шепнул мне, что видел в одном месте в море золотые монеты. Поклявшись никому не говорить об этой тайне, мы расстались до следующего дня. Ночью я плохо спал: ворочался, вскакивал, никак не мог дожждаться рассвета. Чуть забрезжило, я встал и на цыпочках выскользнул из дому. Мы встретились у старой крепости. Говорили почему-то шепотом, хотя кругом на полкилометра простирался пустынный пляж. Было по-утреннему зябко, вода тихо плескалась у ног. Мы взобрались на мокрый от утренней сырости обломок крепостной стены и осторожно переползли к его краю. Легли на живот и стали глядеть. Через некоторое время товарищ мой ткнул пальцем в воду. Свесив голову, замирая от волнения, я вглядывался, но ничего не видел, кроме смутного очертания дна. Но он очень хотел, чтобы я увидел монеты. И я наконец увидел их. Как бы колыхаясь, они таинственно поблескивали сквозь толщу воды. Разглядеть их можно было в короткое мгновение, когда одна волна уже пробежала, а другая еще не подошла.

Мы разделись и начали нырять. Вода еще была очень холодная: дело происходило в апреле или в начале мая. Я несколько раз нырнул, но до дна не достал. Не хватало дыхания, и уши сильно болели.

Я тогда еще не знал, что нырять нужно под углом, а не вертикально, как это я делал. Ныряя под углом, проходишь большее расстояние до дна, зато идти легко, а главное — уши привыкают к давлению и не болят.

Каждый раз я почти доныривал до дна, казалось, только протяни руку — и схватишь монеты, но меня

обманывала прозрачность воды. Наконец мне пришло в голову броситься в воду со скалы, чтобы глубже нырнуть за счет инерции прыжка. Я бухнулся в воду и без труда донырнул до дна. Схватив монеты вместе с горстью песка, я с силой оттолкнулся и вынырнул. Ухватившись рукой за каменный выступ, я осторожно приподнял другую руку. Песок стыдливими струйками стекал с ладони, а на ладони моей блестели две металлические пробки, которыми обычно закрывают бутылки с минеральной водой. Видно, какая-то компания трезво пировала, устроившись на этой каменной глыбе. Дорого же нам обошелся этот нарзанный пир! С трудом продев одеревеневшие руки и ноги в одежду, мы долго подпрыгивали и бегали по берегу, пока не согрелись. Море подшутило над нами.

Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за дымящими теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы, мы их ловили, натывая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег: можно заплывать и метрах в двадцати от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие.

Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать, и здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь места, где пережил большую опасность, если она не результат чьей-то подлости.

Я хорошо запомнил день, когда научился плавать, когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было лет семь, когда я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно.

Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научился я сам! Я обогатил себя, никого при этом не ограбив.

Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены, через него перекачивались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С на-

бегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высовываясь из-за камня, следил за мной злыми, хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно пронеслись, вспыхивая как искры, выбитые из головешки.

Иногда я ложился на спину и, когда волна перекатывалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий.

Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине каменной глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу — вернее, делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывая голову, смеялась и шурилась не то от солнца, не то оттого, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и, хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое.

От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится и я не смогу удержаться на воде.

До скалы и обратно — раз. До скалы и обратно — два, до скалы и обратно... И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку.

Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха. Но мысль работала ясно. Оттого, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной жадной ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду, она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятеренной отчетливостью слышались голоса людей. И тем обидней было тонуть у самого берега.

Второй раз я вынырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком.

Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись, и концы шнурков делались пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя.

В последний раз погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня.

«Это я, я! — хотелось крикнуть мне. — Я проплыл мимо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо; я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной.

Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения.

— Надо сделать искусственное дыхание, — раздался голос девушки надо мной.

— Сам очухается, — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле.

Что такое искусственное дыхание, я знал и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими, выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб, рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь.

— Трави, трави, — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку.

Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше: туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и «стравил»: было приятно, что у меня в животе столько воды. Ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тонул.

— Будешь теперь заплывать? — спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубашку.

Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным.

— Не буду, — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить.

— Напрасно, — сказал парень и еще туже закрутил рубашку.

Я решил, что это необычный взрослый и действовать надо необычно.

Я встал и, шатаясь, пошел к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней.

Так он и ушел навсегда со своей девушкой, ушел, мимоходом вернув мне жизнь.

ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД

По восточному обычаю в нашем доме никогда не ели свинину. Не ели взрослые и детям строго-настрого запрещали. Хотя другая заповедь Магомета — относительно алкогольных напитков — нарушалась, как я теперь понимаю, безудержно, по отношению к свинине не допускалось никакого либерализма.

Запрет порождал пламенную мечту и ледяную гордость. Я мечтал попробовать свинину. Запах жареной свинины доводил почти до обморока. Я долго простаивал у витрин магазинов и смотрел на потные колбасы со сморщенными шкурками и крапчатыми разрезами. Я представлял, как сдираю с них кожуру и вонзаю зубы в сочную пружинистую мякоть. Я до того ясно представлял себе вкус этой колбасы, что, когда попробовал ее позже, даже удивился, настолько точно я угадал его фантазией.

Конечно, бывали случаи попробовать свинину еще в детском саду или в гостях, но я никогда не нарушал принятого порядка.

Помню, в детском саду, когда нам подавали плов со свининой, я вылавливал куски мяса и отдавал их своим товарищам. Муки жажды побеждались сладостью самоотречения. Я как бы чувствовал идейное превосходство над своими товарищами. Приятно было нести в себе некоторую загадку, как будто ты знаешь что-то такое, недоступное окружающим. И тем сильнее я продолжал мечтать о греховном соблазне.

В нашем дворе жила медсестра. Звали ее тетя Соня. Почему-то все мы тогда считали, что она доктор. Вообще, взрослея, замечаешь, как вокруг тебя дяди и тети постепенно понижаются в должностях.

Тетя Соня была пожилой женщиной с коротко стриженными волосами, с лицом, застывшим в давней скорби. Говорила она всегда тихим голосом. Казалось, она давно поняла, что в жизни нет ничего такого, из-за чего стоило бы громко разговаривать.

Во время обычных в нашем дворе коммунальных баталий с соседями она свой голос почти не повышала, что создавало дополнительные трудности для противников, так как часто, не дослышав ее последних слов, они теряли путеводную нить скандала и сбивались с темпа.

Наши семьи были в хороших отношениях. Мама говорила, что тетя Соня спасла меня от смерти. Когда я за-

болел какой-то тяжелой болезнью, она с мамой дежурила возле меня целый месяц. Я почему-то не испытывал никакой благодарности за спасенную жизнь, но из почтительности, когда они об этом заговаривали, как бы радовался тому, что жив.

По вечерам она часто сидела у нас дома и рассказывала историю своей жизни, главным образом о первом своем муже, убитом в гражданскую войну. Рассказ этот я слышал много раз и все-таки замирал от ужаса, когда она доходила до того места, когда среди трупов убитых ищет и находит тело своего любимого. Здесь она обычно начинала плакать, и вместе с нею плакали моя мама и старшая сестра. Они принимались ее успокаивать, усаживали пить чай или подавали воды.

Меня всегда поражало, как быстро после этого женщины успокаивались и могли весело и даже освеженно болтать о всяких пустяках. Потом она уходила, потому что должен был вернуться с работы муж. Звали его дядя Шура.

Мне очень нравился дядя Шура. Нравилась черная кудлатая голова с чубом, свисающим на лоб, опрятно закатанные рукава на крепких руках, даже сутулость его. Это была не конторская, а ладная сутулость, которая бывает у старых рабочих, хотя он не был ни старым, ни рабочим.

Вечерами, приходя с работы, он вечно что-нибудь чинил: настольные лампы, электрические утюги, радиоприемники и даже часы. Все эти вещи приносились соседями и чинились, разумеется, бесплатно.

Тетя Соня сидела по другую сторону стола, курила и подтрунивала над ним в том смысле, что он берется не за свое дело, ничего не получится и тому подобное.

— А посмотрим, как это не получится, — говаривал дядя Шура сквозь зубы, потому что у него во рту была папироса. Он легко и уверенно поворачивал в руках очередную починку, на ходу сдувая с нее пыль, и вдруг заглядывал на нее с какого-то совсем неожиданного бока.

— А вот так вот и не получится, осрамишься, — отвечала тетя Соня и, пуская изо рта надменную струю дыма, угрюмо запахивалась в халат.

В конце концов ему удавалось завести часы или в приемнике возникали трески, обрывки музыки, а он подмигивал мне и говорил:

— Ну что? Получилось у нас или нет?

Я всегда радовался за него и улыбкой давал знать, что

я тут ни при чем, но ценю то, что он берет меня в свою компанию.

— Ладно, ладно, расхвастался, — говорила тетя Соня, — убирай со стола, будем чай пить.

Все же в голосе ее я улавливал тайную, глубоко скрытую гордость, и мне приятно было за дядю Шуру, и я думал, что он, наверно, не хуже того героя гражданской войны, которого никак не может забыть тетя Соня.

Однажды, когда я, как обычно, сидел у них, зачем-то пришла моя сестра, и они оставили ее пить чай. Тетя Соня накрыла на стол, нарезала ломтями нежно-розовое сало, поставила горчицу и разлила чай. Они и до этого часто ели сало, предлагали и мне, но я неизменно и твердо отказывался, что всегда почему-то веселило дядю Шуру. Предлагали и на этот раз, не особенно, правда, настаивая. Дядя Шура положил на хлеб несколько ломтей сала и подал сестре. Слегка поломавшись, она взяла у него этот позорный бутерброд и стала есть. Струя чая, который я начал пить, от возмущения затвердела у меня в глотке, и я с трудом ее проглотил.

— Вот видишь, — сказал дядя Шура. — Эх ты, монах!

Что я мог сказать? Она ела свой бутерброд с какой-то бессовестной деликатностью, поглядывая на меня бессмысленными глазами. Она делала вид, что ест официально, только из уважения к хозяевам. Своим бессмысленным взглядом она старалась мне внушить, что это не всерьез и вообще не считается.

«Нет, считается!» — со злобным торжеством думал я, глядя, как бутерброд в ее руке мучительно уменьшается.

Я чувствовал, с каким удовольствием она ест. Это было видно и по тому, как она ловко и опрятно слизывала с губ крошки хлеба, оскверненного гяурским лакомством, и по тому, как она глотала каждый кусок, глуповато замирая и медля, как бы прислушиваясь к действию, которое он производит во рту и в горле. Неровно нарезанные ломти сала были тоньше с того края, где она откусывала. Вернейший признак того, что она получала удовольствие, потому что все нормальные дети, когда едят, оставляют напоследок лучший кусок. Одним словом, все было ясно.

Теперь она подбиралась к краю бутерброда с самым толстым куском сала, планомерно усиливая блаженство. При этом она с чисто женским коварством рассказывала про то, как мой брат выскочил в окно, когда учительница пришла домой жаловаться на его поведение. Рассказ ее

имел двойную цель: во-первых, отвлечь внимание от того, что сама она сейчас делала, и, во-вторых, тончайшим образом польстить мне, так как всем было известно, что на меня жаловаться учительница не приходила и тем более у меня не было причин бегать от нее в окно.

Рассказывая, она поглядывала на меня, стараясь угадать, продолжаю ли я следить за ней или, увлеченный ее рассказом, забыл про то, что она сейчас делает. Но взгляд мой совершенно ясно говорил, что я продолжаю бдительно следить за ней. В ответ она вытаращивала глаза, словно удивляясь, что я могу столько времени обращать внимание на такие пустяки. Я усмехался, смутно намекая на предстоящую кару.

В какое-то мгновение мне показалось, что возмездие наступило: сестра поперхнулась. Она начала осторожно откашливаться. Я заинтересованно следил, что будет дальше. Дядя Шура похлопал ее по спине, она покраснела и перестала откашливаться, показывая, что средство помогло, а неловкость ее была не такой уж значительной. Но я чувствовал, что кусок, который застрял у нее в горле, все еще на месте... Делая вид, что порядок восстановлен, она снова откусила бутерброд.

«Жуй, жуй, — думал я, — посмотрим, как ты его проглотишь».

Но, верно, боги решили перенести возмездие на другое время. Сестра благополучно проглотила этот кусок, по-видимому, она даже затолкала им тот, предыдущий, потому что облегченно вздохнула и даже повеселела. Теперь она особенно вдумчиво жевала и после каждого куска так долго облизывала губы, что отчасти просто показывала мне язык.

Она дошла до края бутерброда с самым толстым куском сала. Прежде чем отправить его в рот, она откусила не прикрытый салом краешек хлеба. Таким образом, она усиливала впечатление от последнего куска.

И вот она его проглотила, облизнув губы, словно вспоминая удовольствие, которое она получила, и показывая, что никаких следов грехопадения не осталось.

Все это длилось не так долго, как я рассказываю, и внешне было почти незаметно. Во всяком случае, дядя Шура и тетя Соня, по-моему, ничего не заметили.

Покончив с бутербродом, сестра приступила к чаю, продолжая делать вид, что ничего особенного не случилось. Как только она взялась за чай, я допил свой, чтобы ничего общего между нами не было. До этого я отказался

от печенья, чтобы страдать до конца и вообще в ее присутствии не испытывать никаких радостей. К тому же я был слегка обижен на дядю Шуру, потому что мне он предлагал угощение не так настойчиво, как сестре. Я бы, конечно, не взял, но для нее это был бы хороший урок принципиальности.

Словом, настроение было испорчено, и я, как только выпил чай, ушел домой. Меня просили остаться, но я был непреклонен.

— Мне надо уроки делать, — сказал я с видом праведника, давая другим полную свободу заниматься непристойностями.

Особенно просила сестра. Она была уверена, что дома я первым делом наябедничаю, к тому же она боялась одна ночью переходить двор.

Придя домой, я быстро разделся и лег. Я был погружен в завистливое и сладостное созерцание отступничества сестры. Странные видения проносились у меня в голове. Вот я красный партизан, попавший в плен к белым, и они заставляют меня есть свинину. Пытают, а я не ем. Офицеры удивляются, качают головами, что за мальчик? А я сам себе удивляюсь — но не ем, и все. Убивать убивайте, а съесть не заставите.

Но вот скрипнула дверь, в комнату вошла сестра и сразу же спросила обо мне.

— Лег спать, — сказала мама, — что-то он скучный пришел. Ничего не случилось?

— Ничего, — ответила она и подошла к моей постели. Я боялся, что она сейчас начнет уговаривать меня и все такое прочее. О прощении не могло быть и речи, но мне не хотелось мельчить состояние, в котором я находился. Поэтому я сделал вид, что сплю. Она постояла немного, а потом тихонько погладила меня по голове. Но я повернулся на другой бок, показывая, что и во сне узнаю предательскую руку. Она еще немного постояла и отошла. Мне показалось, что она чувствует раскаянье и теперь не знает, как искупить свою вину.

Я слегка пожалел ее, но, видно, напрасно. Через минуту она что-то полупшепотом рассказывала маме, и они то и дело начинали смеяться, стараясь при этом не шуметь, якобы заботясь обо мне. Постепенно они успокоились и стали укладываться.

На следующий день мы всей семьей сидели за столом и ждали отца к обеду. Он опоздал и даже рассердился на маму за то, что дожидались его. В последнее время

у него что-то не ладилось на работе, и он часто бывал хмурым и рассеянным.

До этого я готовился за обедом рассказать о проступке сестры, но теперь понял, что говорить не время. Все же я поглядывал иногда на сестру и делал вид, что собираюсь рассказать. Я даже раскрывал рот, но потом говорил что-нибудь другое. Как только я раскрывал рот, она опускала глаза и наклоняла голову, готовясь принять удар. Я почувствовал, что держать ее на грани разоблачения даже приятней, чем разоблачить.

Она то бледнела, то вспыхивала. Порой надменно встряхивала головой, но тут же умоляющими глазами просила прощения за этот бунтарский жест. Она плохо ела и, почти не притронувшись, отодвинула от себя тарелку с супом. Мама стала уговаривать ее, чтобы она доела свой суп.

— Ну, конечно, — сказал я, — она вчера так наелась у дяди Шуры...

— А что ты ела? — спросил брат, как всегда ничего не понимая.

Мать тревожно посмотрела на меня и незаметно для отца покачала головой. Сестра молча придвинула тарелку и стала доедать свой суп. Я вошел во вкус. Я переложил ей из своей тарелки вареную луковицу. Вареный лук — это кошмар детства, мы все его ненавидели. Мать строго и вопросительно посмотрела на меня.

— Она любит лук, — сказал я. — Правда, ты любишь лук? — ласково спросил я у сестры.

Она ничего не ответила, только еще ниже наклонилась над своей тарелкой.

— Если ты любишь, возьми и мой, — сказал брат и, поймав ложкой лук из своего супа, стал перекладывать в ее тарелку. Но тут отец так посмотрел на него, что ложка остановилась в воздухе и трусливо повернула обратно.

Между первым и вторым я придумал себе новое развлечение. Я обложил кусок хлеба пяточками огурца из салата и стал есть, деликатно покусывая свой зеленый бутерброд, временами как бы замирая от удовольствия. Я считал, что очень остроумно восстановил картину ее позорного падения. Сестра поглядывала на меня с недоманием, словно не узнавая этой картины и не признавая, что она была такой уж позорной. Дальше этого ее протест не подымался.

Одним словом, обед прошел великолепно. Добродетель

шантажировала, а порок опускал голову. После обеда пили чай. Отец заметно повеселел, а вместе с ним повеселели и все мы. Особенно радовалась сестра. Щеки у нее разругались, глаза так и полыхали. Она стала рассказывать какую-то школьную историю, то и дело призывая меня в свидетели, как будто между нами ничего не произошло. Меня слегка коробило от такой фамильярности. Мне казалось, что человек с ее прошлым мог бы вести себя поскромней, не выскакивать вперед, а подождать, пока ту же историю расскажут более достойные люди. Я уже хотел было произвести небольшую экзекуцию, но тут отец развернул газету и достал пачку новеньких тетрадей.

Надо сказать, что в те довоенные годы тетради было так же трудно достать, как мануфактуру и некоторые продукты. А это были лучшие глянцевые тетради с четкими красными полями, с тяжелыми прохладными листиками, голубоватыми, как молоко.

Тетрадей было всего девять штук, и отец роздал их нам поровну, каждому по три. Я почувствовал, что настроение у меня начинает портиться. Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью.

Дело в том, что я хорошо учился, иногда бывал даже отличником. Среди родственников и знакомых меня выдавали даже за круглого отличника, может быть, для того, чтобы уравновесить впечатление от нездоровой славы брата.

В школе он считался одним из самых буйных лоботрясов. Способность оценивать свои поступки, как сказал его учитель, у него резко отставала от темперамента. Я представлял себе его темперамент в виде маленького хулиганистого чертика, который все время бежит вперед, а брат никак не может его догнать. Может быть, чтобы догнать его, он с четвертого класса мечтал стать шофером. Каждый клочок бумаги он заполнял где-то вычитанным заявлением:

«Директору транспортной конторы.

Прошу принять меня на работу во вверенную Вам организацию, так как я являюсь шофером третьего класса».

Впоследствии ему удалось осуществить эту пламенную мечту. Вверенная организация дала ему машину. Но оказалось, чтобы догнать свой темперамент, ему придется мчаться с недозволенной скоростью, и в конце концов ему пришлось менять свою профессию.

И вот меня, почти отличника, приравнивали к брату, ко-

торый, начиная с последней страницы, будет заполнять эти прекрасные тетради своими дурацкими заявлениями. Или с сестрой, которая вчера уплетала сало, а сегодня получает ничем не заслуженный подарок.

Я отодвинул от себя тетради и сидел, насупившись, чувствуя, как тяжелые, а главное, унижительные слезы обиды перехватывают горло. Отец утешал, уговаривал, обещал повезти рыбачить на горную реку. Но ничего не помогало. Чем сильнее меня утешали, тем сильнее я чувствовал, что несправедливо обойден.

— А у меня две промокашки! — неожиданно закричала сестра, раскрывая одну из своих тетрадей. Это было последней соломинкой. Может быть, не окажись у нее этой лишней промокашки, не случилось бы того, что случилось.

Я встал и дрожащим голосом сказал, обращаясь к отцу:

— Она вчера ела сало...

В комнате установилась неприличная тишина. Я со страхом ощутил, что сделал что-то не так. То ли неясно выразился, то ли слишком близко оказались великие предначертания Магомета и маленькое желание овладеть чужими тетрадями.

Отец глядел на меня тяжелым взглядом из-под припухших век. Глаза его медленно наливались яростью. Я понял, что взгляд этот ничего хорошего мне не обещает. Я еще сделал последнюю жалкую попытку исправить положение и направить его ярость в нужную сторону.

— Она вчера ела сало у дяди Шуры, — сказал я в отчаянии, чувствуя, что все проваливается.

В следующее мгновение отец схватил меня за уши, потряхнул мою голову и, словно убедившись, что она не отваливается, приподнял меня и бросил на пол. Я успел ощутить просверкнувшую боль и услышал хруст вытягивающихся ушей.

— Сукин сын! — крикнул отец. — Еще предателей мне в доме не хватало!

Схватив кожаную тужурку, он вышел из комнаты и так хлопнул дверью, что штукатурка посыпалась со стены. Помню, больше всего меня потрясли не боль и не слова, а то выражение брезгливой ненависти, с которой он схватил меня за уши. С таким выражением на лице обычно забивают змею.

Ошеломленный случившимся, я долго лежал на полу.

Мама пыталась меня поднять, а брат, придя в неистовое возбуждение, бегал вокруг меня и, показывая на мои уши, восторженно орал:

— Наш отличник!

Я очень любил отца, и он впервые меня наказал.

С тех пор прошло много лет. Я давно ем общедоступную свинину, хотя, кажется, не сделался от этого счастливей. Но урок не прошел даром. Я на всю жизнь понял, что никакой принцип не может оправдать подлости и предательства, да и всякое предательство — это волосатая гусеница маленькой зависти, какими бы принципами она ни прикрывалась.

ТРИНАДЦАТЫЙ ПОДВИГ ГЕРАКЛА

Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.

Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.

И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, — сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.

Звали его Харламбий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.

Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.

Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без

книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не утасоющей с годами.

К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.

Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было невысказимо. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.

Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.

Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбежали с урока, то это был, как правило, урок пения.

Бывало, только входит наш Харламий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.

Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харламий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.

Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харламий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.

Ученик мнетя, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь незаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харламия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать,

что само появление такого ученика — редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опоздании, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.

Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.

Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например:

— Принц Уэльский.

Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.

Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.

Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.

Большоголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.

Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно скидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.

Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.

Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:

— Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.

Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.

— Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.

Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.

— Авдеенко думает, что он лебедь, — поясняет Харлампий Диогенович. — Черный лебедь, — добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. — Сахаров, можете продолжать, — говорит Харлампий Диогенович.

Сахаров садится.

— И вы тоже, — обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. — ...Если, конечно, не сломаете шею... черный лебедь! — твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.

Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадь, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.

Главное оружие Харлампия Диогеновича — это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, — не лентяй, не лоботряс, не хулиган, а просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.

И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.

Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.

В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то

летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.

В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверно из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.

Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.

Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.

И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:

— Ну, как задача?

— Ничего, — говорит он, — решил.

При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.

— Как решил, ведь ответ неправильный?

— Правильный, — кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.

Оказывается, в это время в дверях появился Харламий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.

Харламий Диогенович прошел на место.

Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харламий Диогенович, наверно, заметил мое волнение и первым меня вызовет.

Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Зва-

ли его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Алик и даже на тетради писал Алик, потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.

Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый остался таким, каким был.

Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка — держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.

— Гитлер капут, — шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.

Между тем Харламий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрее.

Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.

— Кто дежурный? — неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.

Дежурного не оказалось, и Харламий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харламий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен, и он ждал, чтобы староста скорее кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел.

Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.

— Извините, это пятый «А»? — спросила доктор.

— Нет, — сказал Харламий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б»,

он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.

— Извините, — сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.

Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.

Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.

И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.

— Можно, я им покажу, где пятый «А»? — сказал я, обнаглев от страха.

Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.

— Покажите, — сказал Харламбий Диогенович и слегка приподнял брови.

Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.

Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.

— Я покажу вам, где пятый «А», — сказал я.

Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.

— А нам что, не будете делать? — спросил я.

— Вам на следующем уроке, — сказала докторша, все так же улыбаясь.

— А мы уходим в музей на следующий урок, — сказал я несколько неожиданно даже для себя.

Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организовано пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организовано.

Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феода-

ла, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.

На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.

— А мы вас не пустим, — сказала докторша шутливо.

— Что вы, — сказал я, начиная волноваться, — мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.

— Значит, организованно?

— Да, организованно, — повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.

— А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, — сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.

— Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», — заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.

Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.

— Какая разница, — сказала докторша и решительно повернулась.

— Мальчику не терпится испытать мужество, да?

— Я малярик, — сказал я, отстраняя личную заинтересованность, — мне уколы делали тыщу раз.

— Ну, малярик, веди нас, — сказала докторша, и мы пошли.

Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.

Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеевко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.

«Не бойся, Шурик, — думал я, — ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.

— Молодец, Алик, — сказал я тихо Комарову, — такую трудную задачу решил.

Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.

Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.

— Если это необходимо именно сейчас, — сказал Харламий Диогенович, мельком взглянув на меня, — я не могу возражать. Авдеенко, на место, — кивнул он Шурику.

Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.

Класс заволновался, но Харламий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.

Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.

— Ну, кто из вас самый смелый? — сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.

Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.

— Будем вызывать по списку, — сказал Харламий Диогенович, — потому что здесь сплошные герои.

Он раскрыл журнал.

— Авдеенко, — сказал Харламий Диогенович и поднял голову.

Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.

Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.

Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.

Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходи-

ла его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.

Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.

— Отвернись и не смотри, — говорил я ему.

— Я не могу отвернуться, — отвечал он затравленным шепотом.

— Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, — подготавливал я его.

— Я худой, — шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, — мне будет очень больно.

— Ничего, — отвечал я, — лишь бы в кость не попала иголка.

— У меня одни кости, — отчаянно шептал он, — обязательно попадут.

— А ты расслабься, — говорил я ему, похлопывая его по спине, — тогда не попадут.

Спина его от напряжения была твердая, как доска.

— Я и так слабый, — отвечал он, ничего не понимая, — я малокровный.

— Худые не бывают малокровными, — строго возразил я ему. — Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.

У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.

К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.

Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.

После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.

— «Скорую помощь!» — закричал я. — Побегу звоню!

Харламбий Диогенович гневно посмотрел на меня, а

докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.

Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.

— Даже не почувствовал, — сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.

— Молодец, малярник, — сказала докторша.

Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».

— Еще потрите, — сказал я, — надо, чтобы лекарство разошлось.

Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.

Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный лекарства. Ученики сидели, поживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.

— Откройте окно, — сказал Харламбий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.

Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.

— Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, — сказал он и остановился. Щелк, щелк — перебрал он две бусины справа налево. — Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, — добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.

«Смотри, чего захотел», — подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалющую мифологию, может быть, и можно подправить, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.

— Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, — продолжал Харламбий Диогенович, — и это ему отчасти удалось.

Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.

— Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости... — Харламий Диогенович задумался и прибавил: — Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг...

Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.

Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.

— ...Мне кажется, я догадываюсь, — проговорил он и посмотрел на меня.

Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху вlepилось в спину.

— Прошу вас, — сказал он и жестом пригласил меня к доске.

— Меня? — переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.

— Да, именно вас, бесстрашный малярник, — сказал он.

Я поплелся к доске.

— Расскажите, как вы решили задачу, — спросил он спокойно, и — щелк, щелк — две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.

Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.

Я смотрел краем глаза на доску, пытаюсь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвонит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.

— Мы вас слушаем, — сказал Харламий Диогенович, не глядя на меня.

— Артиллерийский снаряд, — сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.

— Дальше, — проговорил Харламий Диогенович, вежливо выждав.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаюсь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.

— Артиллерийский снаряд, — повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.

В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.

— Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? — спросил Харламий Диогенович с доброжелательным любопытством.

Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.

— Да, — быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.

— Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, — сказал Харламий Диогенович, но класс уже и так смеялся.

Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который, хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.

Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружались во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и вичего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.

Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь

хохот класса. Харламий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.

С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.

Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся, и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.

Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.

Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.

Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.

МОЙ ПЕРВЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

(Из цикла «Школьный вальс, или Энергия стыда»)

Я пошел в школу на год раньше, чем это было положено мне по возрасту, и дней на двадцать позже, чем это было положено по календарю. Думаю, что в том и другом сказалось раненое честолюбие нашего семейства, требовавшее скорейшего возмездия за все неудачи нашей жизни.

Простейшей формой фамильного невезения была учеба моего старшего брата. Мой старший брат, обладая многими более скрытыми достоинствами, имел один откровенный недостаток — он плохо учился. Но сказать, что он плохо учился, — почти ничего не сказать. Он

как-то сказочно, феерически плохо учился. Он попадал в каждую историю, которая случалась в школе и ее ближайших окрестностях.

Примерно раз в неделю учителя с выражением сухой скорби горевестников на лице входили в наш двор. И хотя в те времена с полдюжины ребят возраста моего брата учились в той же школе, соседи по дому, а иногда даже и по улице, завидев учителя, с каким-то тайным сладострастием спешили окликнуть маму:

— Опять к тебе!

Так и вижу бедную маму, бледную, выпрямляющуюся с примусной иголкой в руке, при помощи которой она пыталась укротить примус, этого маленького, вечно бунтующего коммунального хулиганчика. Вот она бросает иголку рядом с примусом, вытирает тряпкой руки и обреченно приглашает учителя в дом:

— Заходите...

Учитель проходит в дом, а соседи, притихшие было, чтобы послушать, о чем будет говорить учитель, снова берутся за свои дела. Они всегда надеялись, что она как-нибудь забудется и начнет разговаривать с учителем во дворе. Но мама никогда не забывалась и никогда не доставляла им этого удовольствия. Зато в тех редких случаях, когда они ошибались, то есть окликали маму, а учитель просто проходил мимо нашего дома или входил во двор, но шел к родителям другого ученика, мама, обрушиваясь на их скоропалительные выводы, частично утоляла свою душу, жаждущую возмездия.

Один из моих дядей, а именно дядя Самад, опустившийся юрист, который на базаре из столика в кофейне устроил себе контору для писания прошений крестьянам, и получавший за это свой гонорар в виде непосредственной выпивки, обычно к вечеру возвращался домой пошатываясь.

Если он задерживался, бабушка посылала меня на угол за два квартала от нашего дома. Там проходила улица, ведущая с базара, и дядя Самад обычно по ней возвращался домой. Бабушка меня посылала туда подежурить с тем, чтобы он не попал под машину, или вовремя перехватить его, если другие пьянчуги попытаются его куда-нибудь увлечь.

Кроме того, а может быть, главным образом поэтому, ей казалось приличней перед соседями, если дядюшка будет идти по нашей улице не один, а с племянником, что, вероятно, как-то скрадывало не столько его пьяное

состояние, сколько облик одинокого, опустившегося человека.

Должен сказать, что я с удовольствием шел встречать дядюшку, потому что он приносил мне в кармане горсть конфет, а то и просто деньги дарил, жалкие остатки своего дневного заработка. Разумеется, тогда они мне не казались жалкими.

...И вот, значит, я шел встречать дядюшку в конце второго квартала от нашего дома. Как раз в этом месте находилась наша школа. Иногда я заставлял своего дядюшку стоящим перед школой, к счастью, в это время пустующей. Он стоял перед зданием школы и произносил небольшой реваншистский монолог, который ему казался диалогом со всем школьным начальством, а может быть, и с самой судьбой.

— Посмотрим, — говорил он, глядя в разинутые окна пустой школы, — что вы скажете, когда следующего придем... Живы будем, посмотрим... А-а, вот он, — добавлял он, увидев меня, — скажи, как называется французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление в первую мировую войну?

— Верден! — говорил я и добавлял: — Дядя, пойдем, бабушка ждет!

— Верден! — повторял дядя и бросал грозный взгляд на школу. — А теперь что скажете?

— Бабушка ждет, — повторял я и тянул его за руку.

— А как называется вторая французская крепость, оказавшая немцам героическое сопротивление? — спрашивал он у меня.

— Дуомон! — говорил я, потому что читал книгу под названием «Рассказы о мировой войне» и мог ее в то время пересказать довольно близко к тексту.

— Дуомон! — повторял дядюшка и пальцем грозил школе, как бы обещая повернуть против нее все пушки Вердена и Дуомона.

Его легкая фигура, его удлиненное лицо с артистической копной редких волос почему-то напоминали, особенно сейчас, облик Суворова.

Иногда, прежде чем уйти домой, он заставлял меня ответить еще на несколько вопросов или прочесть стихотворение Пушкина или басни Крылова. Среди вопросов, на которые я давал четкие ответы, почему-то чаще всего повторялись два: «На какой остров сослали Наполеона?» и «Какой главный город в Абиссинии?»

Обычно после этого он успокаивался, и мы шли до-

мой. Иногда он слегка на меня опирался, и я чувствовал высушенную алкоголем легкую тяжесть его тела. Если я успевал перехватить его еще до того, как он вышел к школе, я его протаскивал мимо нее, не останавливаясь, и он только успевал ей бросить через плечо:

— Посмотрим!

Реваншистские надежды моего дядюшки основывались на двух фактах: во-первых, я однажды ответил на задачу, которую задавал ребятам нашего двора шапочник Самуил, в то время проявлявший неукротимое стремление к самообразованию и просветительским парадоксам.

Однажды, собрав ребят нашего двора, тех, что были постарше, он задал им один из своих вопросов-ловушек:

— А теперь, ребята, повесьте уши на гвоздь внимания. Сколько будет, если от тысячи отнять девятьсот девяносто девять?

Воцарилась тишина, терпеливо ждущая явления нового Архимеда. Нас, самых маленьких, никто не принимал всерьез, и тем сладостней я, во всяком случае, старался найти ответ на его хитроумный вопрос.

Помню, по самому его голосу было ясно, что ответ должен быть самый неожиданный из всех возможных. Я знал, что тысяча — огромная цифра, хотя смутно представлял границу ее огромности. Кроме того, я был уверен, что девятьсот девяносто девять тоже цифра немалая, хотя, конечно, значительно уступающая тысяче.

Я представил себе обе цифры в виде войска. Я представил, что на несметное войско в тысячу человек напало другое войско числом в девятьсот девяносто девять человек, и хотя нападающих было несколько меньше, но они оказались более храбрыми. Кстати, поэтому-то они и напали.

Так чем же закончилась эта битва? Что осталось от войска в тысячу человек? Конечно, нападающие разгромили несметное войско, но не так, чтобы ничего не осталось, а так, чтобы остался самый предел, когда меньше уже просто невозможно. Какой же это предел?

— Один, — проговорил я под напором ясновидящей силы вдохновения, глядя на последнего воина из несметной тысячи, с поникшей головой стоящего на поле боя.

Удивленные головы всех ребят повернулись в мою сторону.

— Правильно, — подтвердил мою догадку дядя Самуил.

Это был высший взлет моих математических способ-

ностей, но об этом тогда никто, разумеется, не мог догадаться.

Кстати, дядя Самуил был владельцем нескольких томов Большой Советской Энциклопедии, которую он читал почти каждый день, приходя с работы. Судя по характеру его чтения, а читал он обычно сидя на деревянных ступеньках своего крыльца, знания сами по себе, независимо от области их применения, давали ему ощущение удовольствия. По-видимому, научные факты радовали его как некая могучая воспитывающая сила. Так, однажды он сообщил, листая энциклопедию, что, оказывается, Токио — самый большой город в мире.

Он об этом сказал с восхищением, и, конечно, нельзя было не восхититься тем, что Токио самый большой город в мире. И хотя было ясно, что японский империализм ничем не заслужил иметь самый большой город в мире, по-видимому, японский пролетариат рано или поздно должен был догадаться, что нельзя оставлять в его руках этот рекордный по численности населения город, то есть совершить революцию. По-видимому, и дядя Самуил, и мы именно так понимали воспитательный смысл размеров Токио, иначе как мы могли этому радоваться? Это было бы все равно что радоваться большому количеству вражеских пушек или танков.

Между прочим, у дяди Самада время от времени происходили споры с дядей Самуилом. Споры эти всегда начинал мой дядя, но удивительно было, с каким терпением и охотой вступал в них дядя Самуил и как твердо, ни разу не дрогнув, он отстаивал свои позиции.

Накал спора обычно зависел от силы похмельного раздражения моего дядюшки. Так и вижу его, как он входит, пошатываясь, во двор, потом подымается по лестнице и где-то на первой лестничной площадке начинает, даже если Самуила не видно на крыльце.

Так или иначе, но именно дядя Самуил во время одного из своих просветительских опытов выявил мою якобы математическую смекалку, а читать я научился сам.

Во времени, о котором я рассказываю, я уже прочел с дюжину книг, начав сразу с «Гадкого утенка» и «Рассказов о мировой войне». Это была самая толстая и самая интересная из прочитанных мной книг.

Именно по этим причинам я был выделен в нашем вечно взбудораженном, но, в сущности, неопасном семейном рое, как пчелка, готовая приносить в дом чернильный мед школьных премудростей.

И вот в начале учебного года, помешкав примерно дней двадцать, меня бросили в бой. То, что за это взялись с некоторым опозданием, могло быть следствием слабых, впрочем, никем и не обещанных надежд, что в новом учебном году брат мой наконец возьмется за учебу.

В тот прекрасный сентябрьский день мы с мамой бодро направлялись в школу. Мы вошли во двор, поднялись по каменной лестнице на обширную веранду с каменными колоннами и скамьями вдоль стены. Дверь с веранды вела в канцелярию и из канцелярии — в кабинет директора.

Мы вошли в канцелярию, но дальше нас не пустили. Маленький человек, весь красный, с красными глазами, с выражением лица, которое бывает у измотанных драками, но, однако, всегда готовых к новым дракам петухов, оттеснил нас от директорской двери и постепенно вывел на веранду. Это был завуч.

— Одного не хватит? — говорил он маме, глядя на нее красными глазами измотанного, но готового драться петуха. — Второго привела?!

— Нет, этот совсем не такой, — отвечала мама, горестно усмехаясь с таким видом, словно завуч не может не знать о моих успехах, но пользуется поводом, чтобы придраться. — Владимир Варламович тоже обещал позвонить.

— Ничего не знаю, — отвечал завуч и, показывая на скамью, добавил: — Там посидите. Надо будет — вызовем... Одного еле держим, уже другого привела, и тем более в середине года.

— Да, но Владимир Варламович...

— Ох! — вдруг вскрикнул он, словно наступил на колючку голой ногой. Он заметил в метрике мой недостаточный возраст. Этого мы больше всего боялись.

— Что это? Это матрикул? — повторял завуч, возмущенно тыча пальцем в мою метрику.

— Владимир Варламович все знает, он должен директору позвонить, — утешала его мать.

— Ничего не знаю, — наконец сказал он и быстро покинул веранду.

Мы с мамой уселись на скамью и стали ждать. В самом деле Владимир Варламович, работник горно, бывший житель нашего двора, обещал маме позвонить в школу, что считалось достаточным для моего поступления.

Завуч ушел с моей метрикой, а мы с мамой остались ждать на веранде. Прошло, как мне показалось, немало времени, как вдруг завуч выскочил на веранду и криками стал прогонять продавщиц семечек, которые уселись перед школой на каменных перилах мосточка. Старушечки со своими мешочками неохотно встали и ушли, но по их походке было видно, что они далеко уходить не собираются: В самом деле, через некоторое время, когда прозвенел звонок на перемену, они снова пришли и стали продавать семечки ученикам.

Когда завуч, прогнав старушек, повернулся, чтобы войти в канцелярию, мама, привстав, обратила его внимание на себя.

— Не звонил, — сказал он бегло, давая знать, что не даст себя остановить, но, поравнявшись с дверью, внезапно остановился и повернул к нам лицо, на котором промелькнуло объяснение его внезапной остановки: одно дело, когда ты меня останавливаешь, и совсем другое дело, когда я сам по своей воле останавливаюсь.

— Откуда знаешь Владимира Варламовича? — внезапно спросил он.

— Как откуда? — горестно усмехнулась мать. — Шесть лет прожили рядом, как родственники... На его глазах вырос мой мальчик...

Это прозвучало как намек, что на глазах дяди Володи плохой мальчик не мог вырасти.

— Не знаю... Пока не звонил... Середина года, — сказал маленький завуч, мельком взглянув на меня с некоторым брезгливым недоверием к моим наследственным качествам.

Бормоча насчет середины года и того, что один уже учится, он вошел в канцелярию. Прозвенел звонок. Учителя стали входить в канцелярию и выходить оттуда. Некоторые из них прогуливались по веранде. Иногда я слышал обрывки их разговоров и удивлялся, что они совсем обычные, особенно у женщин. Учительницы говорили то же самое, что и женщины нашего двора: базар, стирка, дети.

Некоторые молодые учителя и учительницы стояли возле колонн, облокотившись о барьер веранды с таким видом, как будто их собираются фотографировать.

Я раскрыл книгу, которую принес с собой. Это был какой-то хрестоматийный учебник для второго или треть-

его класса с небольшими отрывками из классических рассказов и повестей. Я стал громко читать эти отрывки исключительно для того, чтобы обратить внимание учителей на беглость своего чтения.

Замысел был такой. Они обращают внимание на беглость моего чтения. Они интересуются, почему я читаю здесь, на полуоткрытой веранде, а не в классе. Узнают, что я не только еще не учусь, но меня и не принимают в школу. Шумной делегацией входят к директору, и меня определяют в первый класс.

Надо сказать честно, что мы с матерью не обсуждали этого замысла. Он возник стихийно. Книгу я взял для того, чтобы в случае необходимости показать, как я хорошо читаю. Я думал, будет все просто. Я думал, директор спросит:

— А что он умеет?

И тут я небрежно раскрою книгу на любой странице и начну читать.

— А молодец, — думал я, скажет он, — посадим его в первый класс...

Но после того как нас не пустили к директору и наступили довольно нудные минуты ожидания, я от скуки раскрыл ее и стал перечитывать знакомые тексты. А когда прозвенел звонок и на веранде появилось много молодых и доброжелательных, как мне показалось, учителей, я решил — дай я им почитаю вслух, не может быть, чтобы они не заметили, как я хорошо читаю. Вот я и начал читать вслух, краем глаза заметив, что мама меня одобряет.

Я это заметил по усилившемуся выражению горестности на ее лице. Это выражение у нее появлялось, когда она говорила про отца или входила в какое-нибудь официальное учреждение, ну, там, справку какую-нибудь получить, что-то заверить или что-то подписать.

Сейчас усилившееся выражение горестности должно было служить траурным фоном блеску моего чтения. Выражение это было не в прямом смысле лицемерием, но это было, как я теперь понимаю, вхождением в привычную колею, рефлексорным сжатием лицевых мускулов, оставляющих на лице гладкую пустыню безнадежности, невольным дорисовыванием пейзажа этой пустыни.

Но учителя почему-то никакого внимания на нас не обращали.

Прозвенел звонок, учителя разошлись, и мы опять остались одни. Иногда завуч, выбегая из канцелярии, про-

носился мимо нас, и тогда я начинал громко читать, но он никакого внимания на меня не обращал, даже, как мне кажется, пробегал от этого несколько быстрее.

— Шесть лет рядом, как родственники, прожили! — вздохнув, бросала ему вслед моя мама, но и на это он ничего не отвечал, а пробегал вниз куда-то. Иногда, возвращаясь, он, словно думая вслух, проговаривал:

— За старшего спасибо не говорит... Еще младшего привела...

Мама не успевала ему ответить, как он снова исчезал в канцелярии. Однажды он возвратился, слегка подгоняя впереди себя двух мальчиков пионерского возраста и приговаривая:

— Посмотрим, как там посмеетесь... Посмотрим...

— Эх, Владимир Варламович! — проговорила мама, сокрушенно вздохнув, когда он проходил мимо.

— А почему не позвонил, если такой близкий человек? — не выдержал завуч, на мгновение остановившись возле нас. Но тут оба мальчика почему-то фыркнули, видно, их распирали смех, и завуч, не дождавшись ответа мамы, втолкнул их в канцелярию и закрыл за собой дверь.

Но через некоторое время он выскочил и, не говоря ни слова, жестами показал нам, что надо, и при этом как можно быстрее, входит к директору.

Мы прошли сквозь канцелярию и вошли в кабинет директора. Звали его Акакий Македонович. Директор сидел за письменным столом и говорил по телефону. Он бросил на нас болезненный взгляд, и я вдруг услышал, как в трубке дребезжит веселый голос дяди Володи.

— Все-таки в середине года, — проговорил Акакий Македонович, глядя на меня и сквозь меня болезненными глазами.

В трубке дребезжит веселый голос дяди Володи. Я чувствую, что если как следует напрячь слух, то можно разобрать слова. Я в самом деле напрягаю слух, и, кажется, директор это замечает. Во всяком случае, он почему-то ковшиком левой ладони прикрывает чашечку трубки, откуда, дребезжа, выщелкивается голос инспектора.

— Да, но брат уже учится, — говорит директор и теперь, окинув меня болезненным взглядом, переводит его дальше, словно рассеянно припоминая еще один неприятный предмет, с которым ему предстоит иметь дело.

Оказывается, в углу директорского кабинета стоят те два мальчика, которых привел завуч. Стоя в углу ди-

ректорского кабинета, два румяных пионера медленно приподымали свои опущенные головы и, взглянув друг на друга, начинали корчиться от неудержимых приступов смеха. Иногда струйки этого смеха выбрызгивались в кабинет, как вода из колонки, когда сильный напор ее удерживаешь прижатой к отверстию крана ладонью.

Директор в такие мгновения качал головой, дескать, смейтесь, посмотрим, кто будет смеяться последним. Одновременно с этим покачиванием головой он еще плотнее прикрывал ковшиком ладони отверстие трубки, откуда доносился голос инспектора, словно боялся, что брызги смеха и в самом деле долетят до инспектора.

Сконфуженные покачиванием директорской головы, пионеры смолкали и опускали головы, но я видел, как их щеки постепенно наливаются кровью, созревая для очередного взрыва смеха.

В трубке весело дребезжит голос дяди Володи. И чем веселее дребезжит голос инспектора, тем болезненнее вглядывается в меня директор, словно пытаюсь определить, в какое количество здоровья я ему обойдусь.

— Хорошо, но старшего тогда переведите, — вдруг говорит директор, как-то слегка заурчав и опасно посмотрев в сторону мамы.

Выражение горестной безответности на лице у мамы принимает самую невиданную степень. Она даже слегка наклоняется вперед, словно пытаюсь услышать: неужели и дядя Володя, почти родственник, шесть лет проживший рядом с нашей квартирой, ответит согласием на это предложение.

Но, видно, дядя Володя отвечает что-то другое, потому что директор перестает смотреть на маму опасливым взглядом, а смотрит, как бы говоря: ну подумаешь, я что-то предложил, он что-то отверг, обыкновенный научный разговор.

Выражение горестной безответности на лице у мамы уменьшается. Сама некоторая назойливость его как бы содержит в себе и рецепт, как от него избавиться: вам надоело это выражение? Сделайте так, как я вас прошу, и вы его не увидите.

Вдруг лицо директора оживляется. Он вглядывается в меня с каким-то живым любопытством.

— Песенки пбет, говорите? — переспрашивает он, и кровь ударяет мне в голову. — Тогда, может, в музыкальную школу?

Выражение горестной безответности на лице мо-

ей мамы бдительно доходит до крайней степени и сопровождается саркастической полуулыбкой, означающей: они меня хотят провести какой-то музыкальной школой? Вот уж не ожидала!

— Хорошо, — говорит наконец Акакий Македонович и кладет трубку. Выражение горестной безответности исчезает с лица моей матери и почти полностью переходит на лицо Акакия Македоновича. Я чувствую, что наша взяла. Тут ребята, стоявшие в углу кабинета, снова посмотрели друг на друга и фыркнули.

— Сквозь слезы родителей смеетесь, — говорит Акакий Македонович, небрежно махнув рукой в сторону ребят в том смысле, что их-то судьба ему вполне известна, просто ими сейчас некогда заниматься.

— Песни поет, говорит, — повторяет директор с недоумением, — при чем тут песни...

— Нет, он читает хорошо, — тихо проговаривает мама с тем, чтобы, не разрушив победы, достигнутой при помощи инспектора, слегка подправить его, может быть, чисто механическую ошибку.

— Придется взять, — после глубокой задумчивости директор обращается к завучу, — старший половину печенки съел, теперь этого привели... К Александре Ивановне попробуем? — говорит наконец директор завучу.

— Да, больше некуда, — говорит завуч и бодро выпроваживает нас из кабинета.

Мы выходим из кабинета директора и спускаемся вниз. Слегка подталкивая в спину, завуч ведет меня, очевидно, в один из флигельков, окружающих здание школы. Мама едва поспевает за нами.

— Ты иди домой, — говорит ей завуч, не глядя на нее. Но мама упрямо идет за нами.

Мы вошли в один из флигельков и пошли по коридору.

Подведя меня к нужной двери, завуч открыл ее хозяйским жестом и, пропустив меня вперед, вошел сам. Грохнув крышками парт, дети вскочили, что было для меня такой неожиданностью, что я еле удержался от желания броситься за дверь.

— Садитесь, — сказала учительница ребятам, и они с таким же грохотом сели. Она повернула к нам лицо. Это было лицо пожилой женщины в пенсне, блестящем золотистой оправой, с коротко остриженными, местами серебриющимися волосами. Она вопросительно оглядела нас.

— Македонович прислал, — сказал завуч тоном человека, который полностью снимает с себя всякую ответственность.

— Но у меня... — начала было она, но, взглянув на меня, вдруг добавила: — Хорошо.

Приподняв голову, она оглядела класс и, показав мне глазами на свободное место, сказала:

— Пока вон туда садись...

Завуч закрыл дверь. Ребята радостно вскочили, приветствуя его уход, я, не подозревая, что его уход тоже надо приветствовать, сильно опоздал, что вызвало у некоторых учеников усмешки, показавшиеся мне обидными. Я чувствовал, что у мальчиков, которые здесь учились, сейчас возникло ко мне любопытство, скорее всего враждебное, какое бывает ко всякому чужаку, который входит в среду привыкших друг к другу людей.

Учительница продолжала урок. Я сейчас не помню, о чем она говорила, зато хорошо помню, что она, говоря то, что она говорила, старалась отвлечь это враждебное любопытство, которое я чувствовал у себя на затылке. И в самом деле я чувствовал, что от ее голоса враждебное любопытство ослабляется и уходит. Возможно, это происходило отчасти за счет усиления моего собственного любопытства к тому, что она говорила.

Во время перемены, едва я выбежал на школьный двор, где встретил нескольких ребят с нашей улицы и начал с ними осваиваться в новой для меня роли школьника, прозвенел звонок, призывающий всех в класс. Тогда меня поразила смехотворная несправедливость длины перемены по сравнению с длиной урока.

Так как я стал учиться в школе с двухнедельным опозданием, многих вещей, уже усвоенных другими учениками, я не понимал, что вызывало у моих товарищей улыбки, а то и откровенный смех класса. Так, например, я не знал, что разговаривать в классе вообще нельзя, а если уж говорить, то надо стараться говорить потише и как-то сообразовывая свой голос с расстоянием, на котором находится от тебя учительница, с тем, куда она смотрит, и так далее. А между прочим, голос у меня от природы был достаточно громким.

В ответ на неоднократные нарушения правил Александра Ивановна мне несколько раз предлагала выйти из класса, с чем я, оказывается, соглашался с неприличной поспешностью. Эта неприличная поспешность вызывала тайное веселье Александры Ивановны, я это замечал по

ее глазам, скрытым под стеклами пенсне. А между прочим, поспешность моя объяснялась не тем, что я радовался освобождению от занятий, а просто я старался как можно быстрее выполнить предложение учительницы. Впрочем, может быть, кроме этого, на моем лице было написано еще что-то такое, что вызывало ее тайное веселье.

Но что вызывало всеобщее, никем не скрываемое веселье — это то, как я выходил из класса. Как только мне предлагали выйти из класса, я начинал впихивать в портфель свои школьные пожитки.

— Портфель пусть остается, ты выходи! — говорила Александра Ивановна, стараясь не смеяться и руками показывая, чтобы я оставил в покое портфель. Я неохотно оставлял портфель и выходил из класса.

Точно объяснить причину, почему я старался взять с собой портфель, не могу, потому что не помню, что двигало этим моим желанием. Возможно, я понимал приказ выйти из класса как некий полный провал своего школьного существования, и тут уж бери портфель и уходи домой. Чувство полного провала могло быть в первое время сильнее поверхностного знания, что быть выгнанным с урока это еще не так страшно. А возможно, это было то детское чувство собственности, которое заставляет детей, выходя из игры, непременно забирать с собой свои игрушки. Впрочем, одно другому не мешает. Помню, что смех класса мною воспринимался как адская музыка, сопровождающая провал.

* * *

Конечно, я быстро усвоил все эти гласные и негласные школьные правила. Так что теперь, если приходилось покидать класс, я доверчиво оставлял свой портфель. Надо сказать, что наказание это я испытывал очень редко и всегда переносил тоскливо.

Учился я хорошо. Мне ничего не оставалось. Сокрушить всеобщую уверенность в том, что с моим приходом в школу будет полностью восстановлена не только семейная благопристойность, но в виде более отдаленного, но вполне мыслимого будущего — достаток и процветание, сокрушить все это было бы дороже и утомительней.

Иногда я бывал отличником, но чаще бывал среди тех, кто близок к тому, чтобы стать отличником. Во всяком случае, в кругах отличников я проходил за своего чело-

века. Но истинные отличники, то есть отличники по званию, нередко, обращаясь ко мне, едва скрывали насмешку в глубине своих умных глазок, как бы уверенные, что рано или поздно мое тайное дилетантство меня должно будет подвести. Так оно и случилось.

ВРЕМЯ ПО ЧАСАМ

Теперь поговорим о времени. Но прежде чем говорить о времени историческом, я должен сказать, что у меня со временем обычным сложились в свое время сложные, запутанные взаимоотношения. Вернее, не со временем, а с часами.

Как это ни стыдно (в сущности, сейчас это не стыдно, тогда было стыдно), должен признаться, что, научившись читать еще до школы, я уже в школьные годы ухитрился пронести, по крайней мере в течение трех лет, полное непонимание того, что происходит на циферблатах часов.

Вернее, было понимание общего направления времени, то есть я догадывался, что если стрелка часов приближается к цифре двенадцать, то она неожиданно назад не пойдет, а будет пересекать эту цифру и идти дальше. Примерно я даже мог определить, насколько она приблизилась к такому-то часу, но точно сказать не мог.

Кроме того, я понимал, что если большая стрелка находится на правой половине циферблата, то будут говорить, что сейчас столько-то минут такого-то, а если на левой половине, то будут говорить: без столько-то минут столько-то. А еще я знал, что если обе стрелки сошлись на двенадцати, то, значит, так оно и есть — ровно двенадцать часов. В сущности, это последнее знание даже как-то мешало мне, тормозило угадывание механики общей картины жизни циферблата, было непонятно, почему такое исключение для двенадцати часов.

Могут подумать, что я кокетничаю тупостью. Но, во-первых, чтобы кокетничать тупостью, тоже немало смелости надо иметь, а во-вторых, признание в тупости есть все-таки хотя бы частичное ее одоление. Но дело в том, что я и в самом деле не мог определить время по часам, хотя по возрасту должен был это уметь, и некоторые терзания по этому поводу оставили след в моей памяти, который я теперь и воспроизвожу.

Просто так получилось, что вовремя мне никто не

показал, как узнается время по часам, а потом все были уверены, что я это и так знаю, а мне уже было стыдно спросить.

В нашем дворе часов в доме ни у кого не было. Некоторые мужчины имели часы, но они носили их на руке или в кармане, как мой отец. И те и другие с утра уходили из дому со своими часами. Двор же, насколько я помню, со всеми обитателями, то есть женщинами, детьми, моим сумасшедшим дядей (отношение его ко времени так и не удалось установить), собаками, кошками, курами, не испытывал ни малейшей нужды иметь при себе свое точное время.

В хорошие дни женщины ориентировались по солнцу, а в остальное время по пароходным гудкам. Пароходы шли из Одессы в Батум и обратно, попутно заходя в наш порт.

Пароходные гудки почему-то вызывали у Богатого Портного — о нем разговор впереди — иногда добродушно-ворчливые, иногда насмешливые, иногда раздраженные, но всегда осуждающие замечания.

— Этот пароход тоже так гудит, как будто мне золото привез, — говорил он с усмешкой, кивая в сторону порта, как бы обращая внимание на глупость самой идеи гудка. Что значит «тоже»? Частица эта казалась особенно бессмысленной и потому смешной.

В сущности говоря, сейчас анализ этой фразы мог бы раскрыть бесконечное богатство ее содержания. Опять же эта частица. Формально получается, что пароход тоже надоел, как надоели ему другие бессмысленно гудящие явления жизни. Но никаких других гудящих явлений жизни поблизости от Богатого Портного явно не было, следовательно, эта частица своей уместной неуместностью отсылает нас к более отдаленному смыслу. И мы его поймем, если снова прислушаемся к фразе в целом.

— Этот пароход, — стало быть, говорил Богатый Портной, — тоже так гудит, как будто бы мне золото привез.

Охватывая фразу в целом, мы нащупываем ее главную тему, а именно: «Я и пароход». Оказывается, эта тема внутри этой фразы в сжатом виде заключает в себе целый сюжет. По-видимому, кем-то было обещано, что однажды пароход, который гудком, чтобы Богатый Портной его услышал в любой точке города, известит о своем приходе, привезет ему золото. Но он уже давно знает, что никакого золота этот гудящий пароход не привезет.

Более того, еще до парохода было немало других движущихся сооружений, которые тоже о своем приближении извещали гудками и тоже обещали привезти ему золото. Но оказалось, что все они морочили голову, и у него теперь нет ни малейшего желания слушать эти гудки и ждать это фантастическое золото. И конечный вывод: нечего надеяться на какой-то пароход, который якобы привезет тебе золото, а надо надеяться на самого себя, что он, Богатый Портной, и делает.

Другие его восклицания по поводу пароходного гудка были, можно сказать, дочерними предприятиями той же темы. Так, например, в ответ на гудок он иногда отвечал:

— Сейчас, сейчас прибегу с чемоданом.

То есть не в том смысле, что он собирается уехать с чемоданом на прибывшем пароходе, а в том, что он якобы поспешит с чемоданом для получения причитающегося ему золота или бриллиантов, как он иногда говорил.

С пароходными гудками по-настоящему был связан только дядя Алихан, потому что он продавал жареные каштаны пассажирам пароходов, идущих из Одессы. Они хорошо брали каштаны, может быть, потому, что Одесса богата несъедобными конскими каштанами, которые развивают в одесситах тоску по съедобным каштанам. Возможно, они набрасывались на наши каштаны из ревнивой любознательности — вот, мол, тоже каштаны, а дают съедобные плоды, не то что наши дармоеды.

Иногда пароход из-за штормовой погоды опаздывал, и Алихан, принарядившись, с готовой корзиной ждал гудка у своего порога. Ожидание его нередко сопровождалось шутками Богатого Портного в том духе, что, мол, пропал теперь Алихан, что, мол, по радио сообщили, что рейс отменяется, и тому подобное.

Алихан на эти шутки никогда не отвечал, а солидно стоял возле своей корзины, дополнительно, чтобы сохранить тепло, прикрывая ее мешковиной, а то и старым одеялом. Как только раздавался гудок, он сбрасывал это тряпье и, бодро ухватив корзину, отправлялся в путь.

Женщины нашего двора в то время в основном все-таки ориентировались по солнцу.

— Где солнце, а я еще на базар не ходила! — вдруг спохватывалась какая-нибудь из них.

— Где солнце, а где ты?! — раздражалась другая, увидев во дворе свою запаздывающую подругу.

В четвертом классе, когда нас неожиданно перевели

во вторую смену, у меня начался разлад со временем. Сначала я приспособился определять его по солнцу. Я заметил, что, когда тень от крыши соседского дома, падавшая на стену, покрытую в верхней своей части двумя рядами листового железа, проходит верхний ряд, — самое время идти в школу.

Так длилось с неделю, а потом с неделю была пасмурная погода, шли дожди, и мне приходилось выглядывать из окна на улицу, пытаюсь узнать время у прохожих, что было не всегда удобно. Потом погода опять улучшилась, и я, дождавшись, когда тень от солнца покрыла верхний пояс листового железа, отправился в школу и опоздал.

Я был не только огорчен, но и изумлен этим астрономическим коварством. Разумеется, я понимал, что солнце на небе в зависимости от времени года подымается выше или ниже и от этого тень может менять свою длину, но я был уверен, что все это происходит в течение нескольких месяцев. А тут всего неделя, ну от силы дней десять прошло, но никак не больше.

Было впечатление чуда, словно я поймал природу за сменой вывески, словно зеленый летний лист на моих глазах слегка пожелтел по краям. Кстати, в ответ на мой рассказ об этом бабушка сказала, что точно так же она была поражена, когда однажды в девичестве у нее была бессонница и она заметила, что звездочка, светившая в ее окно, за ночь заметно переместилась. До этого она считала, что на небе днем движется солнце, а ночью луна, а то, что и звезды передвигаются, она и понятия не имела. Правда, сказала она, это было давно, а то, что сейчас делается на небесах, она не знает. Я из этого ее замечания заключил, что бабушка со времен девичества не знала бессонницы.

Открытие мое (насчет солнца, а не бабушкиных звезд) хотя меня и поразило, но не обескуражило. Я стал приспосабливаться к длине тени, довольно правильно угадывая время, когда надо было идти в школу.

Глядя на этот пояс из листового железа, я мысленно набавлял чуть-чуть тени, и получалось почти точно. Кстати говоря, ржавчина на этих железных листах расплзалась в самые причудливые рисунки, то напоминающие географическую карту, то сражения каких-то мифологических существ, то еще что-то.

Интересно отметить, что потом, с годами, многие рисунки, которые я угадывал на этих железных листах, то

ли под влиянием погоды, то ли возраста, а скорее всего и того и другого, менялись. Так, однажды, уже кончая школу, на одном из листов я заметил смутный, но совершенно прелестный силуэт уходящей девушки. Особенное удовольствие доставляла живая теплота и необыкновенная точность движения ноги, еще не шагнувшей (нельзя же сказать задней ноги? Или можно?), но уже расслабленно приподнятой, — мгновение отделения ее от земли. Мне кажется, впоследствии произведения живописи редко доставляли мне такое удовольствие. Я думаю, тут дело в сочетании точности с таинственностью, дело во включении нашего воображения. Из хаоса каких-то цветочных пятен мы извлекли какой-то рисунок, то есть какой-то смысл. Прелесть его еще в том, что он не только вызван к жизни некоторыми усилиями воображения, но и удерживается за счет воображения и, главное, дорисовывается за счет того же воображения.

Здесь два главных момента следует отметить, скажем мы голосом лектора. Первое — видимо, в самой природе человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы. Отчасти в этом, вероятно, удовольствие рыбалки — из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть отчасти как бы создать ее.

Второе — искусство недосказанности. В данном случае недосказанность — это недорисованность той девушки, то есть возможность, нет, благодарная возможность дорисовать ее за счет своего идеала.

Искусство недосказанности — одно из самых неподвластных разуму, интуитивных. Недосказывая, надо недосказать так, чтобы воображение, перепрыгивая с камня на камень, не бултыхнулось в реку, но и расстояние между камнями должно быть достаточно большим, чтобы прыжок, захватывая дух, ощущался как истинно рискованный, и тогда он по-настоящему взбодрит нас.

Иными словами, можно сказать, что недосказанность в искусстве — это не река, уходящая в песок, а река, впадающая в Лету.

Кстати, что может быть пошлее басни, которая вместо морали в конце предлагает подумать и сделать якобы собственный вывод, то есть предлагает прыжок там, где можно спокойно перешагнуть.

Я вижу, что, взволнованный воспоминаниями о чудном силуэте уходящей девушки, я почти пропел гимн недосказанности в искусстве. Тем не менее должен для выражения всей полноты истинного отношения к предмету

сказать, что самые великие произведения искусства, такие, скажем, как «Война и мир» Толстого или «Возвращение блудного сына» Рембрандта, сильны прежде всего прямой радиацией художественной мощи, хотя и в них есть элементы недосказанности, дополняющие ясную, очевидную, но от этого ничуть не менее потрясающую картину жизни...

И последнее, что хотелось бы сказать по этому поводу. Я могу подолгу любоваться прекрасной картиной Врубеля «Демон», могу и равнодушно пройти мимо. Ну, постоять мгновение и пройти. Зависит от настроения. От совпадения двух настроений: смотрящего и картины. Вероятность попадания велика, потому что и настроение крупное, и передано замечательно. Но перед картиной Рембрандта «Возвращение блудного сына» я не могу не остановиться, потому что картина смывает мое личное настроение и погружает меня в ровный и могучий поток своего настроения. Наверное, в этом разница между талантливым и великим. Из этого не следует, что талантливое должно приспосабливаться к моему настроению, — это я, если хочу понять его, должен войти в его настроение.

Но о чем я? Прошлым летом я был дома и видел все ту же стену, опоясанную теми же железными листами, но ни одного рисунка я не узнал... Где же моя милая девушка? Я почему-то тогда же нарек ее пионервожатой, хотя в едва намеченных очертаниях одежды никак нельзя было уловить такой малой детали, как пионерский галстук на шее.

Одним словом, в плохую погоду я время узнавал у прохожих. Разумеется, часы бывали не у всех прохожих. Более того, не все прохожие из тех, что явно имели часы, отвечали мне на ясный вопрос:

— Дяденька, который час?

Некоторых пугала неожиданность вопроса или раздражала его оголенная упрощенность: вот так вот прямо и скажи ему!

Я, конечно, старался не вызывать у них раздражения, что иногда, в свою очередь, то есть именно мои старания, и вызывало неожиданные варывы гнева. Так, чтобы не пугать прохожих неожиданностью вопроса, я, прижавшись лицом к оконной решетке, старался еще издали переглянуться с прохожим, чтобы подготовить его этим переглядыванием и, когда он поравняется со мной, спросить, который час.

Но некоторые из них, по-видимому, обладали повышенной телепатической чуткостью: увидев мой вопрошающий взгляд, они уже не спускали с меня глаз, подходили к окну с чрезмерно повышенным интересом к моему, еще не заданному вопросу и, остановившись в пределах допустимого риска, осторожно спрашивали:

— В чем дело?

— Дяденька, который час? — спрашивал я, чувствуя, что простота моего вопроса оскорбительна.

— Ты смотри, что за нахал! — вскидывался иной из этих прохожих и, ворча на испорченную молодежь, продолжал свой путь. А то еще, встретив другого прохожего, идущего навстречу, останавливал его и рассказывал о том, что, мол, он проходил себе по улице, как вдруг этот шкет позвал его и так далее. Разумеется, я ни одного из них не звал, хотя и бросал на них выразительные взгляды, чтобы они потом не вздрагивали, когда я у них буду спрашивать время.

Обрывки этих жалоб я слышал, стоя у окна, а иногда встречал и укоризненный взгляд того прохожего, которого остановил мой прохожий. Взгляд этот вменял мне в вину не только то, что я остановил на дороге солидного взрослого человека, но и то, что этот человек остановил его, уже вовсе ни в чем не повинного взрослого человека, не имевшего ни малейшего желания входить в историю взаимоотношений того взрослого человека со мной.

Все-таки справедливости ради я должен сказать, что большинство прохожих, даже вздрогнув и выдержав неожиданность вопроса, отвечали мне дружелюбно и нередко даже с улыбкой.

Иногда, ожидая прохожего с часами, я слышал далекий звонок из нашей школы, но доверять ему было опасно — неизвестно было, с какого урока или на какой урок он звонит.

Именно в эту осень к нам во двор переселилась семья, у которой были домашние часы. И какие! Это были не часы, а скорее маленькая часовня из красного дерева, время от времени издающая звон, подобно нашей греческой церкви, и до того грозно показывающая мечами своих стрелок на цифры, что казалось: каждая из них в чем-то провинилась.

Часы эти принадлежали семье, которая переехала к нам откуда-то из Центральной России. В то время у нас в горах строили новую ГЭС, и глава семьи на этом строительстве был каким-то начальником.

Жена его — подвижная, легкая, довольно остроумная, но почему-то и глуповатая, как впоследствии я заметил, женщина. Звали ее тетя Женья. У них было двое детей — взрослая девушка Лиза с миловидной белокурой головкой, очень близорукими васильковыми глазами и тяжеловато стекающей к ногам фигурой. Сына звали Эрик. Помню тот первый день, когда тетя Женья пришла к моей тетушке вместе с этим незнакомым тогда еще мальчиком. Слушая краем уха болтовню женщин, я наблюдал за ним.

Он стоял возле своей матери в вельветовой курточке и таких же штанишках, чем-то похожий на изображение дореволюционных мальчиков из зажиточных домов. Но меня поразила не столько его одежда, сколько его военизированно-смирненная поза, с которой он стоял возле матери. Такая поза в нашей разгильдяйской семье была возможна только как пародия на благонравие, и я все ждал, когда же этот мальчик подмигнет мне или рассмеется.

В ответ на мои взгляды мальчик с комическим спокойствием продолжал сохранять свою военизированно-смирненную позу и смотрел на меня своими большими зелеными глазами с выражением грустной невозмутимости. В конце концов я понял, что он так может стоять до бесконечности, и почему-то представил его с пионерским горном, в который он трубит, уставившись в небо своими грустными, невозмутимыми глазами.

— Мама, носик течет, — вдруг сказал он, не меняя позы и продолжая смотреть на меня своими грустными, невозмутимыми глазами.

Всех, кто был в кухне, а там, кроме тетки, были и другие женщины, поразила этот спокойный интеллигентный возглас. Тетушка посмотрела на меня с каким-то смешанным чувством упрека (я в его возрасте этого не говорил) и сожаления (примером этим ввиду его опоздания уже невозможно было воспользоваться).

В нашем окружении дети в этом возрасте или утирались рукавом, или второпях втягивали содержимое носа в более безопасные глубины. В лучшем случае, если в руках оказывался платок, пользовались им без всякой консультации с кем-либо. А этот мальчик предпочел поставить в известность свою маму о состоянии своего носа с тем, чтобы ей как более опытному человеку дать полную свободу решать, каким способом справиться с подступившей опасностью.

Все, кто был на кухне, крайне удивились этому. Все, кроме матери и сына. По-видимому, это была обычная фраза в их обиходе. Мать его, не переставая разговаривать с тетушкой, поднесла платок, и мальчик, кстати, не переставая глядеть на меня своими большими грустными глазами, несколько раз вежливо высморкался.

Постепенно мы с ним разговорились. Он сказал, что умеет читать, что у него самый большой из всех конструкторов, которые выпускались в нашей стране, и что он может определять время по часам, а страны света — по компасу.

Упоминание о часах вызвало у меня в груди глухую боль, сальерианское сжатие сердечной мышцы. Даже такие дети умеют определять время, думал я, что же я никак не научусь? Я был года на три старше его.

Я предложил ему выйти на балкон, как мы называли длинную застекленную тетушкину галерею.

— Мама, можно мы поиграем на этой галерее? — спросил он, не подхватывая, как я заметил, принятого нами слова, а с некоторым, как мне показалось, жестким своенравием употребляя свое, более точное слово.

— Только недолго, — ответила его мама, продолжая оживленно разговаривать с тетушкой.

Мы вышли на балкон (именно на балкон!) и только прошли несколько шагов, как он обратил свой оживившийся взор на ремень, висевший на стене. Здесь обычно по утрам дядя правил бритву.

— Это тебе? — спросил он с каким-то радостным любопытством.

— Как мне? — не понял я.

— Ну тебя колотят ремнем? — спросил он, удивляясь моему непониманию. У нас в самом деле никого не били ремнем.

— Нет, — сказал я. — А тебя?

— Бывает, — вдруг вздохнул он, как-то сразу запустив представление о себе. — Ну, во что мы будем играть? Хочешь в Чапаева?

— Давай, — сказал я, не подумав.

— Я буду Чапаев, а ты будешь чапаевская лошадь, — пояснил он. Из чувства гостеприимства я вынужден был согласиться. Не наоборот же, не садиться же мне на этого чистенького мальчуганчика, да к тому же я был старше, хоть и ненамного крупней.

Я встал на четвереньки. Он ловко взгромоздился на мою спину и с криком «вперед!» стал гнать меня на во-

ображаемые позиции врага. Время от времени он прищоривал меня ударами ног, обутых в крепкие новенькие ботиночки. Я чувствовал, что игра его возбуждает, и он все крепче и крепче бьет меня по бокам.

Через десять минут мы уже барахтались на полу, потому что он, неожиданно вцепившись ногтями мне в шею, с ненавистью прошипел, что я белый офицер, которому он поклялся отомстить за поруганную жизнь.

Как-то чувствуя, что даже белого офицера надо было бы предупредить за мгновение перед тем, как вцепиться в его шею, я старался слегка разжимать его руки, ослаблять закруты его щипков, в то же время делая вид, что охотно принимаю участие в игре. Я почему-то все время помнил, что он — гость и что его обижать нельзя.

Обычно ребята во время такой ценячьей возни чувствуют какой-то порог, дальше которого нельзя идти. Этот же, возбуждаясь, пытался как можно глубже проникнуть в мою боль, пытался доковыряться до ее корней, до ее последнего сладостного нерва. Ну я, разумеется, старался не давать ему доковыряться до самых глубоких корней, отвлекая и стараясь подставлять ему более грубые, сравнительно боленепроницаемые участки тела. Наконец мы встали.

— Я сильно покраснел? — спросил он у меня.

— Не очень, — ответил я, глядя на его все еще возбужденную мордочку с пылающими глазами. Он тщательно оглядел себя, поправил чулки, расправил складки на вельветовых штанишках и вдруг стал трясти головой.

— Чтобы кровь отхлынула от головы, — объяснил он свое странное поведение.

Мы вошли в кухню. Он снова стал рядом с матерью, глядя перед собой большими печальными глазами, и легкий наклон тела говорил о неустанной готовности выполнять любые мамины приказы.

* * *

Вот у них-то время от времени я и стал спрашивать, который час. Чаще всего мне отвечала его мать, иногда сестра, иногда этот маленький разбойник.

— Зайди посмотри, — говорила мне его мать, если я обращался к ней во дворе.

В таких случаях мне приходилось действовать с огромной осторожностью и хитростью. Я знал, что если Эрик дома, то он меня обязательно поймает, потому что

дома ему бывало скучно одному, а гулять его часто не выпускали за тихое бешенство его характера, которое не все соглашались терпеть. Происходили столкновения, после которых он получал порядочную порцию ремня от своей мамы.

— Мамочка, родная, я больше не буду! — раздавался его голос, сопровождаемый дикими взвизгиваниями. Двор, притихнув, прислушивался, жалея его и в то же время проявляя понимание необходимости таких экзекуций.

— Наши дети золотые, — покачивая головой, резюмировала тетушка сверху, — только мы не умеем их ценить...

После такой порки его обычно несколько дней не выпускали из квартиры, он подолгу сидел у окна, сооружая там всякие машины из своего конструктора. В эти дни он был особенно опасен, пропитывался ядом злости, как скорпион в брачный период.

Таким образом, когда я входил к ним в дом, а мамы его там не было, я должен был проявлять особую осторожность и хитрость. Смысл моей тактики заключался в том, чтобы с наименьшим количеством болевых ощущений, но ценой этих ощущений узнать время и выбраться из квартиры. Поэтому, когда я входил в дом, а он предлагал поиграть, у меня не было возможности отказать ему.

Совершенно бессознательно я использовал довольно тонкий психологический прием, при помощи которого заставлял его сообщать мне время. Увидев меня, он бросался ко мне с просьбой поиграть, что в конечном счете означало разрешить ему пощипать меня, покусать или даже слегка придушить.

— Хорошо, — соглашался я, — минут десять поиграем, и я пойду.

И вот я уже нарушитель границы, ползущий на советскую территорию, то есть в комнату, в которой стоят часы, а он знаменитый пограничник Карацупа и одновременно его собака.

— Фас! — приказывает он самому себе и бросается на меня. Осторожно держа на спине собаку, грызущую мне затылок, я делаю героический переход в комнату с часами. Я ползу, стараясь не думать о боли, думать о чем-нибудь приятном, что мне почему-то плохо удается. Наконец я проползаю в заветную комнату и тут же под влиянием боли, а также тактической хитрости вскакиваю:

— Все! Прошло десять минут!

— Нечестно! Нечестно! — кричит он, показывая на часы. — Сейчас только пятнадцать минут первого.

Он кричит что-нибудь вроде этого, с горящими глазами, весь — трепет, весь — возбуждение, весь — праведный гнев. И я знаю, что он не врет, что это правда.

Конечно, все может быть. Может быть, я, по мнению некоторых осторожных людей, и не должен был здесь излагать этот хитроумный прием, чтобы им не воспользовались уголовные элементы. Но ведь я из чего исхожу? Я исхожу из того, что уголовные элементы меня не читают. Ну а если вдруг прочтет кто-нибудь из них по ошибке, то он в процессе чтения обязательно исправится, и, следовательно, ему незачем будет использовать этот прием в преступных целях. Такова нравственная сила нашей литературы, иначе, как говорится, и быть не может.

Но вернемся к нашему жизнеописанию. Кроме этого милого садиста, бросив кусок мяса которому можно было узнать время, еще одно препятствие стояло на моем почти сказочном пути к познанию времени.

То была его сестра. Правда, непосредственно препятствие это возникало довольно редко. Но силой душевных терзаний оно не уступало физическим страданиям, которые я испытывал от ее брата. Хотя в отличие от брата она была доброй девушкой.

Лиза была студенткой педагогического института и, видимо, впервые попала на Кавказ. Все ее тут приводило в восторг, а особенно ей нравились наши местные молодые люди, а из местных молодых людей те, которые были армянского происхождения.

Сейчас, думая о причине ее влюбчивости и своеобразной избирательности, я нахожу этому такое объяснение. Как я говорил, она была близорука и при этом не носила очков. По-видимому, для такой девушки все мужчины должны проходить как расплывчатые контуры с лицами, покрытыми чадрой, которая как бы распахивается на близком расстоянии. Среди этих загадочных чадроносителей выгодно выделялись лица с наиболее контрастными чертами: белозубые, чернобровые, черноглазые. А такими лицами, как правило, хотя и не без исключения, в нашем городе обладали армяне.

Вот я и думаю, что сначала она видела эти лица как наименее расплывчатые, вызывающие желание приглядеться, а потом, приглядевшись, влюблялась в них, потому что невиденье (как и неведение в области идей) де-

лало каждое рассмотренное лицо свежим и оригинальным. Одним словом, она влюблялась в армян. Это было ясно хотя бы по именам ее поклонников. Первым был Аветик, потом Вагген, потом Аюц, потом Мелик, потом, как сказала бы моя мама, Черт, Дьявол, Холера...

Короче говоря, она в них влюблялась, а влюбившись, писала о них рассказы. Каждый рассказ вмещался в одну ученическую тетрадь или был на несколько страничек поменьше. Эти рассказы она читала мне, если я попадался на ее пути, но чаще моей старшей сестре и ее подружкам.

За первый год пребывания в нашем дворе она написала около десяти рассказов, где были выведены молодые люди, в которых она влюблялась.

По общему признанию лучшим рассказом был самый первый, то есть рассказ про Аветика. Время от времени у нас дома сестра моя вместе со своими подругами устраивала громкие читки ее рассказов, и чаще всего читался рассказ про Аветика. И хотя обычно читали его в другой комнате, все-таки сквозь однообразное журчанье то и дело доносилось:

— Аветик, Аветик, Аветик...

От частого употребления многие места этого рассказа, особенно его начало, запомнились мне наизусть.

«...Аветик, высокий молодой человек, с мягкими, темными, волнистыми волосами, шел по прибрежной улице. На нем был белоснежный костюм, который так шел его спортивной, праздничной фигуре.

— Привет Аветику, — окликнул его кто-то с бульварной скамейки. Аветик посмотрел в ту сторону и уже хотел пройти дальше, поприветствовав знакомых студентов, но что-то его остановило и заставило к ним подойти. Среди знакомых студентов он заметил незнакомую девушку, которая поразила его своей оригинальной внешностью.

— Аветик, — просто сказал Аветик, когда их представили друг другу, и он пожал руку девушки крепким спортивным рукопожатием.

— Кажется, я вас где-то видел, — сказал Аветик, обращая внимание на ее волнующую привычку щурить глаза.

— Вполне возможно, — просто сказала девушка и улыбнулась ему той беспомощной улыбкой, которая всегда обезоруживает мужчин, — ведь я была на вашем последнем волейбольном матче. Вы играли бесподобно.

— Если бы я знал, что вы смотрите, — сказал Аветик, и на лице его проступила краска, заметная даже сквозь густой оливковый загар, — поверьте, я бы играл намного лучше...»

Это место меня всегда раздражало своей нелогичностью. Ведь если он подумал, что где-то ее видел, а потом выяснилось, что видел он ее именно на этой игре, то какого черта он несет всю эту чепуху: смотрите, не смотрите?! Кроме того, мне казалось, что фраза насчет волнующей привычки щурить глаза звучит нахально. Я считал, что в этой фразе должно было быть ясно, что привычка щурить глаза волнует именно Аветика, а не всех. Меня, например, ее привычка щурить глаза совсем не волновала. Дальше шло описание встреч, танцев на вечеринке и тому подобная ерунда. Кстати, описание кофточки, в которой героиня пришла на вечеринку, во время первого авторского чтения рассказа сопровождалось бесподобным по своей глупости движением головы в сторону этой же кофточки, сейчас висевшей на спинке кровати. Движение это, якобы незаметное для других, что делало его еще более глупым, предназначалось моей сестре, как посвященной. Я сам видел этого Аветика, и никакого там оливкового загара на его лице не было, обыкновенный чернявый парень, каких у нас полным-полно.

Кстати, во всех сценах рассказа он неизменно появлялся в своем белоснежном костюме, и, так как несколько белоснежных костюмов у него быть не могло, я представлял, что этот Аветик каждую ночь стирал свой костюм, а утром гладил его и выходил на улицу. В последней сцене описывался вечер на берегу моря, завершившийся первым поцелуем.

«...— Кажется, для спортсмена я слишком сентиментален, — тихо сказал Аветик и склонился к ней.

— Как странно, — прошептала она, и глаза ее закрылись. Из теплохода, стоявшего на пристани, доносилась дивная музыка».

Мать ее, слушавшая вместе с нами этот рассказ, почему-то хвалила описание природы, хотя там никакой природы, кроме вздохов волн и пьянящего запаха магнолий, не было.

Я все думал, откуда она взяла этот пьянящий запах магнолий, когда на всем побережье Абхазии нигде нет ни одной магнолии. Они растут в парках и во дворах, а на самом берегу не растут.

После этого самого большого рассказа пошли другие

рассказы про других армянских парней, потом в середине зимы вдруг снова выскочил Аветик, на этот раз в белоснежном свитере, что соответствовало нашей зимней погоде, но никак не соответствовало другим поклонникам, существование которых делало его появление скандальным. Он появился так, словно надолго уезжал на какие-нибудь соревнования, а она все это время здесь ждала его, хотя и он никуда не уезжал, и поклонники тут же шныряли. Просто они поссорились, а потом, видно, помирились, но ненадолго, и рассказец этот с Аветиком в белоснежном свитере оказался коротким, на полтетрадки.

Так вот, слушание этих рассказов тоже было связано с необходимостью узнавать время. То есть, скажем, я, измученный ее братом, выхожу из другой комнаты, а она в это время, низко-низко склонившись над тетрадью, строчит очередной рассказ.

— Подожди, сейчас кончаю, — говорит она, лежа щекой на тетради, и я вынужден дожидаться ее рассказа, где обязательно откуда-нибудь, если не с парохода, так с катера, если не с катера, так из зелени парка, будет доноситься дивная музыка.

Кроме того, я на правах человека, близкого дому, должен был выслушивать их во время коллективных чтений у нас или у нее. Кончилось все это тем, что в тетради с первым рассказом об Аветике, который пользовался наибольшим успехом у подружек моей сестры (им было по тринадцать-четырнадцать лет), в том месте, где было написано, что среди знакомых студентов его поразила незнакомая девушка с оригинальной внешностью, кто-то приписал сверху: «И ногами, толстенькими, как бильярдные ножки».

Сестра моя, отдавая ей эту замечательную тетрадь, не заметила приписку, но та ее заметила и обиделась на меня. И напрасно, потому что я никогда не видел настоящего бильярдного стола, кроме детского бильярда, стоявшего в парке, кстати, на тоненьких ножках с металлическими шарами, и все равно недоступного из-за ребят постарше, вечно толпившихся вокруг него.

Скорее всего эту приписку сделал мой брат, к тому времени уже околачивавшийся возле городских бильярдных, или кто-нибудь из старших братьев подружек моей сестры, которые, по всей вероятности, тоже околачивались возле приморских бильярдных. Вообще-то чисто теоретически нельзя исключить, что приписку сделал и кто-

нибудь из тех, кто сам не околачивается возле бильярдных, но, наострив уши, слушает все, что выбалтывают те, кто околачивается возле них. Одним словом, я не знаю, кто сделал эту приписку, да и случилось это несколько позже того времени, которое я описываю сейчас.

Таким образом, я продолжал узнавать время по более или менее сходной цене болевых ощущений. Иногда, правда, Эрик вдруг превышал пределы терпимости, но и я иногда делал вид, что испытываю невыносимые страдания, когда страдания были вполне выносимы. Один раз он так сдавил мне горло, что я на мгновение потерял сознание. Помню, тогда меня больше всего поразила легкость, с которой можно лишить человека сознания. Оказывается, для этого достаточно более или менее одновременно сдавить сонные артерии — и ты вдруг так запросто теряешь сознание.

Вообще в детстве я отличался некоторой повышенной терпимостью к боли. Помню, когда я ходил в диспансер, где мне делали хинные (вечный малярик), очень болезненные уколы, я часто, дожидаясь очереди, слышал душераздирающие крики детей и иногда даже стоны взрослых. Я же переносил эту боль, не проронив ни звука, что вызывало удовольствие сестер и врачей. Меня ставили в пример.

Сначала мне было стыдно стонать или кричать — по видимому, сказывались осколки абхазского воспитания. У абхазцев, как, вероятно, у всех горцев, довольно сильно развит в народном творчестве и в народных обычаях мотив превозмогания боли. Таким образом, этический мотив (стыд), подкрепляясь эстетическим примером (песня, легенда), помогал создавать тот духовный подъем, который отчасти заменял отсутствие наркотических средств в народной медицине. Так, «Песня ранения» прямо адресовалась раненому, чтобы помочь ему переносить страдания.

Возможно, в какой-то мере осколки этого сознания во мне жили и мне помогали, а потом меня стали ставить в пример, так что стало еще стыдней проявлять признаки слабости.

Но видно, всякая боль и терпение имеют свой порог, свои нервные пределы. Помню, однажды, когда я лежал дома после нескольких изнурительных приступов малярии и к нам домой пришла медсестра, чтобы взять у меня из пальца кровь на анализ, я долго и нудно сопротивлялся, никак не мог решиться протянуть ей палец.

Видимо, нервно ослабленный и изнеженный повышенной лаской к больному, я не мог силой стыда преодолеть эту, сравнительно с хинным уколком маленькую, неприятность. Хотя ослабление силы стыда отчасти и было вызвано, как я думаю, общим физическим ослаблением организма, что привело к ослаблению нервной силы, все же главное, я думаю, не в этом. Главное — ослабление силы стыда было вызвано именно повышенным вниманием ко мне как к больному. Это повышенное внимание ко мне выражалось в желании близких свести на нет мнимые и истинные неудобства, которые испытывает больной. Причем сам больной, то есть я, воспринимал это повышенное внимание как справедливую плату за страдание. Это и снижало силу стыда, но воспринималось не как снижение силы стыда, а как одна из форм платы за страдание.

— Мне и так плохо, — как бы говорил я медсестре (а может, и на самом деле говорил), — так что же вы мне еще больно делаете?

Кстати, насколько я помню, повышенное внимание я не только воспринимал как справедливую плату за страдание, но, помнится, было какое-то ощущение недоплаты за эти страдания, что выражалось в капризах, доставлявших хмурое удовольствие.

Каприз — хромой призрак власти.

Кстати, механизм капризов женщины примерно такой же. Ощущение недоплаты, недооцененности. Это ощущение особенно свойственно замужним женщинам. И если вы хотите добиться у них признания, вам надо сделать следующее: вам надо с важным видом отвести такую женщину в сторонку и под тем или иным предлогом сказать, что хотя ее муж вообще человек неглупый, имеет хороший вкус (намек: знал, кого выбрать), но при этом вы удивлены одним его поразительным недостатком.

— Каким? — интересуется заинтригованная женщина.

— Мне кажется, — говорите вы, — он вас недооценивает.

«Какой пронизательный человек», — думает о вас женщина, уже склонная отблагодарить вашу пронизательность.

Но шутки в сторону. В нашем цивилизованном обществе, мне кажется, идет безостановочный разорительный процесс снижения качества женской красоты. Процесс этот скорее всего неизбежен и не вчера начался. Еще Лермонтов жаловался на «давно нетрепетные руки» кра-

савиц городских. Чем привлекательней женщина, тем больше восхищенных взоров она встречает, чем больше она их встречает, тем больше убеждается в своей биржевой полноценности. Ощущение полноценности есть ощущение подобия идеалу или близости к нему. А если вы близки к идеалу или тем более чувствуете себя идеалом, вам не к чему стремиться. Отсюда и ослабленные силы стыда, порыва, одухотворенности. Отсюда — тяжелая тупость красавицы. Между прочим, недаром, когда мы испытываем стыд, кровь ударяет нам в голову, то есть природа как бы подсказывает нам усилиями ума выйти из неловкого положения. Самую неловкость она, возможно, рассматривает как следствие своего недосмотра: вот, мол, недодала свежей крови голове, и человек глупость сделал, после чего двумя-тремя ударами сердечного насоса она накачивает нашу голову, теперь слегка балдеющую от избытка крови.

И мы, подражая природе, усилиями ума подсказываем выход для наших от нашего же восхищения тупеющих красавиц: выход один — развитие духа. Духовное развитие вернет женскому сознанию вместо тяжелых вериг домостроевских и магометанских табу жар обаяния. Откуда он придет? От истинного понимания, что есть формы красоты неизмеримо более высокие, чем красота прекрасного лица, а именно — красота благородной души. И тогда красавица с восхищением посмотрит на какую-нибудь старушку, всю жизнь положившую на своих непутевых детей, и это восхищение придаст ее лицу тот душевный трепет, которого ей сейчас так не хватает.

Но вернемся к нашему изрядно поднадоевшему сюжету.

В конце концов однажды я попался. В тот день я вышел во двор и увидел тетю Женю, развешивавшую белье. Я дождался, когда она его развесит, и, думая, что она сейчас пойдет домой, спросил, который час.

— А ты зайди и посмотри, — сказала она как-то странно и стала натягивать через двор вторую веревку. Приготовившись получить привычную порцию пыток, я взошел на крыльцо и открыл дверь в их квартиру. Бамбуковая палка, при помощи которой поддерживают сохнущее белье на веревке, рухнула мне на голову с каким-то надтреснутым звоном. Из приоткрытых дверей следующей комнаты раздался воркующий смех юного экспериментатора. Палка эта, привязанная к шпагату, была подтянута к крюку, вбитому над дверью. Как только я

открыл дверь в первую комнату, он, выглядывая из-за приоткрытой двери второй комнаты, вовремя отпустил конец пшагата.

— Эрик, палку! — раздался в это время голос его матери со двора.

— Сейчас, мамочка, — крикнул он ей в ответ и, исполнив передо мной небольшой танец индейца с копьём, сорвал пшагат с палки и убежал вниз.

Контуженный не столько силой удара, сколько мистической точностью коварного расчета (то есть опять проявившимся лучшим умением обращаться со временем — а что, если бы его мама чуть раньше попросила бы палку?), я вошел во вторую комнату, посмотрел на часы, мерцающие золотой бляхой маятника, взглянул на грозное в своей непонятности лицо циферблата и вышел из квартиры, стараясь понезаметней проскочить двор.

Но не тут-то было. Моя собственная тетюшка, высунувшись из окна, спросила:

— Сколько?

Я посмотрел на тетюшку, а потом вдруг заметил, что и некоторые другие обитательницы нашего двора прислушиваются к моему предстоящему ответу.

— Без двенадцати, — крикнул я, нахальством голоса заглушая стыд, и, обрушившись с крыльца во двор, силой инерции взбежал на свое крыльцо, как лыжник с холма на холм.

Схватив портфель, я убежал из дому. Оказалось, что в школу я пришел впритык, и это какой-то занозой застряло у меня в груди. Я-то знал, что добежать от нашего дома до школы можно было за две-три минуты. И если бы Эрик или его мама захотели проверить время, стало бы ясно, что я не умею его определять.

В тот день, придя из школы домой, я заметил, что маленький разбойник, несколько раз попадавшийся мне во дворе, как будто затаил какое-то ехидство. Он все знает, уныло думал я, но, может, все-таки он об этом не рассказывал своей маме? Мало того, что я не умею узнать время, думал я с ужасом, я уже несколько месяцев морочу им голову, делая вид, что умею. Это придавало возможному разоблачению особую гнусность.

На следующее утро, когда я выходил во двор, мне показалось, что тетя Женя, отряхивавшая на крыльце мокрый веник, посмотрела на меня долгим насмешливым взглядом. Я не знал, что думать.

Приближалось время идти в школу, и я решил при-

бегнуть к старому способу. Я открыл окно и, упершись головой в железные прутья решетки, смотрел на улицу, ожидая прохожего с часами. Как назло, ни один прохожий из тех, кто, по моим соображениям, мог иметь часы, на улице не появлялся.

Через некоторое время из нашего двора вышел дядя Алихан с дымящейся корзиной, наполненной вареными каштанами. В городе он обычно продавал вареные каштаны. Он поставил корзину почти под моим окном и, не замечая меня, стоял, раздумывая, куда идти — направо или налево. Только к пароходу он шел целенаправленно, а так он и сам не знал, где ему лучше продавать каштаны.

Как раз в это время на улице появилось двое бодрых, уверенных в себе мужчин. Только я подумал, что у них на руках могут быть часы, как один из них окликнул Алихана:

— Что это у тебя?

— Каштаны, — ответил Алихан, радостно вздрагивая и делая движение, выражающее готовность гребануть из корзины порцию каштанов.

— О, каштаны! — воскликнул первый бодрячок, и оба они быстро подошли к Алихану.

— Жареные? — спросил второй бодрячок, и по тону его видно было, что хоть и он бодрячок, а до первого ему в бодрости не дотянуться.

— Вареные, — сказал Алихан. Словно смягчая удар, он откинул марлю, и из корзины дохнуло парным запахом горячих, взбухших от варки и потрескавшихся каштанов.

— Жареные лучше, — важно сказал второй бодрячок и, оттопырив карман пиджака, подставил его Алихану. Алихан гребанул стаканом из корзины и, придерживая переполненный стакан ладонью другой руки, перевернул его в карман.

— А сырые еще лучше, — добавил первый бодрячок еще более уверенно и тоже оттопырил карман пиджака. Казалось, все, что надо знать о каштанах и о жизни вообще, эти двое знают лучше всех, а из двоих — первый.

— Дяденька, который час? — спросил я, стараясь обратиться к первому.

Все трое разом подняли на меня глаза. Первый как раз оттопыривал карман для каштанов, и второй поэтому его опередил.

— Без четверти час, — сказал он, вскидывая руку.

— А точнее, без шестнадцати! — добавил первый бодрячок, справившись с каштанами и теперь большей точностью как бы снова подтверждая свою большую бодрость.

Раздавливая в зубах горячие каштаны, они быстро пошли дальше, и кто-то из них пошутил насчет решетки, из-за которой я с ними говорил и которая напоминала им что-то смешное, но что именно, я не смог ухватить. Они ушли, веселые, бодрые, как бы хозяева жизни и окружающего пейзажа. Они ушли, внушая какое-то странное чувство зависти и снисходительного удивления к своей психической простоте, которую, разумеется, я формулирую сейчас, но почувствовал тогда же. И не только почувствовал, но и с грустью осознал, что все должно было бы быть наоборот, то есть я, маленький, должен был жить весело, беззаботно, а они, большие, должны были быть озабочены сложными взрослыми делами.

Унылый Алихан посмотрел им вслед, потянулся всей своей длинной согбенной фигурой и, словно только теперь поняв, куда ему идти, поднял корзину и пошел в противоположную сторону. Тут и я догадался, что мне делать.

Я выскочил во двор, поднялся на крыльцо наших новых жильцов и крикнул:

— Тетя Женя, который час?

— А ты зайди и сам посмотри, — услышал я ответ, который ожидал.

Я вошел в квартиру. В первой комнате у стола стояла тетя Женя и гладила редким тогда в наших краях электрическим утюгом. Сын ее, сидя на полу, создавал из своего конструктора индустриальный пейзаж. Пока я проходил во вторую комнату, Эрик провожал меня спокойным взглядом провокатора. Я зашел в другую комнату, посмотрел на ничего не говорящий мне мавзолей времени и вышел.

— Сколько? — спросила тетя Женя.

— Без пятнадцати, — сказал я небрежно и закрыл за собой дверь. Не удержался и несколько мгновений простоял с бьющимся сердцем. Крепкие ноги мальчугана протопали в другую комнату.

— Ну? — нетерпеливо раздалось из первой комнаты.

— Правильно, — сказал мальчик без всякого чувства. Я услышал, как он шлепнулся на пол.

— Видишь, какой ты, — сказала она, — а ведь он

единственный мальчик в нашем дворе, который с тобой ладит...

Он что-то ей ответил, но я дальше не слушал. В тот день после уроков я решил не возвращаться домой, пока не пойму, как определять время.

Рядом с прибрежным бульваром, почти в конце улицы Ленина, высываясь над тротуаром, висели (и кажется, еще до сих пор висят) большие старинные часы.

Я знал, что многие взрослые люди, проходя под этими часами, довольно часто сверяют собственные. При этом они обязательно, если проходили не одни, громко называли время и выражали неудовольствие или, наоборот, радость по поводу работы своих часов.

В нескольких шагах от этих часов находилась часовая мастерская, словно для того, чтобы клиент после починки своих часов мог бы тут же сверять их работу с этими общегородскими и независимыми от часового мастера часами.

Тут-то я и стоял, поглядывая на толстого часовщика, который, зажав глазницей увеличительное стекло, пинцетом копошился в шевелящихся внутренностях часов, то вытаскивая оттуда, то снова вкладывая какие-то насекомообразные пружинки, колесики, винтики.

Потом я переводил взгляд на большие часы, ожидая прохожих и стараясь понять закономерность того, что произошло на циферблате после того, как сверяющие часы назовут новое время. В ожидании прохожих, сверяющих свои часы с городскими часами, я следил за работой часовщика или просто глядел на его витрину, где были выставлены с одной стороны испорченные часы, а с другой — починенные. Все починенные часы показывали одно время. Стрелки остановившихся часов были вольно, не похоже друг на друга раскинуты по циферблату.

После какого-то прохожего, громко сверившего свои часы, в какое-то мгновение, как-то самой собой, вдруг сообразилось, как люди определяют время. Оказывается, я все знал, кроме одного, — я не знал, что между цифрами на циферблате пролегал пространством в пять минут. Пораженный догадкой, ее стройностью и простотой, я ожидал все новых прохожих, которые, выкликая вычисленное мной время, уходили, обдав меня волной радости.

Но, видно, живое время двигалось слишком медленно, чтобы полностью поглотить радость моего открытия. Я, не сходя с места, стал определять время на всех ис-

порченных часах, словно на кладбищенских памятниках, читая время смерти маждых часов. Возможно, я увлекся и стал это делать глуп с неприличной громкостью. Часовщик неожиданно поднял голову, и я увидел сквозь увеличительное стекло свирепую выпуклость его циклопического глазного яблока с кончиками паучьих лапок ресниц. Я вздрогнул, словно на меня посмотрело какое-то глубоководное существо с огромным мистическим глазом. Словно владелец всех этих живых и мертвых времен разозлился на меня за то, что я пытаюсь проникнуть в его тайну.

Я отпрянул от витрины и побежал в сторону моря. Чайки, то останавливаясь, то взмахивая живыми стрелками крыльев (словно играя временем: захочу — пушу быстрее, захочу — буду парить, растягивая мгновенья), летали над водой. Со стороны моря в бухту входила громада теплохода «Абхазия», озаренная предзакатным солнцем. Встречающие толпились на пристани, иногда нетерпеливо взмахивая цветами, словно давая знать далекому пароходу, что они тут, а не где-нибудь в другом месте ждут его.

Я свернул с Портовой улицы и быстрыми шагами пошел в сторону дома.

На углу Портовой стояли столики открытой кофейни. Я невольно пошарил глазами по столикам, ища за ними кого-нибудь из близких. Так иногда мы нарочно пальцами нащупываем болевую точку на нашем теле, как бы проявляя предпочтение точного знания того, что боль не исчезла, смутной надежде на то, что она нас покинула.

За одним из столиков, как обычно в подпитии, сидел дядя Самад. Он что-то объяснял своим собеседникам. Широкие взлеты его жестикулирующих рук говорили о том, что они, эти руки, свободны от приводных ремней осторожности.

Люди за столиками перебирали четки, пили кофе из маленьких чашечек и червонное золото чая из тонких стаканов, забрасывая в рот голубоватые, величиной с игральную кость кусочки сахара. Некоторые из них читали газеты, некоторые обсуждали прочитанное, что было видно из того, что они в разговоре стучали пальцем по поверхности сложенной газеты, как бы ссылаясь на нее. Иные, попивая кофе, время от времени смотрели в сторону моря, прикрывшись от солнца сложенной газетой.

Казалось, слегка устав пережевывать газетные новости, они терпеливо обращались к древнему, более медлен-

ному, но и более надежному способу получения новостей: подождем, посмотрим, что скажут те, что плывут к нам морем.

Огненнобородый хиромант, не слезая с ослика, пил кофе возле одного из столиков, и все ближайšie столики были обращены к нему, потому что рассказы его, похожие на пророчества, хотя и не сбывались никогда, иногда утешали.

Казалось, древний пилигрим, достигший оазиса диоскурийской кофейни, сейчас расскажет последние вавилонские новости и двинется дальше на своем ослике, цокая честными копытами по кремнистым руслам исчезнувших царств и выбивая из них единственное, чем они владеют и владеют, — скудную пыль веков.

Я уже подходил к дому, когда меня догнал гудок парохода, низкий, благодушно-сдержанный, как силач в застольном кругу друзей.

— ...Этот сукин сын пароход тоже, — услышал я голос Богатого Портного, стоящего на своем балконе и легкими плевками пробуящего раскаленность утюга, — так гудит, как будто мне брильянт привез...

Из калитки вышел Алихан. С корзиной в руке, опрятный и целенаправленный, он шел в сторону моря. Когда он проходил мимо меня, на меня дохнуло вкусным запахом жареных каштанов. Я почувствовал, что здорово проголодался, и поспешил домой. Мне было легко, хорошо — постыдная тайна не отягощала мою душу.

МУЧЕНИКИ СЦЕНЫ

Однажды к нам в класс пришел старый человек. Он сказал, что он актер нашего городского драматического театра, что зовут его Левкоев Евгений Дмитриевич, что теперь он ведет драмкружок в нашей школе и сейчас хочет познакомиться кое-кого из нашего класса, чтобы посмотреть, годимся мы в артисты или нет.

Это был крупный, плотный человек с длинной жилистой шеей, чем-то похожий на отяжелевшего одышливого орла. Выражение лица у него было брюзгливое. Такие лица бывают у старых алкоголиков. Я это уже знал. У нашего дяди Самада было почти такое же выражение лица.

В тот первый день нашей встречи, глядя на его брюзгливое лицо, я думал о странностях природы, которая

придает людям одинаковое выражение брюзгливости, хотя у одних это следствие актерского ремесла, а у других это следствие злоупотребления алкогольными напитками.

Только гораздо позже я узнал, что и актеры могут иметь на лице выражение брюзгливости от злоупотребления спиртными напитками. А еще позже я понял, что выражение брюзгливости или брезгливости может быть следствием долгого исполнения ролей, внушающих исполнителю хроническое отвращение.

И вот, значит, он объяснил цель своего прихода в наш класс, а Александра Ивановна назвала несколько мальчиков и девочек, которых можно было попробовать. Я попал в их число. Я от природы был довольно громогласен и считал эту особенность даром хотя еще и не совсем понятного, но примерно такого назначения.

Все мы прочли по одному стихотворению. Евгений Дмитриевич выбрал меня (что опять же меня не удивило) и велел на следующий день прийти на занятие драмкружка, куда должны были собраться кандидаты в артисты.

На следующий день в назначенное время я пришел в это помещение, где собралось человек десять или пятнадцать.

Евгений Дмитриевич окончил занятие с группой старшекласников и занялся нами. Он сказал, что нам предстоит подготовить к общегородской олимпиаде постановку по произведению Пушкина «Сказка о Попе и его работнике Балде».

Для проверки способностей он давал прочесть каждому кусочек сказки. И вот мальчики и девочки стали читать, и многие из них страшно волновались, еще дожидаясь своей очереди, а некоторые из них сучили ногами и даже слегка подпрыгивали.

Скорее всего от этого волнения, начиная читать, они путали слова, заикались, а уж о громогласности и говорить нечего — громогласностью никто из них не обладал. Вероятно, по этой причине я чувствовал себя спокойно.

И не только спокойно. Я почему-то был уверен, что роль Балды, конечно, достанется мне и что Евгений Дмитриевич об этом знает, но, чтобы не обижать других приглашенных ребят, он вынужден был с ними немного повозиться.

Удивительно, что когда кто-нибудь из ребят ошибался в интонации или неправильно произносил слова, я с ничем не оправданным нахальством старался перегля-

нуться с Евгением Дмитриевичем, как переглядывается Посвященный с Посвященным, хотя за всю свою жизнь только один раз был в театре, где мне больше всего понравилась ловко изображенная при помощи световых эффектов мчащаяся машина.

На мой взгляд Посвященного Евгений Дмитриевич отвечал несколько удивленным, но не отвергающим мою посвященность взглядом. Когда дело дошло до меня, я спокойно прочел заданный кусок. Я читал его с легким утробным гудением, что должно было означать наличие больших голосовых возможностей, которые сдерживаются дисциплиной и скромностью чтеца.

— Вот ты и будешь Балдой, — клеткотнул Евгений Дмитриевич.

В сущности, я ничего другого не ожидал.

Одному мальчику, который был старше меня года на два и читал с довольно ужасным мингрельским акцентом, он сказал:

— Ты свободен...

Мне даже стало жалко его. Ведь Евгений Дмитриевич этими словами намекнул, что этот мальчик никуда не годится. Другим он или ничего не говорил, или давал знать, что должен подумать об их судьбе. А этому прямо так и сказал. Кстати, звали его Жора Куркулия.

— Можно, я просто так побуду? — сказал Жора и улыбнулся жалкой, а главное — совершенно неизбежной улыбкой.

Евгений Дмитриевич пожал плечами и, кажется, в этот же миг забыл о существовании Жоры Куркулия.

В этот день он распределил роли, и мы стали готовиться к олимпиаде. Репетиции дважды в неделю проходили в этом же помещении. Старшеклассники ставили сценку из какой-то бытовой пьесы, а после них мы начинали разыгрывать свои роли.

Иногда Евгений Дмитриевич немного задерживался со старшеклассниками, и тогда мы досматривали хвост этой пьески, где гуляка-муж, которого долго уговаривали исправиться сослуживцы, вдруг в последнее мгновение хватал гитару (на репетиции он хватал большой треугольник) и, якобы бряцая по струнам, вдруг запевал:

Я цыганский Байрон,
Я в цыганку влюблен...

— Не Байрон, а барон, запомни, — поправлял его

Евгений Дмитриевич, но это сути дела не меняло. Из его пения ясно следовало, что он все еще тянется к распутной жизни своих дружков.

После нескольких занятий я вдруг почувствовал, что роль Балды мне надоела.

Вообще и раньше мне эта сказка не очень нравилась, а теперь она и вовсе в моих глазах потускнела. Так или иначе, играл я отвратительно. Чем больше мы репетировали, тем больше я чувствовал, что ни на секунду, ни на мгновение не могу ощутить себя Балдой. Какое-то чувство внутри меня, которое оказывалось сильнее сознания необходимости войти в образ, все время с каким-то уличающим презрением к моим фальшивым попыткам (оно, это чувство, так и кричало внутри меня, что все мои попытки фальшивы) отталкивало меня от этого образа.

Внешне все это, конечно, выливалось в деревянную, скованную игру, которую я пытался прикрыть своей громкостью.

Надо сказать, что во время первых репетиций, когда еще только разучивали текст, громкость и легкость чтения давали мне некоторые преимущества перед остальными ребятами, и я время от времени продолжал переглядываться с Евгением Дмитриевичем взглядом Посвященного.

Этот взгляд Посвященного я в первое время ухитрялся распространять даже на постановку старшекласников, когда мы их заставляли за репетицией. Чаще всего этот взгляд вызывал все тот же гуляка-муж, упрямый не только в своем распутстве, но и в искажении своей песенки:

Я цыганский Байрон,
Я в цыганку влюблен...

Но потом, когда мы стали по-настоящему разыгрывать свои роли, я все еще пытался громкостью прикрыть бездарность своего исполнения и, мало того, продолжал бросать на Евгения Дмитриевича уже давно безответные взгляды Посвященного. Он однажды не выдержал и с такой яростью клокотнул на один из моих Посвященных взглядов, что я притих и перестал обращать его внимание на чужие недостатки.

Может быть, чтобы оправдать свою плохую игру, я все больше и больше недостатков замечал в образе проклятого Балды. Например, меня раздражал грубый обман, когда он, вместо того чтобы тащить кобылу, сел на

нее и поехал. Казалось, каждый дурак, тем более бес, хотя он и бесенок, мог догадаться об этом. А то, что бесенку пришлось подлезать под кобылу, казалось мне подлым и жестоким. Да и вообще мирные черти, вынужденные платить людям ничем не заслуженный оброк, почему-то были мне приятней и самоуверенного Балды, и жадного Попа.

А между прочим, Жора Куркулия все время приходил на репетиции и уже как-то стал необходим. Он первым бросался отодвигать столы и стулья, чтобы очистить место для сцены, открывал и закрывал окна, иногда бегал за папиросами для Евгения Дмитриевича. Он стал кем-то вроде завхоза нашей маленькой труппы.

Однажды, когда мы уже репетировали в костюмах, Евгений Дмитриевич предложил ему роль задних ног лошади. Жора с удовольствием согласился.

Мы уже играли в костюмах. Лошадь была сделана из какого-то твердого картона, покрашенного в рыжий цвет. Внутри лошади помещались два мальчика: один спереди, другой сзади. Первый просовывал голову в голову лошади и выглядывал оттуда через глазные дырочки. Голова лошади была на винтах прикреплена к туловищу лошади, так что лошадь довольно легко могла двигать головой, и получалось это естественно, потому что и шея и винты были скрыты под густой гривой.

Первый мальчик должен был ржать, качать головой и указывать направление всему туловищу, потому что там, сзади, второй мальчик находился почти в полной темноте. У него была единственная обязанность — оживлять лошадь игрой хвоста, к репице которого изнутри была прикреплена деревянная ручка. Тряхнул ручкой — лошадь тряхнула хвостом. Опустил ручку — лошадь подняла хвост. Оба мальчика соответственно играли передние и задние ноги лошади.

Жора Куркулия получил свою роль после того, как Евгений Дмитриевич несколько раз пытался показать мальчику, играющему задние ноги лошади, как выбивать ногами звук галопирующих копыт. У мальчика никак не получался этот звук. Вернее, когда он вылезал из-под крупа лошади, у него этот звук кое-как получался, а под лошадью получался неправильно.

— Вот так надо, — вдруг не выдержал Жора Куркулия и без всякого приглашения выскочил и, топоча своими толстенными ногами, довольно точно изобразил галопирующую лошадь.

Этот звук, издаваемый ногами Жоры, очень понравился нашему руководителю. Он пытался заставить мальчика, игравшего задние ноги лошади, перенять этот звук, но тот никак не мог его перенять. После каждой его попытки Куркулия уже сам выходил и точным топотаньем изображал галоп. При этом он, подобно чечеточникам, сам прислушивался к мелодии топота и призывал этого мальчика прислушаться и перенять. У мальчика получалось гораздо хуже, и Евгений Дмитриевич поставил Жору на его место.

На следующей репетиции Куркулия вдруг из-под задней части лошадиного брюха издал радостное ржание, как показалось мне, без какой-либо видимой причины. Но Евгения Дмитриевича это ржание привело в восторг. Он немедленно извлек Куркулия из-под лошади и несколько раз заставил его заржать. Куркулия ржал радостно и нежно. Особенно понравилось Евгению Дмитриевичу, что ржание его кончалось храпцом, и в самом деле очень похожим на звук, которым лошадь заканчивает ржанье.

— Все понимает, чертенок, — повторял Евгений Дмитриевич, с наслаждением слушая Жору.

Разумеется, он тут же стал требовать от мальчика, игравшего передние ноги лошади, чтобы он перенял это ржанье. После нескольких унылых попыток этого мальчика Евгений Дмитриевич махнул на него рукой и поставил Жору Куркулия на его место, чтобы не получилось, что ржет лошадь противоположной стороной своего туловища. Хотя толстые ноги Куркулия больше подходили к задним ногам, пришлось пожертвовать этим небольшим неправдоподобием ради правильного расположения источника ржания.

Репетиции продолжались. Однажды, когда я споткнулся в одном месте, то есть забыл строчку, вдруг лошадь обернулась в мою сторону и сказала с явным мингрельским акцентом.

— Попляши-ика ты под нашу ба-ля-ляйку!

Все рассмеялись, а Евгений Дмитриевич сказал:

— Тебе бы цены не было, Куркулия, если бы ты избавился от акцента...

Иногда Жора подсказывал и другим ребятам. Видимо, он всю сказку выучил наизусть.

В один прекрасный день, играя с ребятами нашей улицы в футбол, я вдруг заметил, что со стороны школы к нам бежит Жора Куркулия. Он бежал и на ходу делал

какие-то знаки руками, явно имевшие отношение ко мне. Сердце у меня екнуло. Я вспомнил, что мне давно пора на репетицию, а я спутал дни недели и считал, что она будет завтра. Куркулия Жора приближался, продолжая выражать руками недоумение по поводу моего отсутствия.

Было ужасно неприятно видеть все это. Точно так же было однажды, когда я увидел входящую в наш двор и спрашивающую у соседей, где я проживаю, старушенцию из нашей городской библиотеки. Я потерял книгу, взятую в библиотеке, и она меня дважды уведомляла письмами, написанными куриным коготком на каталожном бланке с дырочкой. В этих письмах со свойственным ей ехидством (или мне тогда так казалось?) она уведомляла, что за мной числится такая-то книга, взятая такого-то числа и так далее. Письма эти были сами по себе неприятны, особенно из-за куриного коготка и дырочки в каталожной карточке, которая воспринималась как печать. Я готов был отдать любую книгу из своих за эту потерянную, но необходимость при этом общаться с ней, и рассказывать о потере, и знать, что она ни одному моему слову не поверит, сковывала мою волю.

И вдруг она появляется в нашем дворе и спрашивает, где я живу. Это было похоже на кошмарный сон, как если бы за мной явилась колдунья из страшной сказки.

Эту старушенцию мы все не любили. Она всегда ухитрялась всучить тебе не ту книгу, которую ты сам хочешь взять, а ту, которую она хочет тебе дать. Она всегда ядовито высмеивала мои робкие попытки отстаивать собственный вкус. Бывало, чтобы она отстала со своей книгой, скажешь, что ты ее читал, а она заглянет тебе в глаза и спросит:

— А про что там говорится?

И ты что-то бубнишь, а очередь ждет, а старушенция, покачивая головой, торжествует, и записывает на тебя опостылевшую книгу, и еще, поджав губы, кивает вслед тебе, мол, сам не понимаешь, какую хорошую книгу ты получил.

* * *

Когда мы вошли в комнату для репетиций, Евгения Дмитриевича там не было, и я, надеясь, что все обойдется, стал быстро переодеваться. У меня было такое чувство, словно если я успею надеть лапти, косоворотку и

рыжий парик с бородой; то сам я как бы отчасти исчезну, превратившись в Балду. И я в самом деле успел переодеться и даже взял в руку толстую, упрямо негнущуюся противную веревку, при помощи которой Балда якобы мутит чертей. В это время в комнату вошел Евгений Дмитриевич. Он посмотрел на меня, и я как-то притаил свою сущность под личиной Балды. Вид его показался мне не особенно гневным, и у меня мелькнуло: хорошо, что успел переодеться.

— Одевайся, Куркулия, — кивнул он в мою сторону, — а ты будешь на его месте играть лошадь...

Я выпустил веревку, и она упала, громко стукнув о пол, как бы продолжая отстаивать свою негнущуюся сущность. Я стал раздеваться. И хотя до этого я не испытывал от своей роли никакой радости, я вдруг почувствовал, что глубоко оскорблен и обижен. Обида была так глубока, что мне было стыдно протестовать против роли лошади. Если бы я стал протестовать, всем стало бы ясно, что я очень дорожу ролью Балды, которую у меня отняли.

А между тем Жора Куркулия стал поспешно одеваться, время от времени удивленно поглядывая на меня, мол, как ты можешь обижаться, если сам же своим поведением довел до этого Евгения Дмитриевича. Каким-то образом его взгляды, направленные на меня, одновременно с этим означали и нечто совершенно противоположное: неужели ты и сейчас не обижаешься?!

Жора Куркулия быстро оделся, подхватил мою негнущуюся веревку, крепко тряхнул ею, как бы пригрозил сделать ее в ближайшее время вполне гнущейся, и предстал перед Евгением Дмитриевичем таким ловким, подтянутым мужичком.

— Молодец! — сказал Евгений Дмитриевич.

«Молодец?! — думал я с язвительным изумлением. — Как же будет он выступать, когда он лошадь называет лёшадью, а балалайку — баляляйкой?»

Началась репетиция, и оказалось, что Жора Куркулия прекрасно знает текст, а уж играет явно лучше меня. Правда, произношение у него не улучшилось, но Евгений Дмитриевич так был доволен его игрой, что стал находить достоинства и в его произношении, над которым сам же раньше смеялся.

— Даже лучше, — сказал он, — Куркулия будет местным, кавказским, Балдой.

А когда Жора стал крутить мою негнущуюся веревку

с какой-то похабной деловитостью и верой, что сейчас он этой веревкой раскрутит мозги всем чертям, при этом не переставая прислушиваться своими большими выпуклыми глазами к тому, что происходит якобы на дне, стало ясно — мне с ним не тягаться.

Я смотрел на него, удивляясь, что в самом деле у него все получается гораздо лучше, чем у меня. Это меня не только не примирило с ним, но, наоборот, еще больше раздражало и растравляло. Если бы, думал я, выглядывая из отверстия для лошадиных глаз, я бы мог поверить, что все это правда, я бы играл не хуже.

Не прошло и получаса со времени моего появления на репетиции, а Куркулия уже верхом на мне и своим бывшем напарнике галопировал по комнате. В довершение всего напарник этот, раньше игравший роль передних ног, теперь запросился на свое старое место, потому что очень быстро выяснилось, что я галопирую и ржу не только хуже Куркулия, но и этого мальчика. После всего, что случилось, я никак не мог бодро галопировать и весело ржать.

— Ржи веселее, раскатистей, — говорил Евгений Дмитриевич и, приложив руку ко рту, ржал сам, как-то чересчур благостно, чересчур доброжелательно, словно подсказывал Балде, какое задание дать бесенку.

— Он ржит, как голодная лѣшадь, — пояснил Жора, выслушав слова Евгения Дмитриевича. Тот кивнул головой. Как быстро, думал я с удивлением, Куркулия привык к своему новому положению, как быстро все забыли, что я еще полчаса тому назад был Балдой, а не ржущей частью лошади.

Так или иначе мне пришлось переместиться на место задних ног лошади. Оказалось, что сзади труднее: мало того, что там было темно, так, оказывается, еще и Балда основной тяжестью давил на задние ноги. Видимо, обрадовавшись освобождению от этой тяжести, мальчик, вернувшийся на свое прежнее место, весело заржал, и Евгений Дмитриевич был очень доволен этим ржанием.

Так, начав с главной роли Балды, я перешел на самую последнюю — роль задних ног лошади, и мне оставалось только кряхтеть под Жорой и время от времени подергивать за ручку, чтобы у лошади вздымался хвост.

Но самое ужасное заключалось в том, что я как-то проговорился тетушке о нашем драмкружке и о том, что я во время олимпиады буду играть в городском театре роль Балды.

— Почему ты должен играть Балду? — сначала обиделась она, но потом, когда я ей разъяснил, что это главная роль в сказке Пушкина, тщеславие ее взыграло. Многим своим знакомым и подругам она рассказывала, что я во время школьной олимпиады буду играть главную роль по сказкам Пушкина; обобщала она для простоты и отчасти для сокрытия имени главного героя. Все-таки имя Балды ее несколько корбило.

И вот в назначенный день мы за кулисами. Там полным-полно школьников из других школ, каких-то голенастых девчонок, тихо мечущихся перед своим выходом.

Мне-то вся эта паника была ни к чему, у меня было все просто. Я выглянул из-за кулис и увидел в полутьме тысячи человеческих лиц и стал вглядываться в них, ища тетушку. Вместо нее я вдруг увидел Александру Ивановну. Это меня взбудрило, и я мысленно отметил место, где она сидела. У меня даже мелькнула радостная мысль: а что, если тетушку в последнее мгновение что-нибудь отвлекло и она осталась дома!

Нет, она была здесь. Она сидела в третьем или четвертом ряду, совсем близко от сцены. Она сидела вместе со своей подружкой, тетей Медеей, со своим мужем и моим сумасшедшим дядюшкой Колей. Зачем она его привела, так и осталось для меня загадкой. То ли для того, чтобы выставить перед знакомыми две крайности нашего рода, вот, мол, наряду с некоторыми умственными провалами имеются и немалые сценические достижения, то ли просто кто-то не пошел, и дядюшку в последнее мгновение прихватили с собой, чтобы не совсем пропал билет.

Действие уже шло, но тетушка оживленно переговаривалась с тетей Медеей. Во всяком случае, они о чем-то говорили. Это было видно по их лицам. Я понимал, что для тетушки все, что показывается до моего выступления, что-то вроде журнала перед кинокартиной.

Я с ужасом думал о том, что будет, когда она узнает правду. Теперь у меня оставалась последняя слабая надежда — надежда на пожар. Я слышал, что в театрах бывают пожары, тем более за сценой я сам видел двери с обнадеживающей красной надписью: «Пожарный выход». Именно после того, как я увидел эту дверь с надписью, у меня вспыхнула надежда, и я вспомнил душераздирающие описания пожаров в театрах. К тому же я увидел за сценой и живого пожарника в каске. Он стоял у стены и с тусклой противопожарной неприязнью следил за мелькающими мальчишками и девочками.

Но время идет, а пожара все нет и нет. (Между прочим, через несколько лет наш театр все-таки сгорел, что лишний раз подтверждает ту правильную, но бесплодную мысль, что наши мечты сбываются слишком поздно.)

И вот уже кончается сцена, которую разыгрывают наши старшекласники, и подходит место, где мальчик, играющий гуляку-мужа, должен, пробренчав на гитаре (на этот раз настоящей), пропеть свою заключительную песню. Сквозь собственное уныние, со страшным любопытством (как дети сквозь плач) я прислушиваюсь, ошибется он или нет?

Я цыганский Байрон,
Я в цыганку влюблен... —

пропел он упрямо, и Евгений Дмитриевич, стоявший недалеко от меня за сценой, схватился за голову. Но в зале никто ошибки не заметил. Наверное, некоторые решили, что он нарочно так искажает песню, а другие и вообще могли не знать настоящих слов.

Но вот началось наше представление. Я со своим напарником должен был выступить несколько позже, поэтому я снова высунулся из-за кулис и стал следить за тетушкой. Когда я высунулся, Жора Куркулия стоял над оркестровой ямой и крутил свою веревку, чтобы вызвать оттуда старого черта. В зале все смеялись, кроме моей тетушки. Даже мой сумасшедший дядя смеялся, хотя, конечно, ничего не понимал в происходящем. Просто раз всем смешно, что мальчик крутит веревку, и раз это ему лично ничем не угрожает, значит, можно смеяться...

И только тетушка выглядела ужасно. Она смотрела на Жору Куркулия так, словно хотела сказать: «Убийца, скажи хотя бы, куда ты дел труп моего любимого племянника?»

У меня еще оставалась смутная надежда полностью исчезнуть из пьесы, сказать, что меня по какой-то причине заменили на Жору Куркулия. Признаться, что я с роли Балды перешел на роль задних ног лошади, было невыносимо. Интересно, что мне и в голову не приходило попытаться выдать себя за играющего Балду. Тут было какое-то смутное чувство, подсказывавшее, что лучше уж я — униженный, чем я — отрекшийся от себя.

Голова тетушки уже слегка, по-старушечьи, покачивалась, как обычно бывало, когда она хотела показать, что даром загубила свою жизнь в заботах о ближних.

Жора Куркулия ходил по сцене, нагло оттопыривая

свои толстые ноги. Играл он, наверное, хорошо. Во всяком случае, в зале то и дело вспыхивал смех. Но вот настала наша очередь. Евгений Дмитриевич накрыл нас крупом лошади, я ухватился за ручку для вздымания хвоста, и мы стали постепенно выходить из-за кулис.

Мы появились на окраине сцены и, как бы мирно пасясь, как бы не подозревая о состязании Балды с Бесенком, стали подходить все ближе и ближе к середине сцены. Наше появление само по себе вызвало хохот зала. Я чувствовал некоторое артистическое удовлетворение от того, что волны хохота усиливались, когда я дергал за ручку, вздымающую хвост лошади. Зал еще громче стал смеяться, когда Бесенок подлез под нас и попытался подвять лошадь, а уж когда Жора Куркулия вскочил на лошадь и сделал круг по сцене, хохот стоял невероятный.

Одним словом, успех у нас был огромный. Когда мы ушли за кулисы, зрители продолжали бить в ладоши, и мы снова вышли на сцену, и Жора Куркулия снова попытался сесть на нас верхом, но тут мы уже не дались, и это еще больше понравилось зрителям. Они думали, что мы эту сценку заранее разыграли. На самом деле мы с моим напарником очень устали и не собирались снова катать на себе Жору, хотя он нас шепотом упрашивал дать ему сделать один круг.

Вместе с нами вышел и Евгений Дмитриевич Левков. По аплодисментам чувствовалось, что зрители его узнали и обрадовались его появлению.

И вдруг неожиданно свет ударил мне в глаза, и новый шквал аплодисментов обрушился на наши головы. Оказывается, Евгений Дмитриевич снял с нас картонный круп лошади, и мы предстали перед зрителями в своих высоких рыжих чулках, под масть лошади.

Как только глаза мои привыкли к свету, я взглянул на тетушку. Голова ее теперь не только покачивалась по-старушечьи, но и бессильно склонилась набок.

А вокруг все смеялись, и даже мой сумасшедший дядюшка пришел в восторг, увидев меня, вывалившегося из лошадиного брюха. Сейчас он обращал внимание тетушки, что именно я, ее племянник, оказывается, сидел в брюхе лошади, не понимая, что это как раз и есть источник ее мучений.

Но стоит ли говорить о том, что я потом испытал дома? Не лучше ли:

— Занавес, маэстро, занавес!

ДОЛГИ И СТРАСТИ

Случилось это в третьем или четвертом классе в начале учебного года. В тот удивительный промежуток своей жизни я почти каждый вечер ходил с тетушкой в кино. Я думаю, что началось это хождение по кинотеатрам с лета, а потом незаметно для тетушки (погода-то у нас еще долго в начале осени стоит почти летняя) перекинулось на осень.

У меня такое впечатление, что все мое детство прошло под странным знаком заколдованного времени, — моя тетушка за все это время никак не могла выскочить из тридцатипятилетнего возраста.

В ту осень она почему-то особенно часто говорила, что ей тридцать пять и что я отличник. Может быть, где-то в первом классе оба эти сведения совпадали, но потом они совпадать никак не могли, с тем более странным упорством она утверждала, что я отличник, а ей тридцать пять лет. После первого класса я иногда и бывал отличником, но ей, конечно, больше никогда не было тридцати пяти. А именно в эту осень я был так же далек от отличника, как она от полюбившегося ей возраста.

Иногда я пытался протестовать, но из этого ничего не получалось или получался еще больший конфуз. Мои протесты она относила к числу как раз тех достоинств, которые делают человека отличником.

— Круглый, — говорила она, махнув на меня рукой, — круглый отличник...

Вот это маханье рукой особенно меня выводило из себя. Оно означало, что тут и разговаривать не о чем, тут этого вещества, которое делает человека отличником, столько, что можно было бы и отряхнуть меня слегка, как ветку, чересчур отягченную плодами.

И вот, значит, в тот несколько фантастический период моей жизни мы с тетушкой почти каждый вечер ходим в кино и почти каждый вечер смотрим по две картины. Первую, как правило, смотрим в одном из клубов, а вторую в нашем центральном кинотеатре «Апсны», где директором тогда работала тетушкина давняя приятельница тетя Медея. Разумеется, у тети Медеи мы ее смотрим бесплатно и чаще всего на третьем сеансе.

Вижу маленькую фанерную пристроечку внутри помещения кинотеатра под лестницей, ведущей на галерку. Убогость этой фанерной пристройки взрывается (чуть откроешь дверь) роскошью ее внутреннего убранства — со-

четание ярчайшего электрического света и волшебных цветных афиш, которыми оклеено все стенное пространство помещения. Одни афиши славны как бы сказочно-невозвратного прошлого, они говорят о фильмах, которые я уже никогда не увижу, но ребята, те, что постарше лет на пять, знают их и с восхищением рассказывают о них, как ветераны: «Знак Зеро», «Мисс Менд», «Красные дьяволята».

Другие афиши, снабженные легким, пьянящим словом «анонс», мягко утешают, улыбаются, как бы говоря: не все счастье в прошлом, кое-что будет и в будущем, например «Ошибка инженера Кочина», «Граница на замке».

Афиши вообще сами по себе почему-то волнуют, словно несут на себе мгновенный жар пронесшейся или еще не долетевшей кометы праздника, рассматривать их доставляет огромное удовольствие.

Пока тетушка разговаривает с тетей Медеей, сидящей за маленьким столиком, скорее напоминающим туалетный, чем учрежденческий, я впиваю и впиваю в себя аромат этих афиш.

Вот афиша, изображающая зверское нападение Италии на Абиссинию. Абиссинка, сверкая белками глаз, в ужасе прижимает одной рукой к груди ребенка, другой прикрывает свою голову. Ребенок с трогательным любопытством смотрит вверх, по-видимому, его внимание привлек гул самолета, который пролетает высоко в небе, оставляя за собой смертоносные капли бомб, и траектория их полета должна будет рано или поздно, если женщина не сдвинется с места, сомкнуться с ее кучерявой головой. Неужели она так и будет стоять? Ведь бомбы еще очень высоко.

На той же картине ураганные наклоны нескольких пальм как бы сулят перейти во всепобеждающий гнев народа. Будто ветер гнева уже достиг пальм, а потом он достигнет и обитателей бедных хижин. Так скорее всего задумано, и так я угадываю сюжет этой картины.

Иногда в кабинетик тети Медеи всовывается голова одной из работниц кинотеатра.

— Звонок давать? — спрашивала она.

— Подожди, я скажу! — отмахивалась от нее тетя Медея и, затягиваясь бесконечной папиросой, продолжала свой бесконечный, как тетушкины тридцать пять лет, рассказ о своей жизни. Его нехитрую суть, как мне казалось, я сразу уловил, — она была замужем за одним чело-

веком, но потом он ушел к этой негодяйке. Иногда она его самого тоже называла негодяем, и тогда мне казалось вполне естественным, что негодяй ушел к негодяйке, и я никак не мог понять, о чем тут жалеть и зачем это все пережевывать тысячу раз.

Тетушка обычно слушала, глядя в ее бледное, по-видимому, когда-то привлекательное лицо, так же жадно курия и пуская изо рта воинственные струи дыма. Так как расстояние между ними было небольшое, они обе, выдыхая дым, приподымали головы, чтобы не дымить друг другу в лицо, и иногда струи дыма перекрещивались в воздухе, как бы пронзая призрак негодяйки. Тетушка, слушая рассказы тети Медеи, все время давала ей советы, которые сводились к тому, что этой негодяйке непременно надо отомстить, опозорить, унижить ее.

Рассматривая афиши, я краем уха слышал эту болтовню и прекрасно понимал, что это все вздор, что само предложение отомстить негодяйке никак не выполнимо, потому что она жила в Тбилиси, а мы жили в Мухусе, так что все это было пустыми словами. Я также чувствовал, что сама энергичность предлагаемых тетушкой мер идет от их невыполнимости, но в то же время они взбадривают тетю Медею, как бы показывают ей, насколько эта негодяйка мерзка и каких она достойна кар, даже если эти кары не достигнут ее. В конечном итоге все эти свирепые советы, предлагаемые тетушкой, как-то полностью оправдывали наше бесплатное посещение кино.

Иногда дверь кабинета отворялась каким-нибудь посетителем кино, возмущенным то ли билетом, выданным ему на проданное уже место, то ли еще чем-нибудь. В таких случаях тетя Медея прерывалась с большой неохотой или даже откровенным раздражением в зависимости от общественного положения посетителя и нередко, от возмущения закашлявшись (она и так все время покашливала), начинала стыдить этого жалобщика или, указывая на тетушку, просила его подождать, пока она поговорит с предыдущим посетителем. При этом тетушка неизменно выражала всем своим видом, что вот она в кои веки вошла к директору по важному делу, а ей и пару слов не дают сказать.

Некоторые посетители, у которых вообще никакого билета не было, тут же направлялись ею в ложу и с важностью следовали туда чаще всего целым семейством. Интересно, что, как только дверь за ними закрывалась, они награждались каким-нибудь презрительным замечанием,

как я понимал, за то, что они, не будучи директорами, лезут в директорскую ложу.

Судя по всему, они занимали в обществе такое положение, что сидеть на общих местах они уже не хотели, а до поста директора еще не дотягивали, вот им и приходилось просить тетю Медею.

— Подумаешь, в Абсоюзе работает, — говорила тетья Медея что-нибудь в этом роде, — забыл, как его отец петрушку на базаре продавал.

— Эта гальская кекелка тоже себя дамой почувствовала, — добавляла тетушка в адрес жены этого работника непонятного Абсоюза.

Если мест в кинозале не было, тетья Медея усаживала нас в распахнутых дверях кинозала, куда мы перетаскивали стулья из кабинета. Обычно она усаживалась рядом с нами, и, если картина была не очень интересна, они полушепотом продолжали свои разговоры про эту негодяйку.

Если мы попадали на последний сеанс, я время от времени засыпал, потом снова просыпался, силясь понять, что делается на экране, и снова засыпал. Таким образом, именно в дверях переполненного зала мы смотрели кинокартину «Петр Первый», и я все время мучительно старался продрать глаза и понять, чего этот Петр Первый все время кричит, дерется палкой и прыгает, кажется, из окна во время наводнения. Помню, он мне не понравился своими кошачьими усами, а главное, впечатлением опасного сумасшедшего, от которого не знаешь чего ожидать. Кстати говоря, в отличие от моего дядюшки, неожиданные поступки которого были, в сущности, достаточно ожидаемы, если к нему серьезно присматриваться.

У меня по поводу многих картин, которые я тогда смотрел, были свои недоумения, как я теперь понимаю, довольно здравые. Так, например, бесконечные шпионские картины, которые сами по себе мне очень нравились, были все-таки во многом недостаточно убедительными.

В каждой картине, кишмя кишевшей шпионами, все они к концу оказывались выловленными. То, что наш отважный чекист, в которого многие из них стреляли и вполне могли убить, все-таки оставался живым, в худшем случае раненным в руку, так что он, в конце фильма по крайней мере, мог обнять и вдумчиво поцеловать свою жену или невесту, меня не очень смущало. Ну ладно, думал я, хотя это выглядит немного по-детски, все-таки при-

ятно, что такой смелый, симпатичный парень остался живым.

Неубедительным было другое, а именно то, что в каждой картине вылавливали всех до самого последнего шпиончика. Ни одному не удавалось удрать. Я даже часто себя ловил на постыдной мысли, что хотел бы, чтобы хоть один шпион сумел утаиться. Для чего я этого хотел? Прежде всего для того, чтобы сделать убедительными остальные картины про шпионов. Уцелел один, стало быть, он завербует растратчиков, доверчивых ротозеев, вызовет по приемнику новых шпионов из-за границы. Ведь будут другие картины про шпионов, и тогда будет ясно, откуда они взялись.

А так после каждой картины получалось, что все шпионы выловлены и любимый город, как поется в песне, может спать спокойно. А потом оказывается, что все равно полным-полно шпионов и незачем было уверять любимый город, чтобы он спокойно спал.

И незачем было главному герою (если он не бывал ранен) уезжать в отпуск, который, кстати, он отложил именно из-за раскрытия и полного разорения шпионского гнездовья.

Все равно ведь потом окажется, что есть еще и другие гнездовья, стало быть, незачем в отпуск уходить и незачем в поезде разговаривать о рыбалке якобы с искренним увлечением с каким-то попутным старичком. Как будто мы, зрители, такие дураки и не знаем, что если уж ты настоящий чекист, то тебя на самом деле никакие рыбалки не могут интересовать, а могут интересовать только шпионы, диверсанты и поджигатели.

Помню еще одно крупное недоумение. Показ фашистов сопровождался такой страшной музыкой, от их облика исходила такая беспощадная свирепость, что я иногда в ужасе поворачивал голову, чтобы, увидев рядом горбоносый профилик тетушки, кстати невозмутимый, убедиться, что мне лично ничто не угрожает, что я далеко от всего этого и в полной безопасности.

Хотя это отчасти успокаивало, вернее, успокаивало как-то физически, нравственно я испытывал немалые терзания. Мой трепещущий организм явно отказывался совершать подвиг в таких условиях. Например, в картине про испанского мальчика Педро, который, каким-то образом оказавшись на фашистском корабле, обнаруживает в трюме ящики с бомбами, на которых для маскировки (нет предела их коварству) написано «Шоколад».

И вот этот отважный мальчик решил взорвать корабль и, набрав в кочегарке полное ведро жару, пронесит его в трюм. И вот он идет с этим ведром (ужас!), в каждую секунду его могут обнаружить фашисты, и музыка своей назойливой тревогой подтверждает это.

Высыпав жар в один из ящиков с бомбами, он пытается выбраться из корабля, и тут становится еще страшней, потому что надо быть осторожным, чтобы не попадаться на глаза фашистам, и надо спешить, чтобы спрыгнуть с корабля раньше, чем он взорвется, и тут уже музыка делается просто невыносимой. Я смотрю, я чувствую всем телом леденящий душу страх, с унижающим, растаптывающим стыдом чувствую, глядя на Педро, что нет, я этого не смог бы сделать...

Правда, на следующий день среди дневного сияния, вспоминая картину, уже отделенную хотя бы от этой ужасающей музыки, и успокоенный знанием счастливого конца этой истории, я как-то снова начинаю храбриться и верить, что, пожалуй, и я смог бы повторить подвиг республиканского мальчика Педро.

Между тем время шло. Мама ворчала. Потому, что по утрам ей стоило невероятных трудов поднять меня с постели, но тетюшка в нашем доме главенствовала над всеми, тем более я сам с огромным удовольствием окунался в этот киношный разгул.

Иногда тетюшка по какой-то неожиданно-негаданной причине охладевала к своей подруге, и мы прерывали на несколько дней свои кинопоходы или ограничивались просмотром одной картины в каком-нибудь из клубов.

Я как-то никогда не мог понять, почему она к ней охладевала, потому что внешне их отношения как будто никак не менялись. Но иногда, возвращаясь после кино домой, она вдруг начинала говорить о муже своей подруги с какой-то предательской теплотой, и получалось, что ему ничего не оставалось делать, как уйти от этой несносной женщины.

— Не давай ей себя целовать, — советовала она мне, хотя я и сам терпеть не мог все эти взрослые поцелуи. А тут при встрече они сами чмокались, и подружка ее меня чмокала, и как-то получалось, что стыдно увертываться от близкого человека, да еще, пользуясь этой близостью, бесплатно смотреть кино.

— Все-таки легочница, — добавляла она, выговаривая

последнее слово с каким-то презрительным украинским придыханием, — говори, что родители тебе не разрешают...

Вот глупая, думал я, злясь на тетушку, как же я это скажу, когда ты же всех уверяешь, что ты меня воспитала и поэтому ты и есть истинная родительница.

Но вот однажды вечером наступил час расплаты. Тетушка, поругав брата за плохие отметки, по-видимому, решила показать ему пример хорошей учебы и самой отдохнуть на моих хороших отметках. С этой целью она вдруг попросила меня принести мою домашнюю тетрадь. Обычно она в мои домашние тетради никогда не заглядывала, а только смотрела табель и лично у себя держала мою уже слегка пожелтевшую похвальную грамоту за первый класс, как маленькое знамя наших фамильных побед.

Мне ничего не оставалось, как пойти домой за тетрадью, о плачевном состоянии которой знал я один. На меня нашло какое-то оупение. Я почему-то не пытался ни улизнуть от ответственности, ни схитрить, скажем, сказать, что тетрадь у учительницы, а дневников тогда у нас не было.

В общем, я спустился вниз к себе домой, вытащил из портфеля тетрадь и обреченно понес ее наверх. Не знаю, на что я надеялся. В этой тетради сначала шла отличная отметка, потом две хорошие, а потом уже оценки, выражающие все возрастающее недоумение учительницы, переходящее в ужас.

Смутно помню, что какая-то надежда была, но на что я надеялся, никак не могу вспомнить. На то, что тетушка посмотрит первые три отметки и захлопнет тетрадь? Нет, зная ее ненасытность, чрезмерность во всем, я никак не надеялся на это.

На что же я все-таки надеялся? Трезвый анализ воспоминаний не оставляет никаких других признаков надежды, кроме надежды на чудо.

Да, по-видимому, оставалась слабая надежда на чудо. Разумеется, не обязательно на какое-то сверхъестественное чудо. Я мог надеяться на вполне реальное чудо. Например, гости нагрязнули! А такое бывало частенько. В таком случае, конечно, казнь пришлось бы отменить. То, что в тетушкиной кухне сидели дядя Алихан и дядя Самуил, не принималось в расчет. Они были соседями по двору, и тетушка не постеснялась бы при них опозорить меня.

И вот я снова вхожу в тетушкину кухню, как бы с

особой нарочитой силой, чтобы ярче меня опозорить, оза-ренной электрической лампой. Вижу бабушку, сидящую возле печки, она там всегда сидит независимо от времени года. Рядом с ней мой сумасшедший дядюшка, потому что ей приятно всегда держать его под рукой: ну там подать что-нибудь, принести, увести. А еще для того, чтобы, если ему кто-нибудь из остальных предложит что-нибудь сделать, ей легче было бы отменить или поддержать просьбу.

Дело в том, что бабушка была для дяди высшей властью. Он, конечно, в основном делал все, что ему говорила тетя, но, если это происходило на глазах у бабушки, он всегда оглядывался на нее, и она движением головы или руки подтверждала, что это надо сделать, или, наоборот, не советовала.

Иногда во время уборки, а они происходили очень часто, учитывая яростную чистоплотность тетушки, бабушка, жалея дядю, давала ему тайный приказ бастовать или, чтобы смягчить столкновение с тетушкой, притвориться больным.

Пожалуй, самое смешное во всем этом была быстрота понимания дядюшкой того, что от него требуется. Намек на то, что ему надо отказаться от работы, он понимал гораздо быстрее, чем самое толковое разъяснение того, что надо сделать.

Впрочем, тогда мне было не до всего этого. И вот я, значит, вхожу в кухню, где за столом сидит тетушка, во главе стола на кушетке, напротив нее, дядя Алихан, ждущий моего дядю, чтобы сыграть с ним пару партий в нарды. Рядом с Алиханом мой брат, несколько не смущенный предстоящей педагогической пыткой, от избытка темперамента он все время ерзает, озирается на дядю Колю, чтобы выбрать момент и подразнить его, но выбрать момент трудно, потому что с одной стороны бабушка, а с другой стороны тетушка. И наконец, рядом с тетушкой дядя Самуил, бдительно подтянутый, в любую минуту готовый отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право считать себя караимом.

Я подаю тетушке тетрадь через стол. Тупость моего поведения еще в том, что я никак не обнаруживаю, что ее надежды на мою блестящую учебу неоправданны. Это, конечно, ухудшит мое положение как дополнительная ложь. Я это чувствую, но ничего не могу с собой поделаться.

Единственное, в чем проявляется понимание моей бу-

душей судьбы, — это то, что я пытаюсь остаться по эту сторону стола, где сидит мой старший брат. Но тетушка, протягивая руку за тетрадь, ясно мне указывает, что мое место рядом с ней, потому что сейчас произойдет низложение разумом безумия, и мое место, как маленького представителя разума, рядом с ней, с большим представителем разума, чтобы для представителя безумия все было ясно и наглядно.

Ничего не поделаешь, я протискиваюсь мимо дяди Самуила, который, и привстав, и пропуская меня, не теряет выражения готовности отстаивать свое маленькое, но неотъемлемое право.

Наконец я усаживаюсь рядом с тетушкой, она гасит в глазах легкую досаду на мое мешканье, досаду, как бы означающую: нельзя же быть отличником в школе, а дома таким уж недотепой.

Она медленно раскрывает тетрадь, ставит плоскость ее перпендикулярно к электрическому свету, хотя и так прекрасно видит, и на первой же странице видит отличную оценку.

— «Отлично», — читает она, как бы не вполне доверяя глазам и пробуя слово на звук, как пробуют ноту: да, да, та самая нота, которую мы ожидали...

Она многозначительно смотрит на брата, потом на меня, отдаленно, но уже без всякой досады вспоминая, что я при такой учебе мог и дома проявлять большую понятливость и не заставлять ее по десять раз предлагать усесться рядом с нею.

— Я это еще до школы знал, — напоминает дядя Самуил о своей давней математической загадке, которую я первым разгадал.

Тетушка листает страницу. На следующем развороте сразу две оценки ниже на балл.

— «Хор.», «Хор.», — несколько разочарованно произносит тетушка, последовательно на обеих страницах прочитав оценки. Она смотрит на меня с легким укором, как бы говоря: конечно, «хор.» неплохая оценка, но нельзя же считать себя отличником и получать подряд две хорошие оценки.

Вдруг она переводит взгляд на моего приободрившегося брата и взглядом говорит ему: а ты не радуйся, тебе до этого знаешь как далеко?

Я с ужасом жду третьей страницы. Там, на третьей и четвертой страницах, идут две оценки «посредственно» и «хорошо», именно в такой последовательности.

— «Пос.», — читает тетушка, и тут подключается в работу до этого слабо подыгрывающая ее артистическая жилка. Она смотрит на меня, потом на брата, потом снова на меня, как бы с тайным содроганием начиная находить между нами черты духовного сродства.

— Дье, — произносит она ненавистное мне междометие, означающее горестное недоумение. Тетушка говорит по-русски совершенно чисто, но она еще знает и абхазский, и грузинский, и турецкий, и персидский языки. Так что иногда она вставляет в свою русскую речь какие-то неизвестные мне междометия, которые помогают ей выражаться острей, чем позволяют привычные языковые средства.

— Дье, — повторяет она и беспомощным движением протягивает тетрадь моему соседу, словно внезапно проявившаяся слабость зрения заставила ее увидеть такую невероятную оценку. — Самуил, наверное, я плохо вижу, что здесь написано?

— «Пос.», — отчетливо и без каких-либо личных чувств произносит Самуил, на миг заглянув в тетрадь. Он это произносит с той давней своей интонацией человека, который раз и навсегда решил держаться в скромной, но зато всегда чистоплотной близости к фактам.

— Следующая — «хор.», — добавляет он, сухо вато утешая тетушку, но опять же только за счет возможностей самих фактов.

— «Хор.», — горестно повторяет тетушка и смотрит на меня, слегка покачивая головой в том смысле, что и отличная оценка была бы после такого падения довольно слабым утешением, а что же может сделать это малокровное «хор.»?

Слегка послунявив палец, тетушка медленно, уже якобы не ожидая ничего хорошего, а на самом деле именно ожидая (только для меня делает вид, будто разочарована, и это мне сейчас особенно неприятно, потому что я-то знаю, что дальше никакого просвета нет), печальным движением перелистывает страницу, как книгу горестной судьбы.

Что я чувствую? Я чувствую, что заполнен позором, у меня такое ощущение, словно у меня поднялась большая температура, оупляющая все восприятия, но и сквозь свои притушенные восприятия я все еще почему-то думаю, что хорошо бы все это закончить до прихода дяди с работы. Хотя теперь это не имеет большого зна-

чения, мне все-таки почему-то хочется выиграть эту маленькую ставку.

Сам я в тетрадь не смотрю. Я смотрю на своего сумасшедшего дядюшку. И: так как я на него смотрю довольно пристально, он начинает слегка нервничать. Сначала пожимает плечами в том смысле, что он лично к этой проверке тетрадней никакого отношения не имеет и не понимает, почему моя укоризна направлена на него. Он чувствует, что происходит какая-то проверка моей учебы и что эта проверка для меня неблагоприятна.

Он сидит, положив ладони на колени, и смотрит перед собой прямым немигающим взглядом своих зеленых глаз. Он как бы говорит мне своим взглядом: я в твоих учебных делах не разбирался, не разбираюсь и не хочу разбираться... Вот придет время пить чай, я его с удовольствием выпью и пойду спать, а остальное меня мало интересует...

Но дядюшка ошибается, думая, что я на него смотрю с обычной целью подразнить его. Нет, на этот раз я на него смотрю с тоскливой завистью. Хорошо жить, как он, думаю я, ни за что не отвечать, ничего не стыдиться, не ведать, что делается вокруг.

А между тем эта моя страница вся в кровотокающих рубцах красных чернил. Это следы гневных ударов пера нашей учительницы Александры Ивановны, которую я очень любил.

— «Пло-хо!», — читает тетюшка по слогам и растерянно оглядывает окружающих, — но вот эти восклицательные знаки для чего?

После оценки Александра Ивановна поставила три восклицательных знака, барабанные палочки, выбивающие тревожную дробь по поводу резкого ухудшения работы моей головы. Наверное, тетюшка и в самом деле не может понять, для чего эти восклицательные знаки в таком количестве, но нет, скорее всего ее артистизм доигрывает, дополняет мою катастрофу, она как бы внушает окружающим истолковать эти восклицательные знаки как признак утроенности моей плохой оценки.

— Подумаешь, большое дело, да?! — говорит дядя Алихан, по доброте своей пытаюсь отвлечь внимание тетюшки от моих оценок. — Я кофейни-кондитерские терял и то жив-здоров!

Он смотрит на тетю своими круглыми глазами, потом на остальных, как бы говоря: ну-ка напрягите свое воображение и попробуйте представить, что страшнее, времен-

ное ухудшение учебы этого мальчика или же полная потеря навсегда прекрасной кофейни-кондитерской. Представляете, какая разница?

Но никто не хочет напрягать воображение и сравнивать его кофейню-кондитерскую с моей учебой. Тем более этого не хочет тетушка. Тетушка обращает свой взор, выражающий затравленность доброй женщины бесчувственными племянниками, на дядю Самуила: «О, помогите несчастной!»

— Восклицательный знак означает усиление интонации! — говорит дядя Самуил несколько хмуро. Он показывает своим голосом неизменность своего желания не отходить от фактов и в то же время самой хмуростью своей интонации как бы признает некоторую неуместную поспешность, проявленную им много лет назад, когда он похвалил мои математические способности. Дело в том, что именно эта моя домашняя работа была связана с неправильным решением арифметической задачи.

— Но почему три раза, Самуил? — умоляет тетушка.

— Усиление интонации! — повторяет дядя Самуил, упрямо давая знать, что расшифровывать усиление интонации не будет.

— С тремя восклицательными знаками даже брат твой не приносил, — говорит тетушка и смотрит на брата.

— Никогда! — подтверждает брат.

Я понимаю, что восклицательные знаки означают степень тревоги Александры Ивановны, а не что-нибудь другое. Но стоит ли сейчас оправдываться? Тем более что это займет лишнее время и тетушкин разбор может затянуться до прихода дяди.

— «Пос.», — читает тетушка следующую оценку, и, так как спектакль ужаса уже прошел эту степень, уже сцена удивления посредственной оценкой была продемонстрирована, она не знает, что сказать, и листает тетрадь дальше. Но дальше ничего нет.

— Дье, — говорит она, глядя на чистый разворот, как бы осознавая еще одну форму обмана, которую я ей неожиданно подсунил. Она несколько растеряна. Она хотела бы еще несколько новых сцен ужасов показать, а тут сама пьеса оборвалась. Она в растерянной задумчивости отворачивает назад последнюю страницу, словно думая, не разыграть ли ее по-новому, но, видно, так и не решив, повторяет с выражением безразличия:

— «Пос.»..

Сейчас в ее произношении эта оценка приобретает от-

тенок какого-то особого позора, признак жалкой бездарности. Словно я и не утонул в болоте, но и не вырвался на чистый берег, а так, все еще барахтаюсь в мерзостной тине возле берега. Уж лучше бы совсем утонул!

Тетушка, подпершись ладонью, сидит в горемычной позе.

— Хватит, отстань от мальчика, — говорит бабушка по-абхазски, чтобы дядя Алихан и дядя Самуил не поняли ее. Тетушка на ее слова не обращает никакого внимания. Она молча сидит за столом, подпершись ладонью, и голова ее слегка подрагивает, как бы подтверждая бесконечный, как жизнь, список разочарований, и одновременно это подрагивание головы означает старческую слабость.

— И вот на кого сгубила я свои лучшие годы, — говорит она, не меняя позы и только слегка усиливая подрагивание головы. Имеет в виду она меня и моего старшего брата.

— Я не согласен, — твердо возражает дядя Самуил и кивает на меня, — этого еще можно исправить... А старшего надо ремеслу учить.

Я сижу опустив голову, искоса следя за происходящим. Мне очень стыдно, но и стыдась, я рационально помню, что будет еще стыдней, если дядя мой все это застанет. Поэтому никакого оправдания, ни одной щепки в этот костер.

— Нет, Самуил, не утешай меня, — говорит тетушка, не меняя позы и меланхолично вглядываясь в свою напрасно прожитую жизнь, — лучше бы я сюда совсем не возвращалась... Лучшие годы сгубила...

Тетушка была замужем за каким-то провинциальным персидским консулом, который в свое время жил в нашем городе, а потом увез ее в Персию. Потом она оттуда приехала без консула, одна. Об этом с детства говорили в нашем доме. И о том, что она, бросив консула, вернулась на родину, тоже говорили как-то естественно, словно консул этот от старости развалился и ей ничего не оставалось, как приехать домой.

Судя по легенде, похожей на правду, учитывая тетушкин темперамент, на свадьбе моей мамы, которая состоялась после ее приезда из Персии, тетушка танцевала целые сутки...

— Тетя, — говорю я, подымая голову, — но ведь, когда вы возвращались из Персии, нас не было на свете?

— Дья, — произносит тетушка и, протянув в мою сто-

рону бессильную ладонь, замирает, как бы удивляясь, что в моем положении я еще смею разговаривать. Но вот она отводит бессильную руку и потухший взгляд в сторону бабушки и дяди Коли.

— А эти инвалиды? — говорит она устало. Получается, что никакой разницы между нами нет, все мы одна цепь, которую она тащит надрываясь. Все оглядываются на бабушку и дядю Колю, словно впервые их замечая.

Дядюшка приосанивается, как бы подчеркивая правую полноценность своего пребывания на кухне. Он не совсем понимает причину всеобщего внимания к нему и бабушке. Дело в том, что иногда он задерживается, уже выпив вечерний чай, и тогда (как он думает, с полным основанием) тетюшка гонит его в постель.

Но сейчас-то он чаю не пил: «Вот напьюсь чаю, и мы с бабушкой пойдем спать, — говорит он всем своим видом, — а какого черта вы все на нас уставились, не понимаю...»

— Отстань от нас, — говорит бабушка несколько раздраженно. Скорей всего она не слышала, что тетюшка сказала, но сам жест ее руки, выражающий, мол, вот они, мои гири, делает понятными ее слова.

— Отстань, — повторяет дядя, видя, что бабушка действует примерно в таком направлении. В то же время он более целенаправленно и сердито начинает смотреть на моего брата, потому что брат, воспользовавшись тем, что все обернулись в сторону бабушки и дяди, успел пригрозить ему, на что дядюшка быстро и охотно откликнулся. Все-таки это общее расплывчатое внимание всех хотя и неприятно ему, но как-то слишком безадресно. Другое дело, вот этот мальчик пригрозил ему, вот отчетливо выявилась точка зла, и он готов скрестить оружие. Он уставился на моего брата, взглядом предлагая вместо скрытой угрозы попробовать какое-нибудь открытое враждебное действие.

Но тут в кухонном окне, выходящем на веранду, мелькнула чья-то тень.

— Гости! — крикнул мой брат и вскочил. Дядя Коля отвел от него глаза.

Дверь в кухню отворилась. В дверях стояла тетя Медея.

Тетюшка мгновенно преобразилась и расцвела, превратившись из трясущей головой старухи, загубившей свою молодость на двух балбесов, в цветущую тридцатипятилетнюю царевну-лебедь.

— Сколько лет, сколько зим! — говорит она, улыбаясь и подходя к Медее.

— Золотая моя, — отвечает ей тетя Медее, все еще щурясь от света, а тетушка смачно целует ее в губы.

— Как это ты догадалась, кто тебе подсказал зайти к нам, — говорит тетушка с певучей грузинской растяжкой слов, потому что тетя Медее грузинка. Я знаю, что тетушка это делает не из лести, а опять же из артистичности натуры, из наслаждения самой гибкостью своих возможностей. С кубанцами она говорит, незаметно впадая в гаканье, а с грузинскими евреями, очень плохо знающими русский язык, она говорит на такой тарабарщине, что сама запутывается и для простоты переходит на грузинский язык.

— Сейчас почеевничает, скоро хозяин придет, — говорит тетушка, усаживая гостью на свое место, вытряхивает в раковину пепельницу и подставляет ей.

Тетя Медее закуривает и, несколько поерзав, усаживается в очень уютной скульптурной позе.

— Самовар, — показывает тетушка дяде Коле на самовар. Тот радостно вскакивает.

— Су, су, — по-турецки объясняет ему тетушка, чтобы он не только вынес на веранду и разжег самовар, но и принес из колодца (напротив, через улицу) свежей воды.

— Вода? — перекрестно по-русски переспрашивает он у нее, чтобы не спутать чего-нибудь там.

— Да, да, воду, — кивает тетушка, и дядя хватается за самовар и вытаскивает его на веранду. Потом он со звоном схватывает ведра, стоящие на веранде; и бежит вниз по лестнице.

— Собаки! — раздается его яростный голос с лестницы. Это он гонит несуществующих собак, в крайнем случае одну нашу собаку Белку.

В сущности говоря, чай у тетушки на кухне с небольшими перерывами пьется с самого обеда. Зайдет кто-нибудь, тетушка его угощает чаем и сама заодно пьет. Но самовар — это большое вечернее чаепитие.

Вдруг тетушка, пошарив на кухонной полке, обнаруживает, что в железной коробке для чая нету чая.

— А где же чай? — спрашивает она, растерянно озираясь.

— Я только заварила свежий, — ворчливо замечает бабушка по-абхазски, — хватит на вечер.

— Чтобы я этими помоями поила лучшую из своих

подруг?! — отвечает ей тетушка по-русски и поэтому несколько предательски. Она с размаху выливает в помойное ведро всю заварку.

— Пойду на сон энциклопедию почитаю, — говорит дядя Самуил и непреклонно, словно сейчас все на нем повиснут, встает.

— Хорошо, Самуил, — говорит тетушка, как я думаю, с тайным удовольствием. Дядя Самуил, попроцавшись, выходит. Мне кажется, что тетушка с таким же удовольствием сейчас рассталась бы и с дядей Алиханом, но тот не собирается читать энциклопедию и продолжает сидеть. Он даже пытается остановить дядю Самуила, но тот непреклонно выходит.

— Сходишь к Месропу, — говорит мне тетушка и сует деньги, — две пачки цейлонского чая и две пачки папирос «Рица»... Если у Месропа не будет, сбегаете возле почты, а если там не будет, сбегаете возле аптеки...

— Хорошо, — отвечаю я, стараясь не взбаламутить воспоминаниями о моей учебе ее ясной деятельной радости по поводу прихода тети Медеи.

Тетушка быстро протирает тряпкой стол, на котором все еще лежат тетради. Я боюсь, как бы она при виде тетради снова не вспомнила обо всем, и с тайным трепетом и явным смирением тихо приподымаю тетрадь, как бы для того, чтобы освободить пространство для ее тряпки, ерзающей по клеенке. Нет, кажется, она прочно забыла про меня и про мои отметки.

Дядя Алихан подымает руки, чтобы дать ее тряпке поерзать возле него, и по тому, как она яростно действует возле него, я чувствую, что она не прочь была бы и его смести, как крошки со стола, потому что сейчас начинается другая жизнь и нужны совсем другие декорации.

— Если б ты знала, что мне рассказали об этой негодяйке, — говорит тетя Медея с каким-то горестным торжеством и, выпустив клуб дыма в потолок, складывает руки на груди, красиво отодвинув ладонь с дымящейся папиросой, зажатой между длинными худыми пальцами.

— Потом расскажешь, — почти воркует тетушка и достает с кухонной полки банку с айвовым вареньем. Тетя Медея любит айвовое варенье.

Я хватаю деньги и тетрадь и бегу вниз. Оставляю тетрадь дома и бегу на улицу.

— Ты куда? — успевает окликнуть меня мама.

— За чаем послали! — кричу я, не останавливаясь, и бегу дальше. На миг, вспомнив одинокую фигуру ма-

мы, сидящей под лампой и латающей носок, я чувствую укол стыда: мама вечно дома одна, а мы почти каждый вечер собираемся у тетушки на кухне, как в клубе. Но это мгновенное озарение быстро проходит. Я бегу по теплой вечерней улице с уютно, по-южному распахнутыми окнами, с зажженным светом в окнах, с уютными кучками соседей, сидящих на порожках своих домов.

Какая-то сила заставляет меня бежать все быстрее, не останавливаясь. Я мечтаю, чтобы у Месропа — это ближайшая к нам лавка — не оказалось цейлонского чая или папирос «Рица», чтобы мне пришлось обежать весь город, и еще я мечтаю, жарко, сладостно, с завтрашнего дня начать новую жизнь: не засиживаться у тетки, не ходить с ней в кино на поздние сеансы, высыпаться и хорошо делать уроки, чтобы никогда, никогда не повторился этот позорный кошмар.

Встречный ветер выдувает из меня остатки испытанного стыда, промывает меня свежестью. Именно потому, что я твердо решил с завтрашнего дня начать новую жизнь, я с какой-то жадной яркостью представляю, как будет приятно сегодня допоздна засидеться на тетушкиной кухне и вбирать в себя разговоры взрослых, из которых встают странные, подлинные в своей глуповатости картины взрослой жизни. А потом, уже где-то в первом часу, если мать не загонит домой раньше, спуститься вниз с головой, разгоряченной и опухшей от табачного дыма, и потихоньку лечь спать.

Здесь, внизу, у мамы, — суховатая необходимость, долг. Там — сладость излишка, страсть. Моя детская душа трепещет и бьется между этими двумя полюсами, еще не ведая, что они полюса. Мать — долг, тетушка — страсть.

МОЙ КУМИР

В классе он сидел впереди меня. Во время уроков я подолгу любовался его возмужалым затылком и широкими плечами. Мне кажется, что я сначала полюбил его непреклонный затылок, а потом уже и самого.

Когда он поворачивался к нашей парте, чтобы макнуть перо в чернильницу, я видел его горбоносый профиль, густые сросшиеся брови и холодные серые глаза.

Поворачивался он всегда туго, как воин в седле, оглядывающий отстающих конников. Иногда он улыбался мне

понимающей улыбкой, словно чувствуя на своем затылке мой взгляд, давал знать, что ценит мою преданность, но все же просит некоторой меры, некоторой сдержанности в любовании его затылком, тем более что достоинства его не ограничиваются могучим затылком.

Вообще в его движениях чувствовалась несвойственная нашему возрасту тринадцати-четырнадцатилетних пацанов солидность. Но это была не та липовая солидность, которую пытаются корчить отличники и начинающие подхалимы. Нет, это была истинная солидность, которая бывает только у взрослых людей.

Я бы сказал, что истинная солидность — это такое состояние, когда человек сам испытывает свое выдающееся положение, как некоторую избыточность физической тяжести в каждом своем движении.

И если такой человек входит в помещение, и, скажем, садится за ваш пиршеский стол, и, сев, небольшим движением руки усаживает всполошившихся застольцев, то при этом что характерно, дорогие товарищи?

Характерно то, что избыточность физической тяжести придает движению его руки такую весомость, что он усаживает вашу компанию, почти не глядя или даже не глядя на нее, из чего следует, что компания, всполошившись, правильно сделала. Да она и не могла не всполошиться ввиду облегченности и даже некоторым образом взвешенности своего морального состояния перед лицом этого утяжеленного, но безусловно миротворческого жеста.

Так что во время движения этой руки, хотя и не слишком размашистого, но, к счастью, достаточно длительного, успевают всполошиться и те застольцы, которые по тем или иным причинам не успели вовремя всполошиться и теперь с некоторой запоздалой радостью (и как все запоздалое, преувеличенной) вскакивают и подключаются к всположившимся, с тем чтобы уже вместе со всеми успокоиться, подчиняясь тому самому движению руки, как бы говорящему:

— Ничего, товарищи, ничего, я запросто, где-нибудь в уголочке...

— Ничего себе — ничего! — отвечает восторженным шумом компания и, пошумев, затихает, утомленная счастьем.

Вот что значит истинная солидность!

И этой истинной солидностью обладал он, мой кумир, то есть постоянно испытывал избыточную физическую тяжесть в каждом движении. Правда, она, эта тяжесть, бы-

ла прямым следствием его не по годам развитых мускулов, а не выражением бремени власти, как у взрослых людей.

Да, он, мой кумир, был сильнее всех не только в классе, но и во всем мыслимом, учитывая наш возраст, мире. А посмотреть со стороны — ничего особенного: коренастый мальчик небольшого даже для нашего класса роста.

— Курю, за это плохо расту, — говорил он на перемене, потягивая сигарку, зажатую в кулаке, что отчасти звучало как божеская кара за невоздержанность, и, так как кара искупляла вину, он об этом спокойно говорил, продолжая курить.

Жили мы с ним на одной улице. Звали его Юра Ставракиди, и он был последним сыном в многочисленной семье маляра. Он постоянно, особенно летом и в каникулы, помогал отцу. Старший сын маляра к тому времени становился интеллигентом. Уже будучи взрослым парнем, он кончил индустриальный техникум, носил галстук и умел часами говорить о международной политике. Можно сказать, что Юра вместе с отцом помогали ему держаться в новом звании. И он сам, бывало, снимал галстук и, переодевшись, брал в руки малярную кисть и отправлялся на работу вместе с отцом и братом.

Вечером, приходя с работы, он долго умывался во дворе. Юра ему поливал, а так как я ждал Юру, мне приходилось все это терпеть, что было нелегко.

Обычно к этому времени все любители обсуждать международные события собирались в углу двора.

Юрин брат, вместо того чтобы поскорее умыться, поужинать и посидеть с ними, раз уж без этого нельзя, еще моясь, начинал перекидываться всякими соображениями, что бесконечно растягивало мытье и прямо-таки выводило меня из себя. Видно, за целый рабочий день он успевал соскучиться по этим разговорам, потому что Юриному отцу они были ни к чему, да и вообще он за свой долгий малярный век, общаясь с голыми стенами, почти разучился говорить.

Всю жизнь он был занят тем, что полосовал стены и так же молча, надо полагать, делал детей. И чем больше он делал детей, тем больше приходилось ему полосовать стены, и тут уж не до разговоров — только успевай краски разводить да гашеную известь с белилами доставать. Да и о чем было говорить! Я думаю, будь на то его воля, он всем этим чересчур воинственным политикам и

горлодерам замазал бы рты, уши и глаза, да и вообще закрасил бы их с ног до головы, чтобы стояли они, немые, глухие и слепые, как гипсовые статуи в парках. А то и вовсе вмуровал бы их в какую-нибудь стену и, уж будь спокоен, так закрасил бы ее, что хоть целый век колу-пай, не доколупаешься до них. Потому что этим сукиным сынам, сколько ни делай детей, все мало для их сволоч-ной мясорубки, сколько ни крась стены, все напрасно, по-тому что одна бомбежка уничтожит столько стен вместе с окраской и всеми отделочными работами, что потом ты-сячи строителей за год не восстановят.

Все это было написано на его угрюмом лице старого рабочего, и нужна была огромная война с ее бедствиями, чтобы мысль эта прояснилась для всех, проступила бы сквозь его угрюмство, как проступает великая фреска на заброшенной монастырской стене.

К сожалению, ни мы, дети, ни Юрин брат, ни другие любители поговорить о международных делах тогда об этом не догадывались. Юриного брата хоть белым хлебом не корми, но дай поговорить о коллективной безопасности, или кознях Ватикана, или еще о чем-нибудь в этом роде.

Мне всегда казалось нечестным, что он начинает говорить обо всем этом, еще не помывшись и не переодевшись.

К тому же, хлюпая водой по лицу, он, бывало, недо-слышит, что ему отвечают, и, все перепутав, берется пере-спрашивать. А то наберет воду в ковшик ладоней и вме-сто того, чтобы плеснуть себе в лицо, вдруг остановится на полпути и слушает, слушает, а вода знай сочится сквозь пальцы, а он ничего не замечает и продолжает слушать, а потом как плещет по щекам пустыми ладо-нями да еще и на Юру взглянет подозрительно, словно он нарочно все это подстроил и даже подсунул ему всех этих говорунов.

А то, бывало, с намыленным лицом откроет глаза и начинает спорить и горячиться, думая, что его не так по-нимают, а на самом деле, я же вижу, просто мыльная пе-на ему разъедает глаза. Или, случалось, зададут ему во-прос, а он как раз молча хлопнет себя по затылку, что-бы Юра поливал на голову, и вот, пока Юра поливает, те как истуканы ждут, когда брат его подымет свою мокрую голову и утешит их своим ответом.

Потом, утираясь полотенцем, он все продолжал гово-

рить и, даже надевая рубашку, ни на минуту не переставал задавать вопросы и отвечать.

Бывало, просто смех, надевая рубаху, и голову не успеваешь просунуть, а все бормочет из-под рубахи, поди разбери, что он там набормотал. А иной раз голову просто и невозможно просунуть, потому что пуговицы на горле забыл расстегнуть. И нет чтобы расстегнуть самому, так он, любимчик семьи, как маленький, ждет, чтобы Юра ему расстегнул, и в этой странной позе, с нахлобученной на голову рубашкой, продолжает говорить.

Совсем как тот сумасшедший фотограф, что приходил к нам в школу делать коллективные снимки и, уже надругавшись на себя свой черный балдахин, что-то из-под него бормотал, а мы не понимали его бормот или делали вид, что не понимаем, потому что имели право не понимать, да и кому приятно, когда с тобой говорят из-под балдахина. В конце концов, яростно барахтаясь, он выпрастывался из-под него и, отдышавшись, давал всякие там указания, кому куда пересесть, и, набрав воздуха, снова нырял под свой балдахин.

Так и Юрин брат в конце концов — правда, с помощью Юры — продевал голову в рубашку и отправлялся к своим друзьям, по дороге заправляя свою рубашку в брюки. Это уж, слава богу, он делал сам.

Но тут выходила на крылечко Юрина мама и по-гречески звала его ужинать, а он все не шел, и так много раз, и тогда она начинала ругаться и кричать, чтобы он кончал «ляй-ляй-конференцию».

Кто его знает, может, она и ввела в обиход это выражение; но у нас в городе до сих пор про всякую долгую болтовню говорят «ляй-ляй-конференция». Раньше меня это выражение раздражало какой-то своей неточностью, какой-то незаполненностью, что ли, каким-то бултыханием смысла в слишком широкой звуковой оболочке, но потом я понял, что именно в этом бултыхании высшая точность, потому что и в явлениях жизни понятие, которое оно в себе несет, так же бесполезно бултыхается. К счастью, со временем Юрин брат все реже и реже возвращался к профессии своего отца, так что я в ожидании Юры уже почти не страдал от его совмещенного мытья.

Я как сейчас вижу длинную высохшую фигуру отца Юры с обросшим лицом в известковых пятнах седины, и рядом оголенный по пояс Юра, облепленный брызгами извести, с ведром в руке и длинной щеткой за плечом. Озаренный закатным солнцем; прекрасный, как юный Гер-

кулес, рядом со старым отцом, он возвращается с работы.

Потом он моется, ужинает и выходит на улицу, все такой же — оголенный по пояс.

И вот мы гурьбой сидим на теплом от летнего дня крыльчке, и Юра рассказывает что-нибудь о хозяевах, у которых он с отцом работал сегодня. Руки его расслабленно лежат на коленях, лицо слегка побледнело от усталости, и я всем существом чувствую то удовольствие от неподвижности, которое испытывает он сам и каждый его мускул.

Если они с отцом работали у щедрого, хорошего хозяина, который умеет хорошо покормить своих работников, Юра долго рассказывает, какие блюда он ел в этом доме, и как много он лично съел, и как они с отцом старались работать получше, чтобы угодить такому человеку.

Летом Юра часто бывал в деревне у своих родственников — цебельдинских греков. Приезжая, рассказывал, как там они живут, что едят и в каком количестве.

— Трехпудовый мешок принес из Цебельды за шесть часов, — говорит он как-то. Это обычная его спортивная новость.

— Неужели пешком из Цебельды? — раздается удивленный голос. В таких случаях всегда кто-нибудь удивляется за всех.

— Конечно, — говорит Юра и добавляет: — По дороге, правда, съел буханку хлеба и кило масла...

— Юра, но разве можно съесть кило масла? — спрашивает выразитель общего удивления.

— Это деревенское, греческое масло, — поясняет Юра, — его можно без хлеба тоже кушать...

Но не только физическая мощь, но и, как бы я теперь сказал, спортивная интуиция в нем была необыкновенно развита и проявлялась самым неожиданным образом.

Я не хочу пересказывать всем известный случай, когда он впервые сел на двухколесный велосипед, его толкнули, он несколько раз повихлял рулем и поехал.

То же самое однажды случилось на море. Почему-то Юра почти не плавал. При всей его немислимой отваге, мне кажется, он не доверял воде. То есть он держался на воде, мог сделать несколько деревенских саженок в глубину, но тут же поворачивал назад, нащупывал ногами дно и выходил на берег. То ли дело в том, что он все-таки рос в горной деревне, а не на море, то ли, подобно своему древнему сородичу, он ничего не мог без точки

опоры, но, бывало, его никак не загонишь в глубину, проплывет пять-шесть метров — и на берег.

Как человек, уже тогда склонный к простым формам блаженства, я мог часами не выходить из воды, и меня, конечно, огорчало его сдержанное отношение к морю. Однажды я его с большим трудом уговорил пойти со мной на водную станцию. Мы разделись и вышли на помост перед пятидесятиметровой дорожкой. Среди щеголеватых, хотя и почти голых, спортивных пижонов станции, он, в длинных, до колен, трусах, выглядел странно и неуместно.

Он попытался было слезть с помоста, но я все-таки уговорил его спрыгнуть. Мы решили плыть рядом, с тем чтобы я оценил каждое его движение, приучил свободно держаться на глубине и в конце концов научил плавать близким к одному из культурных стилей.

Юра прыгнул в воду, разумеется, ногами. Никогда не забуду выражения растерянности и вместе с тем готовности к сопротивлению, которое было написано у него на лице, когда он выскочил на поверхность воды. С таким выражением, вероятно, беглец, проснувшись среди ночи, вскакивает с постели и, озираясь, хватается за оружие.

Впрочем, убедившись, что его никто не тащит на дно, он поплыл к противоположному помосту. Он плыл своими суровыми саженками, после каждого гребка поворачивая голову назад, словно охраняя свой тыл.

Подождав несколько секунд, я прыгнул за ним. Надо было ему сказать, чтобы он не вертел головой.

Я решил с прыжка, не поднимая головы, плыть кролем, так сказать, достать его одним дыханием.

И вот я поднял голову над водой, посмотрел на вторую дорожку рядом, но Юры там не оказалось. Он был впереди. Расстояние между нами почти не уменьшилось. Он продолжал вертеть головой и плыть вперед.

Изо всех сил отталкиваясь ногами, я поплыл за ним брассом. Как я ни старался, расстояние между нами не уменьшалось. Я ничего не мог понять. Голова его продолжала вертеться при каждом взмахе руки, и он плыл, сурово озираясь то через правое, то через левое плечо.

Когда я к нему подплыл, он уже отдыхал, вернее, дожидался меня, держась за решетку помоста.

— Ну, как я плыл? — спросил он.

Я внимательно посмотрел в его серые глаза, но никакой насмешки не заметил.

— Хорошо, только не крути головой, — сказал я ему,

стараясь не выдавать своего тяжелого дыхания, и тоже ухватился за решетку помоста.

В ответ он помял немного шею и молча поплыл обратно. Я внимательно смотрел вслед. То, что он плыл, смешно поворачивая голову то вправо, то влево, слишком прямолинейно выбрасывая руки, скрадывало мощную подводную работу его рук и ног.

Он плыл, как сильное животное в чуждой, но хорошо преодолеваемой среде. Прямая шея и непреклонный затылок гордо высывались над водой. Я понял, что мне его никогда не догнать ни на суше, ни на море.

Я думаю, что склонность к простым формам блаженства помогла мне одолеть приступ малодушной зависти. В конце концов, решил я, его победа на море только еще раз доказывает, что я правильно выбрал себе предмет обожания.

Недалеко от нашей улицы был большой старинный парк. В этом парке уже в наше время были выстроены спортивные сооружения, в том числе огромная перекладина с целой системой спортивных снарядов: шест, кольца, канат и шведские стенки. Само собой разумеется, что Юра на всех снарядах был первым.

Но он, мой кумир, был не только самым сильным и ловким, он еще был самым храбрым, и это внушало смутное беспокойство.

Он поднимался по шведской лестнице до самой перекладины, взбирался на нее верхом, отпускал руки и осторожно выпрямлялся. И тут начинались чудеса храбрости.

Пока мы смотрели на него затаив дыхание, он пружинистым движением тела слегка раскачивал перекладину. Столбы, на которых держалась она, были расшатаны бесконечным раскачиванием каната, который использовался в качестве качелей, и поэтому вся система быстро приходила в движение.

И вот, раскачав ее, он внезапно, в каком-то неуловимом согласии с качанием, быстро и осмотрительно перебежал с одного края перекладины к другому. За эти несколько секунд, покамест он добегал до другого края, она успевала довольно сильно раскачаться, так что каждый раз казалось, что он не удержится, не сумеет ухватиться руками за ее край и слетит с нее. Но он каждый раз успевал.

Ребро перекладины было не шире ладони, и из него

торчали болты, скрепляющие с ней все эти снаряды, и, пробегая, надо было ко всему еще и не задеть их ногой.

Как только он хватался за перекладину и быстро скользил вниз по шведской стенке, мы облегченно вздыхали. Каждый раз этот коронный номер моего кумира одинаково потрясал нас, зрителей. И всегда он его исполнял с предельным риском — обязательно раскачивал перекладину и обязательно перебежал, а не переходил.

Не знаю почему, но мне во что бы то ни стало захотелось испытать себя на этом высотном номере. Я выбрал время, когда никого из наших не было в парке, взобрался наверх. Пока я стоял на лестнице, держась рукой за брус, высота казалась не очень страшной. Но вот я с ногами забрался на перекладину, и сразу стало высоко и беззащитно.

Я сидел на корточках и, держась обеими руками за нее, прислушивался к тихому покачиванию всей системы. Казалось, я уселся на спину спящего животного, слышу его дыхание и боюсь его разбудить.

Наконец я отпустил руки и разогнулся. Стараясь не смотреть вниз, я сделал шаг и, не отрывая второй ноги от бревна, подволок ее к первой. Перекладина тихо покачивалась подо мной. Впереди шла зеленая узкая тропинка, из которой торчали кочерыжки болтов, о которых тоже надо было помнить.

Я сделал еще один шаг и подтянул вторую ногу. Видимо, я это сделал недостаточно осторожно, потому что сооружение ожило и задышало подо мной. Стараясь удержаться, я замер и посмотрел вниз.

Рыжая от опавшей хвои земля, прочно перевитая арматурой корней, поплыла подо мной.

«Назад, пока не поздно», — подумал я и осторожно повернул голову. Конец перекладины, от которого я отошел, был совсем близко. Но тут я почувствовал, что вернуться не смогу. Вернуться на таком узком пространстве было страшнее, чем идти вперед.

Я почувствовал, что попал в ловушку. Мне оставалось или сесть верхом на бревно и задним ходом уползти назад, или продолжать путь. Как мне ни было страшно, все-таки какая-то сила не позволила мне отступить столь позорно. Я пошел дальше. Иногда, теряя равновесие, я думал — вот-вот прыгну, чтобы не сорваться, но все-таки каждый раз удерживался и шел дальше. Я дошел до самого края и, боясь уже от радости потерять равновесие, нагнулся и изо всех сил ухватился за перекладину и дол-

го держал, обхватив ее руками и прислушиваясь к ее теперь уже безопасному покачиванию.

Разумеется, я свое маленькое достижение не держал в тайне от ребят. Сам Юра, взглянув на меня долгим взглядом, поздравил меня. После этого я нередко повторял его, но страх почти не уменьшался, просто я привык к тому, что я должен пройти через страх определенной силы, и проходил.

Мне кажется, в любом деле первоначальный страх силен тем, что предстает в наших ощущениях как шаг в зияющую пустоту, в бесконечный ужас. Одолев его, мы не опасность устраняем, а находим меру тому, что мы считали бесконечностью. Кто определит меру небытия, тот и даст людям лучшее средство от страха смерти.

После меня и некоторые другие ребята научились проходить по качающейся перекладине, но ни они, ни я даже ни разу не попытались пробежать от одного конца до другого. Мы чувствовали, что это дело избранника, и только в самых потаенных мечтах могли повторить его подвиг.

...В видении Христа, идущего по воде, есть что-то от шарлатанства Великого Инквизитора. Мы видим, как при помощи чуда заманивают людей в религию. Но с еще большим успехом их можно было заманить в религию, если б Христос на глазах рыбаков прибрежную гальку превращал в золотые монеты.

В его прогулке по воде нет ничего духовного, потому что нет преодоления. Он идет по воде или потому, что бесплотен, или потому, что с неба на невидимой нитке его придерживает Главный Конструктор. А раз так, ему ничего не остается, как идти по воде Заслуженной Походкой, с тем скромным достоинством, с каким на собраниях проходят на сцену избранные в президиум.

Другое дело наш Юра. Вот он стоит на перекладине. Он готовится к подвигу, к человеческому чуду. Во всей его фигуре, в воинственном наклоне тела, в позе прыжка, в сосредоточенном лице горячий трепет борения отваги со страхом. Толчок — и несколько сверкающих секунд олимпийской победы духа над плотью!

На наших глазах он перегонял свое тело от одного конца перекладины к другому, как отважный наездник упирающегося коня через бешеную горную реку. И это было прекрасно, и все мы это чувствовали, хотя, почему это было прекрасно, и не могли бы тогда объяснить.

Однажды Юра предложил мне ограбить школьный бу-

буфет. И хотя до этого мы ни разу не грабили школьные буфеты, я почему-то согласился быстро и легко. Никаких угрызений совести мы не чувствовали, потому что это была чужая школа и притом для грабежа очень удобная, потому что была расположена рядом с нашим домом. Нас соблазнили сосиски, которые, по достоверным слухам, в этот день привезли в буфет.

План был прост: взломать дверной замок, съесть в буфете все сосиски, взять из кассы всю мелочь и скрыться. Бумажные деньги мы не планировали брать, потому что знали, что их не оставляют в кассе. Интересно, что нам в голову не приходило унести сосиски, мы представить себе не могли, что их может оказаться слишком много. И дело даже не в том, что под руководством моего кумира с его цебельдинским опытом можно было не беспокоиться об этом, но и вообще наш опыт подсказывал, да мы и слыхом не слыхали, что кто-то где-то мог не доесть сосиски.

Днем мы зашли в школьный буфет вроде бы от нечего делать, а на самом деле приглядываясь, что к чему, что где лежит и как расположено.

Большая миска, переполненная гроздьями перевитых сосисок, стояла на подоконнике. В косых соборных лучах предзакатного солнца над миской струилось розовое сиянье.

Юра с такой сентиментальной откровенностью уставился на это видение, что я в конце концов был вынужден вывести его оттуда, потому что это становилось неприлично и опасно.

— Не могу, — сказал он, передохнув, когда мы остановились в коридоре у окна.

— Что не можешь? — спросил я у него тихо.

— На лопнутые не могу смотреть, — ответил он и с таким присвистом втянул воздух, словно хватил чересчур горячую сосиску.

У меня у самого потекли слюнки.

— Потерпи до вечера, — шепнул я ему, призывая к мужеству.

Мы вышли из школы.

Вечером в помещение школы можно было проникнуть через глухую, забитую дверь задней стены. Дверь эта была застеклена, но один проем был выбит, в него-то и можно было пролезть.

При школе жил завхоз, исполняющий одновременно обязанности сторожа. У нас с ним были свои многолет-

ние тяжбы, потому что мы использовали школьный двор для футбола, а он нас гнал.

Это был, к сожалению, еще бодрый старик.

Как только хорошо стемнело, мы перелезли в школьный двор и незаметно подкрались к забитой двери. Она была освещена слабым уличным светом, и черная дыра в проеме вызывала тревогу. С улицы доносились голоса наших ребят, как далекий шум мирной, но уже невозможной жизни. У самой двери маслянисто сияла довольно большая лужа. Я осторожно обошел ее и заглянул в проем.

— Давай, — сказал Юра, и я полез.

Я схватился одной рукой за выбоину в стене, другой уперся в дверную ручку и, подтянувшись, сунул ноги в дыру, пытаясь нащупать ногами пол. Обеспокоенный страхом, изогнувшись, я некоторое время висел, шевеля носками и сползая, и, наконец, нащупав пол, втащил в помещение и верхнюю часть своего туловища.

Возле двери криво нависал пролет запасной лестницы, ведущей на чердак. Дальше надо было пройти коридором, потом свернуть в другой коридор, в конце которого и был расположен буфет.

Юра быстро перелез за мной, и мы пошли, то и дело останавливаясь и прислушиваясь к жуткой тишине закрытых классов и пустой темной школы.

Сердце стучало так, что с каждым шагом приходилось одолевать отталкивающую назад силу отдачи. Когда мы проходили мимо окон, в темноте появлялся бесстрашный профиль моего друга, и действие страха ослаблялось. Я забыл сказать, что на мне была почему-то белая рубашка. Эта рубашка, больше подходящая для привидения, чем для грабителя, сейчас в темноте казалась странной, словно я был одет в собственный страх. Я старался не смотреть на нее, чтобы еще больше не пугаться.

Мы подошли к двери буфета. В узкую щель проникла слабая струйка света. Юра надавил на дверь, щель расширилась, и он прыгнул к ней.

Он долго смотрел в щель, словно пытался подсмотреть ночную жизнь сосисок или каких-то других обитателей буфета. Наконец он повернул ко мне повеселевшее лицо и знаком пригласил и меня посмотреть в щель, словно предлагая порцию бодрости перед самой опасной частью нашего дела. Я заглянул и снова увидел наши сосиски. Они стояли на том же месте, но теперь, прикры-

тые кисеи, еще соблазнительней просвечивали сквозь нее.

Юра вынул из-за пазухи щипцы, которыми мы заранее запаслись, и стал орудовать над замком. Надо было вырвать одно из колец, к которым был привешен замок. Но это оказалось не так просто.

Взволнованный видением сосисок, он слишком спешил, и щипцы, соскальзывая с кольца, несколько раз довольно громко лязгали.

И вдруг я отчетливо услышал на верхнем этаже человеческие шаги. Они переступили несколько раз и, словно прислушиваясь, остановились.

— Бежим! — мертвея, шепнул я, но тут же почувствовал, как его пальцы больно сжали мое предплечье.

Мы замерли и долго молчали в длинной коридорной тишине.

— Показалось, — наконец шепнул Юра.

Я замотал головой. Снова замерли.

Не знаю, сколько мы так простояли. Но вот Юра осторожно повернулся к двери, словно сравнивая степень риска со степенью соблазна. Снова прислушался. Заглянул в щель, прислушался и решительно принялся за дверное кольцо.

И вдруг шаги! И снова рука Юры, опережая мой рефлекс дезертирства, хватает меня за предплечье.

Но шаги не останавливаются. Теперь они отчетливо шлепают по ступеням, мгновение мешкают, и вдруг сноп света, раньше, чем щелк выключателя, взрывной волной разливается со второго этажа на первый, и снова следом шаги.

Рука Юры разжалась на моем предплечье. Дикий и точный конь страха вынес и выбросил меня у здания школы. Я ни на мгновение не останавливался перед дверным проемом, я просто выдился в него и очнулся, шлепнувшись в лужу. Только перевалившись через забор, я заметил, что Юра за мной не бежит. Я не знал, что подумать. Неужели его сторож поймал? Но почему, если так, я ничего не слышал?

Сквозь забор я смотрел на здание школы и ожидал, что вот-вот оно вспыхнет от каких-то сигнальных огней и зальется какими-то мелкими злыми звонками, а потом приедет милиция...

Но время идет, и все тихо, и я начинаю замечать, что моя белая рубашка вся в грязи, что дома мне за это не поздоровится, что надо как-нибудь незаметно проник-

нуть в дом, выбросить рубашку в грязное белье и надеть что-нибудь другое.

Погруженный в эти невеселые раздумья, я заметил Юру только тогда, когда он, перемахнув через забор, спрыгнул возле меня.

Что же случилось? Оказывается, когда мы бежали от сторожа, чувствуя, что вдвоем мы не успеем выбраться, он сообразил свернуть на чердачную лестницу и переждать там опасность. И это он успел сообразить за те несколько секунд, пока мы бежали!

Мне бы в жизни никогда такое в голову не пришло, я как животное мчался в ту дыру, откуда залез. Вот какой он был, мой давний товарищ Юра Ставракиди!

Я перечел написанное и вспомнил, что в согласии с лучшими литературными рецептами необходимо сказать и о некоторых недостатках моего героя, разумеется, незначительных, не затмевающих, а так, слегка притушевывающих его светлый облик. Наличие таких небольших, повторяю, недостатков должно приблизить, очеловечить его облик и даже, может быть, вызвать грустную, всепонимающую улыбку: мол, ничего не поделаешь, человек есть человек.

Ну, так вот, Юра, в общем довольно хорошо говоривший по-русски, никак не мог научиться отличать слово «понос» от слова «насморк». Видимо, его вводила в заблуждение функциональная близость этих понятий, осложненная некоторым созвучием в духе современной рифмы, о чем Юра, разумеется, тогда не знал, тем более что тогда она и не была современной.

Я всякими способами пытался закрепить эти слова в его голове так, чтобы они занимали подобающее им место, но стоило ему тряхнуть головой, как они выскакивали и путались местами.

— В слове «понос» слышится слово «нос»? — спрашивал я его мирно.

— Да, слышится, — отвечал Юра, честно подумав.

— А насморк связан с носом? — спрашивал я его, воздействуя на него через логику первичных понятий.

— Связан, — отвечал Юра неуверенно, потому что не знал, куда я клоню.

— Так вот, — говорил я ему, — как только ты проносишь понос, ты сразу же вспоминай, что и нос и насморк к нему никакого отношения не имеют.

Но тут хаос славянского словаря накрывал его с головой.

— Тогда почему в нем слышится жое? — спрашивал он, высовывая голову, и все начиналось сначала. Одним словом, эта небольшая филологическая тупость не ослабляла моего постоянного эллинистического обожания друга.

Должен сказать, что Юра любил драться. В те годы все мы любили драться, но Юра, по естественным причинам, любил в особенности.

Он дрался, защищая собственную честь, или честь греческую, или просто слабых, или честь маляра, довольно часто честь улицы, реже честь класса. А то и просто так, когда стороны добровольно хотели определить свою силу, чтобы потом на генеалогическом древе рыцарства вспрыгнуть на более высокую ветку или уступить свою.

— Хочу с ним подраться, — бывало, тихо говорит мне Юра, кивнув на какого-нибудь мальчика. Обычно это новичок, появившийся в школе или в окрестностях нашей улицы. А иногда это кто-нибудь из старых знакомых, внезапно выросший или поздоровевший за лето и теперь требующий, даже если он сам этого не хочет, переоценки своих новых возможностей.

И вот Юра кивает в его сторону, и столько целомудрия и тайного счастья в его лице, что нельзя им не залюбоваться. Так, вероятно, садовник, обнаружив в саду досрочно налившийся плод, любит его, осторожно пригнув ветку, или, может быть, так Дон-Жуан издали с многозначительной нежностью смотрел на свою новую возлюбленную.

Обычно мальчик этот рано или поздно догадывался о тайной страсти Юры, в его движениях появлялась некоторая стыдливая скованность, в конце концов переходящая в наглость.

— Тоже чувствует, — радостно кивал Юра в его сторону, и глаза его теплели козлиным лукавством маленького сатира.

Однажды мы с Юрой стояли у входа в наш лучший по тем временам кинотеатр «Апсны». Шла какая-то потрясающая картина, вокруг нас колыхалась толпа подростков. Многие искали билеты, заглядывали в глаза, стараясь угадать перекупщиков.

Но до чего же было уютно стоять в толпе перед сеан-

сом, время от времени нащупывая в кармане свой билетик и зная, что вокруг столько страждущих, а ты вот со своим билетиком и тебе ничего не страшно. А когда начнут пускать, ты войдешь в дверь и еще будешь гулять по фойе, в сотый раз рассматривая чудные в своей цветной аляповатости картины местного художника на сюжеты пушкинских сказок, наслаждаясь сознанием, что эти маленькие удовольствия бесплатны, что главное удовольствие еще предстоит. А потом, когда впустят в кинозал, такой парной-парной от предыдущего сеанса, как бы хранящий самый запах зрелищного удовольствия, которое здесь только что испытывалось, а нам еще предстоит, а потом еще будет журнал, пусть иногда ерундовый, но ведь это тоже вроде надбавки, а главное, настоящее удовольствие еще предстоит, и, может быть, самое сладкое в жизни — это оттягивать, оттягивать его, если уж растянуть его не всегда возможно, потому что оно может оборваться, как кинолента...

Вот в таком блаженном ожидании кино я стоял, когда какой-то мальчик подошел к Юре.

— Нет билетика?

Юра посмотрел на этого мальчика, такого худенького, такого безбилетненького, промедлил, словно давая осознать всю бездну его сиротства, сказал:

— Есть, но сам пойду...

— Я вижу, ты хотел сострить, — сдержил мальчик, смелый от горя.

— Да, хотел, — почему-то повторил Юра. Казалось, он не поверил своим ушам, что из этой бездны кто-то еще может отвечать ему, и теперь проверяет, не послышался ли ему этот дерзкий голос.

— Но у тебя не получилось, — сказал мальчик и, мстительно кивнув головой, повернулся уходить.

— Стой, — встрепенулся Юра.

Мальчик бесстрашно остановился.

— Значит, я спекулянт? — неожиданно сказал Юра и, схватив его за грудки, тряхнул. — Значит, я спекулянт? — повторил он.

Я почувствовал во рту вкус кислоты. Это была тогда еще не осознанная реакция организма на пошлость и несправедливость.

Я чувствовал, что Юра хочет с ним драться, но сейчас это не укладывалось ни в какие нормы. Мальчик явно не хотел драться, мальчик был явно слабее него, мальчик

не говорил, что он спекулянт, в крайнем случае он даже не был рыжим.

— Значит, я спекулянт? — повторял Юра и, потряхивая, старался привести его в боевое состояние.

— Я не говорил, — сдавался голос мальчика, и он озирался в поисках знакомых или защитников.

— Нет, говорил! — снова тряс его Юра, стараясь вырвать из него еще какое-нибудь оскорбление, чтобы ударить его. Но мальчик не поддавался и тем самым еще больше раздражал Юру, вынуждая его самого сделать последний шаг. Дело к этому шло.

И вдруг, откуда ни возьмись, с полдюжины греческих мальчиков окружило нас, и все они залопотали в один голос:

— Не стыдно, грек... кендрепесо, — доносились из вихря знакомые слова.

Видно, ребята эти хорошо знали Юру и этого мальчика, и Юра по каким-то причинам считался с ними. А мальчик этот, на вид явно русский, неожиданно, словно от страха, тоже как залопочет по-гречески, что даже Юра растерялся. Видно, мальчик жил с этими ребятами в одном дворе.

Так они говорили, то возвышая, то понижая голос, переходя с русского на греческий и наоборот. Юра утверждал, что мальчик хотя и не назвал его прямо спекулянтом, но спросил у него, за сколько он продает билет, и тем самым и т. д.

— Не говорил я так, неправда, — смело нервничал мальчик в окружении своих греческих друзей.

— Не стыдно, грек? — снова греки стыдили Юру по-гречески.

— Спросите у него, если не верите, — сказал Юра и обернулся ко мне.

Я давно этого ожидал. Я его ненавидел в эту минуту. Я готов был топтать его прекрасную лживую рожу, но он был мой друг, и по какому-то древнему закону товарищества, землячества, своячества или как там еще я его должен был защищать, тогда как другое, более сильное, но почему-то бесправное чувство толкало меня стать на сторону этого мальчика.

Все обернулись на меня, уверенные, что я стану на сторону Юры уже потому, что он меня назвал. Но я промедлил первое мгновение и сразу же этим возбудил горячее любопытство, потому что, раз я его друг и не бросаю его защищать, значит, я должен сказать что-то

непривычное в таких случаях, может быть, даже всю правду.

Все притихли, глядя на меня, и я чувствовал, что каждый миг молчания поднимает меня в их глазах на какую-то бесстрашную высоту. И я сам ощущал, как подымаюсь в своем молчании, как плодотворно оно само по себе, и в то же время заранее зная, что подведу их, как только раскрою рот, и старался угадать миг, когда возноситься дальше будет просто-напросто опасно ввиду обязательного предстоящего падения.

— Я не слышал, — сказал я, и струя кислоты брызнула мне в рот, словно я раздавил зубами дичайший дичок.

Мгновенно обе стороны потеряли ко мне всякий интерес и продолжили спор, полагаясь уже только на свои силы. Прозвенел звонок.

В кино мы сидели рядом. Иногда, косясь в его сторону, я видел строгий, отчуждающийся профиль моего друга.

По дороге домой я пытался ему что-то объяснить, но он молчал.

— Не будем разводить ляй-ляй-конференцию, — сказал он, поравнявшись со своим домом и сворачивая во двор.

Это было началом конца нашей дружбы. Мы не ссорились. Мы просто потеряли общую цель. Постепенно мы покидали общее детство и входили в разную юность, потому что юность — это начало специализации души. Да и внешне по независящим от нас обстоятельствам мы потеряли друг друга.

И только через много, много лет я его встретил в нашем городе на верхнем ярусе водного ресторана «Амра», куда я зашел выпить кофе. Он сидел в компании наших местных ребят. Мы еще издали друг друга узнали, и он, широко улыбаясь, встал из-за столика.

Я присел к ним, и мы с Юрой, как водится, повспоминали детство и школьных товарищей.

Оказывается, Юра — морской офицер и служит на Севере. Сейчас он в длительном отпуске, приехал отдохнуть и погулять, а потом остаток отпуска собирается провести в Казахстане, где живут сейчас его родители.

Я напомнил ему, как он пробегал по перекладине, и признался, что его подвиг так и остался для меня великой мечтой.

— Зато я не мог пройти, — сказал Юра, пожимая плечами.

— Как не мог?

— Медленно идти было страшно, — сказал он, и в его серых глазах промелькнула тень бывшего бесстрашия.

— Не может быть! — воскликнул я, чувствуя, что это признание навлекает на меня какую-то ответственность. Я еще не мог понять, какую.

— А раскачивал я ее знаешь почему? — спросил он и, не дожидаясь моего вопроса, ответил: — Просто я почувствовал, что хорошая килевая качка мне приятнее болтанки... Как в море, — добавил он почему-то, утешая меня более универсальным применением своего открытия.

Нет, я нисколько не жалел о своих отроческих восторгах его подвигом. Просто я почувствовал, что храбрость, как, вероятно, и трусость, имеет более сложную природу, и многое из того, что я считал решенным и ясным, вероятно, не так уж точно решено.

Мне стало грустно. Концы недодуманных мыслей мешали веселиться, как во времена студенчества несданные зачеты.

Мне захотелось сейчас же пойти домой и хотя бы кое-что додумать. Но уйти было невозможно, потому что подошла официантка с заказом. Она поставила на стол бутылку коньяка и искусно нарезанный арбуз, который, как только она поставила тарелку на стол, сочась, раскрылся, как гигантский лотос с кровавыми лепестками.

В самом деле, уйти было никак невозможно.

МОЙ ДЯДЯ САМЫХ ЧЕСТНЫХ ПРАВИЛ...

Когда ребята с нашей улицы начинали хвастаться своими знаменитыми родичами, я молчал, я давал им высказаться.

Военные проходили по высшей категории. Но и среди военных была своя особая, подсказанная мальчишеским воображением субординация. На первом месте были пограничники, на втором — летчики, на третьем — танкисты, а потом остальные. Пожарники проходили вне конкурса.

Тогда еще не было войны, а у меня, как назло, ни один родственник не служил в армии. Но я имел свой особый козырь, которым пользовался довольно успешно.

— А у меня дядя сумасшедший, — говорил я спокойным голосом, отодвигая на некоторое время слишком реальных героев своих товарищей. Сумасшедший — это необычно, а главное, почти недоступно. Легчиком и пограничником можно стать, если хорошо учиться, так по крайней мере утверждали взрослые. А они, конечно, знали что к чему. А сумасшедшим не станешь, будь ты самым что ни на есть отличником. Конечно, если не заучиться. Но нам это не грозило.

Одним словом, сумасшедшим надо родиться, или в детстве удачно упасть, или заболеть менингитом.

— А он настоящий? — спрашивал кто-нибудь из ребят недоверчиво.

— Конечно, — говорил я, ожидая этого вопроса. — У него справки есть, его смотрели профессора.

Справки и вправду были, они лежали у тетки в швейной машинке «Зингер».

— А почему он не в сумасшедшем доме живет?

— Его бабушка туда не пускает.

— А вы не боитесь его по ночам?

— Нет, мы привыкли, — говорил я спокойно, как экскурсовод, ожидая следующих вопросов. Иногда задавали глупые вопросы, вроде того, не кусается ли он, но я оставлял их без внимания.

— А ты не сумасшедший? — догадывался кто-нибудь спросить, глядя на меня пронизательными глазами.

— Немножко могу, — говорил я со скромным достоинством.

— Интересно, кто победит: Фран-Гут или сумасшедший? — бросал кто-нибудь, и сразу же возникали десятки интересных предположений. Фран-Гут был знаменитым борцом из проезжего цирка шапито. Он был негр, и поэтому мы все за него болели.

Дядя жил на втором этаже нашего дома вместе с тетей, бабушкой и остальной родней. Существовали две фамильные версии, объясняющие его не вполне обычное состояние. По первой из них получалось, что это случилось с ним в детстве после болезни. Это была неинтересная и потому маловероятная версия. По второй, которую распространяла тетка и в конце концов заглушала бабушкины воспоминания, оказывалось, что он в ранней юности упал с арабского скакуна.

Тетя почему-то не любила, когда его называли сумасшедшим,

— Он не сумасшедший, — говорила она, — он душевнобольной.

Это звучало красиво, но непонятно. Тетя любила приукрашивать действительность, и это ей отчасти удавалось. Но все-таки он был настоящий сумасшедший, хотя и почти нормальный.

Обычно он никого не трогал. Сидел себе на скамеечке на балконе и пел песенки собственного сочинения. В основном это были романсы без слов.

Правда, иногда на него находило. Он вспоминал какие-то старые обиды, начинал хлопать дверьми и бегать по длинному коридору второго этажа. В таких случаях лучше было не попадаться ему на глаза. Не то чтобы он обязательно чего-нибудь натворил, но все же лучше было не попадаться. Если при этом бабушка оказывалась дома, она его довольно быстро приводила в себя. Бабка заворачивала ему ворот рубахи и бесцеремонно подставляла его голову под кран. После хорошей порции холодной воды он успокаивался и садился пить чай.

Словарь его, как у современных поэтов-песенников, был предельно сжат. Вытряхните на стол тетрадь второклассника — там будут все слова, которыми дядюшка обходился при жизни. Правда, у него было несколько выражений, которые явно не встретишь в тетради второклассника и даже в книге не встретишь. Он употреблял их, как и нормальные люди, в минуты наибольшего душевного подъема. Из них можно воспроизвести только одно: «Удушью мать».

Говорил он в основном по-абхазски, но ругался на двух языках: по-русски и по-турецки. По-видимому, в память они ему врезались по степени накала. Отсюда можно заключить, что русские и турки в минуту гнева выдают выражения примерно одинаковой эмоциональной насыщенности.

Как все сумасшедшие (и некоторые несумасшедшие), он был очень сильным. Дома он выполнял всякую работу, не требующую большой сообразительности. Сливал помой, таскал свежую воду, когда еще не было водопровода, приносил базарные сумки, колот дрова. Работал добросовестно и даже вдохновенно. Когда мощная струя помоев, описав крутую траекторию со второго этажа, глухо шлепалась в яму, бродячие кошки, возившиеся в ней, взлетали, как бы подброшенные взрывной волной.

Бабушка его жалела, она считала, что он может надорваться на работе. Иногда, в дни генеральной уборки,

она насильно укладывала его в постель и объявляла, что он заболел. Она перевязывала ему голову или щеку, и он лежал растерянный и несколько смущенный мистификацией. В конце концов ему надоедало лежать, и он пытался подняться, но бабушка снова заталкивала его в постель. Заставить работать его в такие часы было невозможно. Он пожимал плечами и говорил: «Бабушка не разрешает». Он бабушку называл бабушкой, хотя она ему была мамой. Такой уж он был, со странностями.

Дядя был удивительно чистоплотен. Нам, детям, всегда его ставили в пример. Я с тех пор, как увижу слишком чистоплотного человека, не могу избавиться от мысли, что у него в голове не все в порядке. Я, понятно, ему об этом не говорю, но так, для себя, имею в виду.

Словом, дядя был ужасно чистоплотным. Бывало, не подходи, когда он тащит свежую воду или сумку с провизией или садится есть. А уж руки мыл каждые десять-пятнадцать минут. Его за это ругали, потому что он протирал полотенце, но отучить не могли. Бывало, пожмет ему кто-нибудь руку, он тут же бежит к умывалке. Взрослые часто потешались над этим и нарочно здоровались с ним по многу раз на день. Из какого-то такта дядя Коля не мог не подать руки, хотя и понимал, что его разыгрывают.

Больше всего на свете он любил сладости, из всех сладостей — воду с сиропом. Если нас посылали с ним на базар и мы проходили мимо ларька с фруктовыми водами, он, обычно не склонный к сантиментам, трогал меня рукой и, показывая на цилиндрики с разноцветными сиропами, застенчиво говорил: «Коля пить хочет».

Приятно было угостить взрослого седоглавого человека сладкой водичкой и чувствовать себя рядом с ним человеком пожившим, добрым и снисходительным к детским слабостям.

А еще он любил бриться. Правда, это удовольствие ему доставляли не так уж часто. Примерно раз в месяц. Иногда его посылали в парикмахерскую, но чаще его брила сама тетка.

Бритье он воспринимал серьезно. Сидел не морщась и не шевелясь, пока тетка немилосердно скребла его намыленную, горделиво приподнятую голову. В такие минуты можно было из-за теткой спины показывать ему язык, грозить кулаком, он не обращал никакого внимания, погруженный в парикмахерский кейф. И это несмотря на то, что борода и особенно волосы на голове,

как бы возросшие на целинных землях, густо курчавились и отчаянно сопротивлялись бритве. Иногда тетка просила меня поддержать ему ухо или натянуть кожу на шее. Я, конечно, охотно соглашался, понимая всю недоступность такого удовольствия в обычных условиях. С несколько преувеличенным усердием я держал его большое смуглое ухо, заворачивая его в нужном направлении и рассматривая шишки мудрости на его голове.

Обычно похожий на добродушного пасечника с курчавой бородой, после бритья он резко менялся: лицо его принимало брезгливо-надменное выражение римского сенатора из учебника по истории древнего мира. В первые дни после бритья он становился замкнутым и даже высокомерным, потом постепенно римский сенатор уходил в глубь бороды и выступал добродушный демократизм деревенского пасечника.

Я бы не сказал, что он страдал манией величия, но, проходя мимо памятника в городском сквере, он испытывал некоторое возбуждение и, кивая на памятник, говорил: «Это я». То же самое повторял, увидев портрет человека, поданный крупным планом в газете или журнале. Ради справедливости надо сказать, что он за себя принимал любое изображение мужчины в крупном плане. Но так как в этом виде почти всегда изображался один и тот же человек, это могло быть понято как некоторым образом враждебный намек, опасное направление мыслей и вообще дискредитация. Бабушка пыталась отучить его от этой привычки, но ничего не получалось.

— Нельзя, нельзя, комиссия! — грозно говорила бабушка, тыкая пальцем в портрет и отлучая дядю от него, как нечистую силу.

— Я, я, я, — отвечал ей дядя радостно, постукивая твердым ногтем по тому же портрету. Он ничего не понимал.

Я тоже ничего не понимал, и опасения взрослых мне казались просто глупыми.

Комиссии дядя действительно боялся. Дело в том, что соседи, исключительно из человеколюбия, время от времени писали анонимные доносы. Одни из них указывали, что дядя незаконно проживает в нашем доме и что он должен жить в сумасшедшем доме, как и все нормальные сумасшедшие. Другие писали, что он целый день работает и надо проверить, нет ли здесь тайной эксплуатации человека человеком.

Примерно раз в год являлась комиссия. Пока члены

ее опасно подымались по лестнице, тетя успевала надеть на него новую праздничную рубашку, давала ему в руки бабушкины четки и грозным шепотом приказывала ему сидеть и не двигаться. Члены комиссии, несколько сконфуженные своим необычным делом, извинялись и задавали тетке необходимые вопросы, время от времени поглядывая на дядю со скромным любопытством. Тетя извлекала из зингеровской машинки дядины документы.

— У него золотой характер, — говорила она. — А физический труд ему полезен. Об этом сам доктор Жданов говорил. Да и что он делает? Пару ведер воды принесет от скуки, вот и все.

Пока она говорила, дядя сидел за столом, деревянно сжимая четки, и глядел прямым немигающим взглядом деревенской фотографии.

Перед уходом кто-нибудь из членов комиссии, освоившись и осмелев, спрашивал у дяди:

— Нет ли жалоб?

Дядя вопросительно смотрел на бабушку, бабушка на тетю.

— Он у нас плохо слышит, — говорила тетя с таким видом, как будто это был его единственный недостаток.

— Жалобы, говорю, есть? — громче спрашивал тот.

— Батум, Батум... — задумчиво, сквозь зубы цедил дядя. Он начинал злиться на всю эту комедию, потому что про Батум он вспоминал в минуты крайнего раздражения.

— Ну, какие у него могут быть жалобы? Он шутит, — говорила тетя, очаровательно улыбаясь и провожая комиссию до порога. — Он у меня живет как граф, — добавляла она крепнущим голосом, глядя в спину уходящей комиссии. — Если бы некоторые эфиопки смотрели за своими мужьями, как я за своим инвалидом, у них не было бы времени сочинять армянские сказки.

Это был вызов двору, но двор, притаившись, трусливо молчал.

После ухода комиссии праздничную рубашку с дяди снимали и тетя назло соседям посылала его за водой. Гремя ведрами, он радостно бросался в путь, явно предпочитая коммунальным фокусам свое древнее занятие водоноса.

Больше всего на свете дядя не любил кошек, собак, детей и пьяных. Не знаю, как насчет остальных, но в нелюбви к детям отчасти виноват и я.

За многие годы я хорошо изучил все его наклонности,

привязанности, слабости. Любимым занятием моим было дразнить его. Шутки порой бывали жестокими, и я теперь в них каюсь, но сделанного не вернешь. Единственное, что в какой-то мере утешает, это то, что и мне от него доставалось немало тумачков.

Бывало, в сырой зимний день сидим в теплой кухне. Бабушка возится у плиты, рядом дядя на скамеечке, а я сижу на кушетке и читаю какую-нибудь книгу. Потрескивает огонь, посвистывает чайник, мурлычет кошка. В конце концов этот тихий, сумасшедший уют начинает надоедать. Я все чаще откладываю книгу и смотрю на дядю. Дядя смотрит на меня своими зелеными персидскими глазами. Он смотрит на меня, потому что знает, что рано или поздно я должен выкинуть какую-нибудь штучку. И так как он знает это и ждет, я не могу удержаться.

Простейший способ нарушить его спокойствие — это долго и пристально смотреть ему в глаза. Вот он начинает ерзать на стуле, потом опускает глаза и рассматривает свои большие руки, но я прекрасно знаю, о чем он думает. Потом он быстро поднимает глаза, чтобы узнать, смотрю я или нет. Я продолжаю смотреть. Я даже занимаю спокойную, удобную позу. Она должна внушить ему, что смотреть на него я намерен долго и это не составляет для меня большого труда. Он начинает беспокоиться и вполголоса говорит:

— Этот дурачок меня дразнит.

Он не хочет раньше времени поднимать ненужный шум. Он говорит для меня. Он как бы репетирует передо мной свою будущую жалобу.

Я продолжаю упорно смотреть. Бедняга отворачивается, но ненадолго. Ему хочется узнать, продолжаю ли я смотреть. Я, конечно, смотрю. Тогда он прикрывает глаза ладонью. Но и это не помогает. Ему хочется узнать, оставил ли я его в покое в конце концов. Он слегка, думая, что я этого не замечаю, растопыривает ладони и смотрит в щелочку. Я гляжу как ни в чем не бывало. Тогда раздражается скандал.

— Он смотрит на меня, я его убью! — кричит дядюшка, и злые огни вспыхивают в его глазах. Я мгновенно отвожу взгляд на книгу, а потом подымаю голову с видом человека, неожиданно оторванного от своих мирных занятий.

— Что же, ему глаза выколоть, что ли? — говорит бабушка и, дав ему легкий подзатыльник, советует не

смотреть в мою сторону, раз уж мой вид так его раздражает.

Но иногда, доведенный до ярости более злыми шутками, он сам дает подзатыльники, хватая полено или кочергу, и тогда наступает страшная минута. Особенно если нет рядом бабушки или взрослых сильных мужчин. «Боженька, — шепчу я про себя, — спаси на этот раз, и тогда я никогда в жизни не буду его дразнить. И буду всегда тебя любить и даже вместе с бабушкой тебе молиться. Вот увидишь, ты только спаси». Но видно, я не слишком надеюсь на боженьку, тем более что каждый раз его подвожу. Несмотря на страх, сознание работает быстро и четко. Бежишь, если дядя еще не отрезал путь к дверям. Но если бежать уже невозможно, единственное спасение — неожиданно подойти к нему и, низко наклонившись, подставить голову: бей. Это довольно жуткая минута, потому что перед тобой вооруженный безумец, да еще в ярости.

Но, видно, эта жалкая поза, эта полная покорность судьбе его обезоруживают. Какое-то врожденное благородство его останавливает от удара. Он мгновенно гаснет. Бывало, только оттолкнет брезгливо и отойдет, в недоумении пожимая плечами на то, что люди могут быть такими дерзкими и такими жалкими одновременно.

Однажды я прочитал замечательную книжку, где шпион притворялся глухонемым, но потом его разоблачили, потому что он во сне заговорил по-немецки. Один наш контрразведчик нарочно выстрелил над его головой, но он даже не вздрогнул. Он был сильной личностью. Но во сне он переставал быть сильной личностью, потому что спал. И вот он заговорил по-немецки, а мальчик его разоблачил. Другой мальчик тоже слышал, как шпион говорит во сне, но не мог его разоблачить, потому что плохо занимался по-немецки и не понял, по-какому тот говорит. Но главное не это. Главное, что шпион притворялся глухонемым.

Мысль моя сделала гениальный скачок: я понял, что дядя мой совсем не сумасшедший, а самый настоящий шпион. Единственное, что меня немного смущало, это то, что бабка его помнила с детских лет. Но и это препятствие я быстро опрокинул. Его подменили, догадался я. Сумасшедший дядя был, но шпионы изучили его повадки и словечки и в один прекрасный день дядю выкрали, а вместо него подсунили шпиона. А брезгливым он притворяется нарочно, чтобы его кто-нибудь не отравил.

Я вспомнил, что в его поведении было много подозрительного. Иногда он что-то записывал на листках бумаги цветными карандашами. Бумажки эти он тщательно прятал. Я, конечно, заглядывал в них, но раньше они мне казались каракулями неграмотного человека. Здорово же он нас обманывал! А удочки!

Дядя иногда ходил на море ловить рыбу. В этом не было бы ничего странного, ведь и нормальные люди увлекаются рыбной ловлей. Но дело в том, что на удочке его не было крючков. А мы еще смеялись над ним. Может быть, внутри удилица был тайный радиоприемник и он передавал сведения вражеской подводной лодке?

Мозг мой пылал. Мысленно я уже читал в «Пионерской правде» большой заголовок: «Пионер разоблачил шпиона. Дети, будьте бдительны!»

Дальше шел мой портрет и рассказ, который начинался такими словами:

«С некоторых пор пионер такой-то (то есть я) стал тихим и грустным. Его близорукие родители (то есть мои родители) считали, что он заболел. На самом деле он обдумывал, как разоблачить матерого шпиона, который долгое время выдавал себя за сумасшедшего дядю. Нелегко было пойти на такой шаг. Но пионер не растерялся. Это была борьба нервов». И дальше в таком же духе и даже еще лучше.

Первым делом надо было выкрасть удочку и проверить ее. Она лежала у дяди под кроватью. К постели своей он меня близко не подпускал, все из той же якобы брезгливости. Но я воспользовался случаем, когда его послали за водой, вытащил удилица из-под кровати, взял напильник и тайком, в огороде, стал распиливать суставчатое тело бамбука. Я распилил каждое звено, но удилица оказалось пустым. Я не впал в уныние, а обратил внимание на то, что самое первое звено у основания удилица не имело естественной перегородки, она была проломана, и туда можно было просунуть палец. Все ясно! Он туда просовывает свой приемничек, а потом вынимает и прячет. Ну и хитрец! Я закопал удилица в огороде и стал обдумывать, что делать дальше.

Надо было спешить, пока он не обнаружил, что у него пропала удочка. Но вот тетка ушла из дому по своим делам, бабушка вышла на двор посидеть в холодке, а я поднялся наверх. Дядя, как обычно, сидел в кухне и, глядя через окно в коридор, следил, чтобы никто из чужих не проник в дом. Я пошел в кухню и сел против

него за стол. Главное, решил я, напор и неожиданность. Он думает, что начну дразнить, а на самом деле...

— Ваша карьера окончена, подполковник Штауберг, — сказал я отчетливо и почувствовал, как на спине моей выступает гусиная кожа, подобно пузырькам на поверхности газированной воды.

Не знаю, откуда я взял, что он подполковник Штауберг. Видимо, я доверял интуиции, как и многие гениальные контрразведчики, о которых читал, в том числе сам майор Пронин.

— Отстань, — сказал дядя мне в ответ тем тоскливым голосом, каким он говорил, когда чувствовал, что я начинаю его дразнить, а у него не было охоты связываться со мной.

Ни один мускул на его лице не дрогнул. «Железный человек», — подумал я, восторженно содрогаясь и продолжая делать то, что положено было делать в эту минуту.

— Вы неплохо сыграли свою роль, но и мы не дремали, — великодушно отдавая дань ловкости врага, сказал я. Слова приходили точные и крепкие, они вселяли уверенность в правоте дела.

— Мальчик сумасшедший, — сказал дядюшка с некоторым оттенком раздражения. Он всегда меня называл мальчиком, как будто у меня не было своего имени.

«Увиливает, шельма», — подумал я, задыхаясь от вдохновения, и решил, что пора намекнуть ему кое на что.

— Рыбка не клюет? — спросил я, проникательно улыбаясь и глядя ему в глаза. — Море волнуется или удочка не годится?

— Удочка? — повторил он, и в его тусклых глазах мелькнуло подобие мысли.

— Вот именно, удочка, — сказал я, поняв, что ухватился за то самое звено, при помощи которого можно, не слишком громыхая, вытащить и всю цепь.

— Моя удочка? — повторил он, начиная что-то соображать.

— Вы попались на свою удочку, подполковник! — сострил я и, откинувшись на стуле, стал ждать, что будет дальше.

— Удочка, удочка, удушю мать! — пробормотал он в сильном волнении и, что-то окончательно себе уяснив, ринулся к дверям.

— Ни с места! — крикнул я. — Дом оцеплен!

— Батум! — крикнул он и побежал в комнату.

Я немного растерялся. Вместо того чтобы с достоинством сдаться и сказать: «На этот раз вы меня перехитрили, лейтенант...», он побежал искать удочку, как будто это имело какое-нибудь значение.

Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось.

— Украл удочку! — кричал он в ярости, пытаюсь схватить меня.

— Добровольное признание облегчит вашу участь! — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья испытанным приемом английской разведки.

— Вор! Удочка! Удушу мать! — кричал он, возбуждаясь от схватки.

— Назовите сообщников! — орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробегал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку.

Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но, когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет.

В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал:

— Бабушка!

Она и так уже подымалась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев ее, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет.

— Удочка, удочка, — лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал.

И вдруг я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком оправдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения.

Я сказал, что он на меня напал, но побить все же

не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению, самый распространенный.

В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал.

Как я ни откладывал, но теперь мне придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети.

Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далек от утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую. Но все-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен?

Тетя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашонки, трусы и всякую мелочь.

— Оборочки, манжеттики, — говорила она, суетливо обмеривая заказчика сантиметром и стараясь казаться настоящим мастером.

Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали, в счет будущих заказов.

— Спасибо, Фаиночка, сочтемся, — говорили ей при этом.

— За спасибо хлеба не купишь, — отвечала она, горестно усмехаясь с некоторой долей отвлеченной обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продает хлеб за спасибо.

В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой тетя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределенных занятий. Звали ее тетя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, а тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее.

— Она дерется как мужчина, — говорили они.

Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут.

— Рыжая команда! — бывало кричит тетя Тамара, стоя у бельевой веревки, увешанная прищепками, как пулеметными лентами.

— Ты сама рыжая, — отвечает тетя Фаина вполне справедливо.

— Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета, — усмехается тетя Тамара.

— К тебе матросы ходят, — нервничает тетя Фаина.

— Интересно, кто к тебе пойдет? — ехидно говорит тетя Тамара.

— У меня муж есть, — доказывает тетя Фаина, — все знают моего мужа, он честный человек.

— Начхала я на твоего мужа, — как-то обидно говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату.

Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения.

Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы.

Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами.

— И за что только он меня так любит? — говорила она, если у нее было хорошее настроение.

Дядя и дня не мог прожить без нее. Возле комнаты тети Фаины была кухонная пристройка, собственно говоря, базарный ларечек, купленный по дешевке ее мужем. Целыми днями она возилась в этой кухоньке, время от времени выглядывая во двор, чтобы увидеть, кто куда прошел, и стараясь угадать у соседок по выражению их лиц, не дают ли где-нибудь дефицитных товаров. Когда она выглядывала оттуда, вид у нее был какой-то испуганный, как будто она боялась, что, пока она возится с обедом, может упустить что-то важное для жизни или кто-нибудь ее просто прихлопнет. Такой вид бывает у птицы, которая увлеченно что-то клюет, а потом вдруг вспомнит про опасность, быстро подымает голову и осторожно озирается.

Так вот, дядя обычно подходил к этой кухоньке с тыльной стороны и, наклонившись к фанерной стене, сле-

дил за ней в щелочку. Он ничего не мог увидеть, кроме ее стряпни, но, видимо, этого ему было достаточно. Так он мог стоять часами и наблюдать за ней, пока она не выходила из себя и не кричала тете через весь двор:

— Скажите ему, что у меня есть муж, он опять за мной ухаживает!

Тетя гнала его домой и ругала, правда, больше для виду. Застигнутый на месте преступления, бедняга чувствовал постыдность своей страсти и, проходя мимо тети, неопределенно пожимал плечами, показывая, что это сильнее его.

— Купите ему воду с двойной сироп, и пусть он успокоится, — советовала тетя Фаина.

Но, видимо, вода с двойным сиропом была слишком слабым утешением. Через час или два дядя сбегал из-под надзора бабушки и снова проникал в заветный уголок.

Вечером, когда приходил с работы муж тети Фаины, она рассказывала ему о своих дневных горестях, не забывая и дядю. Муж ее был косоглазый сапожник, мирный и добрый человек.

— Я люблю, когда все тихо. Моя жена никому не мешает, — говорил он полугромко, так, чтобы никто не обижался, но было видно, что он защищает свою жену. При этом он затыкал или замазывал замазкой очередную дырочку, пробитую дядей в кухонной стене.

Взрослые часто говорили об этой необычной любви. Видимо, для многих из них она сама по себе была достаточно ненормальным признаком.

Говорили при нем, думая, что он ничего не понимает. Но я уверен, что тут он догадывался, о чем идет речь. В такие минуты я замечал в глазах его выражение страдания и стыда, замечал мелкое дрожание губ, а иногда невольный протестующий жест рукой. Как будто он хотел сказать: отстаньте, как вам не стыдно!

Он любил ее до конца своих дней, так ни разу не удостоившись внимания своей жестокой возлюбленной.

Умер дядя вскоре после бабушки. Он по ней очень скучал и все спрашивал, куда она уехала, хотя она умерла при нем. О смерти ее он быстро забыл, но о жизни помнил, потому что эта жизнь окружала его безумие человеческой теплотой и любовью. Ведь неразумных детей матери любят сильнее — они больше других нуждаются в их защитной любви.

Тетя потом говорила, что перед самой смертью к дяде пришла ясность ума, как будто судьба на мгнове-

ние решила ему показать, каково быть в здравом рассудке. И это вдвойне жестоко, потому что такой короткой вспышки могло хватить только на то, чтобы ощутить всю бесчеловечность перехода из одной пустоты в другую.

Но я думаю, что тете это только показалось. Она любила, чтобы все было красиво, а для этого ей приходилось многое преувеличивать.

Сейчас я жалею, что ничего хорошего ему в жизни не успел сделать. Разве что угощал его сладкой водичкой да в баню с ним ходил. Он очень любил мыться. В бане он ничем не отличался от остальных посетителей и только больше других стеснялся, каким-то библейским жестом руки стараясь прикрыть свою наготу.

Я вспоминаю чудесный солнечный день. Дорога над морем. Мы идем в деревню. Это километров двенадцать от города. Я, бабушка и он. Впереди дядя, мы едва за ним поспеваем. Он обвешан узелками, в руках у него чемоданы, а за спиной самовар. Начало лета. Еще не пыльная зелень и не знойное солнце, а навстречу упругий морской ветерок, дорожной сладостью новизны охлаждающий грудь. Бабушка поныхивает сигаркой, постукивает палкой, а впереди дядя с солнечным самоваром за спиной. И он поет свои бесконечные песенки, потому что ему хорошо и он чувствует бодрую свежесть летнего дня, заманчивость этого маленького путешествия.

Нет, все-таки жизнь и его не обделила счастливыми минутами. Ведь он пел, и пенье его было простым и радостным, как пенье птиц.

ЛОШАДЬ ДЯДИ КЯЗЫМА

У дяди Кязыма была замечательная скаковая лошадь. Звали ее Кукла.

Почти каждый год на скачках она брала какие-нибудь призы. Особенно она была сильна в беге на длинные дистанции и в состязаниях, которые, кажется, известны только у нас в Абхазии, — чераз.

Суть чераза состоит в том, что лошадь разгоняют и заставляют скользить по мокрому полю. При этом она не должна спотыкаться и не должна прерывать скольжения. Выигрывает та, которая оставляет самый длинный след.

Возможно, это состязание вызвано к жизни условиями

горных дорог, где умение лошади в трудную минуту скользить, а не падать особенно ценно.

Я не буду перечислять ее стати, тем более что ничего в них не понимаю. Я ушел от лошади, хотя и не пришел к машине.

Внешность Куклы помню хорошо. Это была небольшая лошадь рыжей масти с длинным телом и длинным хвостом. На лбу у нее было белое пятнышко. Одним словом, внешне она мало отличалась от обычных абхазских лошадей, но, видно, все-таки отличалась, раз брала призы и была всем известна.

Днем она паслась в котловине Сабиды или в ее окрестностях. К вечеру сама приходила домой. Неподвижно стояла у ворот, время от времени прядая маленькими острыми ушами. Дядя выносил ей горстку соли и кормил ее с руки, что-то тихо приговаривая. Кукла осторожно дотягивалась до его ладони, раздувала ноздри, страшно косила фиолетовым глазом с выпуклым белком, похожим на маленький глобус с кровавыми меридианами.

Во время прополки кукурузы дядя собирал срезанные стебли, и вечером лошадь хрустела свежими листьями молодой кукурузы.

Тетка Нуца, дядина жена, иногда ворчала, что он только и занят своей лошадью целыми днями. Это было не совсем так. Дядя был хорошим хозяином. Я думаю, что тетка Нуца слегка ревновала его к лошади, а может, ей было обидно за коров и коз. Впрочем, кто его знает, почему ворчит женщина?

Иногда Кукла не возвращалась из котловины Сабиды, и дядя, как бы поздно ни узнавал об этом, сейчас же подпоясывался уздечкой, топорик через плечо — и уходил искать. Бывало, возвратится поздно ночью по пояс в росе или весь мокрый, если дождь. Присядет у огня, греется. Красивая, резко высеченная большая голова, неподвижно растопыренные пальцы. Сидит успокоенный, главное дело сделано — Кукла найдена.

В жаркие дни дядя водил ее купать. Стоя по пояс в ледяной воде, он окатывал ее со всех сторон, расчесывал гриву, выдергивал репы и всякую труху.

— Мухи заедают, — бормотал он и соскребал с ее живота пригоршни твердых, нагло упирающихся мух.

В воде Кукла вела себя более покорно. Она только изредка дергалась и не переставала дрожать.

Стоя на берегу ручья, я любовался дядей и его ло-

шадью. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы плеснуть в нее водой, на его худом костистом теле прокатывались мускулы и выделялись ребра. Иногда к его ногам присасывались пиявки. Выходя из воды, он спокойно отдирает их и одевался. Этих пиявок мы смертельно боялись и из-за них не купались в ручье.

После купания дядя иногда сажал меня на Куклу, брал в руки поводья, и мы подымались наверх, к дому. Тропинка была очень крутая, я все время боялся соскользнуть с мокрой лошадиной спины, всеми силами прижимался ногами к ее животу и крепко держался за гриву. Ехать было мокро и неудобно и все-таки приятно, и я держался за лошадь, испуганно радуясь и смущаясь оттого, что чувствовал ее отвращение к седоку и смутно сознавал, что это отвращение справедливо. Каждый раз, как только ослабевали поводья, она поворачивала голову, чтобы укусить меня за ногу. Но я был начеку. Обычно мы таким образом подходили к воротам, и я слезал с лошади, празднично возбужденный оттого, что теперь целый и невредимый стою на земле.

Однажды мы так же подъехали к воротам, и вдруг с другой стороны двора появился один из наших соседей, которого почему-то особенно не любили собаки. Они ринулись в его сторону.

— Пошел! Пошел! — закричал дядя, но было уже поздно. — Держи! — Он метнул мне поводья.

Мне кажется, лошадь только этого и ждала. Я это почувствовал раньше, чем она повернула голову. Я вцепился в поводья со всей силы. Она стала поворачивать голову, и я понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она пошла сначала рысью, и я, подпрыгивая на ее спине, все еще пытался сдерживать ее. Но вот она перешла в галоп, плавно и неотвратимо увеличивая скорость, как увеличивает скорость падающее дерево. Замелькало что-то зеленое, и ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода.

Не знаю, чем бы это кончилось, если б не мой двоюродный брат. Он жил на взгорье недалеко от дяди и, услышав собачий лай, вышел посмотреть, что случилось. Он увидел меня, выбежал на тропу, закричал и замахал руками. В нескольких метрах от него Кукла остановилась как вкопанная, и я, перелетев через ее голову, упал на землю.

Я вскочил и удивился, что снова попал в тихую по-

году. Неожиданный толчок прервал мое удивление. Что-то опрокинуло меня и поволокло по земле. Но тут подскочил мой брат, выхватил из рук поводья и стал успокаивать Куклу. Оказывается, я от страха так вцепился в поводья, что не мог разжать пальцы даже после того, как упал.

С тех пор дядя меня на Куклу больше не сажал, да и я не просился. И все же я не только не охладел к ней, но, наоборот, еще больше полюбил. Ведь так и должно было случиться — она знаменитая лошадь и никого не признает, кроме своего хозяина.

Надо сказать, что даже самому дяде она давалась не просто. Чтобы надеть на нее уздечку, он медленно подходил к ней, вытягивал руку, говорил что-то ласковое, а дотянувшись до нее, поглаживал ее по холке, по спине и наконец вкладывал в рот железо. Такими же плавными, замедленными движениями пасечники вскрывают ульи.

Обычно, когда дядя подходил к ней, Кукла пятилась, задирала голову, отворачивалась, вся напряженная, дрожащая, готовая рвануться от одного неосторожного движения. Казалось, каждый раз она со стыдом и страхом отдавалась в руки своему хозяину.

Иногда днем, когда мы ходили в котловину Сабиды за черникой или лавровишней, мы ее встречали в самых неожиданных местах.

Бывало, окликнешь ее: «Кукла, Кукла!» Она остановится и смотрит долгим, удивленным лошадиным взглядом. Если пытались подойти, она удирала, вытянув свой длинный красивый хвост. Вдали от дома она совсем дичала.

Бывало, где-нибудь в зарослях ежевики, лесного ореха, папоротников раздавался неожиданный хруст, треск, топот. Леденя от страха, ждем: вот-вот на нас набросится дикий кабан. Но из-за кустов вырывается Кукла и, как огненное видение, пронесется мимо, и через мгновение далеко-далеко затихает топот ее копыт.

— Куклу не видели? — спрашивал дядя, заметив, что мы возвращаемся из котловины Сабиды.

— Видели, — отвечали мы хором.

— Вот и молодцы, — говорил он довольный, словно то единственное, что можно было сделать в котловине Сабиды, мы сделали, а об остальном и спрашивать не стоит.

Мы все в доме, хотя дядя об этом никогда не говорил, чувствовали, как он любит свою лошадь. Надо сказать,

что и Кукла, несмотря на свою дикость, любила по-своему дядю. Вечерами, когда она стояла у ворот, только слышит его голос, сразу же поворачивает голову и смотрит, смотрит...

Иногда днем дядя ловил Куклу и приезжал на ней, сидя боком — ноги на одну сторону. У него это получалось как-то молодо, лихо. Эта молчаливая шутка была особенно приятна, как бывала приятна неожиданная улыбка на его обычно суровом лице.

Видно было, что у него хорошее настроение, а хорошее настроение оттого, что предстояла особенно дальняя и интересная поездка. Дядя привязывал Куклу к яблоне, подогревал кувшинчик с водой, брился, мыл голову. Тетка Нуца начинала ворчать, но слова ее отлетали от него, как градины от бурки, которую он, переодевшись, набрасывал на себя.

И вот он перекидывает ногу через седло, усаживается поудобней, в руке щеголеватая камча. Статный, сильный, он некоторое время медлит посреди двора, отдавая последние хозяйские распоряжения. Легко пригнувшись, сам себе открывает ворота и удаляется быстрой рысью. В эти минуты нельзя было не залюбоваться им, и только тетушка продолжала ворчать и делать вид, что не слушает его и не смотрит в его сторону. Но и она не удерживается. А в руках сито, или забытая вязанка хвороста, или еще что. Грустно ей чего-то, а чего — мы не знаем.

...Война подходила все ближе и ближе. Где-то за перевалом уже шли бои, и, если прислушаться, можно было услышать отдаленный, как бы уставший грохот канонады. В деревне почти не осталось молодых парней и мужчин.

Однажды председатель объявил, что временно мобилируются все ослики и лошади для перевозки боеприпасов на перевал. Сначала забрали всех осликов, а потом назначили день, когда будут брать лошадей, чтобы их приготовили и держали дома.

Накануне вечером дядя загнал Куклу во двор, а утром ее уже не выпустили.

В этот же день рано утром приехал из соседней деревни известный лошадиник Мустафа. Это был человек небольшого роста с коротенькими кустистыми бровями, из-под которых, как настороженные зверьки, выглядывали глаза.

Мы поняли, что он приехал неспроста. В честь его

приезда зарезали курицу, и тетка поставила на стол алычовую водку.

— Про меблизацию, конечно, знаешь? — спросил он, принимаясь за еду.

— Конечно, — ответил дядя.

— Как решил? — Мустафа облизнул губы и, стараясь не опережать дядю, осторожно приподнял рюмку.

— Сам видишь, — дядя кивнул во двор, — придется отдать.

— Дурное дело, — сказал лошажник. И без всякого перехода: — За твой дом, за старых и за малых, за всю семью!..

— Спасибо...

Выпили и некоторое время молча ели. Дядя, как всегда, вяло, без интереса. Гость, наоборот, с удовольствием. Мы, дети, сидели в сторонке, жадно прислушивались и жадно глядели, как гость сокрушает лучшие куски курятины.

— Знаю, что дурость, но куда податься...

— Сегодня же найду тебе — сдай другую...

— Неудобно, все знают мою Куклу...

— Не мне учить тебя, но...

— За твоих близких, которые там, чтобы все вернулись! — Дядя кивнул в сторону перевала.

— Спасибо, Кязым. Судьба — вернутся. Нет — что поделаешь...

Снова выпили. Гость вновь заработал жирными челюстями.

— Учти, что, если лошадь и вернется, это будет не та лошадь.

— Что поделаешь — меблизация, азакуан.

— Меблизация, азакуан, я знаю, но где ты слышал, чтоб они понимали наших лошадей. Они и своих лошадей не понимают.

— Что поделаешь...

— Азакуан требует лошадь, а не Куклу...

— Но люди знают...

— Хлеб-соль прикроет любой рот.

— Мустафа, ты это видишь? — Дядя приподнял в руке белый ломтик сыру.

— Вижу, — сказал Мустафа, и зверечки под его густыми бровями забеспокоились.

— Ты знаешь, во что он превратится после того, как я его съем?

— Ну и что?

— И все-таки мы его хотим есть чистым и белым. Иначе не хотим. Так и это, Мустафа.

— Говоришь, как мулла, а лошадь губишь.

— Знаю, но так лучше. — И вдруг неожиданно горько добавил: — В этой чертовой жаровне наши мальчишки стоят по колено в огне, а что лошадь... Лучше выпьем за них.

— Конечно, выпьем, но азакуан что говорит? Он говорит...

Я помню, как пронзила меня неожиданная горечь дядиных слов. Может быть, потому, что обычно он говорил насмешливо, безжалостно. Вот так, бывало, редко улыбался, но улыбнется — и радость вспыхнет как спичка в темноте.

Допив водку, они вымыли руки и вышли во двор. Дядя Кязым, высокий и унылый, а рядом лошажник, маленький и бодрый, с крепким красным затылком.

Дядя поймал Куклу и надел на нее уздечку. Мустафа подошел к лошади, потрепал ее. Потом стал почему-то толкать ее назад. Я даже испугался, думал, что он пьяный. Потом он неожиданно нагнулся и начал поднимать ей переднюю ногу. Кукла всхрапнула и потянулась укусьить его, но он небрежно отмахнулся от нее и все-таки заставил поднять ногу. Стоя на четвереньках и посапывая, он осмотрел каждое копыто. Сначала передние ноги, потом задние. Когда он подошел к ней сзади, я думал: тут она ему отомстит за его нахальство, но она почему-то его не лягнула. Даже когда он схватил ее за хвост и протер хвостом копыто, чтобы как следует рассмотреть подкову, она не ударила его, а только все время дрожала.

— Стоит перебить передние, — сказал он, вставая, — сам знаешь, дорога на Марух...

Дядя вынес из кухни ящик с инструментами. «Зачем он возится с ней, раз она ему не достанется?» — думал я, глядя на Мустафу и пытаясь постигнуть сложную душу лошажника.

Куклу отвели под тень яблони, где была привязана лошадь Мустафы.

— Что у вас за мухи, мою лошадь загрызли, — сердито удивился Мустафа, оглядев свою лошадь.

— Это у нас от коз, — сказал дедушка. Он подошел помогать.

Дядя держал Куклу, коротко взяв ее под уздцы. Маленький лошажник ловко стал на одно колено, приподнял лошадиную ногу и стал выковыривать из подковы

ржавые гвозди. Он порылся в ящике и, набрав оттуда целый пучок гвоздей для подков, как фокусник, сунул их в рот и зажал губами. Потом он вынимал их оттуда по-одному и двумя-тремя ударами вколачивал в безвольно повернутое копыто лошади. После каждого удара Кукла вздергивалась, и волна дрожи пробегала по ее телу, как круги по воде, если в нее швырнуть камень.

— Кукла-а, — приговаривал дядя, чтобы успокоить ее и дать знать, что видит все, что делается.

Вторую подкову, отполированную травой и камнями, Мустафа почему-то снял и заменил ее новой, но ржавой, из дядино ящика. Пока он возился, Кукла несколько раз хлестанула его кончиком хвоста. Каждый раз после этого он подымал голову и, не выпуская изо рта гвозди, сердито мычал, словно не ожидая от нее такого ребячества.

— Теперь хоть к самому дьяволу скачи! — сказал он и, вбросив молоток в ящик, выпрямился.

Дядя взял ящик одной рукой и как-то нехотя отнес его домой. Даже по спине его видно было, до чего ему нехорошо. Куклу привязали рядом с лошадью Мустафы.

Снятая подкова блестела как серебряная, я заслонил ее, чтобы потом незаметно поднять, но дедушка отодвинул меня и поднял ее сам. Он тут же прибил ее к порогу — на счастье. Там уже была прибита другая подкова, но она порядочно протерлась, а эта даже в тени блестела как серебряная. Может быть, дед решил, что пришло время обновлять счастье.

Мустафа уезжал. Дядя поддерживал ему лошадь под уздцы. Лошадник крепко ухватился руками за скрипнувшее седло и вдруг замер.

— Может, переседлаем, — сказал он, как бы собираясь сорвать седло со своей лошади и перенести его на дядину.

С яблони сорвалось яблоко и, глухо стукнувшись о траву, покатилося. Кукла вздрогнула. Я проследил глазами за яблоком, чтобы потом поднять его. Оно остановилось у изгороди в зарослях сорняка.

— Не стоит, Мустафа, — сказал дядя Кязым, подумав.

Мустафа вскочил на свою лошадь.

— Всего, — сказал он и тронул ее камчой.

— Хорошей дороги, — сказал дядя и отпустил поводья только после того, как лошадь тронулась, чтобы не казалось, что хозяин спешит избавиться от своего гостя.

Мустафа скрылся за поворотом дороги, дядя вошел в дом, а я вспомнил про яблоко и, подойдя к изгороди, раздвинул ногой заросли сорняка. Яблока там не оказалось. Я сначала удивился, но потом увидел свинью. Она похаживала по ту сторону изгороди, прислушиваясь к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду сквозь прутья плетня и вытащила мое яблоко. Я прогнал ее камнями, но это было бесполезно. Она остановилась невдалеке, продолжая следить не столько за мной, сколько за яблоней, что было особенно обидно.

Весь этот день дядя лежал в комнате и курил. Длинный, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал, как опрокинутый. Тетка Нуца не решалась его беспокоить и сама занималась всеми хозяйскими делами. Время от времени она посылала нас посмотреть, что делает дядя. Мы проходили в огород и оттуда через окошко смотрели на дядю. Он ничего не делал, только лежал и курил, глядя в потолок, все такой же длинный, опрокинутый.

— Что он там делает? — спрашивала тетка, когда мы возвращались на кухню.

— Ничего, только курит, — говорили мы.

— Ну ничего, пусть курит, — отвечала она и, быстро скрутив длинную тонкую сигарку, закуривала сама, озираясь на дверь, чтобы не увидел дед.

К вечеру пришел парень из сельсовета и спокойно, как человек, привыкший ходить по чужим дворам, отбиваясь палкой от собак, прошел на кухню. Все знали, зачем он пришел, и он знал, что все об этом знают, но для приличия он сначала говорил про всякую ерунду. Дядя так и не вышел из комнаты, хотя тетка тайком посылала за ним. В конце концов парень объявил о цели своего прихода, сделав при этом постную мину горевестника. С этой же постной миной горевестника он взял Куклу за повод и повел ее со двора. Он вел ее на предельно вытянутых поводьях, словно удлиняя расстояние между собой и лошадью, молча втолковывал нам, что она имеет дело не с ним, а с законом. Но, пожалуй, он это делал слишком явно, и потому мы, дети, не очень поверили ему. Мы чувствовали, что по дороге от хозяина к закону он что-нибудь отщипнет для себя самого.

Как только он вышел со двора, мы вбежали в огород и, прячась в кукурузе, следили за ним. Так оно и оказалось. Недалеко от дома он остановился у большого камня, осторожно влез на него и оттуда спрыгнул на

шею лошади. Кукла взвилась, но опрокинуть его не смогла. В наших краях слишком многие хорошо ездят.

— Меблизация! — крикнул он, не то понукая лошадь, не то оправдываясь, и поскакал. До сельсовета было пять километров.

Мы постояли еще немного, покамест не смолк звук лошадиных копыт, и потом тихо вернулись во двор.

Через несколько дней после того, как дядю взяли на заготовку леса, в котловине Сабида медведь задрал соседскую корову. Она долго редела, наверное, звала на помощь, но спуститься было некому. Мы все столпились у края котловины и слушали. Больше часа длился этот жуткий рев, придавленный теменью котловины и нашим страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. Казалось, голос коровы уже не пытался вырваться к людям наверх, а стекал вместе с кровью по днищу котловины. Потом он превратился в еле слышный стон, и этот стон был еще страшнее, чем рев. К нему особенно настойчиво и долго прислушивались, стараясь не спутать его с другими звуками ночи, а главное — не упустить его, словно остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец, все замолкло, а потом стало слышно, как за перевалом отдаленно грохочет война.

Несколько дней после этого скотина, проходя мимо того места, где была растерзана корова, редела, вытягивая морды и принюхиваясь к следам крови. Казалось, животные давали прощальный салют своему погибшему товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успокоились.

Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и несколько ночей подкарауливал медведя, но он больше не появлялся.

Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нем о ней не вспоминали, потому что тетка нас предупредила об этом. И без того не слишком разговорчивый, он стал еще более молчаливым. Бывало, хлопнет за ним калитка, тетка посмотрит ему вслед и вздохнет: «Скучает наш хозяин».

Однажды я встал раньше всех, потому что накануне заметил на дереве несколько инжиров, которые должны были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю своим глазам: у ворот стоит лошадь.

— Кукла! — закричал я, замирая.

— Не может быть! — радостно отозвалась тетка из комнаты, словно она только и ждала моего возгласа.

Я спрыгнул с крыльца и побежал к воротам.

Через минуту взрослые и дети все столпились у ворот. Дядя вышел последним. Он спокойно прошел двор своей легкой походкой. Было заметно, что он старается выглядеть спокойным. Возможно, он стеснялся нас или думал, что радость может оказаться преждевременной.

Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько шагов и нерешительно остановилась перед дядей. Он обошел ее, внимательно оглядывая. Только теперь мы заметили, какая она худая и смертельно усталая. Когда она сошла с места, рой мух со злобным гудением слетел с ее спины и потом снова уселся ей на спину, как стая лилипутских стервятников. Спина лошади оказалась стертой.

— Кто ее знает, что она там перевидела, — прервал дедушка общее молчание, как бы оправдывая лошадь.

— Чоу! — взмахнув рукой, дядя согнал ее с места.

Кукла отошла на несколько шагов, остановилась, постояла, и вдруг оглянулась на дядю.

— Чоу! — снова взмахнув рукой, он согнал ее с места и посмотрел ей вслед. Рану на ее спине он презрительно не замечал, как будто лошади нарочно протерли спину, чтобы отвлечь его внимание от того главного, что с ней случилось.

— Перестань, — тихо сказал дедушка, хотя он ничего не делал.

— Порченная, — устало ответил дядя, — надорвалась... — Он повернулся и пошел в дом.

Я не понимал, что значит порченная, но чувствовал, что с лошадью случилось что-то страшное, и в то же время не верил этому.

— Разве рана не заживет? — спросил я у дедушки, когда дядя ушел на работу.

Дедушка сидел в тени яблони и плел корзину.

— Не в этом дело, — сказал он. Его кривые, сточенные работой пальцы остановились. Он оглядел свое плетенье и, сообразив, как идти дальше, добавил: — У ней гордость убили...

— Какую гордость? — спросил я.

— Ясно какую, лошадиную, — ответил он, уже не слушая меня. Он просунул между дрожащих и стоящих торчком планок поперечную планку и жадными, сильными пальцами стянул ее, чтобы уплотнить плетенье, как стягивают подругой лошадиный живот.

— Но она же отдохнет, — напомнил я, стараясь нащупать, что он имел в виду.

— Ей теперь все равно, в ней игры нет, — сказал он, продолжая скручивать, прогибать и натягивать гибкую, свежевывструганную ореховую планку. Что-то непристойное, нестариковское было в жадном удовольствии, с которым он плел корзину. Правда, он все делал с такой же жадностью.

Только через много лет я понял, что потому-то он и оказался не сломленным до конца своих дней, что обладал даром хороших крестьян и больших художников — извлекать удовольствие из самой работы, а не ждать ее часто обманчивых плодов. Но тогда я этого не знал, и мне было обидно за Куклу.

С месяц лошадь жила во дворе. Мы, дети, верили, что она отдохнет и станет такой же, как раньше. Теперь мы сами водили ее купать, приносили свежую траву, отгоняли от нее мух, очищали рану керосиновой тряпкой. Через некоторое время рана затянулась, лошадь стала гладкой и красивой. Но, видно, что-то в ней и вправду навсегда изменилось. Теперь, если подойти к ней и положить руку на шею или на спину, она совсем не дрожала, а только затихала и прислушивалась. Иногда, когда она вот так затихала и прислушивалась, казалось, что она пытается и никак не может вспомнить, какой она была раньше.

Вскоре дедушка отправился с ней на мельницу, потому что наш ослик так и не возвратился с перевала. Потом ее стали одалживать соседи, но дядя на нее больше не садился и даже не подходил к ней. Она все еще помнила его и, услышав его голос, подымала голову, но он всегда неумолимо проходил, не замечая ее.

— Какой ты жестокий, — сказала тетка однажды, когда мы собрались перед обедом на кухне, — подошел бы хоть раз, приласкал бы...

— Можно подумать, что ты мою лошадь любишь больше, чем я, — сказал он насмешливо и, сунув сигарку в огонь, прикурил.

Осенью Куклу продали в соседнее село за пятнадцать пудов кукурузы — слишком много нас собралось в доме дяди, своей не хватало.

Больше мы Куклу не видели, но однажды услышали о ней. Как-то новый хозяин ее приехал на скачки. Он привязал ее у коновязи, а сам протиснулся в толпу. Во время самого длинного заезда, когда азарт дошел до

предела и Кукла услышала гул толпы, запах разгоряченных лошадей, топот копыт, она вспомнила что-то.

Так или иначе, она оборвала привязь, влетела в круг, обогнала мчащихся всадников и почти целый круг шла впереди с нелепо болтающимися стремями под свист и хохот толпы. Потом ее обогнали другие лошади, и она сама сошла с круга.

После Куклы дядя Кязым не заводил скаковых лошадей. Видно, возраст уже был не тот, да и время не то.

ПИСЬМО

В пятнадцать лет я получил в письме пламенное признание в любви. У меня до сих пор сохранилось впечатление, что вспыхнувшие при чтении слова признания были написаны золотом, а не обыкновенными химическими чернилами.

За минуту до того, как почтальонша вручила мне это письмо, я с обрывком электрического провода сбегал по лестнице нашего двухэтажного дома. Задача состояла в том, чтобы дотерпеть до конца лестницы бьющую сквозь тело таинственную силу тока. Притрагиваясь жикающим концом провода к металлическим перилам лестницы, я изо всех сил бежал вниз, разбрызгивая фиолетовые искры.

Ночью была гроза, во время которой оборвался этот провод. По-видимому, главную смертоносную часть тока приняла на себя крыша нашего дома, остатками электричества забавлялся я.

Была весна. Витиеватые балясины перил были опутаны еще более витиеватыми лозами цветущей глицинии. Каскады тяжелых кистей свисали с наружной стороны лестницы. Они были такими же фиолетовыми, как электрические искры, вспыхивавшие под моей рукой.

Где-то возле середины первого лестничного марша начиналась площадка, ведущая в коммунальную уборную.

Жители двора время от времени пробегали туда, и, как только они притрагивались к перилам, я подключал к ним ток. Обычно при этом они вскрикивали или молча в диком прыжке переносились на площадку, однако, при всех разновидностях восприятия, маршрута никто не менял.

Все еще держа в руке провод, я прочел письмо. Сра-

зу же почувствовал, что игра эта теперь не нужна, что ей пришел конец, и, видимо, навсегда, я бросил провод и вбежал в дом.

Хотя письмо не было подписано, я мгновенно догадался, кто его написал. Это была девочка, с которой два года назад мы учились в одном классе. Два года назад нас развели, разделив школы на мужские и женские по примеру классических гимназий. С тех пор я ее ни разу не видел и не вспомнил. В школьном журнале мы стояли рядом. Мало того что мы стояли рядом — у нас совпали инициалы. Такое совпадение не могло остаться незамеченным. Еще тогда мы оба чувствовали его неслучайность. И вот наконец письмо.

Золотящиеся буквы вспыхивали и шевелились на бумаге. Я перечел письмо несколько раз, благодарно влюбился в автора и, тут же изорвав его на мелкие кусочки, выбросил в мусорный ящик.

Моими действиями двигал могучий патриархальный стыд и неосознанная логика начинающего социалиста. Ход ее я сейчас мог бы расшифровать примерно так: письмо, полученное мною, — это счастье, а счастливым быть стыдно, как стыдно быть сытым среди голодных. Ну а так как от счастья отказаться трудно (тактика!), надо его законспирировать, то есть держать в голове, уничтожив все материальные улики.

Теперь я бродил по улицам в надежде где-нибудь ее случайно встретить. Я довольно смутно представлял, что надо делать при встрече. Ну, во-первых, думал я, надо, конечно, подойти, а потом уж, как только представится случай, предложить ей свое сердце и жизнь, разумеется, до самой гробовой доски.

Нельзя сказать, чтобы я очень спешил со встречаей. Как и для всякого начинающего социалиста, главное для меня была программа, а она с гениальной ясностью была намечена в ее послании. Для всего остального отводилась целая жизнь, а в пятнадцать лет она бывает до того огромной, что, сколько ее ни трать, все ее девать некуда, все она переливается через край.

И вот однажды, когда я вместе со своими товарищами стоял на главной улице нашего города, она вместе с двумя подружками прошла мимо нас.

Я успел заметить вдохновенную бледность ее вспыхнувшей щеки, быструю походку и тончайшую фигуру. За эти два года она из девочки превратилась в девушку, ухитрившись остаться такой же тонкой, как и была

в том роковом для нашего совместного обучения седьмом классе.

Одним словом, был налицо тот источник бледно-розового сияния, необходимый для первого чувства мальчика моих лет.

А хитрость природы в данном случае состоит в том, что каждый мальчик, проходящий сквозь эту стадию, или, вернее даже сказать, получающий эту прививку, инъекцию любовной лихорадки, воспринимает это сияние как особую милость его личной судьбы, угадавшей потребности его нежной души и однажды с исключительным тактом или даже со вкусом японского садовода соединившей в одной девушке редкие свойства его хрупкого и капризного идеала.

Увидев ее зардевшуюся щеку, я окончательно уверился в своей догадке и почувствовал, что подойти к ней будет не так-то просто. Хотя мы успели окинуть друг друга только одним быстрым взглядом, как-то сразу в одно мгновение было решено, что неудобно теперь, через два года, узнать друг друга и поздороваться, тем более что между нами уже пролегла тайна письма.

Нет, нет! — крикнула она мне этим мгновенным взглядом, только не сейчас, не здесь, потому что, если ты сейчас со мной здороваешься, это будет означать, что ты своим друзьям все рассказал о моем письме, и я умру от стыда.

Теперь я ее стал встречать все чаще и чаще. Иногда она была со старшей сестрой, иногда в большой компании подружек и каких-то незнакомых мне ребят, и я чувствовал, что с каждым разом подойти к ней становится все трудней и трудней.

Кстати, сестра ее тоже училась с нами в одном классе, хотя и была старше ее на год или два. Не помню, как очутилась она с нами в одном классе, думаю, не от избытка любви к учебе. Для полной последовательности я и с сестрой не стал здороваться, чего она, кажется, не замечала. Вообще она была какая-то сонная девушка, и, хотя на вид, пожалуй, была привлекательней своей младшей сестры со своими тяжелыми нежными веками, чистым лицом и яркими губами, все-таки чувствовалось, что ребят привлекает именно младшая. Потому что от нее, младшей, исходило то беспокойство, то нетерпеливое ожидание праздника жизни, которое заражает окружающих.

Одним словом, подойти становилось все трудней и трудней.

Я ждал романтического случая и, вообще говоря, не спешил знакомиться, ибо, как думал я, спешить было некуда, раз и так вся жизнь теперь посвящена ей, и только ей.

А между тем рядом с ней вместе с другими мальчиками и девушками стал появляться некий военный, капитан по званию, как мне охотно разъяснили мои друзья.

И теперь я заметил, что возлюбленная моя при встрече со мной, если рядом с ней бывал капитан, как-то смущалась и опускала голову. Это ее смущение я воспринимал как бесконечно трогательное доказательство ее любви, приятно льстящее моему самолюбию, но, пожалуй, чересчур сильное.

И теперь, посылая многозначительные взоры, я старался ей внушить, чтобы она не слишком смущалась из-за своего капитана, что мы-то с ней знаем, какая великая тайна нас объединяет, что он-то, бедняжка, такого письма не получал и, судя по преклонному возрасту, теперь навряд ли когда-нибудь получит.

Капитан был парнем лет двадцати семи — возраст, который тогда казался мне для любви безнадежно запоздалым. Пожалуй, настолько преклонным, что при случае можно было, почтительно приподняв и тряхнув ладонью медали на его груди, спросить:

Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?

Возможно, моя тайная возлюбленная правильно оценила мои взоры, потому что со временем при встречах, если рядом с ней бывал капитан, она почти не смущалась, а как-то изгибала губы в намеке на улыбку, которую я легко объяснял вынужденным лукавством. Каково ей, бедняжке, думал я, любить одного и терпеть ухаживания другого.

Так в состоянии блаженного слабоумия, время от времени сопровождая свою возлюбленную как незримая тень, я дожил до середины лета, когда она вместе с сестрой и капитаном стала посещать танцы в городском парке.

В парке под влиянием музыки чувство мое, кажется, стало замутняться горечью.

Под грофейную и отечественную музыку шаркала послевоенная танцплощадка. В толпе танцующих мелькало ее бледное, вопросительно приподнятое на капитана личико. Он, высокий, статный парень, глядел на нее сверху вниз добродушно и, черт подери, кажется, с оскорбляющей меня едва заметной снисходительностью.

Трудно что-нибудь представить кошмарней танцплощадки тех лет. Вот она перед моими глазами — со стареющими девицами, годами кружащимися на этом асфальтовом пятачке, и казалось, с годами, с каждым танцем что-то женское, человеческое выплескивалось и выплескивалось из них, пока не выработалась эта профессиональная маска с голодными провалами глаз. А эти наглые сосунки, а эти престарелые уголовники, занявшиеся теперь более мирными ремеслами, но приходящие сюда для сентиментальных воспоминаний, и, наконец, неизменный первый танцор, работающий как водонос, делающий знаменитое в те годы па с боковой побужкой и закатыванием глаз в парикмахерском забытьи!

Внезапно где-нибудь на краю площади, а то и в середине возникал маленький водоворот драки, постепенно вовлекающий в свою воронку все большее и большее количество людей, со свистом, с криками, с бегущими во все стороны девушками.

Стыд перед всем этим убожеством, страх за свою возлюбленную, да и за себя страх. Беспокойство и вместе с тем ярмарочное любопытство к драке и крови, и вместе с тем постоянное ощущение униженности от этой чрезмерной дозы грубости во всем, что здесь происходит, и вместе с тем необходимость скрывать эту отягченность, кривить губы улыбкой свойского парня, знающего больше, чем говорит, и все же говорящего больше, чем стоят окружающие.

А главное, уж слишком позорная цена, которая незримо назначается твоей личности, как только ты вступишь сюда. Уж казалось, ты и сам предельно снизил стоимость своей личности, а, видно, все-таки недостаточно, и ты слегка ропщешь на это, но тебя никто и слушать не хочет, да и не может, пожалуй, потому, что ропщешь ты все-таки про себя. Но, видно, на лице все-таки отпечатывается какой-то признак недовольства, и по этому признаку тебя в любой миг могут разоблачить как уроды, как от рождения неспособного бить скопом одного, цвиркнуть слюной на спину ничего не подозревающего фрайера или его девушки и вообще пакостить,

пакостить, когда это тебе ничем не угрожает, а иногда даже и под угрозой, но все-таки без угрозы лучше.

Все эти ощущения незримо роились во мне, пока я в течение многих дней любовался ею на танцплощадке. Наконец один из моих друзей прямо-таки швырнул меня к скамейке, на которой она сидела после очередного танца вместе с сестрой и капитаном.

Похохатывая от смущения, я представился и стал объяснять, что я тот самый школьник, с которым она и ее сестра учились два года тому назад во второй школе, ну, той самой, что между стадионом и церковью, хотя каждая из них никак не могла забыть школу, где мы учились, уже по той простой причине, что они еще продолжали там учиться (это нас перевели в другую школу).

Кроме того, я не забыл упомянуть, что в то время, когда мы учились в одном классе, у нас фамилии и имена начинались с одной буквы.

Пока я говорил, она то подымала голову, и личико ее вспыхивало и гасло, а глаза умоляли не делать скандала, то оборачивалась к своему капитану, нежно прикасаясь пальцами к его груди, успокаивая его этой небольшой лаской и одновременно слегка отстраняя от наших воспоминаний.

Я забыл упомянуть, что во время своего монолога, встречаясь с ней глазами, я старался как можно красноречивей показать взглядом, что никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах никто, особенно он (следовал романтический выворот глаз в его сторону), не узнает о существовании того великого письма. Да и сам мой сумбурный монолог с подробным объяснением расположения нашей школы имел сверхзадачу внушить капитану, что с тех давних времен между нами никогда не было не только письменной, но даже устной связи.

Надо сказать, что капитан после первых моих слов, уяснив, что я не какой-то там приставала, отнесся ко мне благодушно.

— Костя, — сказал он просто, когда она нас познакомила, и крепко, по-товарищески пожал мне руку.

Через некоторое время он даже ушел танцевать с ее сестрой, и в течение двух-трех танцев их не было с нами.

Какое это было блаженство — опуститься на скамейку рядом с ней, видеть в этой сказочной близости ее милый профиль, с привздернутым носом, длинной шей-

кой и вдыхать, вдыхать аромат ее духов, тем более пьянящий, что я тогда и потом еще долгое время принимал его за натуральный запах ее собственной цветущей юности.

Трое моих друзей несколько раз демонстративно прошли мимо нас. На их замкнутых лицах было написано, что они оскорблены моим счастьем. Встретившись с ними глазами, я посылая им улыбки, какие мог бы посылать на землю человек, внезапно воспаривший в прекрасную, но крайне неустойчивую высь. На эти улыбки они взглядами мне отвечали и взглядами же предлагали слезть с этой дурацкой выси и вместе с ними обсудить случившееся. По-видимому, уговаривая меня подойти к ней, они ожидали более комического эффекта.

Наконец один из них, тот самый, что подтолкнул меня к этой скамейке и, видимо, поэтому чувствующий наибольшую ответственность за мое поведение, подошел к нам и, несколько чопорно извинившись перед моей девушкой, отвел меня в сторону.

Он был эвакуированным ленинградцем, и мы считали, а он это охотно подтверждал, что в нем сохранился холодный светский лоск потомственного петербуржца. Мы отошли шагов на десять.

— Должен тебе сказать, что ты выглядишь как идиот, — сказал он, строго оглядев меня.

Я вспомнил, что именно он подвел меня к ней и все так просто и хорошо получилось, и вдруг, неожиданно для себя и, уж конечно, для него, обнял моего друга. Он с негодованием отстранился и отошел к ребятам. Я смотрел ему вслед. Высокий и худой, он удалялся четким шагом парламентаря.

Мне и в голову не могло прийти шантажировать ее этим письмом, но я считал необходимым теперь, когда мы остались одни, намекнуть, что послание дошло до цели, что великий акт соединения душ произошел во всей своей красоте и бескорыстии.

— Ой, порвите его! — сказала она, услышав про письмо, и нежно притронулась пальцами к моей рубашке. — Я была тогда такая глупая...

— Никогда! — пылко соврал я, вкладывая в это слово всю правду своего состояния.

Я хотел сказать, что чувство, вызванное ее письмом, вечно и теперь уже ничего нельзя изменить, потому этот обман оказался наиболее наглядной формой правды. Она вздохнула и убрала руку.

Я почему-то победно посмотрел на капитана, который сейчас возвращался к скамейке, держа под руку ее сестру, чего я еще, кстати говоря, не умел.

С этого дня мы довольно часто встречались и вместе проводили вечера. Почему-то всегда вчетвером.

Я прекрасно знал, что капитан этот ухаживает за ней, а не за ее сестричкой, но никакой ревности, никакого чувства соперничества не испытывал. Это было невозможно, как невозможно ревновать человека, который присел у костра, где ты сидишь, и протянул к огню руки. А точнее, если уж продолжать сравнение, ты сам пришел из промозглой ночи к этому костру, у которого он уже сидел и даже успел поставить на огонь свой выданный виды котелок старого вояки, в котором, помешивая ложкой, готовил свою нехитрую любовную похлебку. Так что это он, а не ты подвинулся, давая тебе место у костра, правда, при этом не переставая помешивать ложкой в котелке. И что с того, что ты раньше его заметил этот костер и даже, вернее, он сам тебя заметил и даже подмигнул тебе издали язычками своего пламени, — сейчас вы оба греетесь возле него, и ничего в этом плохого нет.

Так думал я, принимая временное равновесие сил за гармонию. Рано или поздно соперничество или нечто в этом роде должно было возникнуть. И оно возникло.

Как-то само собой получилось, что во время наших совместных прогулок все легкие дорожные траты, как-то: выпить воды, съесть мороженое, пройти в парк, а иногда и в кино — правда, это было очень редко, — капитан сразу же взял на себя.

В первое время, когда я в таких случаях вынимал свой редкий рубль, он и она с такой настойчивостью всучивали мне его назад, что вскоре я перестал обращать на это внимание, ибо ни к чему так быстро не привыкает человек, как к дармовому угощению.

Однажды, когда он угощал нашу общую возлюбленную виноградным соком, а мы с ее сестрой скромно стояли рядом, он кивнул в нашу сторону и сказал:

— Налетайте, Чарли угощает.

Это прозвучало как-то хамовато. Теперь-то я уверен, что он не хотел этой своей шуткой оскорбить или унижить меня, но тогда я почувствовал жгучий стыд и вперые враждебность к этому славному парню.

Самое главное, что я никак не мог отказаться, чувствуя неумные и громоздкие последствия своего от-

каза, тем более что сок уже был разлит по стаканам и, что особенно удивительно, выпить его мне все-таки хотелось, и даже как бы еще сильнее.

А хуже всего было то, что, когда он произнес эту свою шутку богатого гуляки, я заметил, что она улыбнулась в уже пригубленный стакан, и улыбнулась довольно язвительно. Это очень неприятно кольнуло меня, и потом я много раз вспоминал эту улыбку, пока в конце концов однажды не решил, что, в сущности, никакой улыбки не было, а был эффект прохождения света сквозь стекло и жидкость, придавший ее губам этот предательский излом.

Но самое ужасное, пожалуй, заключалось в том, что мы уже договорились идти в кино, а денег у меня, как назло, не было. Теперь, в создавшихся условиях, идти в кино на его счет я никак не мог. Но и прямо отказаться было как-то неловко, беспричинно, потому что, отказавшись, надо было их покинуть, чего мне не хотелось.

Разумеется, и до этого мне иногда приходило в голову, что не стоит пользоваться его денежными услугами, хотя, повторяю, услуги эти были достаточно ничтожны. Но в том легком состоянии эфирного опьянения, в котором я беспрестанно находился с тех пор, как подошел к ним и мы стали встречаться, я как-то привык воспринимать все это как мужское одолжение, мол, сегодня ты угощаешь, а завтра я, хотя это завтра все время откладывалось на непредвиденные времена.

Кроме того, приходил и другой оттенок оценки положения, я его нарочно не додумывал до конца, чувствуя, что он не слишком благородного свойства. Но такая оценка иногда легким контуром вставала перед моим осмысленным взором, и умолчать о ней я теперь не вправе. Суть ее состоит в том, что мне казалось, а возможно, начало казаться с некоторых пор, что мы с ней в известной мере делаем одолжение, допуская его в наше общество, за что он расплачивается мелкими материальными услугами.

Конечно, если уж еще дальше продолжать это сравнение с костром, я, разумеется, не ревновал за то, что он присел к моему костру. Но, черт подери, я же знал, что горит-то он все-таки для меня, что то самое замечательное письмо, может, и написано было пылающим прутиком, выхваченным из этого костра?!

В том, что такого письма и вообще любовного пись-

ма она не могла написать другому, я не только не сомневался, но и вообще был уверен, что, раз в жизни написав такое письмо, человек всю остальную жизнь только и делает, что служит этому письму, хватило бы только сил удержаться на его уровне, а о чем другом и думать немыслимо.

И вдруг эта небрежная фраза насчет Чарли, который всех угощает. По дороге между киоском и летним кинотеатром, куда мы шли, я только и думал, как с достоинством увернуться от его новой благотворительности, и никак ничего не мог сообразить.

В те годы в наших кинотеатрах крутили почти все время трофейные фильмы. Как правило, это были оперы или пасторальные истории с бесконечными песенками или неуклюжие ревью с цветущими «герлс», широкобедрыми и мясистыми, как голландские коровы, разумеется, если голландские коровы именно такие.

Много лет спустя я пришел к убеждению, что эти трофейные фильмы ничего, кроме вкуса руководителей рейха, не выражали.

Как раз один из таких фильмов нам предстояло посмотреть. Назывался он «Не забывай меня» с жирным и сладкогласым Джильи в главной роли. Как и всякий житель провинциального города, я хотя еще и не видел этой картины, но уже из рассказов знал о ее содержании. Надо признаться, что голос Джильи мне нравился, особенно если слушать его, не слишком обращая внимания на экран.

Мы приближались к кинотеатру, и я с ужасом чувствовал, что через десять минут на меня обрушится еще одно унижение, которого я не в силах вынести, и стал ругать фильм. Все-таки это было искусство жирных, и мне, чтобы ругать это искусство, да еще в таких условиях, ни пафоса, ни аргументов не надо было занимать.

От этой картины я перешел ко всем трофейным немецким картинам с их слащавой сентиментальностью.

Чем больше я ругал картину, тем упрямей надувались губы моей возлюбленной. Тогда я еще не знал, что останавливать женщину на пути к зрелищу не менее опасно, чем древнеримского люмпена по дороге к Колизею.

Когда я от картины «Не забывай меня» перешел ко всем трофейным немецким фильмам, она вдруг спросила у меня:

— Ты, кажется, изучаешь немецкий?

— Да, а что? — вздрогнул я.

Мне показалось, что она увидела противоречие между моей критикой немецких фильмов и занятиями немецким языком. Но вопрос ее означал совсем другое.

— Поговори с Костей, — предложила она, не подзревая, какого джина выпустила из бутылки, — он два года жил в Германии.

— Шпрехен зи дойч? — взвился я радостно, как если бы был чистокровным немцем и после многолетнего плена у полинезийцев вдруг встретил земляка.

— Натурлих, — как-то уныло подтвердил он, несколько оробев перед моим напором.

Тут меня повнесло. В те годы мне легко давались языки, отчего я до сих пор толком ни одного не знаю. Немецкий я уже изучал два года, уже кое-как болтал с военнопленными, которые хвалили мое произношение, по-видимому, в обмен на сигареты, которые я им дарил.

Во время изучения языка наступает бредовое состояние, когда во сне начинаешь быстро-быстро лопотать на чужом языке, хотя наяву все еще спотыкаешься, когда, глядя на окружающие предметы, видишь, как они раздваиваются двойниками чужеродных обозначений, — словом, наступает тот период, когда твой воспаленный мозг преодолевает некий барьер несовместимости двух языков. Именно в таком состоянии я тогда находился.

К этому времени я был нафарширован немецкими пословицами, светскими фразами из дореволюционных самоучителей, антифашистскими изречениями, афоризмами Маркса и Гёте, сжатыми текстами, призванными развивать у изучающих язык бдительность против возможных немецких шпионов (получалось, что шпионы, по-видимому нервничая, начинают разговаривать с местными жителями на немецком языке). Кроме того, я знал наизусть несколько русских патриотических песен, направленных против оккупантов и переведенных на немецкий язык, а также немецкие классические стихи.

Все это выплеснулось из меня в этот горестный час с угрожающим напором.

— Вы говорите по-немецки? — спросил я и, обернувшись к нему, продолжал, даже не пытаясь укоротить шага перед приближающимся в начале следующего квартала летним кинотеатром. — Вундербар! — продолжал я. — Вы изучали его самостоятельно или в высшем учебном заведении? О, понимаю, вы изучали его, находясь в Германии в качестве офицера союзнической армии.

Я надеюсь, не в качестве военнопленного? Нет, нет, это, конечно, шутка. Карл Маркс говорил, что лучшим признаком знания языка является понимание юмора на данном языке, а знание иностранных языков есть оружие в борьбе за жизнь.

Я глядел на Костю и чувствовал, что он почти ничего не понимает. Временами лицо его озарялось догадкой, и он как бы пытался ухватиться за знакомое слово, но сзади набегала толпа новых слов и уносила его куда-то.

Я чувствовал себя победителем. Кинотеатр был совсем рядом. Из-за кустов и деревьев сквера доносился глухой плеск толпы, стали попадаться покупатели случайных билетов. Увидев первого из них, я чуть не подпрыгнул от радости.

Возлюбленная моя закусил губу. Из радиолы над входом в кинотеатр лилась легкая мелодия «Сказок Венского леса».

— Закаты на Рейне, — сказал я, повернувшись к капитану, — так же прекрасны, как восходы в Швейцарских Альпах... Эти фазаны из нашего фамильного леса. Пробирен зи, битте! Мой егерь большой чудак.

В этом месте я сделал жест, указав на крону одного из камфорных деревьев, под которыми мы проходили. Спутники мои удивленно подняли головы...

— Знаете ль вы край, где лимоны цветут? — спросил я у капитана, как всегда, не зная меры и не умея вовремя остановиться.

Капитан молчал.

— Костя, ну что ж ты ему не отвечаешь? — в отчаянье вставила наша возлюбленная, когда я остановился, чтобы перевести дыхание. Она была оскорблена за него.

— А чего перебивать, — мирно заметил Костя. — Мне бы так на экзаменах...

Осенью Костя собирался поступать в одну из ленинградских военных академий. Мы подошли к кинотеатру. Костя обошел толпу, все-таки надеясь что-нибудь достать, но все было напрасно. Я ликовал, но, кажется, слишком рано, а главное, слишком откровенно.

Через полчаса мы были в парке на танцплощадке. Они, как обычно, пошли танцевать, а мы с ее сестрой остались сидеть на скамейке.

В те времена, как и во все последующие, я танцевал плохо. Танцевальные ритмы застревали у меня где-то в туловище и до ног доходили в виде смутных, запозда-

лых толчков. Так что сестра ее, естественно, не стремилась со мной танцевать. Она просто сидела рядом, и мы о чем-нибудь говорили или, что было еще приятней, молчали. Изредка ее кто-нибудь догадывался пригласить, изредка потому, что обычно посетители танцплощадки принимали ее за мою девушку.

Так мы сидели и в этот вечер, ни о чем не подозревая. Но вот проходит один, второй, третий танец, а наших все нет.

— Куда они делись? — говорю я, заглядывая в глаза сестре.

— А я знаю? — отвечает она и, пожав плечами, смотрит на меня своими сонными под нежными веками глазами.

— Давай обойдем, — киваю я на танцплощадку.

— Мне что, давай, — говорит она и, пожав плечами, встает со скамейки.

Мы обходим бурлящий круг танцплощадки, я стараюсь высмотреть все танцующие пары и вижу, что их нигде нет. Я чувствую, как тошнотное уныние охватывает меня.

— Может, они в тир зашли? — говорю я неуверенно.

Она пожимает плечами, и мы направляемся в тир.

Тир пуст. Заведующий, опершись спиной о стойку и глядя в зеркальце, шлепает в мишень из воздушного ружья пулю за пулей. Вот уже четвертая в десятке.

— Иду на интерес, — говорит он, не оборачиваясь и заряжая ружье пятой пулей, — я одной рукой без упора, а ты двумя с упором?

— Нет, — говорю я и смотрю, как он и пятую пулю всаживает в десятку.

Мы подходим к павильону прохладительных напитков, но их и там нет. Мне приходит в голову, что, пока мы их ищем, они вернулись на наше место и ждут нас. Я тороплю ее, мы возвращаемся на свое привычное место, но их нет. Я решил немного подождать их здесь. Но они не подходят. Вдруг на меня находит волна подозрительности, мне кажется, все они в сговоре против меня. Я начинаю всматриваться в лицо своей спутницы, стараясь угадать в нем выражение тайной насмешки, но, кажется, ничего такого нет — сонное чистое лицо с красивыми глазами под тяжелыми веками. Я даже не могу понять, беспокоит или нет ее то, что они исчезли.

— А может, они где-нибудь там? — киваю я в глущину парка.

Она молча пожимает плечами, и мы начинаем обходить парк, заглядывая в каждый уединенный уголок, на каждую скамейку. Мы даже зашли за памятник Сталину, думая, может, они сидят за ним на верхней ступеньке пьедестала, уютно опершись спиной о полы его гранитной шинели. Но и тут их не было.

Наконец мы оказались в самой уединенной части парка, куда доносилась притихшая музыка, уже процеженная от своей навязчивой пошлости листвою и хвоей деревьев. Мы подошли к скамейке, стоявшей под кустом самшитового деревца, хотя уже издали было видно, что на скамейке никого нет. Но почему-то вдруг захотелось подойти к этой затемненной скамейке, окончательно убедиться, что ли... Подошли, постояли. Рядом со скамейкой рос большой куст пампасской травы. Я почему-то приподнял и откинул его нависающую гриву. Заглянул под нее, как если бы они могли неожиданно упасть со скамейки и закатиться под этот куст.

— Нету, — сказал я и бросил странно шелестнувший куст.

Я посмотрел на свою спутницу. Она пожала плечами. И вдруг я ощутил как-то слитно и эту уединенную часть парка, и эту приглушенную музыку, и эту взрослую свежую девушку с тяжелыми веками и яркими губами, что-то покачнулось в моих глазах, я положил руки ей на плечи и в этот самый миг почувствовал, как тень какой-то большой и печальной мысли пронеслась надо мной и скрылась.

— Где же они могут быть? — спросил я, стараясь вернуть себе то странное состояние, которое было у меня за миг до этого. Но, видно, и она почувствовала, что во мне что-то изменилось.

— А я знаю? — сказала она, пожав плечами, и это можно было понять как слабую попытку освободиться.

Я опустил руки.

Мысль, которая открылась мне в это мгновение, так меня поразила, что я весь остаток вечера промолчал и где-то возле двенадцати часов, проводив до дому свою подругу, продолжал над ней думать.

Когда я положил руки на плечи этой девушки, и увидел близко ее прекрасные сонные глаза под тяжелыми веками, и почувствовал, что сейчас смогу ее поцеловать, мне неожиданно открылось, что в этот миг моя великая

единственная любовь, покинув продуманное русло, почти безболезненно устремится в какой-то неожиданный боковой рукав. И тогда я почувствовал и даже как бы воочию увидел множественность самой жизни и, следовательно, моей жизни и моей любви.

И одновременно с этим у меня возникло ощущение, похожее на грустное предчувствие, что жизнь в самые свои высокие мгновения будет приоткрываться мне в своей множественности и что я никогда не смогу воспользоваться одним из ее многочисленных ответвлений, а буду идти по намеченной стезе... Потому что нам эта ветвистость ни к чему, нам подавай единственное, неповторимое, главное. Ради такого нам не жаль голову разломать и душу расквасить, а вариантность нам ни к чему, нам скучно с этой самой вариантностью, да ради нее мы и ухом не поведем и пальцем о палец не ударим!

Хотя я эту мысль сейчас как бы слегка развиваю, все-таки предстала она передо мной именно в тот милый и злополучный вечер.

Не помню, как они объяснили свое исчезновение, и потому не хочу ничего придумывать; видно, как-то объяснили, и я поверил, потому что хотел поверить. Во всяком случае, время от времени мы продолжали встречаться. Иногда я впадал в отчаянье, но прирожденный оптимизм и память о том незабываемом письме в конце концов брали верх.

А сколько было горьких минут, когда казалось, что все погибло, что никакого письма не было, что все это мне просто приснилось.

Так однажды при мне, разговаривая с сестрой и вспоминая времена нашего совместного обучения, она вдруг сказала:

— Помнишь, какой он был тогда и какой теперь...

Она это сказала с каким-то тихим сожалением. Я похолодел от обиды, но промолчал. Ведь не станешь доказывать, что ты сегодня лучше, чем вчера, а завтра будешь лучше, чем сегодня, хотя доказывать это очень хотелось. В тот вечер, придя домой, я долго и безнадежно смотрел в зеркало на свое желтое, высосанное малярией лицо.

И все-таки чаша весов постепенно стала склоняться в мою сторону. С каждой встречей я стал благодарно замечать тайные знаки ее внимания. Бедняга капитан совсем ступевался. В последнюю неделю мы гуляли втроем, он исчез, по-видимому, почувствовав, что начинает де-

латься смешным. Из соображения высшего такта я не спрашивал о нем и даже делал вид, что не замечаю своей победы.

И наконец единственный, неповторимый вечер. — мы вдвоем. Я ликовал. Честно говоря, я был уверен, что этот вечер рано или поздно должен наступить. Это было торжество стройной теории над голой практикой капитана, в сущности, хорошего парня.

Но ничего не поделаешь, раз уж ты не получал такого письма, лучше не суйся. Не суйся, милый капитан, не швыряйся деньгами, не смей человека, который, прежде чем пускаться в это бурное плаванье, получил по почте кое-что, дьявольски похожее на лоцманскую карту.

Вечер. Мы стоим у калитки ее дома. Она в чудесном голубом платье с искорками, струящемся по ее гибкой фигуре. Из окон ее дома до нас доходит слабый свет, озелененный виноградными листьями беседки. Вместе со светом слышится неразборчивый говор, смех. Временами еле заметным дуновением доносится аромат созревающего винограда.

Я стою перед ней и чувствую, как в полутьме зреет первый поцелуй. С какой-то астрономической медлительностью и такой же неизбежностью лицо мое приближается к ее белеющему в полутьме лицу. Она смотрит на меня исподлобья милым, глубоким, испытывающим и просто любопытствующим, я это тоже чувствую, взглядом.

Я страшно взволнован не только ожиданием предстоящего чуда, но и опасениями его скандальных последствий. Я никак не могу сообразить, понимает ли она, что зреет в эти мгновения.

Она только смотрит на меня исподлобья, а я чувствую, как во мне приливают и отливают волны отваги и робости.

— У тебя лицо все время меняется, — удивленно шепчет она.

— Не знаю, — шепчу я в ответ, хотя чувствую, что оно и в самом деле все время меняется, но я не думал что это может быть заметно для нее.

Мне приятно, что она замечает силу моей взволнованности. Я успеваю сообразить, что, если она ужаснется от стыда или отвращения, когда я ее поцелую, я постараюсь объяснить это своим неменяемым состоянием.

И вот уже близко светлое пятно ее лица. Страшный миг вхождения в теплое облачко.

— Не надо, — слышу я провоцирующий шепот и

погружаю губы в сотрясающий (может, каким-то детским или допотопным воспоминанием?) молочный, млечный запах ее щеки.

Проходит головокружительная вечность, и я чувствую, как постепенно благоухающая облачность первых прикосновений рассеивается и ощущение делается все суше, все слаще, пожалуй, слишком...

Но вот она выскальзывает, вбегает в калитку и исчезает в темноте, только слышен глухой стук каблуков по тропинке к дому, потом щелкающий на ступеньках крыльца, и вдруг она появляется на освещенном крыльце, стучит в дверь, чтоб открыли, и, быстро наклонившись, так что я вижу, как падает на глаза прядь волос, заглядывает в дырочку почтового ящика.

Я смотрю на нее, пьяный случившимся и в то же время удивленный трезвостью ее движений: какого еще письма можно ждать после того, что она мне послала, а главное, после того, что сейчас случилось? Несколько секунд она ждет, пока ей откроют дверь, а я смотрю на нее и вдруг чувствую в себе такую необыкновенную силу, что вот сейчас захочу, чтоб она обернулась в мою сторону, и она обернется.

Несколько секунд я восторженно издали смотрю на нее, стараясь внушить ей свое желание, уверенный, что оно обязательно дойдет до нее. Но вот открывается дверь, она проскальзывает в нее, так и не обернувшись.

Нисколько не смущенный этим, я возвращаюсь домой вдоль тихих окраинных улиц, застроенных маленькими частными домами с небольшими земельными участками. Возле каждой усадьбы с той стороны забора меня встречает собака и с яростным лаем провожает до конца участка, где уже, подвывая от нетерпения, дожидается меня очередной страж. Псы передают меня как эстафету.

Я не обращаю на них внимания. Мной владеет самоуверенность мужчины или скорее алхимика, которому после долгих провалов удалось провести первый опыт волшебства. Мне кажется, я всемогущий.

Я останавливаюсь возле штакетника, за которым особенно неистовствует какой-то пес. Захлебываясь лаем, он одновременно роет и отбрасывает землю задними лапами.

Неожиданно я сажусь на корточки и смотрю сквозь штакетник в его налитые бессмысленной злобой глаза и вслух говорю ему, что любовь и добро всемогущи, что вот захочу — и ты мгновенно перестанешь лаять и бу-

дешь радостно визжать и лизаться, потому что я сейчас даже тебя люблю, глупая ты, глупая псина. Видимо, собака и в самом деле глупая, потому что слова мои до нее не доходят и она продолжает неистовствовать.

На следующий день я гулял по берегу моря, все еще находясь под впечатлением свидания, вспоминая его волнующие подробности, и, главное, чувствуя себя на голову выше, чем до него.

Следующая встреча должна была произойти через день. И хотя вчера я ее упрашивал встретиться сегодня же, а она никак не соглашалась, ссылаясь на домашние дела, теперь мне казалось, что передохнуть один день даже не помешает.

Мысленно перебирая несметные богатства вчерашнего свидания, я гулял по берегу моря. День был солнечный и еще не очень жаркий. Неожиданно на берегу я встретил Костю. Он тоже гулял один. Мы поздоровались, и я крепче обычного пожал ему руку, стараясь внушить при этом благородное сочувствие и пожелание мужественно справиться с неудачей. Я почувствовал, что и он крепче обычного пожал мне руку, и вдруг я понял, что он каким-то образом догадался о случившемся и теперь молча поздравляет меня с честной победой. Такое благородство восхитило меня, и я еще сильнее пожал ему руку. Наверное, он у нее был и она ему все сказала, решил я.

— Ты был у нее? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — я только что приехал с учений и сегодня же уезжаю.

— Куда?

— В Ленинград, — сказал он и сам с любопытством заглянул мне в глаза. — А разве она тебе не говорила?

— Наверное, забыла, — ответил я, кажется выдержав его взгляд.

Это известие было как гром в ясном небе. Кажется, мне усилием воли удалось остановить часть крови, хлынувшей в лицо.

— Сегодня она меня провожает, — добавил он как-то чересчур буднично.

Мы продолжали идти вдоль набережной. Кажется, он предложил мне где-нибудь посидеть на прощанье, но я ничего не слышал и ничего не понимал и в первое же удобное мгновение расстался с ним.

Так вот, оказывается, какой ценой досталась мне эта победа! Значит, я просто занял временно опустевшее ме-

сто! Я стал заново прокручивать день за днем все наши последние встречи и понял, что потепление в наших отношениях, тайные знаки внимания и, наконец, это венчающее все свидание объясняются тем, что он уезжает.

Я, конечно, знал, что он собирается поехать учиться в академию, но почему-то думал, что это будет не скоро, в самом конце августа, а во-вторых, ни разу даже в мыслях не связывал свою победу с таким механическим устранением соперника. Все это показалось мне теперь нестерпимо гнусным.

В субботу вечером, гуляя по портовой улице, я увидел ее с сестрой в толпе подружек. По установившемуся обычаю я должен был подойти.

Она была все в том же голубом с искорками платье, но теперь оно мне показалось каким-то змеистым. Мы кивнули друг другу, но я не подошел. Мы продолжали гулять в разных компаниях, я со своими друзьями, она со своими.

Видимо, она решила, что я стесняюсь ее подружек, и вместе с сестрой приотстала от остальных. Но я и тут не подошел. С язвительным наслаждением я заметил в ее лице некоторые признаки растерянности или паники, как мне тогда показалось. Сестра ее, словно наконец-таки проснувшись, оглядывала меня с уважительным любопытством.

Товарищи мои, которые теперь обо всем знали, глядели на меня подобревшими глазами, как на человека, который роздал нищим привалившее ему суетное богатство и вернулся к бедным, но честным друзьям.

Наконец меня подозвала ее сестра. Сама она стояла у парапета, ограждающего берег. Она стояла лицом к морю. Когда я подошел, она слегка повернулась ко мне.

— Что случилось? — спросила она, осторожно заглянув мне в глаза.

— Костя уехал? — спросил я, ожидая, что она сейчас растеряется.

Но она почему-то не растерялась.

— Да, — сказала она, — просил передать тебе привет.

— Спасибо, — проговорил я с театральным достоинством и добавил: — Но украденные у него свиданья мне не нужны.

Это была тщательно подготовленная и, как мне казалось, убийственная фраза.

— Вон ты как... — прошептала она одними губами,

словно внезапно осознав свою непоправимую оплошность.

В следующее мгновение она повернулась и, склонив свою жалкую и милую головку, стала уходить от меня, все убыстряя и убыстряя шаги, как и все женщины, стараясь опередить набегающие слезы.

Мне ужасно захотелось кинуться за нею, но я сдержался. В городе стало тоскливо и пусто, и я ушел домой.

В тот же вечер я заболел ангиной, а через неделю, когда выздоровел, острота разрыва смягчилась, отошла.

К слову сказать, один из моих друзей, как выяснилось впоследствии, каждый раз, влюбившись в какую-нибудь девушку, обязательно заболел. Причем степень заболевания прямо соответствовала силе увлечения и имела довольно широкую амплитуду от лихорадки до гриппа.

Но с той, которая прислала мне прекраснейшее письмо, мы больше не виделись. Кажется, в тот же год родители ее продали свой домик и переехали в другой город.

Еще во времена нашего знакомства мне иногда приходила в голову мысль, что сама она не смогла бы написать такого огненного послания. Может быть, думал я, она переписала его из какого-нибудь старинного романа, только вставила кое-что от себя. Такое предположение меня несколько не оскорбляло. Я считал, что она передала мне знак, точный иероглиф своего состояния. А кто выдумал сам иероглиф, в конце концов было не так уж важно.

Но с другой стороны, кто его знает, может быть, чувство озарило ее вдохновением, которого хватило только на это письмо? Так или иначе, теперь это тайна, разгадывать которую сам я не намерен и тем более не намерен выслушивать любые предположения со стороны, причем не только проницательные, но даже и льстящие самолюбию рассказчика.

НАЧАЛО

Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, как говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности, и в то же время подразумеваем, что

и мы могли бы позволить себе такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим?

Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает.

Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, закрепиться в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула.

Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим.

Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил. Про одного моего знакомого так и говорят: мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ, а во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то по крайней мере не мешай ему.

Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми.

Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как это ни странно, в самом деле превратили.

Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому, прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.

Через несколько лет на пустыре выросла прекрасная эвкалиптовая роща, и уже никак невозможно было различить, где гнездовые посадки, а где одиночные. Тогда говорили, что одиночные саженцы в непосредственной близости от гнездовых, завидуя им Хорошей Завистью, подтягиваются и растут не отставая.

Так или иначе, сейчас, приезжая в родной город, я

иногда в жару отдыхаю под нашими, теперь огромными, деревьями и чувствую себя Взволнованным Патриархом. Вообще эвкалипт очень быстро растет, и каждый, кто хочет чувствовать себя Взволнованным Патриархом, может посадить эвкалипт и дожидаться его высокой, позвякивающей, как елочные игрушки, кроны.

Но дело не в этом. Дело в том, что в тот давний день, когда мы возделывали пустырь, один из ребят обратил внимание остальных на то, как я держу носилки, на которых мы перетаскивали землю. Военрук, присматривавший за нами, тоже обратил внимание на то, как я держу носилки. Все обратили внимание на то, как я держу носилки. Надо было найти повод для веселья, и повод был найден. Оказалось, что я держу носилки как Отъявленный Ленищай.

Это был первый кристалл, выпавший из раствора, и дальше уже шел деловитый процесс кристаллизации, которому я теперь сам помогал, чтобы окончательно докристаллизироваться в заданном направлении.

Теперь все работало на образ. Если я на контрольной по математике сидел, никому не мешая, спокойно дожидаясь, покамест мой товарищ решит задачу, то все приписывали это моей лени, а не тупости. Естественно, я не пытался в этом кого-нибудь разуверить. Когда же я по русскому письменному писал прямо из головы, не пользуясь учебниками и шпаргалками, это тем более служило доказательством моей неисправимой лени.

Чтобы оставаться в образе, я перестал исполнять обязанности дежурного. К этому привыкли настолько, что, когда кто-нибудь из учеников забывал выполнять обязанности дежурного, учителя под одобрительный шум класса заставляли меня стирать с доски или тащить в класс физические приборы. Впрочем, приборов тогда не было, но кое-что тащить приходилось.

Развитие образа привело к тому, что я вынужден был перестать делать домашние уроки. При этом, чтобы сохранить остроту положения, я должен был достаточно хорошо учиться.

По этой причине я каждый день, как только начиналось объяснение материала по гуманитарным предметам, ложился на парту и делал вид, что дремлю. Если учителя возмущались моей позой, я говорил, что заболел, но не хочу пропускать занятий, чтобы не отстать. Лежа на парте, я внимательно слушал голос учителя, не отвлекаясь на обычные шалости, и старался запомнить все,

что он говорит. После объяснения нового материала, если оставалось время, я вызывался отвечать в счет будущего урока.

Учителей это радовало, потому что льстило их педагогическому самолюбию. Получалось, что они так хорошо и доходчиво доносят свой предмет, что ученики, даже не пользуясь учебниками, все усваивают.

Учитель ставил мне в журнал хорошую оценку, звенел звонок, и все были довольны. И никто, кроме меня, не знал, что только что зафиксированные знания рушатся из моей головы, как рушится штанга из рук штангиста после того, как прозвучит судейское: «Вес взят!»

Для полной точности надо сказать, что иногда, когда я, делая вид, что дремлю, лежал на парте, я и в самом деле погружался в дремоту, хотя голос учителя продолжал слышать. Гораздо позже я узнал, что таким или почти таким методом изучают языки. Я думаю, не будет выглядеть слишком нескромным, если я сейчас скажу, что открытие его принадлежит мне. О случаях полного засыпания я не говорю, потому что они были редки.

Через некоторое время слухи об Отъявленном Лентяе дошли до директора школы, и он почему-то решил, что это именно я стащил подзорную трубу, которая полгода назад исчезла из географического кабинета. Не знаю, почему он так решил. Возможно, сама идея хотя бы зрительного сокращения расстояния, решил он, больше всего могла соблазнить лентяя. Другого объяснения я не нахожу. К счастью, подзорную трубу отыскивали, но ко мне продолжали присматриваться, почему-то ожидая, что я собираюсь выкинуть какой-нибудь фокус. Вскоре выяснилось, что никаких фокусов я не собираюсь выкидывать, что я, напротив, очень послушный и добросовестный лентяй. Более того, будучи лентяем, я вполне прилично учился.

Тогда ко мне решили применить метод массированного воспитания, модный в те годы. Суть его заключалась в том, что все учителя неожиданно наваливались на одного нерадивого ученика и, пользуясь его растерянностью, доводили его успеваемость до образцово-показательного блеска.

Идея метода заключалась в том, что после этого другие нерадивые ученики, завидуя ему Хорошей Завистью, будут сами подтягиваться до его уровня, как одиночные посадки эвкалиптов.

Эффект достигался неожиданностью массированного

нападения. В противном случае ученик мог ускользнуть или испакостить сам метод.

Как правило, опыт удавался. Не успевала мала куча, образованная массивированным нападением, рассосаться, как преобразованный ученик стоял среди лучших, нагло-вато улыбаясь смущенной улыбкой обещанного.

В этом случае учителя, завидуя друг другу, может быть, не слишком Хорошей Завистью, ревниво по журналу следили, как он повышает успеваемость, и, уж конечно, каждый старался, чтобы кривая успеваемости на отрезке его предмета не нарушала победную крутизну.

То ли на меня навалились слишком дружно, то ли за-были мой собственный приличный уровень, но, когда стали подводить итоги работы надо мной, выяснилось, что меня довели до уровня кандидата в медалисты.

— На серебряную потянешь, — однажды объявила классная руководительница, тревожно заглядывая мне в глаза.

Это была маленькая самолюбивая каста неприкасаемых. Даже учителя сами слегка побаивались кандидатов в медалисты. Они были призваны защищать честь школы. Замахнуться на кандидата в медалисты было все равно что подставить под удар честь школы.

Каждый из кандидатов в свое время собственными силами добивался выдающихся успехов по какому-нибудь из основных предметов, а уже по остальным его дотягивали до нужного уровня. Включение меня в кандидаты было пока еще тихим триумфом метода массивированного воспитания.

На выпускных экзаменах к нам были приставлены наиболее толковые учителя. Они подходили к нам и часто под видом разъяснения содержания билета тихо и сжато рассказывали содержание ответа. Это было как раз то, что нужно. Спринтерская усвояемость, отшлифованная во время исполнения роли Отъявленного Лентяя, помогала мне точно донести до стола комиссии благотворительный шепоток подстраховывающего преподавателя. Мне оставалось включить звук на полную мощность, что я и делал с неподдельным вдохновением.

Кончилось все это тем, что я вместо запланированной на меня серебряной медали получил золотую, потому что один из кандидатов на золотую по дороге сорвался и отстал.

Он был и в самом деле очень сильным учеником, по

ему никак не давались сочинения и у него была слишком настырная мать. Она была членом родительского комитета и всем надоела своими вздорными предложениями, которые никто не принимал, но все вынуждены были обсуждать. Она даже внесла предложение кормить кандидатов усиленными завтраками, но члены родительского комитета своим демократическим большинством отвергли ее вредное предложение.

Так вот, мальчик этот, готовясь к первому экзамену, составил, чтобы избежать всякой случайности, двадцать сочинений на наиболее возможные темы по русской литературе. Каждое сочинение он сшил в микроскопический томик с эпиграфом и библиографическим знаком на обложке, чтобы не запутаться. Двадцать лилипутских томов можно было сжать в ладони одной руки.

Он успешно написал свое сочинение, но, видно, переутомился. На следующих экзаменах он хотя и правильно отвечал, но говорил слишком тихим голосом, а главное, задумывался и, что уже совсем непростительно, вдруг возвращался к сказанному, уточняя формулировки уже после того, как экзаменатор кивнул головой в знак согласия.

Когда экзаменатор или, скажем, начальник кивает тебе головой в знак согласия с тем, что ты ему говоришь, так уж, будь добр, валяй дальше, а не возвращайся к сказанному, потому что ты этим ставишь его в какое-то не вполне красивое положение.

Получается, что экзаменатору первый раз и не надо было кивать головой, а надо было дожидаться, пока ты уточнишь то, что сам же высказал. Так ведь не всегда уточняешь. Некоторые могли даже подумать, что, кивнув первый раз, экзаменатор или начальник не подозревали, что эту же мысль можно еще точнее передать, или даже могли подумать, что в этом есть какая-то беспринципность: мол, и там кивает, и тут кивает.

Сам не замечая того, он оскорблял комиссию, как бы снисходил до нее своими ответами.

В конце концов было решено, что он зазнался за время своего долгого пребывания в кандидатах, и на двух последних экзаменах ему на балл снизили оценки.

Вместо него я получил золотую медаль и зонтиком по шее от его мамы на выпускном вечере. Вернее, не на самом вечере, а перед вечером в раздевалке.

— Негодяй, притворявшийся лентяем! — сказала она, увидев меня в раздевалке и одергивая зонтик.

Мне бы промолчать или по крайней мере потерпеть, пока она повесит свой вонючий зонтик.

— Все же он получает серебряную, — сказал я, чувствуя, что мое утешение должно ее раздражать, и, может, именно поэтому утешая.

— Мне серебро даром не надо, — прошипела она и, неожиданно вытянув руку, несколько раз мазанула мне по шее мокрым зонтиком. — Я три года проторчала в комитете!

Она это сделала с такой злостью, словно то, что она мазанула мне по шее зонтиком, ничего не стоит, что, в сущности, шею мою надо было бы перепилить.

— А я вас просил торчать? — только и успел я сказать. Слава богу, из ребят никто ничего не заметил. Но все равно было обидно. Особенно было обидно, что он был мокрый. Если б сухой, не так было бы обидно.

В тот же год я поехал учиться в Москву, а самую медаль, которую я еще не видел, через несколько месяцев принесли маме прямо на работу. Она показала ее знакомому зубному технику, чтобы убедиться в подлинности золота.

— Сказал, настоящее, если он не заодно с ними, — рассказывала она мне на следующий год, когда я приехал на каникулы.

Так, доигрывая навязанный мне образ Отъявленного Лентяя, я пришел к золотой медали, хотя и получил мокрым зонтом по шее.

И вот с аттестатом, зашитым в кармане вместе с деньгами, я сел в поезд и поехал в Москву. В те годы поезда из наших краев шли до Москвы трое суток, так что времени для выбора своей будущей профессии было достаточно, и я остановился на философском факультете университета. Возможно, выбор определило следующее обстоятельство.

Года за два до этого я обменялся с одним мальчиком книгами. Я дал ему «Приключения Шерлока Холмса» Конан Дойла, а он мне — один из разрозненных томов Гегеля, «Лекции по эстетике». Я уже знал, что Гегель — философ и гений, а это в те далекие времена было для меня достаточно солидной рекомендацией.

Так как я тогда еще не знал, что Гегель для чтения трудный автор, я читал, почти все понимая. Если попадались абзацы с длинными, непонятными словами, я их просто пропускал, потому что и без них было все понятно. Позже, учась в институте, я узнал, что у Гегеля, кро-

ме рационального зерна, немало идеалистической шелухи разбросано по сочинениям. Я подумал, что абзацы, которые я пропускал, скорее всего и содержали эту шелуху.

Вообще я читал эту книгу, раскрывая на какой-нибудь стихотворной цитате. Я обчитывал вокруг нее некоторое пространство, стараясь держаться возле нее, как верблюд возле оазиса. Некоторые мысли его удивили меня высокой точностью попадания. Так, он назвал басню рабским жанром, что было похоже на правду, и я постарался это запомнить, чтобы в будущем по ошибке не написать басни.

Не испытывая никакого особого трепета, я пришел в университет на Моховой. Я поднялся по лестнице и, следуя указаниям бумажных стрел, вошел в помещение, уставленное маленькими столиками, за которыми сидели разные люди, за некоторыми — довольно юные девушки. На каждом столике стоял плакатик с указанием факультета. У столиков толпились выпускники, томясь и медля перед сдачей документов. В зале стоял гул голосов и запах школьного пота.

За столиком с названием «Философский факультет» сидел довольно пожилой мужчина в белой рубашке с грозно закатанными рукавами. Никто не толпился возле этого столика, и тем безудержней я пересек это пространство, как бы выжженное философским скептицизмом.

Я подошел к столику. Человек, не шевелясь, посмотрел на меня.

— Откуда, юноша? — спросил он голосом, усталым от философских побед.

Примерно такой вопрос я ожидал и приступил к намеченному диалогу.

— Из Чегема, — сказал я, стараясь говорить правильно, но с акцентом. Я нарочно назвал дедушкино село, а не город, где мы жили, чтобы сильнее обрадовать его дремучеством происхождения. По моему мнению, университет, носящий имя Ломоносова, должен был особенно радоваться таким людям.

— Это что такое? — спросил он, едва заметным движением руки останавливая мою попытку положить на стол документы.

— Чегем — это высокогорное село в Абхазии, — доброжелательно разъяснил я.

Пока все шло по намеченному диалогу. Все, кроме радости по поводу моей дремучести. Но я решил не давать сбить себя с толку мнимой холодностью приема.

Я ведь тоже преувеличил высокогорность Чегема, не такой уж он высокогорный, наш милый Чегемчик. Он с преувеличенной холодностью, я с преувеличенной высокогорностью, в конце концов, думал я, он не сможет долго скрывать радости при виде далекого гостя.

— Абхазия — это Аджария? — спросил он как-то рассеянно, потому что теперь сосредоточил внимание на моей руке, держащей документы, чтобы вовремя перехватить мою очередную попытку положить документы на стол.

— Абхазия — это Абхазия, — сказал я с достоинством, но не заносчиво. И снова сделал попытку вручить ему документы.

— А вы знаете, какой у нас конкурс? — снова остановил он меня вопросом.

— У меня медаль, — расплылся я и, не удержавшись, добавил: — Золотая.

— У нас медалистов тоже много, — сказал он и как-то засуетился, зашелестел бумагами, задвигал ящиками стола: то ли искал внушительный список медалистов, то ли просто пытался выиграть время.

— А вы знаете, что у нас обучение только по-русски? — вдруг вспомнил он, бросив шелестеть бумагами.

— Я русскую школу кончил, — ответил я, незаметно убирая акцент. — Хотите, я вам прочту стихотворение?

— Так вам на филологический! — обрадовался он и кивнул: — Вон тот столик.

— Нет, — сказал я терпеливо, — мне на философский.

Человек погрустнел, и я понял, что можно положить на стол документы.

— Ладно, читайте. — И он вяло потянулся к документам.

Я прочел стихи Брюсова, которого тогда любил за щедрость звуков.

Мне снилось: мертвенно-бессильный,
Почти жидец земли могильной,
Я глухо близился к концу.
И бывший друг пришел к кровати
И, бормоча слова проклятий,
Меня ударил по лицу!

— И правильно сделал, — сказал он, подняв голову и посмотрев на меня.

— Почему? — спросил я, оглушенный собственным чтением и еще не понимая, о чем он говорит.

— Не заводите себе таких друзей, — сказал он не без юмора.

Все еще опьяненный своим чтением и самой картиной потрясающего коварства, я его не понял. Я растерялся, и, кажется, это ему понравилось.

— Пойду узнаю, — сказал он и, шлепнув мои документы на стол, поднялся, — кажется, на вашу нацию есть разнарядка.

Как только он скрылся, я взял свои документы и покинул университет. Я обиделся за стихи и разнарядку. Пожалуй, за разнарядку больше обиделся.

В тот же день я поступил в Библиотечный институт, который по дороге в Москву мне усиленно расхваливала одна девушка из моего вагона.

Если человек из университета все время давал мне знать, что я не дотягиваю до философского факультета, то здесь, наоборот, человек из приемной комиссии испуганно вертел мой аттестат, как слишком крупную для этого института и потому подозрительную купюру. Он присматривался к остальным документам, заглядывал мне в глаза, как бы понимая и даже отчасти сочувствуя моему замыслу и прося в ответ на его сочувствие проявить встречное сочувствие и хотя бы немного раскрыть этот замысел. Я не раскрывал замысла, и человек куда-то вышел, потом вошел и, тяжело вздохнув, сел на место. Я мрачнел, чувствуя, что переплачиваю, но не знал, как и в каком виде можно получить разницу.

— Хорошо, вы приняты, — сказал мужчина, не то удрученный, что меня нельзя прямо сдать в милицию, не то утешенный тем, что после моего ухода у него будет много времени для настоящей проверки документов.

Этот прекрасный институт в то время был не так популярен, как сейчас, и я был чуть ли не первым медалистом, поступившим в него. Сейчас Библиотечный институт переименован в Институт культуры и пользуется у выпускников большим успехом, что еще раз напоминает нам о том, как бывает важно вовремя сменить вывеску.

Через три года учебы в этом институте мне пришлось в голову, что проще и выгодней самому писать книги, чем заниматься классификацией чужих книг, и я перешел в Литературный институт, обучавший писательскому ремеслу. По окончании его я получил диплом инженера человеческих душ средней квалификации и стал

осторожно проламываться в литературу, чтобы не обрушить на себя ее хрупкие и вместе с тем увесистые своды.

Москва, увиденная впервые, оказалась очень похожей на свои бесчисленные снимки и киножурналы. Окрестности города я нашел красивыми, только полное отсутствие гор создавало порой ощущение незащитности. От обилия плоского пространства почему-то уставала спина. Иногда хотелось прислониться к какой-нибудь горе или даже спрятаться за нее.

Москвичи обрадовали меня своей добротой и наивностью. Как потом выяснилось, я им тоже показался наивным. Поэтому мы легко и быстро сошлись характерами. Людям нравятся наивные люди. Наивные люди дают нам возможность перенести оборонительные сооружения, направленные против них, на более опасные участки. За это мы испытываем к ним фортификационную благодарность.

Кроме того, я заметил, что москвичи даже в будни едят гораздо больше наших, со свойственной им наивностью оправдывая эту особенность тем, что наши по сравнению с москвичами едят гораздо больше зелени.

Единственная особенность москвичей, которая до сих пор осталась мной не разгаданной, — это их постоянный, таинственный интерес к погоде. Бывало, сидишь у знакомых за чаем, слушаешь уютные московские разговоры, тикают стенные часы, лопочет репродуктор, но его никто не слушает, хотя почему-то и не выключают.

— Тише! — встряхивается вдруг кто-нибудь и поднимает голову к репродуктору. — Погоду передают.

Все затаив дыхание слушают передачу, чтобы на следующий день уличить ее в неточности. В первое время, услышав это тревожное «тише!», я вздрагивал, думал, что начинается война или еще что-нибудь не менее катастрофическое. Потом я думал, что все ждут какой-то особенной, неслыханной по своей приятности погоды. Потом я заметил, что неслыханной по своей приятности погоды как будто бы тоже не ждут. Так в чем же дело?

Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна.

Именно с целью изучения глубинной причины интереса москвичей к погоде я несколько лет назад пересе-

лился в Москву. Ведь мое истинное призвание — это открывать и изобретать.

Чтобы не вызывать у москвичей никакого подозрения, чтобы давать им в моем присутствии свободно проявлять свой таинственный интерес к погоде, я и сам делаю вид, что интересуюсь погодой.

— Ну как, — говорю я, — что там передают насчет погоды? Ветер с востока?

— Нет, — радостно отвечают москвичи, — ветер юго-западный, до умеренного.

— Ну, если до умеренного, — говорю, — это еще терпимо.

И продолжаю наблюдать, ибо всякое открытие требует терпения и наблюдательности. Но чтобы открывать и изобретать, надо зарабатывать на жизнь, и я пишу.

Но вот что плохо. Читатель начинает мне навязывать роль юмориста, и я уже сам как-то невольно доигрываю ее. Стоит мне взяться за что-нибудь серьезное, как я вижу лицо читателя, с выражением добродетельного терпения ждущего, когда я наконец начну про смешное.

Я креплюсь, но это выражение добродетельного терпения меня все-таки подтачивает, и я по дороге перестраиваюсь и делаю вид, что про серьезное я начал говорить нарочно, чтобы потом было еще смешней.

Вообще я мечтаю писать вещи без всяких там лирических героев, чтобы сами участники описываемых событий делали что им заблагорассудится, а я бы сидел в стороне и только поглядывал на них.

Но чувствую, что пока не могу этого сделать: нет полного доверия. Ведь когда мы говорим человеку, делай все, что тебе заблагорассудится, мы имеем в виду, что ему заблагорассудится делать что-нибудь приятное для нас и окружающих. И тогда это приятное, сделанное как бы без нашей подсказки, делается еще приятней.

Но человек, которому доверили такое дело, должен обладать житейской зрелостью. А если он ею не обладает, ему может заблагорассудиться делать неприятные глупости или, что еще хуже, вообще ничего не делать, то есть пребывать в унылом бездействии.

Вот и приходится ходить по собственному сюжету, приглядывать за героями, стараясь заразить их примером собственной бодрости:

— Веселее, ребята!

В понимании юмора тоже нет полной ясности.

Однажды на теплоходе «Адмирал Нахимов» я ехал в

Одессу. Был чудесный сентябрьский день. Солнце кротко светило, словно радуясь, что мы едем в благословенный город Одессу, выдуманный могучим весельем Бабеля.

Я стоял, склонившись над бортовыми поручнями. Нос корабля плавно разрезал и отбрасывал взрыхленные воды. Пенные струи пронеслись подо мной, издавая соблазнительный шорох тающей пены свежего бочкового пива. Но тут ко мне подошел мой читатель и тоже склонился над бортовыми поручнями. Пенные струи продолжали пронеситься под нами, но восстановить ощущение тающей пены свежего бочкового пива больше не удавалось.

— Простите, — сказал он с понимающей улыбкой, — вы — это вы?

— Да, — говорю, — я это я.

— Я, — говорит он, все так же понимающе улыбаясь, — вас сразу узнал по кольцу.

— То есть по какому кольцу? — заинтересовался я и перестал слушать пену.

— В журнале печатались статьи с вашими портретами, — объяснил он, — где вы сняты с этим же кольцом.

В самом деле, так оно и было. Фотограф одного журнала сделал с меня несколько снимков, и с тех пор журнал несколько лет давал мои рассказы со снимками из этой серии, где я выглядел неунывающим, а главное, постареющим женихом с обручальным кольцом, выставленным вперед, подобно тому, как раньше на деревенских фотографиях выставляли вперед запястье с циферблатом часов, на которых, если приглядеться, можно было узнать точное время появления незабвенного снимка.

Я уже было совсем собрался поругаться с редакцией за эту рекламу, но тут обнаружилось, что редакция больше не собирает меня печатать, и необходимость выяснять отношения отпала сама собой.

Пока я предавался этим не слишком веселым воспоминаниям, читатель мой пересказывал мне мои рассказы, упорно именуя их статьями. Дойдя до рассказа «Детский сад», он прямо-таки стал захлебываться от хохота, что в значительной мере улучшило мое настроение.

Честно говоря, мне этот рассказ не казался таким уж смешным, но, если он читателю показался таким, было бы глупо его разуверять в этом. Уподобляясь ему, перескажу содержание рассказа.

Во дворе детского сада росла груша. Время от вре-

мени с дерева падали перезревшие плоды. Их подбирали дети и тут же поедали. Однажды один мальчик подобрал особенно большую и красивую грушу. Он хотел ее съесть, но воспитательница отобрала у него грушу и сказала, что она пойдет на общий обеденный компот. После некоторых колебаний мальчик утешился тем, что его груша пойдет на общий компот.

Выходя из детского сада, мальчик увидел воспитательницу. Она тоже шла домой. В руке она держала сетку. В сетке лежала его груша. Мальчик побежал, потому что ему стыдно было встретиться глазами с воспитательницей.

В сущности, это был довольно грустный рассказ.

— Так что же вас так рассмешило? — спросил я у него.

Он снова затрясся, на этот раз от беззвучного смеха, и махнул рукой — дескать, хватит меня разыгрывать.

— Все-таки я не понимаю, — настаивал я.

— Неужели? — спросил он и слегка выпучил свои и без того достаточно выпуклые глаза.

— В самом деле, — говорю я.

— Так если воспитательница берет грушу домой, представляете, что берет директор детского сада?! — почти выкрикнул он и снова расхохотался.

— При чем тут директор? О нем в рассказе ни слова не говорится, — возразил я.

— Потому и смешно, что не говорится, а подразумевается, — сказал он и как-то странно посмотрел на меня своими выпуклыми, недоумевающими глазами.

Он стал объяснять, в каких случаях бывает смешно прямо сказать о чем-то, а в каких случаях прямо говорить не смешно. Здесь именно такой случай, сказал он, потому что читатель по разнице в должности догадывается, сколько берет директор, потому что при этом отталкивается от груши воспитательницы.

— Выходит, директор берет арбуз, если воспитательница берет грушу? — спросил я.

— Да нет, — сказал он и махнул рукой.

Разговор перешел на посторонние предметы, но я все время чувствовал, что заронил в его душу какие-то сомнения, боюсь, что творческие планы. Во время нашей беседы выяснилось, что он работает техником на мясокомбинате. Я спросил у него, сколько он получает.

— Хватает, — сказал он и обобщенно добавил: — с мяса всегда что-то имеешь.

Я рассмеялся, потому что это прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

— Что тут смешного? — сказал он. — Каждый жить хочет.

Это тоже прозвучало как фатальное свойство белковых соединений.

Я хотел было спросить, что именно он имеет с мяса, чтобы установить, что имеет директор комбината, но не решился.

Он стал держаться несколько суше. Я теперь его раздражал тем, что открыл ему глаза на его более глубокое понимание смешного, и в тоже время сделал это нарочно слишком поздно, чтобы он уже не смог со мной состязаться. В конце пути он сурово взял у меня телефон и записал в книжечку.

— Может, позвоню, — сказал он с намеком на вызов.

Каждый день, за исключением тех дней, когда меня не бывает дома, я закрываюсь у себя в комнате, закладывая бумагу в свою маленькую прожорливую «Колибри» и пишу.

Обычно машинка, несколько раз вяло потявкая, надолго замолкает. Домашние делают вид, что стараются создать условия для моей работы, я делаю вид, что работаю. На самом деле в это время я что-нибудь изобретаю или, склонившись над машинкой, прислушиваюсь к телефону в другой комнате. Так деревенские свиньи в наших краях, склонив головы, стоят под плодовыми деревьями, прислушиваясь, где стукнет упавший плод, чтобы вовремя к нему подбежать.

Дело в том, что дочка моя тоже прислушивается к телефону, и если успевает раньше меня подбежать к нему, то ударом кулачка по трубке ловко отключает его. Она считает, что это такая игра, что, в общем, не лишено смысла.

О многих своих открытиях ввиду их закрытого характера, пока существует враждебный лагерь, я, естественно, не могу рассказать. Но у меня есть ряд ценных наблюдений, которыми я готов поделиться. Я полагаю, чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться, что и там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

Смешное обладает одним, может быть, скромным, но бесспорным достоинством: оно всегда правдиво. Более

того, смешное потому и смешно, что оно правдиво. Иначе говоря, не все правдивое смешно, но все смешное правдиво. На этом достаточно сомнительном афоризме я хочу поставить точку, чтобы не договориться до еще более сомнительных выводов.

НОЧЬ И ДЕНЬ ЧИКА

— А тебе, Ясон, — спросил Чик, — приходилось убивать человека?

Чик лежал на высокой бабушкиной кровати и, приподнявшись, смотрел в противоположную сторону залы — так называли эту комнату. Там почти в полной темноте лежал Ясон. Ясон курил, и огонек папиросы, когда он затягивался, озарял его впалую щеку, коротенький нос и большие губы.

Между Чиком и Ясоном на своем обычном месте лежал дядя Коля, сумасшедший дядюшка Чика. Ставни среднего окна были открыты, и свет уличного фонаря слегка озарял постель и бритую голову дяди Коли.

В столовой спала тетя Наташа, дальняя родственница Чика. Больше в доме никого не было, все уехали в деревню на похороны...

Обычно Чик спал у себя дома, внизу, на первом этаже. Но сегодня бабушка оставила его здесь, чтобы он присматривал за дядей. Сам-то дядя предпочел бы, чтобы Чик за ним не присматривал, потому что в таких случаях Чик редко удерживался, чтобы не подразнить его.

Правда, сейчас Чик, занятый разговором с Ясоном, не собирался его дразнить. Дело в том, что Ясон был вором. Это все знали. Во всяком случае, знали все родственники. Изредка он заходил к ним домой, иногда оставался ночевать и всегда уходил рано утром.

Задав вопрос, Чик напряженно прислушивался, чтобы не пропустить ни одного слова. Прислушиваясь, он поглядывал сквозь среднее окно на уличный фонарь, вокруг которого толклись мотыльки и мошки.

Ясон не спешил с ответом, зато в тишине без умолку раздавалась песенка дяди Коли. Такие песенки, собственного сочинения, без всяких слов, вернее, с выдуманными словами, он всегда пел перед сном, если у него было хорошее настроение.

Иногда он прерывал песню и, приподнявшись, тревожно смотрел в сторону Чика, чтобы вовремя перехва-

тить его очередную проделку. То, что Чик до сих пор ничего не выкинул, беспокоило его, казалось признаком особого коварства.

— Вижу, вижу, — приговаривал он, делая вид, что разгадал замысел Чика и достаточно сурово покарает, когда это будет необходимо. Еще один оттенок легко улавливал Чик в его предупреждении. Он как бы выманивал его из засады — мол, давай, если ты такой храбрый, действуй побыстрее, а там я с тобой разделаюсь, и мы оба освободимся друг от друга. Иногда он поглядывал на Ясона, стараясь предугадать, чью сторону примет этот неизвестный человек в случае столкновения с Чиком.

Собственно говоря, Чик собирался подбросить ему кошку. С этой целью он взял ее к себе в постель, но сейчас, увлекшись рассказами Ясона, забыл о своих планах. Кошка спала, уютно устроившись на простыне, которой укрывался Чик.

Кошек и собак дядя Коля не переносил. Он испытывал к ним яростное отвращение. Было похоже, что он не видел между ними особой разницы. Во всяком случае, и тех и других он обобщенно называл собаками.

Предупредив Чика, что его тайные приготовления не остались незамеченными, дядюшка на время успокоился и снова затянул свою бесконечную мелодию, иногда подражая каким-то музыкальным инструментам, совершенно неведомым Чикю, а может быть, и всему остальному человечеству.

— Он что, всю ночь будет так скулить? — неожиданно спросил Ясон, не отвечая на вопрос Чика.

— Это он поет, — ответил Чик, несколько обиженный за дядю, — он так попоет немного, а потом заснет.

— Интересно, что ему сейчас кажется? — сказал Ясон и затаился. Снова появились в темноте большие губы, коротенький нос и ямина впалой щеки.

— Ничего не кажется, — ответил Чик несколько раздраженно. — Ты лучше скажи, приходилось тебе убивать или нет?

— Было, — сказал Ясон не очень охотно. Чик не мог почувствовать, жалеет он об этом или ему просто лень вспоминать.

— Так расскажи, — снова подтолкнул он его.

— В ту ночь, — начал Ясон, — мы ничего такого не думали. Шли с кино с одним корешом...

— Я его не знаю? — спросил Чик. — Он не из тех, кого я видел на стадионе?

— Не, то был грек, — сказал Ясон с таким видом, как будто среди тех, что были на стадионе, не могло оказаться грека.

...В прошлом году за драку в ресторане Ясона посадили в тюрьму. Оказывается, он заплатил деньги ресторанному певцу, чтобы тот спел «Здравствуй, моя Мурка». Но певец почему-то отказался петь эту песню, хотя обещал спеть любую другую. Из-за этого все и началось.

Чик вообще считал всю эту историю очень глупой. Если уж Ясону было совсем невтерпёж послушать «Мурку», то он мог прийти к ним домой, и Чик ему спел бы ее, и притом бесплатно.

Одним словом, из-за этого получилась драка, и один из друзей Ясона бросил в певца бутылку из-под шампанского. Но она в певца не попала. Она попала в барабан, и тот лопнул. Не лопни барабан, ничего бы не случилось. А когда барабан лопнул, кто-то решил, что началась стрельба, и позвонил в милицию. Тут приехала милиция, и всех перехватили. Таким образом Ясон оказался на полгода в тюрьме. Вернее, это так считалось, что он сидит в тюрьме. На самом деле он вместе с другими заключенными работал. Чик тогда несколько раз носил ему передачи. Передачи эти — полная сетка продуктов — втайне от домашних собирала бабушка и давала Чику отнести, потому что работал Ясон совсем рядом, в двух кварталах от дома, на стадионе.

Хотя по дорожке похаживал часовой, пройти к заключенным было совсем легко с другой стороны, где в деревянном заборе была не слишком замаскированная дыра. В другое время ее обязательно заделали бы, а сейчас решили оставить, потому что все равно этот забор собирались заменить каменной оградой. (Среди ребят ходили темные слухи о том, что в гребень каменной ограды собираются вцементировать бутылочные осколки, как это делалось в некоторых местах. К счастью, слухи эти впоследствии не оправдались, но тогда мысль о новом каменном заборе с бутылочными осколками наводила на Чика тоску.)

Даже в самый первый раз, когда Чик приходил сюда со своей тяжелой сеткой, наполненной продуктами, он несколько не боялся часового. Он просто дождался, когда тот повернулся к нему спиной, и пролез в дыру. Потом, когда заключенные хвалили его за храбрость, Чик хотя и не протестовал, но про себя удивлялся их наивности.

Пролезая в дыру, Чик совершенно ясно понимал, что не может наш советский часовой выстрелить в нашего советского школьника. В крайнем случае просто прогонит. Чик это до того ясно понимал, что голова его легко пролезла в дыру. А ведь обычно, когда он пролезал через эту дыру, голова его нередко застревала из-за своего размера и слишком растопыренных ушей. Дело в том, что надо было слегка сунуть голову в дыру, немного поерзать ею, а дальше она сама находила дорогу. Но Чик от волнения часто всовывал голову до отказа, так что поерзать уже было невозможно и приходилось лезть напролом. Чику всегда казалось; что в таких случаях уши его от предчувствия боли сами прижимаются к голове. А все потому, что он слишком волновался. А часового не надо было бояться, и голова Чика, спокойно поерзав, прошла в дыру.

Арестованные, почти все здоровые и молодые ребята, показались Чику веселыми и жизнерадостными. Одни из них перетаскивали носилки с песком и гравием, другие гасили в яме известь, третьи копали фундамент для каменной ограды, а четвертые вообще ничего не делали, просто сидели на досках. Чик почувствовал, что Ясона надо искать среди них. Так оно и оказалось.

Чику было неловко подходить к нему. Он думал, что Ясону будет стыдно перед ним за то, что он оказался в тюрьме, да еще вдобавок ему и голову побрили. Поэтому сам Чик испытывал неловкость. К счастью, Ясон не смотрел в его сторону, и он незаметно подошел к нему.

— А, Чик! — улыбнулся Ясон, увидев его, и, потрепав по голове, взял сетку. Чик сразу же почувствовал, что Ясон никакого стыда за то, что сидит в тюрьме, или за то, что ему побрили голову, не испытывает. Поэтому он и сам перестал стыдиться. Потом он заметил, что вообще никто из заключенных никакой неловкости не испытывает.

Ясон вынимал из сетки хлеб, сыр, масло, помидоры, соленые огурцы и все это небрежно складывал на досках. Двое заключенных, проходивших мимо с носилками, наполненными гравием, увидев, чем он занят, остановились напротив него и разом, не сговариваясь, бросили носилки, даже не наклонившись.

— А выпить ничего нет? — спросил один из них, усаживаясь рядом с Ясоном, и без всякой видимой причины заголил до колена одну ногу.

— Так это ж бабка! — ответил ему Ясон.

— Вот кран, — показал Чик рукой на колонку. Ему на миг показалось, что им не дают воды. Все засмеялись, и Чик догадался, что они имеют в виду.

Товарищи Ясона расселись на досках поближе к закуске и стали есть. Сначала почему-то все напали на соленые огурцы и мигом все сожрали. Чик заметил, что все остальное они ели довольно равнодушно. Чик с обидой почувствовал, что рука его все еще ноет от тяжелой сетки.

— Не очень-то, я вижу, вы голодные, — сказал Чик сердито.

Все опять рассмеялись, а тот, что был с оголенной ногой, поощрительно пошлепал свою голую игру — дескать, ничего, справный поросенок.

— Что мы, фрайера, что ли! — сказал он.

Двое из присевших на доски, продолжая жевать и не меняя позы, стали играть в карты. Чик не знал, что это за игра. Он знал только три игры: в «дурака», в «фурт» и в «очко». А это была какая-то странная игра. Один из игроков, беря из колоды карты, самым нахальным образом подсматривал остающиеся. Возьмет две-три нужные ему карты, но при этом обязательно вывернет еще две-три и подсмотрит. А второй игрок как уставился в свои карты, так и смотрит в них не отрываясь. Хоть бы, когда берет карты, на колоду посмотрел, волнуясь, думал Чик. Так нет, он и тут машинально протягивал руку и не отрываясь продолжал смотреть на свои карты. Прямо губошлеп какой-то!

— Да он же все карты подглядывает! — крикнул Чик, не выдержав.

— Ничего, пусть потешится, — сказал тот, так и не оторвав взгляда от собственных карт. И тут Чик по голосу его почувствовал, что он заранее это учел, так что ему даже незачем следить за колодой.

Чик до этого даже и представить себе не мог, что может быть такая игра, где один подсматривает карты, а другой хоть и знает об этом, но никак ему не мешает. Видно, за счет чего-то другого он уравнивает это преимущество, подумал Чик. Может быть, за счет более точной игры или еще чего-то.

Это было похоже на то, как оажды Чик бежал наперегонки с одним мальчиком. Условия были такие: надо было выбегать с одного места в разные стороны и, сделав круг из четырех кварталов, прибежать назад. Чик очень

старался, потому что знал, что этот мальчик хорошо бе-
гает.

Они встретились примерно на середине параллельной
улицы. Ревниво пропыхтев друг мимо друга, разбежа-
лись. Когда Чик выскочил на свою улицу и уже подбе-
гал к тому месту, где они стартовали, он вдруг увидел,
что его соперник выбегает со двора соседнего дома. Зна-
чит, как только они разминулись, тот решил срезать до-
рогу и побежал по дворам.

Соперник тоже заметил, что Чик его видит, он даже
не мог скрыть смущенной улыбки и все-таки с тупым
усердием продолжал бежать, хотя теперь это не имело
никакого смысла...

Все-таки Чик пришел первым. Сперва он чуть было
не задохнулся от возмущения, но потом, отдышавшись,
понял, что мошенник (он все еще смущенно улыбался)
вдвойне наказан. Получалось, что он и меньше бежал,
и все равно пришел вторым. Оказалось, что прыгать че-
рез заборы тоже нелегко, а в одном дворе за ним еще
и собака погналась.

Чик вспомнил этот случай, наблюдая за странной
игрой в карты. Он пришел к выводу, что мошенничать не
так выгодно, как это кажется многим. А в том, что имен-
но так кажется многим, Чик несколько не сомневался.

— ...Было уже часов так двенадцать, — продолжал
Ясон. — Смотрю, в доме напротив парка окна открыты
на втором этаже и свет горит. Прислушался — ничего
не слышно, как будто спят. А свет горит. Место тоже
удобное, и этаж низкий. В случае чего прыгай и чеши
через парк. А кореш, который со мной был, оказался
трус, но я не знал. Возле нас тоже ошиваются случай-
ные проходимцы.

«Ты, — говорю ему, — кроме помидоров на базаре,
что-нибудь воровал?»

«Я цесный вор, кого хочешь спроси», — отвечает он.

Вообще он некоторые слова не так говорил, потому
что грек. Не, среди греков мировые ребята попадают, но
этот оказался трус.

«Тогда попробуем», — говорю.

Вижу, дрейфит, но не хочет показывать.

«Подожди, — говорит, — есе рано».

«Ну, рано, рано, — говорю, — нас дети дома не
ждут».

Пошлялись по городу, вышли на бульвар ¹ вижу,
скучает мой кореш. Ну ничего, думаю, сейчас повеселеет.

У сторожа павильона покупаю поллитру и колбасу. Сели на берегу, пьем, закусываем. Вижу, он повеселел.

«Прошел мандраж?» — говорю.

«Какой мандраж? — говорит. — Я полезу, а ты стой на вассере».

Кидаю бутылку в море. Вижу — плавает.

«Вот, — говорю, — кто утопит, тот и стоит на вассере».

Смотрю — я не успею один камень поднять, он уже три кинул. Дал я ему утопить эту бутылку, и мы пошли. Все равно я его в дом не собирался пускать — такого мандражиста пусти, все дело испортит. По дороге зашел в один двор и срезал там бельевую веревку. Запихал в карман. Приходим к дому — вижу, окна все еще открыты и свет горит...

— А разве при свете не опасно? — спросил Чик.

— Еще лучше, — радостно пояснил Ясон, — хотя некоторые не понимают. Когда свет горит, ты сразу все видишь, где что и куда в случае чего бежать. А без света у него преимущество получается.

— У кого «у него»? — спросил Чик.

— Как у кого? — удивился Ясон и, скрипнув кроватью, повернулся к Чику. — У хозяина! Ведь он и без света знает, где что стоит у него. А ты можешь через какой-нибудь стул перевернуться и срок получить.

— Еще бы, — сказал Чик, — ведь он у себя дома.

— В том-то и дело, — вздохнул Ясон. В голосе его прозвучала обида за преимущество хозяина в знании особенностей своей квартиры. Чику это показалось очень смешным.

Плюю, плюю, плюю, плюю,
Плюю, плюю, плюю!

Дядя Коля, не прерывая песни, неожиданно перешел на музыкальный инструмент, зазвучавший еще более радостно и энергично.

— Он что, совсем чокнулся? — спросил Ясон, приподнявшись, словно пытаюсь разглядеть инструмент, на котором играл дядюшка Чика.

— Да нет, он всегда такой, — сказал Чик.

— Нет, раньше он был получше, — не согласился Ясон.

— Ты просто с ним никогда не спал, — ответил Чик. — Он всегда так поет, когда у него настроение хорошее.

— С чего он радуется, — пробормотал Ясон, — живую бабу никогда не видел, за хорошим столом в жизни не сидел...

— Ладно, рассказывай дальше, — перебил его Чик. Он не любил, когда начинались такие разговоры про дядю.

— Некоторые думают, что раз горит свет, — продолжал Ясон, — то люди спят крепко. Но я тебе скажу — это ерунда. Если человек заснул при свете, он так же крепко спит, как и без света.

— Хватит про свет, дальше рассказывай, — перебил его Чик.

— Ну вот, приходим снова, — продолжал Ясон, — а свет горит.

— Я же сказал, хватит про свет, — терпеливо напомнил ему Чик.

— А я и не говорю, — продолжал Ясон. — Я оставил его на вассере, а сам полез...

— Как полез? — снова перебил его Чик, чтобы он не пропускал интересных подробностей. — Ведь на второй этаж трудно залезть?

— Нет, — сказал Ясон, — там было легко. Там была парадная дверь, а над ней такой козырек. Я залез на этот козырек, оттуда на карниз, а по карнизу дошел до окна.

— У нас тоже такой козырек, — вспомнил Чик и посмотрел на закрытые ставни напротив своей кровати. Само окно было открыто, и достаточно было снаружи просунуть нож или проволочку, чтобы скинуть крючок, на который закрывались ставни.

А вдруг Ясон залезет к Богатому Портному, подумал Чик. Квартира Богатого Портного находилась рядом. Можно было вылезти на карниз, а оттуда перейти на его балкон. Летом он всегда был открытый.

— Да, почти такой, — согласился Ясон и, словно угадав мысль Чика, добавил: — На вашего Богатого Портного уф какой зуб имею...

— Ты что? — сказал Чик строго.

— А что? — спросил Ясон.

— Да ты что! — крикнул Чик. — Я ведь с его сыном дружу!

— Вот, Чик, — сказал Ясон, — ты даже шуток не понимаешь.

— Этим не шутят, — важно заметил Чик.

— Вообще, Чик, я тебе честно скажу, ты мне вра-

вишься, — сказал Ясон, — ты не то что эта колхозница... И вот, значит, влезаю в комнату, — продолжал Ясон. — Стою у окна. Вижу, на кровати спит мужчина, слегка похрапывает. Молодец, думаю, спи. Комната хорошая, вообще ничего особенного. На одной стене ковер, а на нем кинжал для украшения. Ладно, думаю, видел я в гробу этот кинжал. Рядом шифоньер. Но я тебе честно скажу, я шифоньеры вообще не уважаю. Хуже нет — иметь дело с шифоньером, особенно если в комнате спит человек.

— Потому что скрипит? — легко догадался Чик.

— Да, скрипит, как арба. Я чемоданы уважаю. Взял за ручку и пошел как фрайер. За это я люблю в поездах работать. Лучшее поездов ничего на свете нет. Там тебе никаких шифоньеров. Но вот я нагнулся, и смотрю под кровать, и вижу два чемодана. Один рыжий, другой черный. Потихоньку нагнулся и начинаю вытаскивать черный...

— Собаки! Собаки! Брысь! Брысь! — вдруг заорал дядя Коля, свешиваясь с кровати и заглядывая под нее. Кошка, спавшая у Чика на кровати, вздрогнула и с испугу попыталась спрыгнуть, но Чик вовремя ее перехватил.

— Он что, совсем очумел? — воскликнул Ясон и тоже привскочил с кровати. Дядя Коля смотрел на Чика округлившимися глазами.

— Нету! Нету! — крикнул Чик и для ясности сделал широкий отрицательный жест, чтобы успокоить дядюшку.

— Хитришь?! — настороженно спросил дядюшка.

— Нет, не хитрю, — сказал Чик и опять сделал отрицательный жест.

— Собаки нету? — спросил дядюшка, словно пытаясь уточнить, понимает ли Чик, что именно его беспокоит.

— Нету, — повторил Чик и опять сделал широкий отрицательный жест. Действовать надо было просто и односложно, чтобы исключить оттенки в истолковании его слов.

— Ха-ха-ха, — рассмеялся дядя Коля, — а я думал — собаки...

Последние слова он произнес извиняющимся голосом. Ему стало стыдно за ложную тревогу. Это не помешало ему, видно, для очистки совести, последний раз крик-

нуть: «Брысь!» После чего, окончательно успокоившись, он снова запел свою песенку.

— Что это? — строго спросил Ясон.

— Ему показалось, что у него под кроватью кошка, — сказал Чик просто. Он чувствовал, что с Ясоном тоже надо говорить односложно.

— По-моему, он говорил о собаках, — еще строже возразил Ясон, — или меня здесь за дурака принимают?

— Он и собак и кошек называет собаками, — объяснил Чик, стараясь придать голосу самую обычную интонацию.

— Тогда откуда ты знаешь, что он кричал на кошку? — спросил Ясон.

— Просто наша Белка сюда редко заходит, — сказал Чик.

— Он что, и собакам и кошкам говорит «брысь»? — спросил Ясон, несколько успокоившись.

— Да, — сказал Чик, — так ему запало в голову.

Вообще-то Чик не раз об этом думал и пришел к выводу, что, раз дядя Коля и собак и кошек называет собаками, какая-то сила заставила его уравновесить эту несправедливость по отношению к кошкам возгласом «брысь». Но Чик не стал излагать Ясону свою догадку — он чувствовал, что это для него слишком сложно.

— А больше ему ничего не запало? — спросил Ясон.

— Нет, — сказал Чик. — Рассказывай дальше.

— Лучше в КПЗ почевать, чем с ним, — сказал Ясон.

— Он, если его не трогать, никогда не тронет, — сказал Чик.

— Откуда я знаю! — ответил Ясон и добавил: — А вообще он кумекает, о чем мы говорим?

— Что ты! — успокоил его Чик. — Он ничего не понимает, он даже плохо слышит.

— А эта колхозница, интересно, спит? — спросил Ясон. Так он называл тетю Наташу. Слово «колхозница» звучало у него презрительно. Чикун нравилась тетя Наташа, и ему было обидно, что Ясон ее так насмешливо называет.

— Да, спит, — сказал Чик.

— Ты тоже язык придерживай, — посоветовал Ясон и, подумав, добавил: — Хотя с тех пор прошло много лет, затаскают...

Чик промолчал.

Дядя Коля всюю распелся. Чик чувствовал, что пение доходит до того момента, когда он не в силах пере-

дать свой восторг выдуманными словами и перейдет на язык выдуманных инструментов.

— Я вижу, он из тех, что всю ночь верещат, — сказал Ясон, прислушиваясь к пению и правильно почувствовав, что оно не скоро кончится.

— Нет, — сказал Чик. — Ты рассказывай, а он тут же уснет.

— Так я и поверил! У меня знаешь невры какие?

— Какие? — спросил Чик.

— У меня невры как папиросная бумага, — гордо сказал Ясон. — Не дай бог, если я заведуся.

— Надо говорить не невры, а нервы, — поправил его Чик. Пожалуй, это он мстил за тетю Наташу.

— Я и говорю — невры, — сказал Ясон.

— А надо говорить — нервы, — доброжелательно повторил Чик.

— Я и говорю нервы, — повторил Ясон, начиная раздражаться. — Что ты мне мозги лечишь? Недаром мне говорили, что ты ехидина...

— Ладно, — сказал Чик примирительно. — Отчего у тебя такие нервы?

— Как отчего? От поездов! — удивился Ясон его наивности. — Сколько раз на ходу приходилось прыгать!

Только он это сказал, как дядя Коля перешел на музыкальные инструменты:

Тюрли фук! Тюрли фук! Тюрли фук!

Мелодия пробежала сквозь скважины загадочной дудки.

— Во соловей! — сказал Ясон и с раздражением вспомнил о тете Наташе: — А колхозница спит... Ей хоть бы что...

Чик промолчал. Он знал, что если сейчас начнет ее защищать, Ясон и в самом деле заведется, и тогда неизвестно, чем все это кончится. Тетя Наташа ни капли не скрывала своего презрительного отношения к Ясону. Он отвечал ей тем же. Он говорил, что она, кроме сарая, где нижут табак, ничего на свете не видела и дальше Очамчиры нигде не бывала, тогда как он объездил полстраны на своих поездах. Он даже сомневался, видела ли она когда-нибудь поезд.

— И видеть не хочу, так же как и тебя, — безжалостно отвечала тетя Наташа. Чик не одобрял такую резкость, тем более что скоро поезда должны были по-

явиться в Абхазии, потому в городе возвели эстакады и Чернявскую гору продырявили тоннелем.

Вообще все взрослые родственники поругивали Ясона. Правда, не так уж слишком, потому что он редко приходил в гости. Только бабушка как начнет его пилить, так и пилит, пока он не уйдет из дому. Чик знал, что она-то как раз его жалеет, потому что он был сыном ее брата. Другие ему просто предлагали стать человеком, то есть таким, как они. Но он с этим не соглашался, потому что и так считал себя человеком, и притом более высокого сорта, чем они.

Казалось, обе стороны выжидали, чтобы наяву убедиться, чей образ жизни окажется в конце концов более правильным и потому более выгодным. Наверное, из-за этого, хотя и с некоторыми предосторожностями, Ясона пускали в дом, и он, в свою очередь, терпел поучения родственников. Так думал Чик.

Скрипнув кроватью, Ясон потянулся к пепельнице, чтобы достать окурок. Пепельница стояла на полу. Снова спичка озарила коротенький нос, большие губы и тени впалых щек. Он откинулся на подушке и пыхнул папирсой.

— Ты стал тянуть чемодан, и вдруг что-то случилось, — напомнил Чик.

— Да... Слышу — перестал храпеть. Я перемандражил и совсем залез под кровать. Думаю, если он сам проснулся, ничего не заметит. Минут двадцать пролежал под ним, чувствую — спит.

— Начал храпеть? — спросил Чик.

— Нет, — сказал Ясон, — по дыханию вижу. Я по дыханию лучше доктора могу определить, спит человек или притворяется.

— У спящего ровное дыхание, — заметил Чик.

— Это ерунда, — сказал Ясон, — ровное дыхание можно придумать. Но есть такое, что ни за что не придумаешь.

— А что это? — спросил Чик.

— Это так не расскажешь, — ответил Ясон, — это надо как следует перемандражить несколько раз, тогда почувствуешь. Да тебе это и не надо знать... Одним словом, вижу — спит. Потихоньку выволакиваю чемодан, подхожу к окну. Смотрю — нет моего паразита. Оказывается, он в парке из кустов выглядывает. Еле увидел. Ничего себе на вассере стоит! Я, значит, тут рискую, а он голову прячет. Даю знак — подходит. Я прицепил че-

модан к веревке и осторожно спустил ему. Даю знак, что еще буду спускать. Он отвязывает веревку, переходит улицу, перелезает через ограду и стоит там в кустах... Лиандры, что ли, называются... Такие вонючие цветы?

— Да, да, — живо подтвердил Чик, — это олеандры, у них цветы, когда переспеют, вонять начинают...

— И вот он, значит, — продолжал Ясон, — стоит среди этих вонючих цветов, сам такой же вонючий, а я поднимаю веревку, кладу ее на подоконник и только поворачиваюсь, как вдруг открывается дверь во вторую комнату и в дверях останавливается женщина.

— И она тебя не видит? — спрашивает Чик, пораженный таким ходом событий. Чик даже привскочил на кровати, что не понравилось кошке. Но сейчас ему было не до нее.

— Как не видит?! Прямо на меня смотрит! — восторженно говорит Ясон.

— И что она говорит?

— Ничего не говорит. Стоит и смеется!

— Смеется?!

— В том-то и дело, что смеется.

— Но почему?

— Откуда я знаю! Наверно, от страха или стыда. Она же голая.

— И он просыпается от ее смеха? — догадывается Чик, чувствуя, как волосы у него на затылке привстали, аж кожа на голове зацепилась.

— В том-то и дело, что нет! Она так тихо, тихо смеется и вся дрожит.

— Но почему она полезла среди ночи в эту комнату? Она что-нибудь услышала? — допытывается Чик, отчетливо представляя эту ужасную картину. Вот она стоит в дверях, тихо смеется и вся дрожит голым телом. Чик почему-то представил, что эта дрожащая кожа совершенно белая, даже слегка пупырчатая, вроде бы от холода, хотя где взяться холоду, когда олеандры на всю улицу воняют. Чик чувствует, что если бы эта женщина была позгорелей, то картина получилась бы не такая ужасная.

— Да нет, — усмехнулся Ясон.

— Я знаю, — вдруг догадался Чик, — она была лунатик! Она искала выход к луне.

— Лунатик! — презрительно повторил Ясон. — Если ты лунатик — лезь на крышу, а не мешай людям... спать.

Чик почувствовал, что последнее слово прозвучало неубедительно.

— И ты его... убил? — спросил Чик, холодея, хотя и так уже знал, что он именно этого мужчину убил. Он хотел представить, что бы было, если бы этот мужчина не заснул. Но у него ничего не получилось. Он только представил, что этот мужчина неподвижно лежит себе с открытыми глазами и скучно так, скучно смотрит в потолок, как бы заранее готовясь к состоянию мертвеца.

— Да, — сказал Ясон и неожиданно добавил: — Слушай, Чик, у меня папиросы кончились. Где теткин папиросы лежат, знаешь?

— Знаю, — сказал Чик, вставая, — сейчас принесу.

— Она что, «Рицу» курит?

— Да, — сказал Чик и вышел из зала. Он тихо прошел через столовую, где спала тетя Наташа. Пол в столовой был крашенный и, наверное, поэтому быстрее остывал. Ступать по нему босыми ногами было приятно. Он вышел на веранду и нащупал возле столика, где стоял самовар, начатую пачку папирос «Рица», которые курила его тетушка.

Чик часто бегал за этими папиросами в магазин, потому что тетушка ему доверяла покупать эти папиросы, а старшему брату не доверяла. Тот уже покуривал и мог незаметно открыть пачку, вытащить оттуда пару папирос и снова закрыть ее. Сначала тетушка, если замечала, что в пачке не хватает папирос, все сваливала на фабрику и со странной радостью всем рассказывала, что фабрика ее обманула. Потом однажды было замечено, что фабрика тут ни при чем, а во всем виноват старший брат Чика. Чик ожидал, что теперь она всем расскажет, что ошибалась насчет фабрики, как бы извиниться перед ней. Но ничего такого не произошло. Тетушка про фабрику больше не вспоминала, хотя при случае с таким же странным удовольствием рассказывала, что, оказывается, брат Чика покуривает и поворовывает у нее папиросы. Так как при этом она не вспоминала про фабрику, в головах у знакомых могла произойти путаница, они могли подумать, что фабрика поворовывает папиросы и брат Чика поворовывает, так что неизвестно, что остается курить самой тетушке. Неряшливостью образа мыслей — вот чем удивляли Чика многие взрослые. Среди взрослых первое место занимали женщины. Среди женщин наипервейшее место занимала тетушка.

На веранде, целый день открытой солнцу, было осо-

бенно душно. Ночь все еще никак не могла остыть. Светили звезды, но луны не было. Впереди в самом конце неба подымалось легкое зарево. Там был порт. Рядом с верандой весело светила оцинкованная крыша соседского дома. Уже несколько месяцев в желобе, проходящем вдоль крыши, лежал великолепный теннисный мяч, случайно заброшенный сюда с какого-то соседского двора. Чик нащупал его глазами и с удовольствием убедился, что он на месте. На крышу нельзя было залезть, но он знал, что мячик медленно, но неуклонно продвигается в сторону водосточной трубы. После каждого сильного ливня он продвигался вперед на целый метр или даже полтора. Иногда его задерживали вмятины или рубцы на поверхности желоба, но рано или поздно он все равно перескакивал через них и неуклонно приближался к водосточной трубе.

По расчетам Чика, теперь мячу хватило бы одного или двух хороших ливней, чтобы бултыхнуться в бочку под водосточной трубой. И тут надо было не прозевать этот прекрасный миг. В последние дни стояла страшная духота, и можно было ожидать, что на город вот-вот обрушится хорошая гроза. Но она все еще никак не обрешивалась. Небо оставалось чистым и ясным.

Чик приоткрыл дверь в столовую, где спала тетя Наташа, тихо закрыл и на цыпочках перешел комнату. Открывая дверь в залу, Чик на минуту приостановился. Он прислушался к дыханию тети Наташи, чтобы определить по дыханию, спит она или нет. Хотя он и так знал, что она спит, ему почему-то было любопытно прислушаться к ее дыханию. Дыхания не было слышно. За открытым окном серел мощный ствол кипариса. Чик постоял немного и вошел в залу, прикрыв за собой дверь. Чик прошел мимо дяди Коли, подошел к кровати Ясона и подал ему пачку.

— А этот Лемешев уснул, — сказал Ясон и, зашуршав пачкой, вытащил оттуда папиросу.

— Я же говорил! — напомнил Чик и подошел к своей кровати.

Дядя Коля спал, откинувшись на подушке и приоткрыв рот.

— Рассказывай дальше, — попросил Чик, залезая на кровать. Он укрылся простыней и, нащупав кошку, погладил ее. Она, не просыпаясь, поблагодарила его урчаньем.

— А этот не проснется? — насторожился Ясон.

— Нет, — сказал Чик, — раз уж он заснул, он не проснется... Лишь бы тетя Наташа не проснулась.

— Да за колхозницу я и говорить не хочу, — отмахнулся Ясон и, затаившись, продолжал: — Так вот, значит, я стою среди комнаты, а эта женщина смотрит на меня, вся дрожит и смеется. Я показываю ей кулак, чтобы молчала, и, не спуская с нее глаз, лезу в окно. Я уже взялся одной рукой за подоконник, скинул веревку вниз, как вдруг этот мужчина вскакивает, как будто его палкой ударили, и бежит на меня.

— Он тоже был голый? — спросил Чик.

— В том-то и дело, что нет, — ответил Ясон. — Если б он был голый, ничего бы такого не случилось. Голый человек никогда на тебя не полезет. Одним словом, я уже выполз на карниз и только хотел спрыгнуть, как он меня успел схватить. Одной рукой душил за грудь, другой ухорвет, сволоочь. Я тык-мык, ничего не могу сделать. Страшная боль. Сейчас или ухо оторвет, или задушит. Ну, я сузил в него нож — сразу отпустил. Прыгаю вниз, хватаю веревку и бегу через парк. В этих вонючих лиандрах запутался, упал. Все же вскочил и веревку тоже не бросил, бегу через парк. А сзади уже, слышу, окна открываются, крики раздаются.

— А товарищ где? — спросил Чик.

— Он еще раньше побежал, как только увидел, что мы завозились. Мы договорились в случае чего встретиться на берегу в уборной.

— В уборной? — удивился Чик.

— Да, — сказал Ясон, — там всегда можно закрыться и спокойно посмотреть, что к чему. Вхожу — вижу, одна дверь закрыта. Думаю, он или не он? Думаю, неужели он с чемоданом раньше меня через полгорода пробежал? Так оно и оказалось.

«Это ты, Ясон?» — спрашивает.

«Открывай, — говорю. — Хорошо, что ты в Грецию не убежал».

Одним словом, заперлись там, раскрыли чемодан, смотрим — одно барахло. Лучше б я рыжий взял, в рыжем всегда что-нибудь есть. Правда, там лежал один хороший коверкотовый отрез и две мужские сорочки. Все остальное — ерунда. Отрез загнали одному портному, хорошие деньги дал... Интересно, ваш Богатый Портной отрезы покупает?

— Нет, — сказал Чик, — он такими делами не занимается.

— Ты в натуре дружишь с его сыном?

— Да, — сказал Чик.

— Интересно, где у его пахана деньги лежат, он знает?

Чик не мог понять, шутит он или говорит всерьез.

— Отстань, — сказал Чик, — лучше дальше рассказывай.

— А что рассказывать! — зевнул Ясон. — Ох, поясница... Кроме отреза, я все спустил в уборную. Чемодан тоже сломал и спустил в уборную. А между прочим, этот мандражист сорочки не хотел отдавать. «Зацем, — говорит, — выбрасывать? Я, — говорит, — сестрице отдам, сестрица перекрасит...»

— Значит, золота не было? — спросил Чик после некоторой паузы.

— Откуда золото! — пробормотал Ясон уже ворчливо, сонным голосом.

Ясон начал засыпать. Чик чувствовал какую-то неудовлетворенность от его рассказа. По правде сказать, он ожидал чего-то страшного, таинственного. А тут все оказалось слишком просто, даже как-то противно. Особенно эта подлая попытка перекрасить рубашки убитого и носить.

— Может, ты его ранил? — спросил Чик, немного помолчав.

— Убил, убил, — пробормотал Ясон, с досадой одолевая дремоту. Но Чика это бормотание совсем не убедило.

Чик замолчал. Вокруг уличного фонаря все так же с бессмысленной яростью толклись мотыльки. Большая черная бабочка, которой раньше там не было, сейчас дрябло трепыхалась среди них.

Он снова представил, как эта женщина тихо смеется, глядя на Ясона, а тот отступает к окну и грозит ей кулаком, а тут вскакивает этот мужчина и безоружный бежит на Ясона.

— Хоть бы сначала за кинжалом побежал! — сказал Чик. Но Ясон ничего не ответил. Он уже храпел.

Странно получается, подумал Чик. Если бы этот мужчина не уснул, ничего бы не случилось. Он бы закричал, как только Ясон появился в окне, а Ясон спрыгнул бы и убежал. Сколько случайностей, подумал он, и как, оказывается, просто убить человека! Чику стало не по себе. Особенно гадостно снова показалось ему предложение перекрасить рубашки, а потом носить.

«Сестрица перекрасит», — вспомнил Чик и вздрогнул.

Ветхие ставни в окне напротив Чика время от времени поскрипывали, с гор потягивал ночной ветер. Если бы вор вздумал забраться сюда, подумал Чик, он полез бы через это окно. Ведь оно было ближе остальных к железному козырьку над парадным входом.

Теперь Чик прислушивался к ставням. Каждый раз, когда они издавали скрип, Чик замирал и прислушивался. Иногда ему казалось, что кто-то стоит на карнизе и осторожно пробует скинуть крючок на ставне. Крючок еле слышно поскрипывал. Чик понимал, что это ему кажется, потому что крючок поскрипывал вместе со ставней, а ставня покачивалась от ветра. Чик знал, что летними ночами ветер всегда дует с гор. Но все-таки как-то неприятно было это еле слышное «кпр-кпр...». Слово кто-то пробует крючок, пробует...

Чик лежал на спине, глядя в потолок и прислушиваясь к поскрипыванию ставен. По потолку, слегка оза-renному уличным фонарем, время от времени проходили таинственные тени. Чик стал следить за ними, стараясь отвлечься от неприятных мыслей. Он и раньше замечал эти тени, но никогда не знал, откуда они берутся. Вот проскользнули две тени, а вот целая вереница теней печально прошествовала и растворилась над его головой. Некоторые тени, дойдя до середины потолка, как бы вспомнив, что они что-то забыли, нерешительно возвращались обратно. Иногда ему казалось, что их кто-то окликнул, и вот они возвращаются. Ему казалось, что он даже угадывает смысл этого бесшумного оклика — мол, подождите, сейчас не ваша очередь. Он так думал, потому что через некоторое время эта же самая тень, он узнавал ее по очертанию, снова появлялась и уже спокойно проходила свой непонятный путь.

Чик умом понимал, что они, эти тени, как-то связаны с тем, что происходит на улице, что они идут откуда-то оттуда. Но дело в том, что на улице ничего не происходило. Если бы проезжала машина или фаэтон, или в соседнем доме открывали освещенное окно, или поблизости колыхалось дерево, тогда было бы все понятно.

А сейчас Чик казалось, что эти тени связаны с ушедшим днем или даже с давным-давно прошедшими днями. То ли тени каких-то людей, то ли тени каких-то дневных событий... Что-то там случилось не так, они как-то выскочили из отведенного им времени, и вот они ходят, чего-то ищут, что-то пытаются делать. Чик было

жалко этих неудачников дня — не смогли завершить свои дела днем, что же у них получится ночью?

Так, бывало в школе когда тебя выгонят из класса, ходишь по школьному двору неприкаянный, не знаешь, что делать. Купишь стакан семечек у бабки, а они невкусные, или залезешь на турник и висишь, висишь, даже подтягиваться неохота. Все не дождешься звонка, чтобы слиться со своими и быть счастливым оттого, что ты с ними вместе. Правда, потом, после звонка, слившись со своими, ты уже не чувствуешь этой радости, и даже как-то странно, что тебя так тянуло к ним.

Чик вздохнул и повернулся к стене с решительным намерением уснуть. Надо думать о приятном, подумал он, например, о завтрашнем дне. Главное, что он обязательно будет, и все, что сейчас кажется тревожным, исчезнет, а если вспоминать, покажется глупым и смешным.

Сладость предстоящего дня ощущалась как сладость ясности. Он совсем успокоился и, уже засыпая, вдруг подумал, что и ночь по-своему хороша. Именно тем и хороша, почувствовал он, что в ее крошечной тьме с особенной силой ощущаешь сладость предстоящего дня, благодарность за то, что день был и будет.

Чик уже совсем засыпал, а может, даже и заснул, когда Ясон вдруг что-то быстро-быстро забормотал во сне. Чик очнулся и со страхом стал прислушиваться к этому бормотанию. Какая-то злобная жалоба чувствовалась в голосе Ясона. Внезапно бормотание затихло, но тишина сделалась еще страшней, затаила грозный смысл этого бормотания.

Чик приподнялся на постели и посмотрел в сторону Ясона. Но там ничего не было. Было видно только смутное очертание постели. Чик перевел взгляд на дядю. Тот спал, как обычно, слегка закинув голову и приоткрыв рот. Привычная поза дядюшки немного успокоила Чика. Он всегда спал спокойно, никакого там тебе бормотания или угроз. Странно, подумал Чик, сумасшедший спит, как нормальный, а нормальный спит, как сумасшедший.

А вдруг он не спит, подумал Чик, а только притворяется, ждёт, чтобы я заснул? Может, он теперь жалеет, что все это рассказал? Может, он думает, что я завтра пойду в милицию?

Надо было твердо ему сказать, думал он, что я умею держать язык за зубами. Почему я тогда ему ничего не сказал, подумал он, удивляясь своему легкомыслию.

Все-таки Чик хорошо помнил, почему он тогда промолчал. Нет, не потому, что он думал выдать Ясона. Он понимал, что это подло. Раз человек доверился, значит, нельзя. Если б Чик сам, как Шерлок Холмс, раскрыл его преступление, тогда б совсем другое дело. А так нельзя — это Чик знал точно. И хоть Чик знал, что никому ничего не скажет, раз тот просил держать язык за зубами, Чик как-то почувствовал, что полностью лишать Ясона тревоги тоже нехорошо. Поэтому он тогда и промолчал. Но сейчас Чик жалел об этом, потому что ему стало страшно.

Он снова попытался уснуть, но у него опять ничего не получилось. Ему показалось, что кошка лежит слишком близко и дышит ему прямо в лицо. Чик ее отодвинул и положил между собой и стенкой на уровне живота. Чик считал, что это достаточно уютное место, но она полежала там с минуту и, видимо, решив, что Чик уже заснул, вкрадчивой походкой подошла к его лицу и улеглась. Чикун эта вкрадчивая походка как-то не понравилась. Он ее снова, теперь уже более властно, отодвинул на отведенное место. Кошка как будто уснула, но Чик никак не мог уснуть.

Время от времени подушка делалась липкой и горячей. Чик переворачивал ее и погружал щеку в успокоительную прохладу нетронутой стороны. Через несколько минут она опять делалась невыносимой.

— Ребята, договоримся! — вдруг закричал Ясон и присел на кровати.

Чик тоже вскочил, ожидая самого худшего, но Ясон больше ничего не сказал. Кровать под ним закричала. Видно, он, так и не проснувшись, снова улегся.

— Ты что-то сказал? — спросил Чик через некоторое время. Голос его прозвучал неприятно. Чик слышал в тишине, как бешено колотится его сердце. словно в ответ на слова Чика Ясон захрапел. Притворяется, подумал Чик, недаром он скрыл от меня признаки спящего человека. Он заметил, что я не сплю, и, чтобы успокоить меня, захрапел. А как только я усну, он встанет и задумит меня.

Пусть только встанет, подумал Чик, храбрясь, я так закричу, что вся улица проснется. Дядя Коля намного сильнее Ясона, так что скрутит его в одну минуту. Да и тетя Наташа его ничуть не боится.

Постепенно Чик опять успокоился, но теперь ему

стало грустно. Жизнь показалась ему какой-то непрочной, ненадежной.

Вот так живешь себе, живешь, подумал Чик, и вдруг кто-то тебя убивает ни с того ни с сего. Он чувствовал, что жизнь от смерти отделяет слишком тонкая, слишком пежная пленка. В этом была какая-то грустная несправедливость. Странно, что днем он этого никогда не чувствовал. Казалось, что днем жизнь защищена от смерти солнечным светом, как апельсин толстой кожурой. Ночь отдирает от жизни ее защитную солнечную кожуру апельсина, и вот уже тысячи враждебных сил готовы вонзиться в обнаженную мякоть жизни. Чик это чувствовал сейчас всем своим телом.

И не только Ясон со своей тайной. Например, скорпион может заползти на кровать. Хотя от его укуса, кажется, никто не умирал, все-таки это ужасно — когда укусит скорпион. Лучше пусть меня сто раз укусит собака, чем один раз скорпион, подумал Чик.

Он привстал и внимательно оглядел стену, чтобы проверить, нет ли поблизости скорпиона. Стена была вся в пятнах отколушнутой штукатурки и в разводах сырости. Хотя Чик ее прекрасно знал, но сейчас, в полутьме, одно пятно показалось ему подозрительным, и он долго ожидал, не шевельнется ли оно. Нет, все-таки это был не скорпион.

Дом, в котором жил Чик, был старый и сырой. В нем водились скорпионы. Чик сам несколько раз находил скорпионов. С каким омерзением, бывало, Чик пригвождал скорпиона к стене пожницами, а тот извивался-извивался и наконец, поняв, что ему некуда деться, закидывал свой отвратительный хвост и жалил самого себя в затылок.

Убитого скорпиона обычно засовывали в бутылку с подсолнечным маслом. Говорят, потом он туда выпускает свой яд, и, если кого-нибудь укусит скорпион, надо смазать этой жидкостью укус. Бутылка со скорпионами висела на солнце на одном из окон веранды. Она висела там с незапамятных времен, и, хотя в доме Чика скорпионы никого не кусали, все-таки, как только обнаруживался скорпион, его убивали и засовывали в бутылку — авось пригодится.

Чик вспомнил несколько выдающихся случаев, связанных с укусами скорпионов, хотя ему совсем не хотелось об этом вспоминать. Так, одному человеку, пока он спал, скорпион залез в туфлю. А когда человек проснул-

ся и сунул ногу в эту туфлю, скорпион его укусил. А другой человек проснулся утром и полез под подушку, где у него лежали часы, чтобы узнать, пора ему вставать или еще можно полежать в постели. И вот он сует руку под подушку, а там его уже скорпион дожидается.

Чик вдруг увидел, что стрелки часов превратились в осторожные клешни скорпиона, и он никак не мог понять, были ли вообще часы, или это скорпион притворился часами. Эта коварная неясность превращения часов в скорпиона какой-то страшной тревогой стала давить на Чика, словно это превращение грозило возможностью других, еще более страшных превращений. Может быть, друга во врага, может быть, мамы в мачеху или любимого героя гражданской войны в затаенного шпиона фашистов.

И вот Чик чувствует: чтобы все эти превращения не совершились, он должен во что бы то ни стало ясно себе представить и понять, как и почему часы превратились в скорпиона. Чик сделал невероятное усилие над собой, чтобы вырваться из этой неясности, и проснулся.

Ну конечно же, часы лежали под подушкой сами по себе, а скорпион заполз туда сам. Оказывается, Чик задремал, и ему это все примерещилось. Ему захотелось перевернуть разгоряченную подушку. Если под нею окажется скорпион, подумал он, приподымая подушку, надо сразу же его прихлопнуть этой же подушкой, спрыгнуть с кровати и зажечь свет. А там видно будет, что делать дальше.

Нет, скорпиона пока что, во всяком случае под нею, нет. Скорее всего скорпион может заползти в постель со стены. Чик тщательно отодвинул простыню — так, чтобы она ни в одном месте не прикасалась к стене. Пришлось побеспокоить кошку. Она никак не хотела сходить с насиженного места и лежала на нем отяжелевшим комом. Тут он вспомнил, что кошки тоже довольно опасные животные. Он вспомнил рассказ про одну кошку, которая не то задушила больную девочку, не то выцарапала ей глаза.

Нет, пожалуй, надо прогнать ее, подумал он, вспомнив, как она упорно хотела остаться лежать возле его головы, да еще, думая, что он уснул, подходила к нему вкрадчивой походкой. Все-таки жалко было выгонять ее с кровати, но он преодолел жалость и спустил ее вниз.

Чик снова улегся, но почувствовал, что для полного

спокойствия еще что-то надо сделать. Да, вспомнил он, надо утром вытряхнуть сандалии, прежде чем надевать их на ноги. А то сунешь ногу, а там скорпион. А вдруг забуду? — подумал он. Он слез с кровати, нашел свои сандалии, перевернул их и придавил к полу, чтобы для скорпиона не оставалось ни одной щелочки.

Чик снова залез на кровать и тут вспомнил об одном потрясающем скорпионе. О нем рассказывал соседский старик Габуня. Однажды на крыше своего дома этот старик заметил огромного скорпиона. Он был величиной с черепахи.

Это случилось до революции, в николаевские времена. Тогда еще попадались огромные первобытные скорпионы. Когда этот скорпион проползал по крыше, под ним трещала черепица. Так рассказывал старик Габуня.

Некоторые не верили его рассказу, считая старика придурковатым. Но Чик сразу поверил. Именно потому, что он был придурковатым стариком, сообразил Чик, он никак не мог придумать, что черепица трещала.

Старик Габуня хотел пристрелить скорпиона, но, пока ходил за ружьем, скорпион залез под какую-то черепицу. Старик не стал разбирать крышу из-за этого скорпиона, он просто махнул на него рукой и продолжал жить в своем доме как ни в чем не бывало.

Чик ни за что не стал бы жить в доме, где есть хотя бы один скорпион величиной с черепахи.

А хорошо быть придурковатым, неожиданно позавидовал Чик старику Габуня. Придурковатому ничего не страшно. Может, у него сейчас черепица на крыше трещит под гигантским скорпионом, а он спит себе и ни о чем не думает.

Чик сам не мог понять, спит он или не спит, когда вдруг что-то мягкое и страшное рухнуло ему на живот.

Скорпион-гигант!!! — мелькнуло в омертвевшем сознании, и в какую-то долю секунды Чик даже успел сообразить, как тот сюда попал: полз по потолку и рухнул под собственной тяжестью. А еще через мгновение догадка спасительной радостью разлилась по телу: да нет! Это же кошка!

Ух, вздохнул Чик, надо ее совсем убрать отсюда. Сам же я виноват, что она здесь.

Горло у него пересохло от пережитого ужаса.

Он спустился с кровати, взял кошку в охапку и понес на веранду. Проходя по комнате, где спала тетя Наташа, Чик прислушался к ее дыханию, но опять ничего

не услышал — так тихо она спала. Чик постоял немного на прохладном полу и пошел дальше. Здесь было почему-то гораздо спокойней, чем в той комнате. Если б я здесь спал, подумал Чик, я бы давно заснул. Чик и сейчас перешел бы в столовую, но здесь стояла только одна кушетка, и на ней спала тетя Наташа.

Чик вышел на веранду и выпустил кошку. Он посмотрел на соседскую крышу и привычно нащупал глазами теннисный мяч, лежавший в водосточном желобе. Еще пару хороших ливней, и он скатится вниз. Главное — не прозевать, с приятной озабоченностью подумал он.

В гуще кипариса за окнами веранды слышался тихий гомон спящих птиц. В кипарисе спали воробьи. Он стоял под окном, где спала тетя Наташа.

С кипарисом Чика связывала великая тайна. Из ствола кипариса примерно на уровне окна торчала засохшая ветка. Хотя она и высохла, все-таки она была крепкая, Чик был в этом уверен. У него был немалый опыт лезанья по деревьям, и он по виду ветки мог определить, достаточно ли она крепкая, чтобы выдержать человека.

Чик несколько раз пытался прыгнуть на нее из окна, но каждый раз ему чуть-чуть не хватало смелости. Стоило слегка наклониться к ней и спрыгнуть с подоконника, как можно было вцепиться в нее и слезть вниз. Прыгнуть и зацепиться за ствол было невозможно, потому что он был слишком толстый и гладкий. А за эту ветку можно было. Другие ветки начинались гораздо выше, а здесь, на уровне второго этажа, это была единственная высохшая ветка, вернее, обрубок ветки, сливающийся со стволом и почти незаметный со стороны. Каждый раз, когда Чик хотел спрыгнуть на нее с подоконника, ему чуть-чуть не хватало смелости. В конце концов он решил, что все дело в том, что сейчас нет причины, ради которой стоило бы рисковать, а когда будет стоящая причина, он спрыгнет не моргнув глазом. Чик это знал точно.

И вот однажды ему открылась причина, великий повод, из-за которого он спрыгнет на эту ветку. Скоро так или иначе начнется война с фашистами, думал Чик. И вот если они займут наш город (временно, конечно!) и устроят штаб в нашем доме...

Они, конечно, будут охранять все выходы и входы, но об одном никак не смогут догадаться — что кто-то может из дома спуститься по кипарису. Это им и в голо-

ву не придет: кто же будет прыгать на толстый гладкий ствол кипариса! И тут-то Чик совершит свой подвиг. Он спрыгнет на эту ветку — разумеется, с полной па-зухой тайных документов — и удерет к своим.

Вот какая великая тайна была у Чика. Забыв все свои ночные страхи, он сейчас лакочился мечтой о своем будущем подвиге. Насытившись мечтой о великой тайне, Чик стал думать о тете Наташе, потому что с ней у него тоже была связана тайна. Правда, не такая великая, но все же приятная.

Дело в том, что тетя Наташа ему давно нравилась. Чик теперь даже не мог вспомнить, когда она ему начала нравиться. Ему нравилась ее быстрая походка, длинные косы и маленькая голова. А главное — ему нрави-лось, когда тетя Наташа его целовала.

Вообще-то Чик терпеть не мог, когда его кто-нибудь целовал. Как назло, родственники и знакомые их семьи беспрерывно чмокались, и Чик, как самому младшему, доставалось больше всех. Увернуться было почти невоз-можно — очень уж они все обидчивые были! Даже ути-раться после поцелуев приходилось тайком.

Особенно противны были поцелуи пьяных, небритых мужчин. Но еще противней были поцелуи тетушкиных подружек с накрашенными губами. Какую-то злобную энергию вкладывали они в свои поцелуи, словно Чик был виноват, что у них там что-то не получалось.

И вот среди всех этих поцелуев, которые он отбы-вал как повинность, однажды он с изумлением почув-ствовал, что бывают приятные поцелуи. Чик тогда поду-мал и решил, что это происходит оттого, что от нее хо-рошо пахнет. От тети Наташи пахло деревенской кухней, точнее — запахом копченого сыра и жареной куку-рузы.

Этой весной тетя Наташа вышла замуж, и Чик, ког-да узнал об этом, решил, что теперь она не станет его целовать, или даже если будет, то ему самому это бу-дет не так приятно, как раньше. Но когда она приехала в город, и поцеловала его, и Чик прислушался к дей-ствию поцелуев, он вынужден был признать, что ничего такого не случилось. Поцелуи не потеряли приятности, они даже стали еще пахучее.

Удивительно, вдруг подумал Чик, что две мои тайны оказались рядом: по одну сторону окна — кипарис, по другую — тетя Наташа. Что бы это могло означать? — подумал он. Во всяком случае, это неспроста так полу-

чилося. Может быть, обе тайны хотят соединиться? Но для чего?

Ему захотелось напиться, и он открыл кран. Спешить было некуда, и он сначала пустил воду, чтобы вылилась вся, которая была в надземной части трубы. Чик пальцами почувствовал, когда стала подходить свежая подземная вода. Он напился, вытер рот и тихонько, стараясь не скрипеть, вошел в столовую. На этот раз он решил пройти возле кушетки, где спала тетя Наташа.

Он тихонько подошел к кушетке и остановился, затаив дыхание. Тетя Наташа спала, завернувшись в простыню. Лицо ее было повернуто к стене. Окно было открыто, и ствол кипариса сейчас казался толще, чем он был на самом деле, и гораздо ближе к окну. Казалось, протяни от окна руку — и достанешь до ствола.

Гомон птиц в хвое кипариса здесь слышался гораздо сильнее, чем на веранде. Непонятно отчего волнуясь, он прислушивался к этому гомону и смотрел на странное, как бы отвернувшееся куда-то лицо тети Наташи. Казалось, что она смотрит сон, как смотрят кино. Чик все еще слышал тихий шорох гомонящих наверху птиц, как вдруг слух его мгновенно обострился, и он отчетливо услышал струенье и шелканье о ствол падающих хвоинок. Эти сухие хвоинки осыпались с веток, на которых спали птицы. Они и днем все время осыпались, но Чик впервые услышал этот струящийся тихий звук.

— Тетя Наташа! — еле слышно позвал он. Ему показалось, что так долго стоять над ней и ничего не говорить как-то стыдно. Он не думал, что она проснется, но она сразу же проснулась.

— Ай! — вскрикнула она с какой-то деревенской грубоватостью, но тут же догадалась: — Это ты, Чик?

— Да, — сказал Чик.

— Ты чего не спишь? — удивленно и нежно спросила она, подымая голову.

— Не знаю, — сказал Чик, — что-то все мерещится, мерещится...

— Я же тебе говорила, не слушай этого дурака, — зашептала она и, быстро вытянув из простыни руки, обняла его за плечи шершавыми ладонями. — Он только и знает, что хулиганские глупости рассказывать... И врет все, выдумывает, не верь ты ему...

Подталкивая его к своей комнате и все-таки удерживая, она целовала его куда попало — в лоб, в щеки, в глаза. Чик готов был целую вечность так простоять, чув-

ствуя прикосновение ее шершавых ладоней и твердых губ, вдыхая чудный запах копченного над костром сыра и жареной кукурузы. Но так как она все-таки подталкивала, он понял, что надо идти, и пошел к себе.

Он взобрался на бабушкину кровать и лег, прислушиваясь к волнующему и вместе с тем успокаивающему запаху копченного сыра и жареной кукурузы. Он подумал, что этот запах остался на его плечах от ее шершавых ладоней. Он понюхал свое плечо и удивился, что оно ничем не пахнет. Но он продолжал чувствовать этот запах, и ему больше не только ничего не мерещилось, но даже если бы он нарочно стал думать о самых страшных вещах, они бы его не испугали. Наверное, от этого запаха, подумал Чик, все еще вдыхая слабевший аромат деревенской кухни и вспоминая дуновение ее шепота па лице.

И вдруг волна забвения с гулом ударила его откуда-то сбоку и поволокла за собой. Так, бывало, заезаешься в море, и вдруг прибойная волна шлепнет сзади, накроет с головой и потащит. Вздрогнешь на миг, а потом радостно отдаешься сильному движению шелестящей воды.

...А когда Чик проснулся утром, в комнате никого не было. Свет, как вода под напором, косыми струями, золотыми столбами сквозь тысячи пляшущих пылинок бил в комнату. По силе его Чик понял, что утро началось давно.

Сейчас ставни среднего окна были прикрыты, как и остальные. Чик сразу же догадался, кто их прикрыл. Только он подумал об этом, как распахнулась дверь с веранды в столовую и он услышал быстрые шаги тети Наташи. Она подошла к буфету, скрипнула его дверцей и зазвенела стаканами.

С веранды доносился поющий голос дяди Коли. Постукивая ложкой о дно железной кружки, из которой он всегда пил чай и которую никому, кроме бабушки, не давал в руки, он пел одну из самых своих бодрых песен — песню ожидания утренней трапезы. Чик улыбнулся, представив, как дядюшка держит свою кружку перевернутой до самого последнего мгновения перед разливом чая, чтобы туда не залетела случайная соринка или, не дай бог, муха.

Чик чувствовал, что стол уже накрыт, сахар наколот, самовар кипит, а дядя Коля и тетя Наташа ожидают, когда он встанет. От всего этого он испытывал сейчас

необычайный подъем духа, благодарность начинающемуся дню и готов был запеть не хуже дядюшки.

— Собаки, брысь! — раздался голос дяди Коли, на мгновение прервавшего свою песню. На этот раз он и в самом деле имел в виду собаку. Чик услышал удаляющуюся цоканье когтей Белки. Чик хотел было ее позвать, но затем решил сначала одеться, а потом уже поиграть с Белкой. Впереди был весь день. Он мимоходом вспомнил о тревогах этой ночи, и многое из того, что казалось страшным, сейчас выглядело совсем не так, словно оно потеряло свой запах или цвет. А некоторые подробности он вообще забыл. Так, одеваясь, он никак не мог понять, какого черта, пока он спал, ему кто-то перевернул сандали.

* * *

Чик сидел у себя во дворе на толстой виноградной лозе, могучими витками поднимающейся на шелковицу. Он держал уткнувшуюся передними лапами и головой ему в колени свою собачку Белку. Он поглаживал ее одной рукой по спине, иногда выковыривая из шерсти стебельки высохшей травы, колючки репейника, а то и клещей.

Стебельки засохшей травы он отбрасывал, колючки репейника выщелкивал, а если попадались клещи, он их осторожно клал на землю и изо всех сил растирал сандалией.

Когда Чик проводил рукой по голове и дальше по спине собаки, она старалась потереться мордой о его ладонь, показывая, что ей приятно. Если же клещ или колючка оказывались слишком цепкими, она слегка покусывала, но не пыталась уйти. Она только показывала Чику, чтобы он действовал осторожней, ведь все-таки она живое существо и ей больно, хотя она и согласна, что Чик делает полезное дело.

Когда Чик осторожно клал клеща на землю, она с любопытством поглядывала на него, удивляясь, что такое ничтожество заставляло ее так бешено чесаться. А когда Чик раздавливал клеща сандалией, Белка, мотнув головой, фыркала, показывая, что она несколько не жалеет этого паразита.

В нескольких шагах от Чика, упруго щелкая веревкой, прыгала через скакалку девочка Ника. Длинные ноги ее однообразно пригарцовывали, сверкая белыми

тапочками, а желтый сарафан все время колыхался, а иногда, вдруг напузыриваясь, приобретал сходство, впрочем, довольно жалкое, с парашютом.

Чик хмуро, как маленький и притом пресыщенный богдыхан, следил за ее однообразными движениями. Белка тоже искала следила за пригарцовывающей девочкой, и каждый раз, когда веревка щелкала по земле, она мигала. Звук этот был ей неприятен. И хотя Чик казалось, что она сама стыдится своего страха, она как бы говорила Чик, продолжая при каждом щелкающем звуке мигать: мало ли что может случиться, а вдруг и меня огреет эта противная веревка.

Чик тоже было неприятно это скакание, но совсем по другой причине. Дело в том, что он в этот день задумал вместе с ребятами и девочками своего двора пойти в поход за мастикой. И вот вместо того, чтобы готовиться к походу или скромно сидеть возле Чика, показывая, что она побаивается, как бы Чик не раздумал брать ее с собой, эта Ника ничего такого и не думала делать.

В поход за мастикой? Пожалуйста, как бы говорила она всем своим видом, но, пока вы собираетесь, я еще попрыгаю.

Этого-то Чик больше всего на свете не любил. Это (Чик затруднялся, как это назвать), одним словом, это было свойственно некоторым мальчикам и почти всем девочкам. Во всяком случае, Чик еще ни разу не встречал девчонку, которая была бы до конца предана Делу. Их всегда мог отвлечь какой-нибудь пустячок, унижающий Дело.

Например, если ты с ними на лужайке вздумал ловить стрекоз, то кто-нибудь из них рано или поздно погонится за бабочкой или начнет собирать цветы, а то поймает божью коровку и будет целый час ее упрашивать, чтобы она взлетела на небо. И так во всем. В этом была какая-то умственная, что ли, неполноценность, но так уж они были устроены, и с этим ничего нельзя было поделать.

И вот тебе, пожалуйста, готовится великий поход за мастикой, а она как ни в чем не бывало скачет на своей скакалке.

Кстати, если кто не знает, что такое мастика, — это жвачка, вываренная из сосновой смолы и процеженная сквозь чистую тряпку. Лучше всего носовой платок, но, разумеется, чистый, еще не встречавшийся с носом.

Жевать мастику, особенно пускать из нее пузыри

очень приятно. Но главное, мастика сейчас в моде. Появляться среди ребят, жуя мастику, прилично, это производит хорошее впечатление.

И наоборот, если ты целыми неделями появляешься среди ребят с пустым ртом, или клянчишь у кого-нибудь, чтобы дали тебе тоже пожевать, или, глядя на других, пускающих пузыри, невольно оттопыриваешь губы и высовываешь язык, это производит на всех плохое впечатление.

Получается, что ты не можешь сходить в поход за мастикой, не умеешь раздобыть сосновой смолы и выварить ее как следует. Или, что еще хуже, все это ты умеешь, но тебя не пускают из дому, а уйти без спроса не хватает храбрости, дрейфишь. Горе тому, кто подолгу не жует мастику, он рискует сделаться всеобщим посмешищем!

Среди ребят своего двора Чик считал себя самым главным. Разумеется, он об этом не говорил, это было бы слишком глупо, но считал это вполне справедливым. Во-первых, он это так считал потому, что так оно и было, а во-вторых, он был старше на три месяца самого старшего из них, Оника, сына Богатого Портного.

Конечно, во дворе были и другие ребята, но это были совсем взрослые парни. Они были старше его на пять-шесть лет, их нельзя было принимать в расчет, у них свое.

Мать Оника говорила, что Чик старше Оника на три месяца, а хитрее на три года. Она это, как попугайка, повторяла тысячу раз.

Чик чувствовал, что в словах ее есть какая-то правда, но она нарочно огрубляет ее. Пожалуй, Чик нашел бы словечко поточней, чтобы определить разницу между собой и Оником. Но Чик отмалчивался, потому что считал унижительным что-то доказывать этой не очень-то умной женщине. Откровенно говоря, ему было неприятно слышать от старших про свою хитрость. Не то чтобы Чик не хитрил, очень даже хитрил, если это было надо. Но он-то знал, что взрослые обитатели их дома, называя его хитрецом, мстят ему, потому что он давно догадался об их взрослых хитростях.

Чик давно заметил, что у них во дворе взрослые, разговаривая с маленькими или между собой, очень часто говорят одно, а думают совсем про другое. И хотя Чик никогда не мешал им думать совсем про другое, они почему-то злились на него за то, что он знает про другое.

Чик просто удивлялся, почему они так злятся на него за это. Иногда то, про что они думали, было так понятно и близко, что никак невозможно было не догадаться о нем.

Когда Чик был совсем маленький, он, слушая, как во дворе один взрослый, разговаривая с другим, говорит одно, а думает про другое, считал, что это такая игра. Чик замечал, что и другой взрослый при этом думает совсем про другое, так что никого никто не обманывает. Он только не понимал, почему они в конце игры не рассмеются и не скажут о том, что они хорошо поиграли.

А иногда дома, когда собирались гости, Чик замечал, что начиналась всеобщая игра, когда все говорили про одно, а думали не только про другое, а просто про разное. Так что Чик не успевал проследить, кто про что думает, или просто уставал следить.

Правда, случалось, что взрослые забывали про эту игру и кто-нибудь из них начинал рассказывать что-нибудь интересное и ничего другого при этом не думал, и тогда Чик с обожанием слушал этого человека. Конечно, и в таких случаях тот мог прерваться, чтобы сказать что-нибудь понарошку, но Чик на него за это не обижался. Он терпеливо переживал, как если бы этот взрослый закуривал, или опрокидывал в рот рюмку, или произносил тост, не только не имеющий другого, скрытого смысла, а вообще никакого смысла не имеющий.

Своих товарищей Чик разделял на тех, кто чувствует, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое, и тех, которые этого не чувствуют. Обычно те, которые не чувствовали этого, были более губошлепистыми и счастливыми детьми. Чик чувствовал, что незнание делает их более беззаботными и веселыми, точно так же как знание делает людей более уязвимыми. Чик это знал. Вернее, он это знал, но не знал, что знает.

Просто он чувствовал, что, например, Оник как раз относится к тем ребятам, которые так и слушают взрослых развесив уши, не подозревая, что за их словами может скрываться совсем другое. Он чувствовал, что в этой наивности Оника есть какое-то достоинство, которого он, Чик, теперь лишен навсегда. При всем этом он любил Оника и иногда завидовал этому его достоинству простоты.

Порой Чик сознательно допускал по отношению к Онику некоторые небольшие, как он считал, несправед-

ливости. Он считал, что ему очень уж легко живется на свете.

Вот и теперь, когда они решили отправиться за мастикой, он поручил Онику самое трудное — вынести из дому чистый платок. Дело в том, что после того, как сквозь платок будет процежена расплавленная смола, он делается непригодным к употреблению. Его остается только выбросить, потому что отмыть невозможно. Ничего, думал Чик, семья Богатого Портного от одного платка не обеднеет.

Кроме Оника и Чика, в поход должны были пойти две девочки: Сонька и Ника. И еще Лёсик, который, как понимал Чик, будет еще большей обузой, чем даже девочки.

Лёсик, по слухам, родился с какой-то болезнью, от которой он теперь хромал и заикался. Чик часто задумывался над его страшной болезнью, от которой он одновременно хромал и заикался. Чик считал, что он как бы прихрамывает на язык или заикается на ногу. Можно было считать и так и так. Несмотря на свои недостатки, Лёсик был добрым мальчиком, и Чик часто защищал его от ребят.

Из-за своей хромоты Лёсик плохо держался на ногах. Он мог упасть на ровном месте без всякой причины. Просто нога у него подворачивалась.

Однажды, когда он шел по улице, один из соседских мальчишек крикнул ему в шутку:

— Лёсик, осторожно, упадешь!

Услышав свое имя, Лёсик обернулся в его сторону и в самом деле упал. С тех пор на улице и в школе пошла гулять эта дурацкая дразнилка.

— Лёсик, а-ста-рож-но, у-па-дешь! — нараспев кричал кто-нибудь, увидев, как Лёсик с портфелем ковыляет по улице. Обычно в таких случаях Лёсик с улыбкой оборачивался на этого мальчишку, всем своим видом показывая, что он понимает, чего они ждут от него. И конечно, старался не падать, хотя иногда, правда очень редко, все-таки падал. Но даже если и падал, он, так же добродушно улыбаясь, вставал, отряхивался и шел дальше.

Лёсика из-за его хромоты родители никогда не пускали со двора. Только в школу отпускали, потому что она была совсем рядом, а больше никуда не отпускали. Конечно же, ему, как и всем ребятам, хотелось сходить на море или на гору или просто посидеть на улице.

Но мать его все время следила за ним и строго наказывала, если он выходил за калитку.

Правда, не так давно у родителей Лёсика родились двойняшки, и матери стало некогда следить за Лёсиком так внимательно, как раньше.

Родители Лёсика захотели иметь второго ребенка, чтобы посмотреть, будет он совсем здоровым или родится такой же, как Лёсик. А тут родились сразу двое и оба здоровые. Лежа в коляске, лупят друг друга ногами и кричат не заикаясь.

Но отец Лёсика был все равно недоволен. Он считал, что им было бы достаточно одного здорового ребенка, а тут родились двое. Опять не так, как он хотел, получилось.

Чик давно заметил, что есть такие мужчины, которые вечно недовольны, что бы жена ни сделала. И женщины тоже есть такие, которые вечно недовольны, что бы муж ни сделал. Лёсикин отец был как раз из вечно недовольных. Чик был уверен, что, если бы Лёсикина мама родила одного здорового ребенка, он все равно что-нибудь придумал бы. Может, сказал бы: раз уж пошли здоровые дети, так родила бы сразу двух.

Так или иначе, сейчас мать Лёсика была целыми днями занята своими двойняшками и про Лёсика слегка подзабыла. Чик решил воспользоваться этим и взять его с собой в поход за мастикой.

Сонька сейчас мыла под краном пустую консервную банку. Она была дочерью Бедной Портнихи, так иногда называли ее маму, чтобы отличить от отца Оника, Богатого Портного. Они жили в самом деле очень бедно и занимали одну из худших комнат во дворе. Тетушка часто говорила об их бедности, хотя сама же говорила и противоположное.

— Ничего себе бедная, — кивала тетушка на Сонькину маму, возвращающуюся с базара, — всегда с полной корзиной идет.

Противоречивость тетушки поражала Чика. Как будто нельзя быть бедным и возвращаться с базара с полной корзиной! Ведь можно покупать самые дешевые продукты, что, кстати, всегда и делала Сонькина мама. Она ходила на базар к самому закрытию, когда наиболее слабovolные крестьяне сдавались и продавали по дешевке свои продукты.

Во дворе было замечено, что она нарочно в самые

жаркие дни ходит на базар, то есть в такие дни, когда продукты быстрее портятся.

— Все равно сгниет, — часами бормотала она, стоя на солнцепеке возле безропотно оползающих персиков или где-нибудь в мясном ряду. Говорят, самые упорные сдавались вместе со свистком милиционера, закрывающего базар.

Кстати, Чик любил бывать на базаре. Обилие овощей, особенно фруктов, всегда веселило его, внушало желание петь бодрые песни. Единственно, что он не любил на базаре, — это мясные ряды. Не то чтобы Чик был вообще против мяса. Нет, мясо он любил. Но его как-то коробила грубая откровенность яростных кусков, брошенных на прилавок, обреченность коровьих туш, лишенных хвостов и как бы потому облепленных жирными мухами, множество маслянистых крюков, топоров, плах и палаческих фартуков. А самих мясников с растарашенными глазами Чик прямо-таки опасался. Он был уверен, что оголенное мясо развивает в них тайное бешенство, пьянит их.

Однажды Чик видел на базаре, как Сонькина мама спорила с мясником. Чик тогда с ужасом замер, ему показалось, что мясник сейчас выскочит из-за прилавка с топором и погонится за ней. Положение осложнилось тем, что Чик был на базаре со своим сумасшедшим дядюшкой, который был влюблен в Сонькину маму.

Об этом все знали, и Чик в первую очередь. Главное, он тоже ее заметил и почувствовал, что происходит что-то неладное. Дядюшка уже замер и уставился на мясника неподвижным взглядом, что обычно означало готовность перейти к энергичным действиям. К счастью, именно в этот миг Сонькина мама сговорила с мясником, и он вlepил шматок мяса в ее растопыренную корзину. Она хохотнула и понеслась дальше. Дядюшка тоже мгновенно повеселел. Чик почувствовал, что у него на сердце отлегло. Черт его знает, что могло случиться!

— Дурачок шумит! — сказал дядюшка, показывая рукой на мясника и посмеиваясь. В то же время он взглядом просил Чика не рассказывать дома о том, что он собирался вступить за эту женщину. Дядюшка стыдился своей страсти, тем более что его довольно-таки безжалостно высмеивали из-за этой несчастной любви.

Так вот, дочь этой женщины, Сонька, была очень привязана к Чику. Иногда Чик подозревал, что по какому-то тайному закону равновесия она испытывала к Чи-

ку то чувство, которое дядюшка Чика испытывал к ее матери и на которое мать ее не могла ответить. По этому же закону равновесия Чик тоже не мог ничем ответить на эти чувства. Хотя самую привязанность ценил, особенно ценил ее беззаветную преданность делам, которые он время от времени затевал. Впрочем, характер привязанности Чик мог и преувеличить из-за склонности к гармоническим конструкциям, которую он неустанно проявлял.

А что сказать о Нике? Она вместе с матерью переехала к ним во двор этой весной. Чик знал от дяди, что Ника — дочь известного танцора Пата Патарая. Дядя сам когда-то танцевал с ним в ансамбле. Дядя говорил, что Пата Патарая такой замечательный танцор, что может танцевать на перевернутой рюмке.

Чик очень долго старался представить, как это можно танцевать на перевернутой рюмке. В конце концов он решил, что отец Ники танцевал на перевернутой рюмке, стоя на конце большого пальца одной ноги и приподняв вторую. Это было похоже на рисунок из замечательной книги «История гражданской войны». Чик эту книгу много раз листал. Там был нарисован дореволюционный крестьянин, который одной ногой стоял на своей земле, а другую держал в воздухе, потому что своей земли у него было так мало, что некуда было поставить вторую ногу. Чик через этот рисунок почему-то легко представил Пата Патарая, танцующего на перевернутой рюмке. Разумеется, в отличие от лохматого, оборванного крестьянина он его представлял одетого в черкеску и в азиатские сапоги.

Хотя при нем об этом старались не говорить, и именно поэтому Чик особенно внимательно прислушивался, он понял, что Пата Патарая арестован. По обрывкам разговоров Чик догадался, что, оказывается, отец Ники довольно часто танцевал при большом начальнике, который оказался вредителем.

Это, по мнению Чика, было слишком. Начальник-то, конечно, вредитель, думал Чик, но отец Ники пострадал по ошибке.

Чик решил, что танцевать на перевернутой рюмке так трудно, что все внимание уходит на то, чтобы не свалиться с этой рюмки, а следить за вредительством начальника одновременно с этим слишком сложно.

Вскоре Чик догадался, что Ника ничего об этом не знает, Чик сам решил, что ей нельзя говорить об этом.

Из разговоров взрослых Чик понял, что и соседи тоже ничего толком не знают об этом.

В первые дни, когда они переехали к ним во двор, Чик тоже ничего не знал. Он только заметил, что эту новую девочку одевают нарядно, как взрослую. Почти каждый день Чик слышал, как она попискивает: это мать ей заплетала косы. Кроме того, она ходила, узко переставляя свои длинные ноги, словно стремилась как можно меньше соприкасаться с пачкающим ее пространством. А главное, в ее личике, надо сказать, довольно хорошеньком, была та особая отмытость, по которой Чик за километр узнавал детей богатых родителей. У Оника тоже в лице была такая отмытость. По этому признаку он их сразу узнавал, как, скажем, по цвету газированной воды можно было сразу узнать, что в этом стакане двойная порция сиропа.

Чик в первое время старался держаться подальше от Ники. Но все-таки Чик испытывал к богатым какое-то странное любопытство. Поэтому он присматривался к ним и даже прислушивался, если это было возможно. И вот однажды, когда он играл у них под окнами, он услышал, как мать Ники велела дочери сходить за хлебом. Ты смотри, подумал Чик даже с некоторым умилением, их тоже, как и нас, посылают за хлебом. Только Чик так подумал, как Ника высунулась из окна и сказала:

— Чик, я тебя очень, очень прошу, сходи за хлебом. Мне так не хочется... — При этом она с таким приятным бесстыдством, с такими ужимками завертела своей мордочкой, что Чик не смог отказать. Это была такая неожиданная наглость, что он просто растерялся.

— Давай деньги, — сурово сказал он, и она, вытянув из окна руку, передала ему деньги. Страшно надувшись от оскорбления, Чик поплелся за хлебом.

— Бессовестная, — услышал он голос ее мамы из окна и странный смешок Ники. Почему, почему я не отказался, пораженный, думал Чик всю дорогу и не знал, чем это объяснить. Во всяком случае, он пришел к твердому решению больше у них под окнами не играть.

Потом они подружились, потому что мать Ники к нему хорошо относилась. Это оттого, что Чик и дядя очень дружили и любили друг друга. А так как дядя раньше дружил с ее мужем, вот она и выделила Чика.

Иногда, уходя на базар или по делам в город, она оставляла Чика в квартире вместе с Никой. Чик не раз

поражаясь ее умению, пошкодноичав, мгновенно придавать своему облику невинное выражение. Ну, разумеется, перехитрить Чика ей никогда не удавалось.

Убранство в их квартире, как и ожидал Чик, оказалось роскошным. Например, буфет был похож на дворец со стеклянными окошечками, дверцами, карнизиками. Кроме того, там был письменный стол, патефон с целой горой всевозможных пластинок и огромный диван, на котором можно было подпрыгивать, как на сетке циркачей.

Правда, у дяди тоже стоял письменный стол, но остальные вещи здесь были куда лучше.

— А у вас есть персидский ковер? — спросил Чик, заметив, что на стене нет никаких ковров.

— Был какой-то, мама продала, — небрежно ответила Ника.

Вот богатые, подумал Чик, им все равно, был у них персидский ковер или не был, даже толком не знают.

— А у нас есть персидский ковер, — сказал Чик, чтобы что-нибудь противопоставить этой прорве богатства. Он подпрыгивал на пружинящем диване, испытывая удовольствие не только от его упругих толчков под ногами, но и от того, что он бесплатно пользуется всем этим богатством. Чик считал, что сам он живет средне. Он так и говорил: «Мы живем средне», — когда разговоры о том, кто как живет, возникали на улице или в школе.

Ника довольно часто заводила патефон. Некоторые пластинки Чик очень нравились, но он их воспринимал по-своему. Особенно нравилась одна, где рыцарь пел перед боем: «Паду ли я, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она?» Чик очень хотелось, чтобы она мимо пролетела, эта стрела. Он даже видел этот замедленный полет стрелы, пролетающей мимо рыцаря, который украдкой, одними глазами, с облегчением, но никак не показывая радости, следит за ее полетом. Показывать радость стыдно, а увертываться от летящей стрелы вообще не положено. Ничего не поделаешь, в те времена были такие суровые условия. Так думал Чик.

Иногда Ника заводила пластинки, где выступал ансамбль песни и пляски с участием ее папы. Ансамбль сначала начинал с какой-нибудь кавказской песни, а потом постепенно подогревал себя и доводил до состояния пляски. Одни из них при этом продолжали петь и хлопать в ладоши, а другие пускались в пляс. Чика удивля-

ло, что Ника среди общего топанья радостно улавливала топанье отца.

— Во! Во! — тыкала она пальцем в пластинку. — Это он, он, Чик!

— Да как ты узнаешь? — удивлялся Чик. — Может, это кто-нибудь другой топает?

— Ну что ты, — говорила Ника, каким-то женским движением покачивая головой, — у папы совсем особый звук — легкий, точный...

Чик, сколько ни старался, никак не мог определить, чем отличается топанье Пата Патараия от всех остальных. Он решил, что во всем этом есть доля кривлянья, но считал это вполне простительным грехом, потому что она и в самом деле очень любила отца, которому так не повезло. К тому же такого рода кривлянье была свойственно многим взрослым.

— Тридцать рублей истратила, а что я купила! — например, говорила тетушка каждый раз, возвращаясь с базара. Это тоже было кривлянье, преувеличение. Во-первых, купила дай бог сколько, а во-вторых, хоть цены, по видимому, в самом деле растут, но ведь не так быстро, как говорила тетушка. По ее словам получалось, что в каждый последующий день базар хуже, чем в предыдущий. Казалось, этими преувеличениями и кривляньем взрослые заклинают себя от большей беды, чем та, которая есть. Они как бы говорят ей: «Не надо тебя, не иди к нам, у нас уже есть точно такая же Большая беда».

Вот этим взрослым привычкам и подражала Ника, думал Чик, когда она говорила, что среди топота многих танцующих узнает топот своего отца по особой легкости да еще и точности.

Однажды, когда Чик играл с ней в прятки, случилось вот что.

Чик спрятался под письменный стол, а Ника почему-то долго его не могла найти. От нечего делать Чик пошарил рукой по тыльной стороне письменного стола и вдруг обнаружил, что там какие-то узкие щели. Чик понял, что это щели между ящиками письменного стола. В дядином письменном столе таких щелей не было. Таковой уж тут стоял стол. Может быть, подумал Чик, у богатых так и положено иметь такие щелястые письменные столы.

Снаружи все дверцы его были заперты, а сзади можно было пальцами нащупать щели. Чик с трудом просунул руку в ящик и тронул пальцами какую-то коробку.

С трудом шевеля пальцами, он открыл картонную коробку и вдруг почувствовал, что она наполнена какими-то маленькими металлическими предметами. Чик сразу же догадался, что это пистончики для патронов. Чик даже вспотел от волнения. Это был целый клад золотистых пистончиков, которые стреляли, как настоящий пистолет, если бить по ним камнем. Но тут Ника его обнаружила, и ему пришлось вылезать из-под письменного стола. После этого Чик еще несколько раз прятался под ним и успел вытащить оттуда и спрятать в карман с десятком великолепных новеньких пистончиков.

— Ты какой-то глупый, Чик, — в конце концов сказала Ника. — Почему ты все время в одно место прячешься?

Чик хмыкнул, подтверждая свою глупость, одновременно сладостно перебирая в кармане пистончики.

— Что это у тебя в кармане? — спросила Ника, чувствуя, что Чик хитрит. Она заглянула ему в глаза.

— Ничего, — сказал Чик, продолжая держать руку в кармане.

— Нет, покажи, что у тебя в кармане, — сказала Ника.

— Ничего особенного, — сказал Чик, — лучше давай играть.

— Нет, покажи! — крикнула Ника и накинулась на него, стараясь выдернуть его руку из кармана.

Чик не давал выдернуть руку из кармана, и они оба повалились на диван. Так как Чик не слишком сопротивлялся, главное было удержать руку в кармане, после некоторой возни Ника оказалась сверху. Она налегла ему на грудь и, упираясь острым локтем одной руки ему в живот, другой старалась выдернуть его руку из кармана.

Чик, конечно, не давался. Он чувствовал, что намного сильнее ее. Она попыталась просунуть руку в карман и в самом деле немного ее туда просунула, кряхтя и обдавая его струями горячего дыхания. Но Чик рукой, что была в кармане, прижал ее руку и не давал ей продвигаться дальше.

Игра эта показалась Чикю забавной. Ему показалось, что, если б не острый локоть ее, давивший ему в живот, возня эта была бы даже приятной. Чик вывернул свой живот из-под ее локтя и прислушался, приятно ему или нет. Ты смотри, подумал он, в самом деле очень приятно. Удивительно, что раньше ничего такого он не испы-

тывал. Правда, один раз в детском саду было что-то такое. Но это было так давно, что он забыл про это.

Стараясь держаться так, чтобы это новое ощущение не ослабевало, он в то же время не забывал и о своих пистончиках в кармане. Он продолжал их сжимать в кулаке и в то же время изо всех сил придавливая ладонь Ники, проползающую в карман.

Ника не на шутку разгорячилась. Чем больше она горячилась, тем приятней становилось Чикю. Чик почувствовал, что надо поощрять ее усилия, чтобы сохранить уровень достигнутой приятности. Он сделал вид, что постепенно сдаётся, и она еще азартней взялась за него. Постепенно быстро шевелящиеся пальцы Ники добрались до его кулака, и, так как ему было приятно поощрять ее, он дал ей чуть-чуть просунуть палец между своими плотно сжатыми пальцами. Он был уверен, что сумеет ее остановить, когда надо. Но тут Чик ошибся. Царапая ему ладонь своим шарящим пальцем, она вдруг крикнула:

— Знаю! Знаю!

— Скажи, что? — спросил Чик и изо всех сил сжал в кулаке любопытствующий палец, чтобы он больше не шевелился.

— Знаю, — пропыхтела Ника, — это такие штучки для патронов... У папы тоже они есть... Вон там в письменном столе заперты.

Все еще тяжело дыша, она кивнула головой на письменный стол. Сначала Чикю показалось, что она догадалась, откуда он взял эти пистончики, но теперь понял, что она ничего не знает.

На него напал смех. Чик его никак не мог остановить, и она, вдруг обидевшись на него, резко выдернула руку из кармана и вскочила на ноги. Чик смутился и тоже встал. Он не понимал, почему она так обиделась на его смех, ведь она не знала, что он как раз оттуда и вынул эти пистоны. Он тогда не знал, что в таких случаях девочки терпеть не могут, чтобы кто-нибудь смеялся. Он вообще не подозревал, что она тоже что-то почувствовала.

— Ты не веришь, — сказала Ника и серьезно посмотрела на него, — что папа положил туда патроны, и патронташ, и эти штучки?

На Чика опять напал дурацкий хохот, и он никак не мог остановиться. Как же ему не верить, когда он сам их оттуда достал!

— Ах, ты опять?! — закричала она с такой злостью, что Чик сразу же перестал смеяться.

— Верю! Верю! — поспешно ответил Чик. — Честное слово!

— Конечно, — сказала Ника, заглядывая ему в глаза, — как только папа вернется из командировки, я тебе покажу их...

Она еще глубже заглянула Чикю в глаза, стараясь о чем-то догадаться и как бы умоляя Чика уверить ее, что догадываться не о чем. Чик это мгновенно почувствовал.

— Хорошо, — сказал Чик спокойно, — когда он придет, ты меня позовешь и покажешь.

Казалось, солнце упало на лицо Ники, так оно мгновенно просияло. Чик никогда в жизни не видел, чтобы у кого-нибудь так быстро вспыхивало от радости лицо.

— Да, — сказала она, — мы с папой не только покажем, папа тебе подарит их сколько хочешь. Мой папа самый, самый, самый добрый на свете!

— Знаю, — сказал Чик, — мне дядя рассказывал. Но ты уверена, что он мне подарит?

— Конечно! — закричала Ника и даже всплеснула руками в том смысле, что тут и говорить не о чем.

— А если бы он был сейчас здесь, — спросил Чик, — он был подарил их мне?

— Ну да, — сказала Ника, — он делает все, что я у него попрошу.

— Можно считать, что он мне уже подарил? — спросил Чик.

— Можно, — кивнула Ника и села на диван. Чик уселся рядом.

Все равно, подумал Чик, он бы мне подарил... И потом, он же вернется, когда поймут, что он вредителю никогда не помогал.

— А почему ты мне сразу не показал, Чик? — спросила она и как-то по-особому посмотрела на Чика. Чик насторожился. Ему показалось, что она догадалась, что он что-то почувствовал, и вызывала его на откровенность. Как бы не так, подумал Чик, ни за что на свете.

— Просто так, — сказал он, — это игра такая.

— А мы еще будем в нее играть? — спросила она.

— Да, — сказал Чик как можно проще, — почему бы и не поиграть.

— А мне нравится, — сказала Ника и так откровенно посмотрела на него, что никаких сомнений не остава-

лось, что и ей была приятна эта возня, но сейчас он никак не хотел говорить об этом.

— Да, — сказал Чик, — это смешная игра.

— Чик, хочешь, я тебе расскажу один секрет? — сказала она и, посмотрев на Чика, как-то хитро раскосила глаза, словно сразу же посмотрела в обе стороны, не подслушивает ли кто.

— Расскажи, — ответил он, чувствуя, как жгучее любопытство сжимает ему горло, и одновременно настораживаясь, чтобы она не выманила его на откровенность.

— Когда мы с папой были в санатории, — начала она, радуясь своему воспоминанию и стараясь заразить Чика этой радостью, но Чик не давал заразить себя этой радостью и держался как можно тверже, — так там был один мальчик, — продолжала она таинственным голосом и опять мгновенно выкосила глаза, словно пыталась застучать подсматривающих, хотя в комнате никого не было и не могло быть, — и у нас было свидание, и мы целовались два раза. Да, да, Чик, два раза, я помню.

Она выразительно посмотрела на Чика и, выставив два пальца, подтвердила, что поцелуев было именно два, а не один и не три.

У Чика дух захватило от этой откровенности. Вот богатые, подумал он, им ничего не стыдно! В то же время его как-то покоробил этот жест рукой, показался грубым. Так с сумасшедшим дядюшкой Чика обычно разговаривали, чтобы он лучше, понял, о чем идет речь.

— Я не глухой, можешь пальцами не показывать, — сказал Чик.

— А у тебя, Чик, было свидание? — спросила она почти шепотом и опять выкосилась в обе стороны, словно они собирались сделать что-то недозволенное, а она смотрела, не подглядывает ли кто. А-а, вдруг догадался Чик, она нарочно так делает, чтобы подтолкнуть меня!

— Все это глупости, — сказал он сурово, отвергая эту тему. Вообще-то у Чика никаких свиданий не было, но прямо сказать об этом ему не хотелось.

После этого случая они еще несколько раз играли в выдуманную Чиком игру, покамест он не достал из коробочки в письменном столе все пистоны. Он перевернул всю коробку в ящике, и те из них, которые лежали шляпкой вниз, он доставал, придавив палец к острым краям пистона, а те, которые нельзя было придавить к пальцу, он загонял поближе к краю ящика и доставал их, зажав между пальцами.

Когда они кончились, он решил прекратить эту игру. Он чувствовал, что, если она будет продолжаться, он увязнет в какой-то постыдной тайне. Возможно, это был инстинкт свободы. Чик этого не знал. Он только понимал, что с тайной ему будет жить хлопотно и громоздко, а он этого не хотел.

— Как ты думаешь, — спросил он у нее, когда кончились пистоны, — а целую коробку твой папа мне подарил бы?

— Конечно, — просияла Ника и царственно махнула рукой, — он даже целую коробку конфет может подарить.

Он не чувствовал больших угрызений совести за эту опустошенную коробку с пистонами и теперь окончательно успокоился.

Чик все еще сидел на лозе и гладил Белку, положив ее морду к себе на колени. Приковылял Лёсик и скромно сел рядом с Чиком, показывая, что он благодарен ему за этот поход. Чика беспокоило отсутствие Оника, которого он послал домой за чистым платком. Что с ним?

Сонька вымыла консервную банку под краном и, утирая рукавом брызги с веснушчатого лица, подошла к Чику.

— Хватит? — спросила она и дала Чику понюхать банку. Чик взял в руки банку и внюхался в нее. Все-таки слабый запах рыбных консервов можно было почувствовать. Но от этого, видно, нельзя было избавиться. Белочка тоже потянулась, чтобы понюхать, чем пахнет банка. Чик дал ей понюхать.

«Пахнет!» — фыркнула Белочка и чихнула.

— Ладно, — сказал Чик, — ничего.

— Можно мне скакалку взять? — спросила Ника, не останавливая своих прыжков. Чик от возмущения не мог найти, что ответить. Он молча уставился на нее с некоторой надеждой, что она смутится. Но она как ни в чем не бывало продолжала прыгать.

— Может, ты еще куклу возьмешь? — сказал Чик, сам чувствуя, что слова его недостаточно язвительны.

— Куклу... гы, гы! — Сонька до ушей растянула свою знаменитую улыбку. Лёсик тоже улыбнулся, засопел в поддержку остроумия Чика. Только сама Ника, продолжая скакать, пожала плечами, показывая, что ни-

чего смешного и тем более остроумного в его словах не находит.

Наконец появился Оник.

— Пахан кушать заставил, — сказал он с отвращением и, оглянувшись на окно своей квартиры, сунул Чикку чистый платок. Потом он еще раз оглянулся на окно и вытащил из кармана десять и пятнадцать копеек.

— На копилку, — сказал Оник и протянул деньги Чикку.

— О, молодец, — сказал Чик, сразу же прощая его за опоздание. Он побежал домой и вбросил в копилку деньги. Они собирали деньги на футбольный мяч. Домашние Чика знали об этом, но родители Оника не знали, Чик уговорил его не рассказывать им о копилке. Он чувствовал, что это затруднит приток монет из дома Богатого Портного.

— Мы на огороде будем долго! — ответил Чик на оклик матери и сбежал по лестнице.

Так как отец Оника, как всегда в такое время, торчал с шитьем на балконе, Чик решил выйти через огород на речку и, подымаясь вдоль русла, пробраться на соседнюю улицу.

Огород, или сад, его и так и так называли, представлял собой участок с баскетбольную площадку, на котором росли дикая хурма, инжир, груша, айва, персик, два куста роз и один полудохлый куст смородины, считавшейся здесь, на юге, экзотическим растением. Все деревья были обвиты лозой «изабеллы». Между деревьев на грядках росли лук, кусты помидоров, кинза, петрушка и редкие мощные стебли кукурузы.

Бабушка Чика считалась хозяйкой огорода, и Чик был единственным из ребят, кто беспрепятственно туда допускался. Правда, иногда, когда у бабушки было плохое настроение или она считала, что ребята там топчут грядки, она насылала на них сумасшедшего дядю, и он гнал оттуда всех без разбору. Чик из самолюбия в таких случаях пытался ему объяснить, что он все-таки Чик, а не какой-нибудь чужой. Но это не помогало.

— Иди, иди, иди, — односложно приказывал тот с каким-то бюрократическим, как чувствовал Чик, безразличием к личности каждого. В таких случаях он их всех приравнивал и делал вид, что не узнает Чика. Он как бы говорил своим видом: мне приказано вас гнать, вот

я вас и гоню, а кто ты там мне — племянник или не племянник, я не знаю и знать не хочу.

Это больше всего и раздражало Чика. Если бы он, прогоняя их, говорил Чику своим видом: да, я знаю, что ты Чик, а я твой сумасшедший дядюшка, но мне приказано всех гнать, и я гоню всех, — тогда было бы куда легче. Так нет же, он делал вид, что не узнает его. Вообще Чик заметил, что чем слабее умственно человек, тем меньше он чувствует оттенки. Оттенки — это лакомство умных, вот что заметил Чик. Пожалуй, Чик про себя не сказал бы, что он такой уж умный, но он мог дать голову на отрез, что различает множество оттенков, которых другие не видят.

Вообще, задумываясь о своей голове, он пришел к такому выводу, что некоторые вещи он соображает очень хорошо, а некоторые туговато, с большим трудом. Он считал, что его голова в разных частях работает по-разному. В одной части колесики кружатся весело, быстро, легко, в другой части медленно, со скрипом, как колеса арбы. Он только не знал, где какая часть расположена. Вернее, он предполагал, что там, где виски, работа головы ни к черту не годится, а вот затылочная часть работает хорошо. Может быть, он так думал, считая, что, как говорят, «силен задним умом». Когда он вспоминал давным-давно прошедшие дела, он видел с необыкновенной ясностью, как надо было тогда действовать, а когда они происходили, он этого не замечал. Еще он заметил, что сильные встряски, долгая беготня тоже плохо действовали на его голову. Так, если он перед школой долго играл в футбол, то на первом уроке очень плохо соображал, что к чему. Видно, внутри головы с перегородками было неважно и все колесики перепутывались, мешали друг другу работать.

Во всяком случае, Чик точно знал одно, что та часть головы, которая определяет, что справедливо и что несправедливо, у него работает очень здорово. Этого Чик не сказал бы про многих взрослых.

Вот, например, бабушка. Обычно, когда собирали грибы, она всем соседям посылала часть урожая. Это понятно, это хорошо. Но если она на кого-нибудь из них в это время была в обиде, она никому ничего не посылала. Но при чем тут другие, если ты на кого-то в обиде?

Чик тоже бывал на кого-нибудь из своих друзей в обиде, но ему никогда не приходило в голову, что от

этого должны страдать все. И когда он брал их с собой в сад, все, что они там срывали с деревьев, он старался делить поровну. Ну иногда, конечно, если уж попадетсЯ очень хороший инжир, он мог его отправить себе в рот до общего дележа. Все же он стыдился этих минутных слабостей и нередко, проглотив плод, испытывал горькое раскаяние. Эх, думал он в такие мгновения, если бы раскаяние пришло двумя-тремя секундами раньше, я бы не стал его глотать. Но ведь откуда ему взяться, раскаянию, если ты еще этот плод не проглотил?

Однажды, когда Чик был совсем маленький, а Богатый Портной не такой уж богатый, тому поручили собрать с дерева груши для всего двора. В тот год был хороший урожай, и все соседи задолго до начала сбора притихли, чтобы, не дай бог, не обидеть бабушку. Бабушка пыталась к некоторым соседкам придраться, но они смехом и шутками отвечали на ее придирки.

И вот Богатый Портной с корзиной на дереве собирает груши, а ребята со всего двора стоят под деревом и кричат ему, где какая груша еще осталась. Одну грушу, самую крупную и желтую, он никак не мог заметить, хотя она висела на ветке совсем рядом. Ребята все время кричали ему, снизу показывая на нее, а он никак не мог заметить, все время разгребая листья на других ветках.

Наконец он ее заметил. Осторожно дотянувшись, он нежно и плотно обнял ее всей пятерней.

— О-о-о, — похвалил грушу Богатый Портной, — эта пойдет в карман...

И в самом деле, сняв ее с ветки, он осторожно, как яйцо, положил ее в карман. Теперь Чик заметил, что карманы его подозрительно оттопырены. Чика тогда больше всего поразила откровенность Богатого Портного. Он как бы считал, что это и так всем ясно, что такую грушу нельзя в общую корзину положить. Но почему?

Чик тогда почувствовал, что у него испортилось праздничное настроение. В общем, тогда что-то испортилось. Он сам не мог понять, почему одна груша, правда самая хорошая, может все испортить. Но он чувствовал это. Потом он вспомнил, что, как только Богатый Портной потянулся к этой груше и обхватил ее ладонью, он, Чик, ощутил какую-то тревогу за нее. Он как-то по-особому потянулся за нею и сорвал ее. Он так

ее взял, словно на ней было написано — только для Богатого Портного. Но почему? Было неясно и неприятно.

Чик шлепнул рукой по карману, чтобы убедиться, все ли на месте. Щелкнул спичечный коробок, стукнул по пальцам черенок перочинного ножичка — все в порядке!

Ника забросила скакалку к себе на веранду, и ребята прошли в сад.

Проходя под грушей, Чик оглядел ее, но еще на ветках не было ни одного спелого плода. Инжир уже по-немногу поспевал, но Чик с утра снял с дерева два спелых, а больше за день не могло поспеть.

Вдруг Сонька подняла с земли упавший инжир.

— Чик! — крикнул Оник. — Она с земли подняла инжир!

— Я только посмотреть хотела, — сказала Сонька и поспешно бросила инжир на землю. Считалось, что подымать с земли палый инжир — признак нищества. Груши, яблоки и другие достаточно плотные фрукты можно, а инжир нельзя. Чик с упреком посмотрел на Соньку.

— Знаем, знаем, как посмотреть, — сказал Оник и насмешливо закивал головой.

Сонька наступила на инжир и растерла сандалией его сладкое повидло, чтобы показать, до чего ей противно было бы съесть этот инжир. По тому, как она смачно его раздавила и растерла, Чик догадался, до чего ей хотелось съесть этот инжир.

Ребята вылезли сквозь дырявый забор и спустились к руслу речушки. Летом она обычно усыхала и плелась, едва высунув язык. Белочка, конечно, попыталась за ними увязаться.

— Белочка, домой, — сказал Чик строго, но доброжелательно. Белочка оглянулась, словно Чик разговаривал не с ней, с какой-то другой собачкой. Чик давно знал все ее хитрости. — Кому говорят, домой! — Чик прибавил в голосе строгости, но оставил и нотку доброжелательности.

«Ах, ты мне говоришь? Но мне так не хочется, Чик!» — сказала Белка взглядом и, склонив голову, застыла в позе сиротской покорности. Это было нелегко перенести, но Чик стойко держался. Он понимал, до чего

ей скучно оставаться во дворе, когда все порядочные люди куда-то уходят, но брать ее с собой было нельзя.

Дело в том, что в последнее время в городе появился собаколов, который ездил по улицам со своей страшной клеткой и ловил зазевавшихся собак. О судьбе собак, попавших в его клетку, ходили самые мрачные слухи. Говорили, что он их убивает, из мяса делает мыло, а шкуры перекрашивает, чтобы хозяева не узнали, и продает. Недаром Чик ненавидел мыло, хотя его уверяли, что в магазинах то мыло не продают. Продают не продают, все равно противно, думал Чик.

Про одну женщину даже рассказывали, что она купила на базаре мех драгоценного животного, а потом, через некоторое время, когда краска облезла, оказалось, что это шкура ее собственной собаки, которая когда-то пропала у нее. Бедная женщина отмыла шкуру своей собаки и, рыдая, с почестями похоронила у себя в саду. Чик подозревал, что собаколов этот подослан вредителями, чтобы люди, постоянно думая о судьбе оставленных дома собак, нервничали на работе и допускали грубые ошибки.

Однажды собаколов проезжал по улице, на которой жил Чик. Он в это время стоял у калитки с Белочкой. Все собаки ненавидели собаколова и с бешеным лаем провожали его по улице, хотя выскочить ни одна не решалась.

И только Белочка, хотя она была довольно маленькой собачкой, залаяла на него и бесстрашно, правда, иногда оглядываясь на Чика, бросилась на колымагу. Понурая лошадь собаколова даже не обратила на нее внимания. Видно, она привыкла к такому обращению. Может быть, даже она стыдилась, что вынуждена обслуживать своего подлого хозяина. У Чика было к ней какое-то двойственное отношение: с одной стороны, ему было жалко ее, вон какая — ребра торчат. А с другой стороны, он все-таки осуждал ее: раз у тебя такой подлый хозяин — сбеги от него!

Если в тот раз понурая лошадь собаколова не обратила на Белочку внимания, зато сам собаколов обратил. Он с какой-то нехорошей странностью посмотрел на Белочку, хотя ясно видел, что она не беспризорная, что она только что выскочила со двора из-под ног Чика.

Чик тогда погрозил ему кулаком. А этот негодяй, даже вспоминать неприятно, в ответ на угрозу Чика посмотрел на него с такой же сонной деловитостью, как и

на Белочку. Чик, конечно, понимал, что собаколов людей не трогает, но мало ли что он может сделать, раз его подкупили вредители.

С того самого дня Чик стал бояться за Белку и старался отучить ее выходить на улицу. С тех пор он еще несколько раз видел проезжающую колымагу собаколова, и каждый раз у него надолго портилось настроение. Раньше он иногда брал с собой Белку, когда ходил на море или в горы, как сейчас, но с тех пор старался отучить ее от улицы. Поэтому и теперь, несмотря на сиротское выражение, с каким Белка смотрела на него, он сурово отвернулся и пошел дальше.

В этом месте речушка была зажата стенами трехэтажных домов. Из верхних окон этих домов каждую секунду могли вылить помой, и потому приходилось идти, внимательно следя за окнами. Через несколько минут Чик оглянулся, и что же оказалось? Оказалось, что Белочка плетется за ним.

— Ах так! — угрожающе сказал Чик и гневно посмотрел на Белку. Она продолжала стоять. А между тем в любую секунду из любого окна могла вылететь струя помоев. Особенно опасна была струя из верхних окон, потому что они выливали ее как бы с поверхности земного шара в безвоздушное пространство. Правда, с другой стороны, тут было и свое преимущество. Хотя жители верхнего этажа даже и не смотрели вниз, когда шлепали свои помой, все же благодаря самой высоте, если вовремя заметить летящие помой, можно было от них увернуться. Зато уж если жители нижних этажей, не заметив тебя, шваркнут помоями — никак не увернешься.

«Какие же окна опасней?» — задумался Чик и снова обратил внимание на Белочку. Она смотрела на Чика, терпеливо ожидая его решения. Тут Чик разозлился на себя и на Белку. На себя за то, что он имел дурацкую привычку задумываться над ненужными вещами, а на Белку за то, что она вообще еще тут торчала и, главное думала, что он задумался над ее судьбой — брать ее или не брать, хотя он думал об этих проклятых помоях.

Чик сделал вид, что наклонился за камушком, и, разогнувшись, махнул рукой, словно кинул его.

«Не верю!» — сказала Белка, мотнув головой.

— Ах, не веришь! — вслух ей ответил Чик и, нагнувшись, в самом деле поднял камушек. Правда, выбрал поменьше и бросил его в Белку. Камушек щелкнул несколько раз, подпрыгивая возле Белки. Она припод-

няла голову, а уши у нее вздрагивали при каждом щелчке.

«Ну, если дело дошло до камней...» — Чик прямо-таки услышал эти слова, когда она, повернувшись и уныло поджав хвост, затрусилась назад. Сердце у Чика сжалось, но ничего нельзя было сделать, так было надо.

— Чик, скорей, а то нас помоями обольют, — напомнила Сонька. Чик ничего не ответил, и они пошли дальше.

Они прошли мост, перекрывавший улицу, и остановились. После моста было небольшое пространство, где их легко можно было заметить с улицы, особенно с балкона, на котором вечно торчал Богатый Портной со своим утюгом.

Чик осторожно выглянул из-под моста на улицу. Богатый Портной был на балконе. Он, как обычно, фырчал водой изо рта и потом несколько раз проводил утюгом по столику, на котором лежала его очередная работа. Чик хорошо знал последовательность его действий. Они обычно никогда не менялись.

«Фырк! Фырк!» — водой изо рта на тряпку, потом внимательно взглянет на улицу, снова берется за утюг.

Надо было перебежать, пока он фырчит, или через несколько мгновений, когда он начинает гладить. Чик легко, без особой опаски, перебежал открытое пространство. Богатый Портной его не заметил. Оник из-под моста следил за Чиком с испуганными глазами. Он очень боялся, что отец его увидит и вернет домой. Он до того боялся, что сам уже не доверял своему слуху.

— Фырчит или не фырчит? — шепотом спрашивал он у Чика.

— Сейчас зафырчит, — ответил Чик, прислушиваясь к балкону. «Фырк! Фырк!» — раздалось с балкона. Чик переждал несколько мгновений и дал знак Онику. Оник в несколько прыжков одолел опасное расстояние. Ника не стала дожидаться его знаков, а сама спокойно перешла на эту сторону, показывая, что она никого не боится.

Вообще-то Чик преувеличивал опасность, но эта вечная независимость Ники сейчас ему не понравилась. Зато Сонька, дождавшись команды Чика, быстро перебежала на его сторону, показывая, что она в отличие от некоторых угадывает желания Чика и точно их исполняет. Если Чик у нравится считать, что перебежать от моста

в безопасное пространство очень, очень опасно, то она так и будет перебегать, как будто это очень, очень опасно.

Чик у было бы приятней, если б она в самом деле чувствовала эту опасность, а не преувеличивала для Чика. Но все же это было лучше, чем самостоятельность Ники.

Бедный Лёсик и в самом деле сильно разволновался и от предстоящей опасности, и от сознания своей неловкости. На полпути между мостом и изгибом реки, где они укрывались, он шлепнулся в воду и забарахтался, неуклюже шевеля ногами и руками, как перевернутый жук.

Чик, пригнувшись, подбежал к нему. Только он попытался поднять его на ноги, как вдруг откуда ни возьмись у края обрывистого берега появилась Белка. Она радостно взвизгнула и залаяла, решив, что Чик и Лёсик нарочно барахтаются в воде. Чик бросил на нее свирепый взгляд, но Белочка решила, что все это игра, и еще радостней залаяла.

Тут Чик почувствовал, что и в самом деле над ними нависла угроза. Сейчас Богатый Портной подымет голову, увидит их и догадается, что Оник с ними.

Он пригнулся, ухватился за рубашку Лёсика изо всех сил и поволок его по воде до самого поворота. Увидев такое, Белка залилась восторгом и даже попыталась спуститься вниз. Но тут Чик выглянул и, взяв в руку огромный булыжник и сделав самое свирепое выражение из всех возможных выражений лица, погрозил ей.

— Что ты там увидела, Белка? — хохотнув, поднял голову Богатый Портной.

Чик едва успел скрыться.

— Утя! Утя! Утя! Утя! — раздался голос женщины из соседнего двора. Она думала, что Белка лает на ее уток, и давала им знать, что она не даст их в обиду.

Ребята побежали вперед, а Чик, поддерживая одной рукой Лёсика, тянулся за ними. Здесь речка делала еще один изгиб, и с улицы их нельзя было заметить. Отсюда был виден только кусок обрывистого склона, на котором стояла Белка и тоскливо смотрела им вслед.

Тут на всех напал смех, а Лёсик, весь мокрый, только сопел и смущенно оглядывал себя.

— Ничего, — сказал Чик и бодро шлепнул рукой по мокрым штанам Лёсика, — пока придем, высохнет.

Ребята пошли дальше. Теперь с обеих сторон над обрывистыми склонами шли сады и огороды. Тропинка была довольно хорошая, так что Лёсик без особого труда поспевал за всеми.

Перед самым выходом из речки, где начиналась следующая улица, внезапно впереди показалась собака. Она сидела чуть повыше тропы и грызла большую кость с круглой шишкой на конце. Собака была большая и бездомная. Это было видно и по желтой свалывшейся шерсти, и по тому, как она спокойно расположилась здесь, на диком берегу речки.

Чик знал, что домашние собаки в таких местах не располагаются. Домашняя собака если и найдет где-нибудь вкусную кость, то она ее притащит к себе, а не будет ее грызть где попало.

Это была опасная встреча. Мало ли что ей взбредет в голову. Они остановились и молча уставились на собаку. Собака тоже перестала грызть свою кость и, приподняв голову, а главное, не выпуская добычу изо рта, тоже молча уставилась на ребят.

Чик мельком подумал, что она сейчас похожа на старого капитана с трубкой. Чик про него читал какую-то книжку, но сейчас не мог вспомнить, что это была за книжка. Там был такой старый капитан с трубкой. Он на вид был свирепый, но на самом деле был очень добрый. Все свирепые капитаны с трубкой, про которых читал Чик, в конце концов оказывались очень добрыми. Конечно, могло оказаться, что и эта собака окажется доброй, но кто ее знает. Ведь сама-то она и не подозревает, что похожа на свирепого капитана с трубкой, который просто так, чтобы было интересней, напустил на себя свирепость.

Они молча бесконечные мгновения смотрели друг на друга, и от этого ребятам делалось все страшней и страшней.

— Чик, — сказала Сонька тихо, — по-моему, я ее где-то встречала...

— По-моему, она бешеная, — сказал Оник.

Чик сам об этом подумал, но решил, что сейчас правильной будет отрицать это, чтобы его маленькую команду не охватила паника.

— У бешеной должна быть красная слюна, — сказал Чик.

— Бешеные бегут к воде, — сказал Оник, — а она видишь куда пришла?

— Глупости, — сказал Чик и, помертвев от страха, двинулся вперед. Если бы Чик был один и встретился бы в таком месте с такой собакой, которая только смотрит, и молчит, и даже кости изо рта не вынимает, он про-

сто повернулся бы и ушел. Или даже сначала попытался бы как следует, а потом повернулся бы и ушел. Но сейчас, на глазах у всех, он этого сделать не мог.

— Чик, я боюсь за тебя, — услышал он сзади шепот Соньки. Он медленно, не шевелясь, проходил опасное место. Он не смотрел в сторону собаки, но краем глаза следил за ней. Ему казалось, что с каждым шагом морда ее делается все огромней и огромней, он видел ее большие зубы сквозь небрежный прикус и красную полосу пасти.

Она похожа на старого капитана с трубкой, упрямо думал Чик. Она и есть старый капитан с трубкой, а старый капитан никогда никого не кусает. Старый капитан добрый, он курит трубку мира, и он и подумать не хочет, чтобы кого-нибудь укусить.

Чик прошел для полной безопасности еще шагов десять и остановился. Перевел дух. Теперь все ребята на той стороне завидовали ему. Чик дал знак Онику идти. Оник продолжал стоять.

— Чик, она все еще смотрит, — сказала Сонька.

— Пусть смотрит, — сказал Чик. — Ну, давай, Оник, — сказал Чик, — шевелись!

Оник тоскливо смотрел на Чика и даже не пытался сойти с места. И вдруг неожиданно для всех, содрогаясь смущенной улыбкой, Лёсик заковылял по тропе.

— Только не упади, только не упади, — забормотала Сонька.

Лёсик мужественно проковылял мимо собаки и подошел к Чику.

— Молодец, Лёсик, — сказал Чик и обнял его. Лёсик благодарно засопел.

Сразу же за Лёсиком пошла Ника. Она шла, по своей горделивой привычке узко переставляя ноги и всем своим видом показывая, что ее-то собака никогда не посмеет тронуть. Вот богатые, подумал Чик, вечно им кажется, что все должны знать об их богатстве.

Сонька не захотела одна оставаться и взяла Оника за руку. Так, взявшись за руки как маленькие, они вдвоем перешли опасное место.

И тут собака, повернув голову и все еще не выпуская кости изо рта, удивленно посмотрела на них. Казалось, она хотела сказать:

«Чего это вы тут делали, никак не пойму! Чего-то переговаривались, чего-то переходили по одному? Ничего не понимаю!»

Повеселев от удачного перехода этого опасного места, ребята пошли дальше.

— Я сейчас вспомнила, — сказала Сонька, — я эту собаку на базаре видела.

— Может, она здесь прячется от собачника, — сказал Оник.

— Все может быть, — вздохнул Чик. Напоминание о собачнике всегда портило ему настроение. Видно, от этого собачника никуда не денешься. — Возьми у Соньки банку, — сказал Чик, обращаясь к Онику. Нечего было Онику напоминать ему о собачнике, сам виноват.

— За что? — сказал Оник с обидой.

Чик выразительно посмотрел на него, напоминая, что он струсил. Оник понял его намек, но не принял его за уважительную причину. Чика всегда поражало в Онике равнодушие к вопросам личной доблести. Чик, как и все ребята, изо всех сил старался выглядеть храбрее, чем он был на самом деле. Для этого ему нередко приходилось понукать свою упирающуюся храбрость. А Онику и в голову не приходило, что ее надо понукать, пусть себе плетется как-нибудь или даже стоит на месте, если ей так хочется. Вот и теперь он смотрит с обидой на Чика и никак не хочет понять, что хоть как-нибудь должен заплатить за свое поведение.

— Я платок дал, — напомнил Оник и сам выразительно заглянул Чика в глаза, как бы добавив, что он и деньги сегодня внес в копилку.

— Ничего, Чик, я понесу, — вмешалась Сонька. Она любила, чтобы все было хорошо.

— Ладно, — сказал Чик примирительно.

— Когда мы с папой жили в санатории, — сказала Ника задумчиво, — то там была немецкая овчарка, она из киоска носила в зубах газету.

— Может, скажешь еще, читала, — сострил Оник, повеселев оттого, что ему не пришлось нести эту консервную банку.

— Можешь не верить, — сказала Ника и дернула плечом.

Ребята выбрались на улицу. На гору, где росли мастичные сосны, можно было идти прямой дорогой или в обход. Прямой дорогой можно было прийти быстрее, но там надо было пройти через поселок, где обычно околачивались «рыжие волчата», как их называли.

Они жили над поселком в одной из двух сталактитовых пещер, которые были на этой горе. В этой пещере

они жили вместе с родителями и осликом, на котором ездил по городу и гадал их рыжебородый отец.

Рыжие считали, что это их гора, и они сторожили ее. Городские ребята, поднимавшиеся на эту гору, предпочитали с ними не встречаться. Чик нередко с ними встречался, но тоже предпочитал обойтись как-нибудь без них.

Бывало, сидишь на сосне, напав на хорошее месторождение смолы, соскребаешь ее ножом или гвоздем, вдыхаешь скипидарный запах хвои и смолы и чувствуешь себя счастливым золотоискателем, напавшим на хорошую жилу.

И вдруг настроение начинает портиться. Ты еще не понимаешь, в чем дело, но чувствуешь: что-то тебя беспокоит. Ты озираешься и внезапно замечаешь, что из-под хвои соседнего дерева за тобой следит рыжий волчонок, и, видно, давно следит. Встретившись с тобой глазами, он молча грозит тебе кулаком или, что еще хуже, не обращая на тебя внимания, продолжает за тобой наблюдать, как будто ты животное или неодушевленный предмет.

Иной раз в таких случаях и удавалось избежать встречи, если рыжий сам напал на хорошее месторождение смолы и ему неохота слезать с дерева. Но если ты почувствовал что-то неприятное и обнаружил, что рыжий сидит под твоим деревом и ожидает тебя, то тут уж, сколько ни сиди на дереве, он все равно дождетя тебя.

А если ты слишком засиделся, он просто забирает твою обувь и уходит, раз уж ты, скинув ее под деревом, не догадался припрятать. И ты сам стремглав спускаешься с дерева и догоняешь его.

Тут рыжий заставляет тебя покупать у него мастику, хотя ты поднялся на гору не для того, чтобы ее покупать. А если у тебя нет денег, он отбирает из твоих вещей что ему понравится — перочинный ножик, царский пятак для игры в деньги, кусок свинца для грузила или еще что-нибудь.

А если у тебя нечего отобрать, рыжий может закинуть твои башмаки в самые непроходимые заросли.

— Бобик, ищи! — говорит он при этом.

И ты ищешь, потому что это его гора и он тут делает все, что захочет. На самые лучшие, самые плодоносные сосны рыжая команда давно наложила запрет, и никто не смел к ним подойти.

Самый старший из рыжей команды, подросток лет

четырнадцать, иногда со своими братьями окружал городских ребят, забравшихся на гору, выбирал из них кого-нибудь поновей и заставлял драться с одним из своих братьев.

Надо сказать честно, что он при этом выталкивал для драки примерно равного на вид волчонка. Но какое уж тут равенство! Чужая гора, чужая молчаливая стая, готовая вот-вот наброситься!

Так что поражение пришельца было неизбежно. Чик это знал. Бывало, если старшему победа казалась слишком быстрой и неинтересной, он кивал на кого-нибудь из рыжиков помладше и говорил:

— А ну, с этим попробуй!

Самый младший рыжик, такой парнишка лет семи, и то, оглядывая городских ребят своими кошачьими глазами, говорил:

— С кем-нибудь подлаться охота...

Конечно, им тоже доставалось, когда они шли в школу или из школы, но тут они были полновластными хозяевами.

Этой весной у Чика было столкновение с одним из рыжиков, но сейчас он не хотел об этом вспоминать, до того это было неприятное воспоминание.

Одним словом, Чик решил идти в обход. Там тоже было одно довольно сложное препятствие, а именно встреча со щенком волкодава, как его называл Чик. Но делать было нечего, лучше было встретиться со щенком волкодава, чем с этими рыжими волчатами.

Ребята перешли улицу, прошли мимо детдома под прохладной тенью кипарисов, потом завернули на крутую пригородную улицу и вышли на полянку, в конце которой проходила длинная каменная стена. Стена эта подымалась почти до самого гребня горы, где росли сосны, богатые мастикой. По этой стене им предстояло подыматься.

На полянке ребята с соседней улицы играли в футбол. Чик сразу заметил среди них Бочо, и в груди у него неприятно екнуло.

Дело в том, что Чикуну предстояло с ним подраться. Это было неизбежно. Но Чик предпочел бы подраться где-нибудь в другом месте. Если не удастся на своей улице, то все же лучше было бы возле школы или на углу между их улицами. Но драться здесь, где у Бочо были кругом свои ребята, Чик считал невыгодным и не-

справедливым. Поэтому он предпочел бы сейчас как можно незаметней пройти мимо игроков. Но разве дадут!

— Чик, вон Бочо, — сказал Оник простодушно.

— Не твое дело, — прошипел Чик, разозлившись на него за это простодушие. Оник знал, что Чикун предстоит подраться с Бочо, но не понимал, что сейчас Чикун это невыгодно.

Они уже почти прошли полянку, когда его окликнул Шурик, нервный сын школьной уборщицы.

— Чик, — крикнул он, — вон Бочо, будешь драться?

Чик сделал вид, что не расслышал. Но проклятый Шурик не унимался.

— Бочо, — крикнул он своему голкиперу, — вон Чик, будешь драться?

— Мне что, — ответил Бочо своим сильным голосом и, понимая невероятную выгоду своего положения, не удержался от улыбки, — я всегда готов.

Дальше отмалчиваться было невозможно, и Чик остановился. Вся его команда остановилась.

— Мы сейчас идем за мастикой, — сказал Чик внятно и небрежно, — на обратном пути — пожалуйста...

— Подерись, а потом идите, — мирно посоветовал Шурик.

Этот ехидина знал, что сейчас Чикун невыгодно драться. Ему очень хотелось посмотреть, как Бочо поколотит Чика. Чик знал, что, если Бочо победит, Шурик захочет подраться с Чиком, чтобы перерешить давно решенный вопрос, кто из них сильнее. Поэтому он так стремился к этому вдохновляющему зрелищу.

Игра остановилась, и все ждали, что будет.

— Какой хитрый, — сказал Шурик, — на обратном пути вы пойдете другой дорогой.

— Нет, — твердо ответил Чик, — раз я сказал, значит, так и будет.

— Или драка, или игра, — сказал хозяин мяча и угрожающе поднял мяч с земли. Он ревновал, что всеобщее внимание от его мяча переключилось на какую-то не слишком вероятную драку.

— Играть, играть! — закричали ребята и стали расходиться по своим местам.

Чик нашел возможным теперь двинуться дальше, не унижая своего человеческого достоинства.

— А что это за москвичка! — крикнул Шурик и под смех ребят изобразил походку Ники.

— Она не москвичка, она на другой улице жила, —

сказал Лёсик, не понимая, что Шурик ищет повода для придирок.

— Притворяется москвичкой, — крикнул Шурик, хотя никто, кроме него, и не говорил, что она москвичка, — красавица южная, никому не нужная...

Чик молча проглотил эти оскорбления, в сущности, направленные против него. Вообще-то появляться среди ребят в обществе двух девчонок, причем одна из них фансонистая, и двух мальчиков, причем один из них еле держится на ногах, а другой хоть и ловкий, но не слишком приспособлен защищать свою честь, было и всегда не очень-то прилично. Но в другие времена эти ребята — вернее, Шурик, а еще вернее, Шурик с их молчаливого согласия — не могли позволить себе такое.

Чик понимал, что авторитет его катастрофически падает. Он решил не откладывать сегодняшнюю драку, чтобы остановить этот обвал престижа.

Чик вспомнил, хотя это было неприятно, с чего все началось. В тот день недалеко от школы, в детском парке, он с одним мальчиком играл в деньги. Они играли в «накидку», так в те времена называли эту игру. Смысл ее состоял в том, что с определенного места игроки бросали свои пятаки на столбик монет, стоящий на каком-нибудь плоском камне. Чей пятак упал ближе, тот первым разбивает этот столбик.

Вокруг Чика и этого мальчика, когда они подходили расшибать монеты, образовалось кольцо из любопытствующих ребят. Среди них были Шурик и один из рыжиков.

В разгаре игры Чик обычно сильно волновался. На этот раз он особенно сильно волновался, может быть, потому, что денег на кону было больше, чем обычно. Два раза, когда на кону стоял сочный столбик серебристых монет, Чик выигрывал право первому расшибать этот сладостный столбик. Оба раза от волнения он промахнулся. Оба раза пятак его в миллиметре от столбика стукнул ребром по земле. И оба раза после того, как он промахивался, в напряженной тишине раздавался тихий смех какого-то мальчика.

Чик чувствовал, как неприятно покалывает его этот смех, но из самолюбия и поглощенности неудачей он не обращал внимания на то, кто именно смеялся.

И вот когда третий раз он получил право первым расшибать столбик монет и, страшно волнуясь и думая все время о том, что ему, после того как промахнулся

два раза, теперь промахиваться в третий раз никак нельзя, он прицелился дрожащей рукой, как бы предчувствуя, что обязательно промахнется, ударил изо всех сил и в самом деле промахнулся. Даже еще хуже. Пятак, ударившись рядом, задел столбик монет, и он мягко, гармошкой повалился набок, так и не перевернувшись ни одной монетой.

И тут в третий раз раздался тихий презрительный смех. У Чика в глазах что-то поплыло. Почему-то всегда это называют кругами, но Чик не уверен, что это были именно круги. Скорее это были какие-то остроугольные фигуры.

Теперь Чик разглядел смеющегося. Это был рыжик. Он сидел на корточках совсем близко. Чик, не разгибаясь, со всей силой дал ему по стриженной голове бреющий удар. По боли, ошпарившей ладонь, Чик почувствовал, что он его очень крепко ударил.

Рыжий схватился за голову и стал медленно подыматься, не сводя с Чика ненавидящих глаз. Чик почувствовал тревогу и на всякий случай тоже встал на ноги.

Чик не собирался с ним драться. Чик был чуть ли не на голову выше, старше его и сильнее. Это было ясно всем, в том числе и рыжему. Все еще держась за голову, он смотрел на Чика горящими глазами волчонка. Потом он слегка покосился в сторону своей горы, но она была далековато, и помощи ждать оттуда было бессмысленно. Здесь он был один.

И все-таки он ринулся на Чика. Несколько смущенный, Чик отбросил его, и по легкости, с которой рыжий отлетел, он еще раз почувствовал, насколько сам он сильнее его.

Но не тут-то было. Рыжий с еще большей яростью набросился на него, и Чик ничего не оставалось, как вступить в драку.

Чик дрался, все время чувствуя какую-то неловкость, потому что это была очень неравная драка. Он каждый раз, когда они сцеплялись, пытался отбросить его, но тот со свирепостью, свойственной всей рыжей команде, лез, и лез, и лез на него. В общем, получилась какая-то кошмарная драка. Все время чувствуя неравенство сил, Чик сдерживал себя и от этого действовал как-то нерешительно, неуклюже. Он все время думал о зрителях и старался им показать, что он дерется не в полную силу.

Но рыжий этого не замечал. Он только чувствовал, что раз противник не побеждает, значит, должен побе-

дить он. Покряхтывая и урча от кровожадного упоения, он вновь и вновь бросался на Чика, не сводя с него желтых ненавидящих глаз. Чику даже как-то стало не по себе. Он даже почувствовал некоторые панические признаки еще отдаленной усталости. Он как-то слишком упустил его вперед, как-то слишком развил в нем волчий аппетит к драке, покамест сам ковырялся в обороне.

В это время один из ребят постарше, игравших в парке на детском бильярде, подбежал к ним и, схватив рыжего в охапку, приподнял над землей. Рыжий стал яростно барахтаться у него в руках, стараясь вырваться, а парень этот, посмеиваясь, продолжал держать его в воздухе, а Чик стоял рядом и не знал, что ему делать.

— Иди-ка ты отсюда, — сказал он Чику, чувствуя, что даже ему не так-то просто удержать рыжего волчонка.

Чик, понурясь, пошел. Не успел он пройти и десяти шагов, как услышал за спиной какие-то крики. Чик быстро обернулся, решив, что рыжий вырвался и мчится за ним.

Рыжий и в самом деле вырвался, но бежал совсем в другую сторону, а за ним мчался паренек, который держал его. Оказывается, рыжий укусил его и убежал.

Тем и закончилась драка. Но почему-то с этого дня началось падение его авторитета. На следующий день в школе разнеслась весть, что один из рыжиков, да не старший и не следующий, а тот, что поменьше Чика, излупцевал его в парке да еще укусил взрослого парня, который якобы пытался Чику помочь.

Старший рыжик на одной из перемен, поглаживая своего братца по голове, кивнул на проходящего Чика и стал что-то рассказывать ребятам, окружавшим его. Чик мог представить, что он там рассказывал, тем более что маленький рыжик в это время нагло и весело посматривал в сторону Чика и все время кивал головой: дескать, все так и было, как мой брат рассказывает.

Чик мрачно, с деланной независимостью ходил по школьному двору. Он считал унижительным доказывать, что этот маленький наглец не мог его победить. Также он считал постыдным требовать свидетельских показаний от очевидцев драки.

Главное, всем так хотелось, чтобы победил маленький рыжик, что тут ничего нельзя было доказать. По глазам маленького рыжика было видно, что он и сам поверил в свою победу. В ближайшие дни он уже без старшего

брата показывал на Чика и, по-видимому, рассказывал о своей победе.

Некоторые ребята из других классов приходили посмотреть на Чика, побежденного маленьким рыжиком. Один даже принял за Чика самого большого мальчика из их класса, до того ему хотелось порадоваться разнице между Чиком и маленьким рыжиком.

Чик чувствовал, что людей, охваченных жаждой сотворения мифа, невозможно остановить. Он это точно чувствовал, хотя и не знал, что это так называется. Зато он знал, что очутился в глупейшем положении. Пошатнулось стройное здание годами отработанных оценок. Начался сложный и утомительный процесс переоценки ценностей. Шурик стал дерзить, а Бочо при встрече с ним как-то двусмысленно улыбаться.

Шурик и раньше несколько раз бунтовал, но Чик сравнительно легко ставил его на место. Шурик вместе с матерью жил в одной из школьных полуподвальных комнат. У них над головой весь день звенел школьный звонок. Чик считал, что Шурик от этого нервный и даже слегка психованный.

Чик относил Шурика к числу тех ребят, которые знают, что взрослые могут говорить одно, а думать совсем другое. Как это ни странно, Чик чувствовал, что эта общая черта их не сближает, а, наоборот, отдаляет друг от друга. Чик чувствовал, что именно из-за этого они недолголюбивают друг друга.

Хотя Шурик не был сильным мальчиком, связываться с ним никто не любил. Во-первых, он поторговывал чистыми тетрадами, даже глянцевые тетради, в то время великая редкость, у него бывали. В трудную минуту к нему можно было обратиться. Разумеется, продавал он их гораздо дороже, чем они стоили.

А во-вторых, и это главное, из-за его нервности. Распсиховавшись, он в драке мог огреть противника чем попало. Но это-то как раз Чика и не страшило. По домашнему опыту обращения с дядей Колей Чик знал, как с такими людьми надо себя вести.

«Ах, ты психованный? Так я еще психованней!» — вот как надо было с такими людьми себя вести. По этому правилу взрослые мужчины в доме Чика не раз смиряли дядю Колю, когда он, чаще всего в жару, начинал бузить. Шурик прекрасно знал, что Чик не даст ему спуска из-за его психованности, и поэтому сдерживал свою психованность.

Но авторитет Чика начал падать, и было похоже, что Шурик собирается снова помериться силами с Чиком. Ясно было, что при этом он не будет сдерживать свою психованность, а прямо спустит ее с цепи.

В мае этого года, когда ребята большой компанией купались в море, случилось страшное — у Чика пропали трусы. Так как девчонок поблизости не было, а в мокрых, хотя и выжатых трусах ходить еще было холодно, все купались голые. И вот, когда Чик вышел из воды, обнаружилось, что у него исчезли трусы.

Чик сначала решил, что кто-то подшутил и вскоре трусы возвратят. Но никто трусы не возвращал, и Чик стал волноваться. Сначала он перекопал весь берег, думая, что их зарыли в прибрежную гальку, но трусов нигде не оказалось.

Чик не на шутку разволновался. Он подозревал, что это дело рук Шурика, но ничего доказать не мог. Шурик сидел тут же и, холодно сочувствуя, делал различные предположения. Трусы могли украсть какие-нибудь хулиганы. Чик страшно растерялся и, что скрывать, разревелся. Путь к дому был отрезан. Сейчас все разойдутся, а он голый останется на берегу.

К счастью, Оник оказался преданным и сообразительным другом.

— Ты посиди тут, — сказал он, — а я сбегаю домой и возьму у твоей мамы трусы.

— Нет, — сказал Чик, чувствуя, что сама мысль плодотворна, — она подумает, что я утонул. Лучше ты дай мне твои трусы, я их дома сменю и принесу.

— А если отец тебя заметит в моих трусах и решит, что я утонул, знаешь, какой шухер будет? — сказал Оник, уже заранее зная, что Чик его все равно уговорит.

Тут Чик уверил Оника, что отец его никак не может заметить Чика, потому что домой он возвратится не через калитку, а через речку и огород.

Чик так и сделал. Он бежал всю дорогу, немного стесняясь слишком ярких трусов Оника. За квартал от дома он спустился в речку, добрался до огорода и уже стремглав, как ошпаренный, перелетел через двор, вбежал домой, вытащил из шкафа чистые трусы, переоделся в них и тут почувствовал полное счастье безопасности. Никто ничего не заметил. Чик свернул трусы Оника и, сжав их жгутом, выскочил на улицу.

— Оника не видел? — окликнул его Богатый Портной.

Чик на радостях забыл, что он вечно торчит на балконе. От неожиданности Чик спрятал за спину руку со свернутыми трусами. По-видимому, знакомый цвет того, что Чик сжимал в руке, чем-то смутно напомнил ему Оника.

— А это что прячешь? — кивнул головой Богатый Портной.

— Ничего, — сказал Чик и тут уже по-настоящему испугался. Чик представил гнев Богатого Портного, если б тот узнал в руке у Чика трусы Оника, каким-то таинственным образом отделившиеся от хозяина.

В это время со двора вышел Алихан и уселся на крыльце Богатого Портного. Богатый Портной посмотрел на Алихана. Алихан посмотрел на Богатого Портного, а потом на Чика, не понимая, что их соединяет.

— Значит, не видел Оника? — снова спросил Богатый Портной и пытливо заглянул в глаза Чика.

— Не видел, — ответил Чик, стараясь твердо глядеть на Богатого Портного. Руки он продолжал держать сзади.

— Что-то хитришь, но что — не пойму, — сказал Богатый Портной.

— Ничего не хитрю, — ответил Чик.

— А что такое, — сказал Алихан и поднял голову, — я видел Оника.

— Ты иди, иди, — сказал Богатый Портной и сделал вид, что перестал интересоваться Чиком.

Чик сразу же понял его хитрость. Он подумал, что сейчас Чик повернется спиной и он увидит, что у Чика в руке. Чик не стал поворачиваться, тем более ему интересно было узнать, как и где Алихан мог видеть Оника.

— Где он? — спросил Богатый Портной у Алихана, делая вид, что совсем не следит за Чиком.

— Только что во дворе пробежал, — сказал Алихан.

Чик быстро повернулся и, прижав руку с трусами Оника к груди, побежал. Как он мог видеть Оника, когда Оник сейчас сидит на берегу, думал Чик радостно, мчась по улице. И, только завернув за угол, Чик вдруг догадался: так это он меня принял за Оника! Чик стало еще веселее, и он бежал до самого моря, напевая песенку вроде дяди Коли и шлепая трусами Оника по своим голым ногам.

Тогда все обошлось прекрасно, и Чик позже, вспоминая этот случай, с благодарностью думал про Оника и с затаенной обидой про Шурика.

Чик так и не узнал, куда делись его трусы. Но одно то, что он мог подумать на Шурика, а мог подумать потому, что Шурик к этому времени так себя вел, что было вообразимо, что он мог это сделать, говорило о степени падения его престижа.

Да, теперь надо было обязательно подраться с Бочо, несмотря на невыгодные условия.

Чик никогда с Бочо не дрался. Бочо ему всегда нравился. Бочо был такой добродушный, такой лупоглазый коренастик. За эту коренастость да еще сиплый-пресиплый голос Чик его уважал. У него был такой сиплый голос, что те, кто слышал его в первый раз, думали, что он так говорит, потому что никого на свете не боится, а никого на свете не боится, потому что у него старший брат самый сильный парень в городе. На самом деле у него никакого старшего брата не было, просто у него был такой голос от природы.

По какому-то необъяснимому чутью Бочо без драки признал, что Чик его несколько превосходит в силе. Чик это признание чувствовал и в благодарность за то, что тот избавил его от довольно утомительного доказательства, так же молча обещал не пользоваться этим превосходством и уважать его независимость.

Но с тех пор как Чик перенес эту несчастную драку с рыжиком да еще потерял на берегу трусы, все пошатнулось. Бочо при встрече с ним стал блудливо улыбаться, и значение этой улыбки Чик прекрасно понимал. А означала она одно — что, собственно говоря, превосходство Чика ничем не доказано и Бочо готов посмотреть, как Чик его еще будет доказывать.

Ребята подошли к железным решетчатым воротам, почему-то всегда закрытым на замок. Там, за воротами и каменной стеной, на склоне горы рос огромный фруктовый сад с яблоками, грушами, мушмулой, маслинами.

По слухам, до революции здесь жил какой-то важный князь. Но во время революции его свергли, и он куда-то исчез. Чик почему-то представлял, что после того, как его свергли, он покатился вниз по склону горы.

Чик слышал, что после того, как исчез князь, маслины в его бывшем саду перестали плодоносить, хотя расти продолжали. Остальные фрукты продолжали плодоносить, а маслины перестали. Они остались преданными князю.

Чик вообще никогда не любил маслины из-за того, что они какие-то горькие да еще соленые. Он считал это каким-то уродством. Если ты фрукт — ты должен быть сочным и сладким. А если ты не сочный и не сладкий, какой же ты фрукт!

Чик чувствовал какую-то связь между тем, что он не любил маслины, и тем, что они остались преданными князю и не хотели плодоносить, хотя совсем засохнуть почему-то тоже отказывались. Тогда высыхайте совсем, если вы такие, сердито думал о них Чик, очистите место для наших фруктов!

Чик про эти маслины часто думал. Иногда он считал, что их надо вырубить или сжечь, раз они такие упрямые. Да, сжечь, как сожгли дом князя во время революции.

Эти маслины смущали его душу своей бессмысленной преданностью. Чик считал, что преданность может быть только среди наших, что для врагов это слишком красивое занятие — быть преданным. Но такими уж они уродились, и с этим ничего нельзя было сделать. Главное, что князь никогда не вернется. Чик это точно знал, а они продолжают быть преданными, и от этого их обреченная преданность как бы делается еще преданней и еще трогательней.

Чик никак не мог взять всего этого в толк и не любил вспоминать о маслинах. Но все равно иногда это само лезло в голову, и Чик ничего с этим не мог поделать.

Но сейчас Чик об этом не думал. Он просто вспомнил мимоходом про маслины, которые растут за стеной в саду, и тут же забыл. Сейчас ему было все равно, кому там они преданы или не преданы. Сейчас его занимали более близкие вещи, а главное, предстоящая драка с Бочо в невыгодных для него условиях.

Недалеко от ворот, возле стены, возвышался зеленый холмик, взобравшись на который можно было легко перейти на стену. Ребята влезли на зеленый холмик.

— Всем разуться! — приказал Чик и сам первым разулся. Чик положил сандалии на гребень стены и быстро влез на нее. Стена была горячей от солнца и с непривычки слегка обжигала подошвы ног.

— Оник, — сказал Чик, — будешь подсаживать Лёсика, а я буду его сверху тянуть.

Лёсик наклонился и грудью уперся в стену. Он снизу смотрел на Чика виноватым взглядом, как бы прося прощения за свою неловкость. Чик взял его за шиворот, по-

крепче уперся ногами, чтобы ступни почувствовали неровности кромки стены и вцепились в них. Оник подсел под Лёсика, уперся головой ему в зад, и они одновременно потянули его наверх и плашмя взгромоздили на стену. После этого Лёсик сам постепенно собрался и встал.

— Ну как? — спросил Чик.

— Ничего, — ответил Лёсик, смущенно улыбаясь, и кивнул на ноги, — только жжет.

— Это пройдет, — сказал Чик, — меня и то жгло.

Оник одним прыжком, упершись руками в кромку стены, поднялся на нее. Он вообще был очень ловким, и Чик это в нем ценил. Девочки тоже быстро взобрались на стену, а Ника даже не сняла своих тапочек. Правда, резиновые тапочки цепко держали ее на гребне стены, но Чик считал, что она нарочно не сняла, чтобы не подчиняться его приказу.

Чик решил, что он будет боком идти впереди и придерживать Лёсика одной рукой, а за Лёсиком будет идти Оник и подстраховывать его.

— Ника, возьми Лёсикины сандалии, — сказал Чик, обернувшись.

— Фи, — сморщила Ника свой маленький нос, — мне неприятно, пусть Соня несет.

Чик обычно нравилось, как она морщит свой нос. Она так забавно его морщила, что Чик каждый раз, когда она его морщила, хотелось слегка щелкнуть его. Но сейчас ему это не нравилось.

— Сонька и так банку несет, — сказал Чик, раздражаясь на себя за то, что ему нравится, как она морщит нос, — а из-за твоей походки над нами смеются.

— Смеются дураки, — ответила Ника, — а мой папа считает, что у меня красивая походка.

Она стояла на стене в своем желтом сарафане и белых тапочках, легкая, независимая, а главное, нисколько не благодарная за то, что ее взяли в поход.

— Знаешь как ты надоела со своим папой, — сказал Оник, обернувшись. Он ничего не знал о судьбе ее отца. Никто из ребят, кроме Чика, ничего не знал о судьбе ее отца.

— А ты знаешь, как надоел со своим Богатым Порчным, — ответила Ника.

— Сейчас ка-ак сандалией заеду, — сказал Оник, — сразу очутишься в саду.

— Только попробуй, — сказала Ника и нагло посмотрела на Оника своими хотя и синими, но темными от гу-

стоты цвета глазами. Глядя ей в глаза и прислушиваясь к ссоре, Чик вдруг подумал: оказывается, богатые не так уж любят друг друга. Чику почему-то было приятно, что богатые не выступают единым фронтом. Но сейчас, на стене, эта ссора была ни к чему.

— Не надо спорить, — сказала Сонька, — я возьму. Она протянула руку и взяла у Лёсика его сандалии.

— Хорошо, пошли, — сказал Чик. Он считал, что сейчас спорить здесь, на стене, неуместно. Они стали медленно подниматься вверх. Боком идти было неудобно, и Лёсик как-то не в лад время от времени с какой-то опасной силой неуклюжего человека дергал Чика за руку. Не успели они пройти и десяти шагов, как вдруг с полянки раздался голос Шурика.

— Лёсик, а-ста-рож-на, упадешь! — пропел он гнусаво. Лёсик, как всегда, обернулся на голос и так дернул Чика за руку, что Чик чуть не слетел со стены.

— Чего ты смотришь, когда они дразнят! — заорал он не своим голосом. Чик даже вспотел от страха. Он страшно разозлился на Шурика за его подлое напоминание, а заодно разозлился и на Лёсика.

— П-привычка, — сказал Лёсик и улыбнулся от смущения.

— Дурацкая привычка, — бормотал Чик, постепенно успокаиваясь.

Они двинулись дальше, и тогда с полянки раздался еще раз голос Шурика.

— Идите, — крикнул он, — там вам рыжие покажут!

В это мгновение Чик окончательно и бесповоротно решил на обратном пути подраться с Бочо. Другого выхода нет, отрезал Чик всякие сомнения, а то совсем на голову сядут. Окончателность решения вдруг успокоила Чика, и он сосредоточил внимание на дороге.

Идти боком по стене, придерживая одной рукой Лёсика, даже Чику было неудобно, а Лёсику и подавно. В конце концов Лёсик засопел и остановился.

— Я сам, — сказал он Чику, заглядывая ему в глаза и стараясь понять, не оскорбил ли его этим решением.

— Хорошо, — сказал Чик, — я тебя буду страховать.

Чик, осторожно обняв Лёсика — при этом он почувствовал, как напряжено его тело, — отошел назад. Теперь Лёсик шел впереди. Сделав шаг одной ногой, он слегка подволакивал другую.

— Вниз не смотри, — сказал Чик, — смотри только вперед.

Слева от стены шел каменистый косогор, а справа росли деревья мушмулы, из-за которых почти не видно было склона. Иногда ветки мушмулы нависали над стеной, и Чик просто так, для разнообразия дороги, нагибал какую-нибудь ветку и потом опускал. Ветка шуршала своими большими ушастыми листьями.

Урожай мушмулы давно собрали, но Чик иногда встречал на некоторых ветках желтые, сморщенные плоды, которые не заметили сборщики. Теперь, среди лета, они переспели и подсыхли, и Чик знал, что они сейчас сладкие как сахар. Но они висели слишком высоко, чтобы достать до них. Все же смотреть на них было приятно, и Чик не забывал хотя бы мельком оглядеть каждое дерево.

— Если хочешь, я понесу банку, — неожиданно предложила Ника.

Казалось, все это время она раздумывала, не унизит ли ее такое предложение, и теперь решила, что можно.

— Ничего, — вздохнула Сонька, — я уж донесу.

Вдруг Чик заметил впереди ветку, усыпанную свежей, только что поспевшей мушмулой. Ветка эта проходила слишком высоко, хотя и нависала над стеной. Чик очень хотелось достать до нее, и он стал вглядываться, как бы это сделать. Он заметил, что эта плодоносная ветка скрещивается с другой веткой, которая проходит над ней. А эта другая ветка сама имеет маленькую ветку, которая не идет вверх, как основная, а тянется к стене, хотя и не дотягивается.

Чик сообразил, что если дотянуться до нее и раскатать, то она передаст свои качания большой ветке, от которой она ответвляется, а та, большая, постепенно передаст качания ветке с мушмулой, потому что они перекрещиваются, и она сверху будет давить на нее.

Чик вытянулся в сторону сада и с трудом дотянулся до самого крайнего листика этой ветки. Чик только двумя пальцами сумел дотянуться до него. Но все-таки он его ухватил этими двумя пальцами и стал осторожно и сильно тянуть листик и вместе с ним ветку на себя. Чик знал, что у мушмулы крепкие листья, но все-таки он мог оборваться, и Чик тянул его осторожно. Он старался так его тянуть, чтобы между тем местом листика, за ко-

торый он держался, и тем местом ветки, за которое держался сам листик, как бы проходила прямая линия. Чик давно заметил, что, если так тянуть листик или тоненькую ветку, они делаются достаточно прочными. Почувствовав мгновение, когда он сможет дотянуться до ветки другой рукой, Чик вытянул ее и, одновременно сбросив листик, папнул ветку. Все получилось так, как и ожидал Чик. Он раскачал эту ветку, а она постепенно раскачала плодоносную, и, когда та достаточно низко опустилась, Чик схватил ее.

Здесь было еще больше плодов, чем он ожидал. И главное, все они, парные и одиночки, были свежие и сочные, как в начале лета. Чик догадался, что тогда эту ветку пропустили, потому что плоды на ней были совсем зеленые.

— Ой, Чик! — восторженно завопила Сонька, увидев, какое богатство им привалило.

— Рвите, — хозяйственно сказал Чик, пригибая ветку как можно ниже. Лёсик неуверенно взялся одной рукой за ветку, а другой потянулся к мушмуле. Оник тоже схватился за ветку и сильно дернул ее в свою сторону. Чик у это показалось похоже на то, как телок, дотянувшись до вымени коровы, нетерпеливо дергает за сосцы. Чик отчасти сам почувствовал себя этой коровой, которую дергают за сосцы.

— Чик, а у меня руки заняты! — крикнула Сонька и от нетерпения даже слегка подпрыгнула.

— Давай банку, — сказала Ника, протягивая руку.

— Спасибо, Ника, — сказала Сонька и передала ей банку. Заодно она положила у ее ног и свои и Лёсикины сандалии. Все трое держались руками за ветку и сами живой гроздью повисли на ней, срывая мушмулу, чмокая нежными водянистыми плодами и далеко выплевывая большие, вроде каштанов, и скользкие, как у арбуза, косточки. Несколько минут только и слышен был шорох разгребаемых листьев, чмоканье и кряхтенье.

Вдруг Лёсик посмотрел на Чика и показал глазами на Нику. Чик совсем забыл о ней. Сейчас на лице у нее было то задумчивое и смешное выражение, какое бывает у женщин, которые делают вид, что только что вышли из открытой, быстро мчащейся машины. В крайнем случае — из коляски мотоцикла.

Голова слегка закинута, а ресницы помаргивают, словно продолжают сбивать потоки встречного воздуха, режущего глаза. Сейчас это было особенно смешно, потому

что она держала в оттопыренной руке старую консервную банку.

— А ты что? — спросил Чик. Ника вздрогнула и посмотрела на него.

— Я не люблю, — сказала она, вздохнув. Чик показалось, что она сейчас вспоминала своего папу.

Ветка быстро пустела. Чик изо всех сил ее согнул и достал хорошо спелую двойчатку.

— На, — протянул он ее Нике.

— Я не люблю, — повторила она и замотала головой, хотя глаза с любопытством оглядели ярко-желтые плоды.

— Раз Чик дает, значит, бери, — вразумительно сказала Сонька и, взяв у Чика двойчатку мушмулы на коротенькой ветке, передала ее Нике. Та взяла двойчатку, как цветок, и даже слегка примерила ее к своему желтому сарафану.

— Двойняшки, как Лёсикины братья, — сказал Оник, мельком взглянув на подарок и снова берясь за ветку.

Лёсик расплылся в улыбке и засопел. Чик с любопытством посмотрел на Нику, чтобы узнать, как она восприняла эту остроту. Но Ника никак не восприняла эту остроту. Скорее всего она ей даже не понравилась, потому что она слегка пожала плечами: мол, ничего похожего или смешного.

Когда один богатый острит, оказывается, другой его не обязательно поддерживает, подумал Чик, как всегда стараясь сделать вывод из своих наблюдений над жизнью богатых.

— Бросаю ветку, — предупредил Чик и, дождавшись, чтобы Лёсик ее отпустил, сам разжал пальцы. С облегченным шелестом ветка махнула вверх. Чик почувствовал, что рука его ноет от долгого держания сопротивлявшейся ветки.

Ребята пошли дальше. Теперь солнце прикрывалось дубовыми деревьями, росшими слева от стены, и прохлада ее приятно холодила подошвы ног. В одном месте колючие плети диких роз перекинулись через стену, и проходить здесь было очень трудно — можно было уколоться.

Чик с Оником с трудом перетаскивали Лёсика через это коварное место. Каждый раз, когда Лёсик собирался ступить, Чик показывал ему, куда ставить ногу, а иногда, наклонившись, раздвигал плети, потому что неловким ногам Лёсика нужно было побольше свободного места.

Ника, наклонившись в середине этого колючего ков-

ра, усеянного по обе стороны от стены розоватыми цветами, сорвала один цветок, не останавливаясь, вдела его в волосы и пошла дальше. Она так наклонилась и так сорвала розу, словно вся эта заросль нарочно, дожидаясь ее, напоззла на стену и расстелилась у ее ног. И розу она сорвала так, как будто всем розам сделала одолжение: мол, раз уж все вы меня просите, я, пожалуй, одну сорву.

Вот богатые! — подумал Чик, изумляясь. Им кажется, что все вокруг только и думают, как бы им получше угодить. И не такой уж глупой оказалась привычка узко переставлять ноги, как раз с такой привычкой легко по стенам ходить.

Стена подошла к домику на горе. Здесь надо было слезать, переходить через дворик, а там сразу начинался гребень горы, где росли сосны, богатые мастикой.

Это был маленький деревянный домик с чистенькими окнами, с открытой верандой, с палисадничком, в котором росли на высоких кустах садовые розы — красные, белые и желтые, до того похожие на масло, что хотелось их намазать на хлеб.

Снизу к зеленому дворику подымалась настоящая каменная лестница с широкими площадками и каменными скамейками. Лестница была невероятной длины и, как догадывался Чик, доходила до самых железных ворот, откуда они начинали свой подъем по стене.

Самое удивительное было то, что Чик здесь ни разу не встретил ни одного живого человека. Так что домик этот можно было считать заколдованным. Единственным живым существом, которое здесь всегда встречало Чика, был щенок волкодава.

Чик открыл этот путь к сосновой роще этой весной. С тех пор он здесь бывал пять или шесть раз. И каждый раз щенок волкодава набрасывался на Чика, требуя, чтобы Чик с ним поиграл.

То ли оттого, что он скучал по людям, то ли оттого, что он все-таки был щенком волкодава, играя, он увлекался и начинал очень больно кусать Чика. Чик понимал, что он играет, но щенок не понимал, что, играя, надо кусать послабее, а если Чик пытался показать ему, что он на него злится, щенок начинал кусать еще сильнее, думая, что Чик нарочно предлагает ему более дерзкую игру. Хотя Чик и привыкал к этой боли, но все равно было очень больно. К тому же за эти два-три месяца щенок здорово вырос, и, как замечал Чик при каждой встрече, его играющая челюсть все крепче хватала Чика. Может, он думал,

что Чик с такой же быстротой растет или привыкает к боли? Но Чик рос куда медленнее щенка волкодава, а привыкать к боли ему было неохота. Так или иначе, выхода не было. Приходилось терпеть его игры до самой калитки, ведущей в сосновую рощу.

То, что во дворе этого дома жил щенок волкодава, не мешало Чикю думать, что домик волшебный или заколдованный. Мешала думать бельевая веревка, протянутая вдоль веранды, на которой висели прищепки, похожие на птичек, сидящих на проводе. Чик, конечно, понимал, что здесь живут люди, но он никак не мог понять, почему их никогда не бывает дома.

Рядом со стеной росло дерево инжира-скороспелки, или, как его еще называют, птичий инжир. Одна ветка этого инжира подходила к самой стене. Если ухватиться за нее и несколько раз перебрать руками, можно смело спрыгивать во двор.

Но сейчас Чик не спешил спрыгивать во двор, потому что дерево было усеяно мелкими черными плодами инжира. Чик еще не спешил потому, что оттягивал встречу со щенком волкодава. Но сам себе Чик в этом не признавался.

— Сбрасывайте обувь, — сказал Чик, оглядывая дерево, — а мы с Оником полезем за инжиром.

Сандалии посыпались вниз.

— А банку можно? — спросила Сонька.

— Можно, — разрешил Чик и, ухватившись за ветку, повис на ней.

Он несколько раз перебрал руками, дошел до ствола, закинул ногу на ветку, за которую держался, зацепился за нее коленом и, слегка раскачавшись в таком положении, ухватился рукой за другую ветку, после чего, подтянувшись, выполз на первую ветку.

— Чик, может, лучше пойдем, пока нет волкодава? — сказала Сонька.

— Ха, — усмехнулся Чик, тяжело переводя дыхание, — от щенка волкодава никуда не уйдешь!

Сам Чик много раз надеялся, пока не видно щенка волкодава, незаметно перейти двор, но ему это никогда не удавалось. Чик пришел к выводу, что щенок нарочно не показывается, покамест кто-нибудь не очутится во дворе. Потому что, если щенок покажется, когда человек стоит на стене, тот еще, чего доброго, раздумает спрыгивать во двор. А если уж спрыгнул, то тебе ничего не остается, как поиграть со щенком.

Оник вслед за Чиком залез на дерево, но сделал это гораздо легче Чика. Чик знал, что он ловчее его, и уж с этим ничего нельзя было поделаться.

Они заняли две ветки, нависавшие прямо над стеной. Здесь было полным-полно инжира. Птичий инжир не такой крупный и сочный, как садовый, но зато гораздо слаще.

Чик дотянулся до очень спелого темно-лилового инжира со слегка одрябшей от спелости кожицей, нежно крутанул его на ветке, чтобы не раздавить плод. Издав тукающий звук, инжир очутился у него в ладони.

Сонька, Лёсик и Ника снизу, со стены, следили за ним. Чик осторожно поднес инжир ко рту.

— Ну как? — облизнувшись, спросила Сонька.

Чик еще и не донес инжир до рта, когда она это спросила. Чик отодвинул руку ото рта недоумевающим жестом, показывая на смехотворную поспешность ее вопроса. Все рассмеялись, а Сонька, застыдившись, опустила голову.

— Мировой, — сказал Чик, пожевывая хрусткую, сахаристую мякоть инжира.

Плодов на дереве было много, и Чик с Оником успевали сами есть и бросать товарищам. Лёсик чуть не свалился со стены, пытаясь поймать брошенный инжир, и Чик строго запретил ему ловить инжир. Инжир шлепался в широко разопыренный Сонькин подол. Ника сначала отказывалась его есть, но потом, попробовав, так разохотелась, что Чик даже не успевал бросать.

— Чик, я уже съела! — кричала она, словно собиралась обрадовать его этим.

Вот они, богатые, думал Чик, слегка раздражаясь, сперва они отказываются есть птичий инжир, а потом кидать не успеваешь, да еще они требуют, чтобы ты радовался их аппетиту.

Чик у сначала было приятно, что ей понравился птичий инжир, но потом, когда она стала просить, не соразмеряя возможности Чика срывать инжир со своими возможностями отправлять его в рот, он стал злиться на нее.

Все же инжира на дереве было так много, что все наелись, и уже даже Сонька стала очищать с него кожуру. Чик предупредил, чтобы кожуру бросали только на ту сторону, а то хозяева узнают, что они здесь делали.

— Чик, а где хозяева? — поинтересовалась Сонька, наевшись, как бы благодарная хозяевам за их долгое отсутствие.

— Я их не видел, но они есть, — сказал Чик и, мгновенно повиснув на ветке, спрыгнул вниз. Чик почувствовал, как у него тяжело бултыхнулся живот, когда он спрыгнул, до того он наелся инжиру. За Чиком спрыгнул Оник. Сонька и Ника повисли на ветке и, перебрав несколько раз руками, чтобы быть поближе к земле, благополучно спрыгнули на землю.

Щенок волкодава нигде не показывался, и Чик стал надеяться, что на этот раз, может, и в самом деле обойдется. Теперь оставался Лёсик. Чик и Оник должны были его поддержать, когда он повиснет на ветке.

— Как только я скажу: раз! два! три! — бросай ветку! — приказал ему Чик.

Лёсик уныло слушал его, стоя на стене, и губы его уже начинали расплываться от смущения. Чику это не понравилось. Раз Лёсик улыбается, значит, не верит в благополучный исход.

— Давай, — взбадривал его Чик, — у тебя же руки сильные.

Лёсик ухватился обеими руками за ветку, но оторвать ноги от стены никак не релался. Главное, он слишком близко от стены ухватился руками, а надо было как можно дальше, где ветка потолще. Чик знал, что инжир очень слабое, ненадежное дерево.

— Подальше! Подальше! — крикнул Чик, но Лёсик неожиданно опустил ноги и как-то грузно и ненадежно закачался на ветке.

— Перехватывай! Перехватывай! — крикнули все в один голос. Ветка угрожающе закрипела, и Лёсик продолжал качаться, словно оглох. Чик и Оник стояли под опасно раскачивающимся телом Лёсика, и Чик видел его лицо с выпученными глазами, с дурацкой улыбкой до ушей. Чик вытянул руку, чтобы, ухватившись за его ступню, хотя бы остановить это дурацкое покачивание. Только он его схватил за пятку, как Лёсик — видно, ему стало щекотно — рухнул на них всем своим беспомощным и потому грузным телом.

Чик только успел почувствовать неимоверную тяжесть, и они все втроем покатались под косогор. Не успели они остановиться, как Чик услышал вопль девочек и радостный визг щенка волкодава, бросившегося на Чика. Он ухватился зубами за его штаны и, мотая мордой и радостно повизгивая, стал тянуть его с невероятной энергией. Чик даже не мог понять, чего он хочет: то ли с Чика стянуть штаны, то ли самого Чика стащить

с Оника и Лёсика, на которых он лежал. Кстати, Лёсик и тут, лежа под Чиком и Оником, продолжал смущенно улыбаться.

Чик удивился, с какой мощью тянет его щенок волкодава, как он быстро вырастет и как хорошо, подумал Чик, что сам я пошел в поход не в трусах, а в этих крепких, хотя и коротких штанах.

— Бегите к выходу! — героическим голосом крикнул Чик, давая щенку стащить себя с Оника и Лёсика и тем самым показывая, какая свирепая борьба ему предстоит. — Не забудьте сандалии! — крикнул Чик, давая щенку уволокивать себя вниз по косогору. Отталкиваясь руками от земли, Чик слегка помогал ему.

— Не забудем! — крикнула Сонька и стала собирать обувь.

Лёсик и Оник уже вскарабкались до подножия инжира. Им оставалось перебежать ровную травянистую площадку двора.

— Не бойтесь, я его задержу! — крикнул Чик голосом, преодолевающим невероятную боль. Оник и ковыляющий за ним Лёсик уже пробежали мимо дома. — Не забудьте банку! — крикнул Чик предсмертным голосом.

Оник остановился, понимая, что ему придется возвращаться.

— А где она? — спросил он у Чика. Это прозвучало довольно глупо. Можно было подумать, что Чик валяется себе на траве, а не сопротивляется свирепому натиску щенка волкодава. Чик успел бросить на Оника такой взгляд, что тот быстро отыскал банку и побежал в сторону калитки.

«Ах, ты не столько играешь со мной, сколько с ним разговариваешь?!» — прорычал щенок и, бросив штаны, с кровавадной радостью ухватил Чика за щиколотку.

Чик давно этого ожидал. И то хорошо, что столько времени успел у него выиграть. Теперь надо было, продолжая схватку и этим отвлекая щенка волкодава, неуклонно двигаться в сторону калитки.

Сжав зубы от боли, Чик слегка подтянул ногу, которую держал юный волкодав. Щенок зарычал, делая вид, что ему мешают грызть вкусную кость. Чик осторожно встал на ноги, чувствуя теплую тяжесть его головы на своей ступне.

В самом деле, это был рослый щенок пепельного цвета, с большой мордой и тяжелыми лапами. Чик слегка

двинул ногой, чтобы почувствовать меру сопротивления, когда придется бежать.

Сейчас главное было одолеть подъем и выбежать на ровную площадку двора. Двинув ногой, Чик почувствовал, до чего тяжел щенок и как ему трудно будет бежать от него.

«Добычу отбирают, надо крепче за нее держаться!» — прорычал щенок, как только он двинул ногой, и, перехватив челюсть, удобней взялся за щиколотку. Одновременно с этим он одним глазом хитро посмотрел на Чика, давая знать, что это он нарочно так прорычал, чтобы играть было интересней. Он предлагал Чику делать вид, что Чик у него отбирает добычу. Ничего себе, делать вид, подумал Чик, когда ты так больно держишься за мою ногу.

Чик наклонился и слегка щелкнул его по уху ладонью.

«Не отвлекай меня, — прорычал щенок, — знаешь, какую вкусную кость я грызу».

Еще бы не знать, подумал Чик с раздражением. Он наклонился и теперь посильнее щелкнул его по уху.

«Ах так», — тявкнул щенок и прыгнул, пытаюсь схватить Чика за руку.

Чик успел отдернуть руку и изо всех сил побежал вверх по косогору. Он успел выбежать на лужайку двора, когда щенок его догнал.

— Чик, беги сюда! — закричали в один голос ребята и замахали руками.

Они стояли по ту сторону штaketника и оттуда в полной безопасности следили за ним.

— Вам хорошо! — успел крикнуть Чик, когда щенок догнал его и снова ухватился за ногу. Сгоряча, превозмогая боль, Чик проволочил его несколько шагов, но боль стала до того нестерпимой, что Чик упал.

Все-таки несмотря на боль, он мог бы и не упасть, но так выглядело героичней, а Чик это любил. К тому же он надеялся, что щенок отпустит ногу и схватится за штаны и тогда можно будет без всякой боли проволочиться с ним до калитки. Но щенок за штаны не ухватился, и Чику пришлось, чтобы дать отдохнуть ноге, сунуть ему в пасть кисть руки.

Все-таки щенок был не очень умный. Как он ни кусал Чика, как ни терзал его своей свирепой игрой, одного он никак не мог понять, что Чик при всем при этом движется к своей цели. И когда Чик, хлопнув калиткой,

очутился по ту сторону забора и, протянув руку между планками штакетника, прикрыл калитку щеколдой, щенок вдруг обо всем догадался и заскулил. С него сразу слетела вся свирепость.

«Ну, Чик, ну, пожалуйста, ну поиграй еще немножго», — жалобно скулил щенок и вилял хвостом. Чик отряхнулся и, посмотрев на щенка, укоризненно покачал головой. Он ему дал знать, что если щенок будет еще так кусаться, то Чик вообще прекратит с ним всякие игры.

Щенок жалобно смотрел на Чика, но тут у самой его морды заструилась большая усатая бабочка с красными в черных пятнах крыльями.

«Ну и не надо!» — мотнул щенок головой и, одновременно щелкнув зубами, хотел поймать бабочку, но та мягко отпрыгнула в воздухе, и страшная пасть захлопнулась возле нее. Щенок от удивления вытаращил глаза и даже облизнулся, чтобы убедиться, что это летает не другая бабочка, а та же самая: до того он был уверен, что защелкнул ее пастью. Раздраженный сплошными неудачами (то Чик не захотел с ним поиграть, то эта бабочка не захотела попадать ему в пасть), он бросился за ней. Бабочка не спеша струилась в воздухе, и щенок, догоняя ее, несколько раз щелкал зубами, но та каждый раз слегка сдувалась в сторону и лениво мерцала над лужайкой двора.

Наконец щенок ей надоел, и она залетела за косогор. Щенок добежал до края лужайки и остановился. Больше он в сторону ребят не оборачивался. Он сделал вид, что залюбовался открывшимся ему пейзажем. На самом деле, как догадывался Чик, он стыдился своей неловкости и не хотел показывать своего смущения.

Ребята вышли на гребень горы. Весь гребень и склон были покрыты сосновыми и более редкими кедровыми деревьями. Под ногами пружинила скользкая прошлогодняя хвоя. Стволы сосен прозрачно краснели, словно какой-то пламень просвечивал изнутри. Пахло разогретой смолой, земляной сухостью и далеким морем.

Город, рыжая ржавыми крышами, красиво вытянулся вдоль дуги залива. Большой пароход с красной каймой на трубе подходил к пристани, оставляя за собой длинный, почему-то не расходящийся след.

— Корабель! Корабель! — закричал Оник.

— Не корабель, а корабль, — поправил его Чик. Чик не любил, когда какие-нибудь знакомые слова неправильно, непривычно произносили. Сейчас Чику пока-

залось, что красивый, стройный корабль как-то скособочился оттого, что Оник его неправильно назвал.

— А мы с папой и с мамой на пароходе в Батум ездили, — сказала Ника.

Никто ее не поддержал, и она замолкла.

— Чик, — спросил Лёсик, — отчего в городе столько ржавых крыш?

— Не знаю, — сказал Чик, — наверно, от дождя.

— Красиво? — спросил он у Лёсика через несколько мгновений, не дождавшись его восторгов. В сущности, если как следует вдуматься, может быть, Чик для того и тащил сюда Лёсика, чтобы через его восхищение снова порадоваться самому. Так всегда бывало интересно. Когда ты к чему-нибудь хорошему уже привык, а другой только что это видит или узнает и начинает изумляться, тогда и тебе становится как-то приятно.

— Здорово, — сказал Лёсик и, благодарно взглянув на Чика, засопел.

— Это еще что, — сказал Чик, раскрывая несметность своих сокровищ, — здесь начинается первое селение.

— Здесь, где стоим? — переспросил Лёсик и стал наивно осматриваться, словно ища пограничный знак между городом и деревней. Он никогда не был в деревне.

— Вообще на этой горе, — пояснил Чик.

Лёсик еще более благодарно засопел и уважительно оглядел гору, хотя никакого селения здесь не было.

Они снова залюбовались своим городом. Отсюда все было видно как на ладони: и зеленое поле стадиона, и базар, и школу, в которой они учились, и их собственный дом с торчащим над крышей зеленым копьём кипариса.

Соньке даже показалось, что она видит на балконе Богатого Портного с утюгом. Но это, пожалуй, было преувеличением. Сам балкон можно было заметить, но увидеть на нем Богатого Портного, да еще с утюгом, было невозможно, потому что все сливалось со стеной.

— Я и то не вижу, а ты видишь, — обиженно сказал Оник.

Чика всегда охватывала какая-то странная грусть, когда он издалека, с горы, смотрел на свой дом. Чик никак не мог понять, отчего ему становится грустно, и даже пытался думать об этом.

Ему чудилось, что он когда-нибудь навсегда расстанется со своим городом, и то, что он на него сейчас смотрит как бы со стороны, было похоже на то, как он

его будет вспоминать издали, совсем из другого города, откуда он не сможет, как сейчас, спуститься к нему. От всего этого Чику становилось немножко грустно и немножко важно.

Были видны прямые улицы города, по которым быстрыми жучками проползали машины и совсем медленно плелись фаэтоны. Вдруг Чику показалось, что на одной улице промелькнула колымага собачника. Может, Чик и ошибся, но в груди у него что-то екнуло, и сразу же перестало быть немножко грустно и немножко важно, а стало как-то тоскливо. А вдруг Белочка сейчас на улице?

Чик понял, что никогда-никогда он не будет себя чувствовать полностью счастливым, пока этот собаколов существует в городе.

— Пора собирать мастику, — сказал Чик, чтобы делом перебить тоскливое состояние.

Было решено, что он и Оник залезут на сосны, а остальные будут искать мастику у подножия других деревьев. Чик предупредил, чтобы они далеко не разбредались и громко не разговаривали, чтобы не привлекать внимания рыжих. Кроме того, Чик показал на четыре самых толстых сосны, считавшихся личной принадлежностью рыжих, и приказал даже не подходить к ним, чтобы не давать им повода к придиркам.

Чик ходил под соснами и, оглядывая стволы от подножия до самых вершин, старался определить, есть ли выход хорошей смолы. Иногда его можно было просто увидеть, а иногда о его существовании можно было догадаться по тоненькой струйке засохшей смолы, стекающей откуда-то сверху. И если ручеек достаточно свежий, можно было надеяться, что наверху выход смолы еще никем не тронут.

Чаще всего смола выступала на трещинах ствола или на местах с ободранной корой. Получалось так, что если на дереве ранка, то почти обязательно там есть скопление смолы. Может быть, думал Чик, дерево этой смолой лечится от ран?

Чик остановился возле сосны, которая показалась ему подходящей. Во всяком случае, на верхней развилке ствола Чик заметил желтоватую высохшую полоску, похожую на след, который остается на поверхности кастрюли, когда молоко перебежит через край.

Здесь росли сосны какой-то особой породы, в отличие от тех, которые Чик видел в других местах. Они бы-

ли очень ветвисты, и ветки начинались довольно близко от земли.

Все же добраться до первой ветки не так-то просто. Чик снял сандалии и, не видя поблизости никаких кустов, зарыл их в прошлогоднюю хвою подалее от своего дерева. Он подошел к своему дереву и оглянулся на холмик, куда зарыл сандалии, при этом он старался смотреть на него с той степенью пронизательности, на которую способен посторонний взгляд. Ничего, получилось не очень заметно.

Чик решительно плюнул на ладони и, обхватив ногами и руками скользкий, шелушащийся ствол, стал карабкаться по нему. До первой ветки надо было пройти всего метра три, но, пока Чик взобрался на нее, он весь вспотел, а грудь, и живот, и ладони, и ступни нестерпимо горели от трения о скользкий шелушащийся ствол. Кто думает, что влезть на сосну легкое дело, пусть сначала попробует, а потом говорит.

Чик, тяжело дыша, уселся на ветку, осторожно снял майку и вытряхнул из нее набившиеся туда чешуйки коры. Те, которые прилипли к потной коже живота и груди, он отковырял руками, а те, которые прилипли к спине, стряхнул майкой, шлепая ею, как полотенцем. Чик знал, что, если сейчас не отодрать эти чешуйки, тело будет здорово чесаться.

Передохнув и снова надев майку, Чик полез выше. Он дошел до развилки и заглянул в нее. Там был довольно широкий, но небогатый выход мастики. Мастика была желтая и покрывала дно развилки, как корочка сливок дно кастрюльки, если уж от сравнения с этой кастрюлькой некуда деться. Вообще-то Чик очень любил сливки, и те, которые бывают на поверхности кастрюли с молоком, и особенно те, которые можно ложкой соскребать со дна. К тому же он уже не прочь был поесть чего-нибудь, вот ему и мерещились сливки из кастрюли с молоком.

Чик уселся на ветке возле развилки. Прежде чем приступить к делу, посмотрел вниз и по сторонам. Соньки и Оника нигде не было видно. Зато он увидел Нику. Ярко выделяясь своим желтым сарафаном, она стояла возле толстого багрового ствола сосны и соскребывала с него смолу. А может, просто любовалась снующими по стволу муравьями. Сверху трудно было разглядеть.

Чик подумал, что это довольно красиво получается, если кто-то в желтом сарафане стоит возле толстого красного ствола сосны. Но тут он вспомнил, что это как раз

один из тех запретных стволов, на который он им показывал. А она теперь, может, назло подошла к этому стволу. Вот богатые, подумал Чик, для них любой запрет ни-почем, они даже с рыжими не считаются.

По дрожащей в разлад с ветерком вершине одной из сосен Чик догадался, что на ней сидит Оник. Высоко взобрался Оник, этого у него не отнимешь. То, что есть,—есть.

Открыв перочинный ножик и упершись грудью в одну из веток развилки, Чик выскребал из нее смолу и клал в маленький газетный кулек. С приятным шелестом сухие кусочки смолы сыпались в бумагу. Там, где были свежие выходы, смола была вязкая, и Чик, отодрав ее лезвием, счищал ее в кулек, с наружной стороны для упора подставив ладонь.

Чик выскреб углубление в развилке, смял кулек, чтобы из него ничего не высыпалось, и положил его в карман. Потом он почистил лезвие перочинного ножа о ствол, защелкнул его и ножичек сунул в карман. Чик решил, прежде чем слезать с дерева, воспользовавшись высотой, как следует оглядеть соседние деревья.

Оглядывая соседние деревья, Чик подымался все выше и выше. На самой вершине, уже опасно покачиваясь, Чик снова оглядел окружающие сосны, но нигде ни одного стоящего выхода смолы не обнаружил. И вдруг он случайно бросил взгляд на тоненькую ветку возле себя и обмер.

Белый с желтыми прожилками самородок величнейшей с кулак висел на ней как сказочный плод. Чик даже и не слышал никогда, чтобы на такой тоненькой ветке образовался такой мощный самородок.

Ветка покачивалась под тяжестью Чика, и вместе с ней покачивался самородок. Чик испугался, что самородок может сорваться и, рухнув, разбиться на мелкие кусочки. Больше не раздумывая, он потянулся к нему и, почти не веря, что все это происходит наяву, оторвал его от ветки. Самородок целиком, чисто оторвался от ветки. Он был сух и приятно увесист.

Сильно волнуясь, Чик перенес его в левую руку, правой залез в карман, вытащил кулек и осторожно вложил его туда. Сразу наполнившийся кулек Чик снова положил в карман.

Продолжая волноваться, Чик стал слезать с дерева. Слезая, он все время думал, что раз ему так повезло, обязательно что-нибудь случится. Не может быть, чтобы ничего не случилось, раз ему так повезло. От волнения

у него дрожали руки и ноги. Один раз нога соскользнула с ветки, на которую он стал, но Чик все еще крепко держался руками, так что он сумел найти ноге более устойчивое положение.

Начинает случаться, подумал Чик, но все-таки решил не сдаваться судьбе. Он решил ее перехитрить. Он слезал очень быстро и очень осторожно. Быстро — чтобы судьба не успела придумать что-нибудь очень коварное, а осторожно — чтобы она не могла использовать его быстроту.

Дойдя до последней ветки, он повис на ней, потом обхватил ногами ствол, потом отпустил одну руку и обхватил ею ствол, потом, быстро отпустив вторую руку, ухватился за ствол с другой стороны и, шурша шелухой ствола, обжигая живот и ноги, полетел вниз.

Очутившись на земле, Чик очень удивился и обрадовался, что еще ничего не случилось. Но тут он вспомнил про сандалии и испугался, что их незаметно унес кто-нибудь из рыжих. Ведь сверху он не мог следить за этим холмиком.

Ну да, подумал Чик уныло, потому-то, наверное, ничего не случилось. Было обидно, что, оказывается, не он перехитрил судьбу, а просто она изменила способ мести. Все же он подбежал к месту, где он закопал сандалии, и быстро ногой разметал хвою.

Вот это да! Сандалии целехонькие лежали там, где их положил Чик. Чик теперь окончательно поверил, что с ним ничего не случится.

Чик вытряхнул сандалии и огляделся. Ему было очень хорошо, так легко, весело. Лёсик и Сонька вместе стояли возле одной сосны и собирали мастику прямо в банку. Чик махнул им рукой, чтобы они подошли к нему.

— Что случилось, Чик? — закричала Сонька издали.

Чик хлопнул себя ладонью по лбу, показывая, что раз она так громко кричит в роще, где их могут услышать рыжие, значит, она идиотка. Бедные тоже бывают с придурью, подумал Чик мельком.

Сонька и Лёсик подошли к нему.

— Их нигде не видно, Чик, — уже преувеличенным шепотом сказала Сонька.

— Так ты их и увидишь, — сказал Чик, вынимая из кармана кулек.

— Ой, Чик, какая здоровенная! — воскликнула Сонька восхищенно.

— Тихе, тихе, — сказал Чик миролюбиво, хотя на

этот раз голос ее был такой же громкий, как и раньше. Но если человек в первый раз в жизни видит такое чудо, как ему удержаться?!

— Можно понюхать, Чик? — спросила она.

— Конечно, — сказал Чик и поднес кулек к ее носу.

— Пахнет, как роза, — сказала Сонька, внюхавшись, и даже чмокнула языком.

Возможно, она имела в виду самую пышность запаха, а не его качество.

— При чем тут роза? — сказал Чик, несколько оскорбленный нелепостью сравнения. Чик сразу же стал думать, почему ей пришел в голову запах розы, а не какой-нибудь другой. Наверное, решил Чик, она хотела сказать, что мой самородок имеет самый лучший запах, а так как самый лучший запах считается у розы (Чик считал это предрассудком), вот она и сравнила.

— Чик, можно, я переложу его в банку? — не угованивалась Сонька.

— Подожди, — сказал Чик, к ним подходили Оник и Ника.

Лёсик долго сопел над самородком, нюхая его.

— Пахнет мастикой, — наконец сказал он.

— А ты хотел, чтобы чем? — язвительно спросил Чик. Простота Лёсика, как и слишком пышное сравнение с розой, не понравилась Чику. — Дело не в запахе, а в породе, — спокойным голосом владельца счастья объяснил Чик, — такой большой кусок белой мастики очень редко попадается.

— Давай запомним место, — сказала Сонька, — а в следующий раз ты снова сорвешь его здесь.

Чик не стал ей отвечать, потому что это было слишком глупо. Ждать самородка на этом же месте было все равно что ждать самое красное яблоко или самую крупную грушу на той самой веточке, на которой они висели в прошлом году.

— Посмотрите, что Чик нашел! — крикнула Сонька, увидев приближающихся Оника и Нику. Гордясь за Чика, она присоединилась к нему, она как бы сказала им: смотрите, чего добились наша пара, а чего добились вы?

Оник и Ника шли рядом, и Чик, оглядев их, подумал, рассеянно ревнуя: уж не целовались ли они? За Оника-то он был спокоен, но черт-те что Нике могло взбрести в голову. Может, она вспомнила того мальчика

из санатория. Интересно, сколько бы она теперь пальцев оттопырила?

— Где нашел? — спросил Оник и, взяв в руки самородок, понюхал его. Ника тоже, наклонившись, понюхала. Всем казалось, что самородок должен пахнуть чем-то особенным.

— На этом дереве, — сказал Чик и с удовольствием рассказал, как все было.

— Чик, можно, я буду его нести? — сказала Ника и высыпала свою добычу с ладони в банку. Она мастику собирала прямо в ладонь.

— Как хочешь, — сказал Чик и пожал плечами.

— Я первая хотела нести, Чик, — жалобно сказала Сонька и посмотрела на Чика.

— Он будет в банке, — решил Чик.

Все высыпали свою добычу в банку, а сверху положили самородок. Теперь все хотели нести банку с мастикой, но Чик решил, что правильной всего, если ее будет нести Сонька.

— Кто ее тащил из дому, тот и будет нести, — сказал Чик. — А теперь к роднику.

Вспомнив о роднике, все почувствовали жажду и стали быстро к нему спускаться. Родник был расположен ниже по косогору, там, где кончалась роща и начинался открытый склон, местами поросший зарослями папоротника, кустами сассапарили и ежевики.

На этом же склоне, только ниже и левее, в одной из сталактитовых пещер жили рыжие волчата вместе со своими родителями и осликом, которого они на ночь загоняли в пещеру.

— Этот самородок знаете на что похож? — неожиданно сказала Ника.

— На что? — спросила Сонька.

— На горный хрусталь, — сказала Ника задумчиво. Чик почувствовал, что у нее начинаются воспоминания.

— Это что еще за горный хрусталь?! — спросила Сонька, понимая, что Ника как-то пытается умалить ее победу. Чик тоже ничего не слышал про горный хрусталь. Он только знал одно: как только начинают говорить про богатых, то обязательно вспоминают, что у них хрусталь и драгоценности.

— Когда папа танцевал в Батуме, то мы ходили в музей и видели там горный хрусталь и другие полудрагоценные камни, — сказала Ника.

— Фу ты! — сплюнул Оник. — А я думаю, что это

она так долго не вспоминает про своего полудрагоценного папу.

Все рассмеялись, потому что это было смешно, учитывая, что никто из них ничего не знал о ее папе. Всем казалось, что она все время хвастается своим папой. Чик хоть и не рассмеялся, но почувствовал какую-то приятность, услышав слова Оника. Сначала он даже не мог понять, откуда эта приятность. Ах да, потом догадался Чик, раз он так сказал, значит, они не целовались.

— У нее папа — великий танцор, — напомнил Чик, — мне дядя говорил...

Оник хмыкнул, Сонька незаметно пожала плечами, но возразить никто не посмел. Если уж Чик призывал в свидетели дядю, возражать ему было трудно и даже опасно.

Родник был расположен в маленькой ложбинке под маленьким каменистым обрывчиком. Кто-то давным-давно обложил его камнями, чтобы он не осыпался и не мелел.

Ребята набросились на родник — кто став на колени, кто лежа на животе и опираясь грудью и руками о мокрые камни, тянули и тянули ледяную воду. И только бедняга Лёсик почему-то не мог дотянуться ртом до воды и стал пить, набирая ее в ковшик ладони. Но и ладонь у него протекала, такой уж он был неловкий.

— Сонька, ты будешь на вассере стоять, — сказал Чик, утираясь и тяжело передыхая после вкусного водопоя. Он чувствовал, что этим скучным занятием сейчас никого не займешь, кроме нее. Всем хотелось смотреть, как будет вариться мастика.

— Почему всегда я? — захныкала Сонька. — Я и банку несла всю дорогу.

— А кто нес самородок? — напомнил Чик.

Сонька опустила голову.

— Если рыжие нас здесь застанут, все пропало, — сказал Чик, давая знать Соньке, что теперь от нее зависит вся их судьба.

Сонька молча повернулась и вышла из ложбинки на косогор.

— Не стой там, — крикнул Чик вполголоса, — а то увидят. Смотри из-за куста.

Сонька неохотно присела за куст. Когда кто-нибудь что-то делает недобровольно, подумал Чик, он всегда пытается небрежностью отомстить тем, кто его заставил это делать. Чик это и по себе знал.

— Несите сухие ветки, — сказал Чик и стал сооружать из камней очаг.

Через несколько минут ребята нанесли столько сухих веток, что можно было не то что мастику сварить, а целого баранчика зажарить. Чик подsunул сухую хвою между камнями, сверху наломал тонких веточек, а потом наложил ветки покрупнее.

Он поставил на камни банку с мастикой, проверил, крепко ли она держится на камнях, а потом, вынув из кармана спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес огонь к сухой хвое. Она вспыхнула и затрещала. Поднялся клуб дыма, сильно запахло смолой. Ребята сидели вокруг огня и следили за тем, что происходит. Ника и Лёсик вообще впервые видели, как варится мастика. На дне коробки зашипела подтаивающая смола, как масло на сковородке.

— Начинается, — сказал Оник.

— Пусть меня сменит кто-нибудь, — напомнила о себе Сонька.

Чик ничего не ответил ей, даже не оглянулся. Он стал помешивать прутиком в банке.

— Чик, она все время сюда смотрит, — сказал Лёсик. Он понимал, что только им и захотят заменить Соньку, если придется. Он хотел, чтобы удлинити время ее дежурства за счет его плохого качества.

Смола в банке постепенно расплавлялась и закипала. Самородок Чика подтаивал и оседал. С каждой секундой он делался все меньше и меньше. Чик непрерывно помешивал прутиком в банке, чтобы там поменьше комочков оставалось.

Продолжая помешивать, он сорвал несколько стеблей папоротника, росшего у ручья, смял их, чтобы потом можно было ухватиться за горячую крышку консервной банки.

— Приготовиться, — сказал Чик Онику и Нике. Теперь Чик, щурясь от едкого дыма, все быстрее и быстрее помешивал кипящую массу, чтобы не подгорало на дне и не осталось ни одного нерастаявшего комочка. От самородка ничего не осталось, но Чик не жалел об этом, он знал, что его находка придаст всей мастике серебристый оттенок.

— Уже и то как вкусно пахнет, — сказал Лёсик, с удовольствием внюхиваясь в запах кипящей смолы.

Ника и Оник, присев на корточки над самым ручейком, растянули платок, держа его за углы,

— Чик, пора, — сказал Лёсик, боясь, что кипящая масса мастики перебежит через край.

— Должна три раза взойти, — сказал Чик важно, слегка приподымая банку и снова ее опуская на огонь. — Учись, как варить мастику.

— Хорошо, — сказал Лёсик и польщенно засопел.

После третьего восхода розовой кипящей и пузырящейся массы Чик, крепче обхватив крышку комком папоротника, осторожно приподнял банку, поднес ее к растянутому над ручьем платку и постепенно вылил содержимое в платок, стараясь попасть в середину. Платок грузно осел.

— Крутите быстрее, — сказал Чик.

Оник и Ника приподняли и свели края платка так, чтобы мастика никуда не выливалась.

— Чик, жжется, — сказала Ника.

— Подожди, — сказал Чик и, отбросив банку, осторожно взял у нее края платка.

Чик и Оник одновременно в разные стороны закручивали свои концы платка, стараясь, чтобы пылающая, расплавленная масса смолы оставалась в середине, а не за текала за края. Наконец они сжали ее в тугий аппетитный узел.

— Теперь все, — сказал Оник.

— Никуда не денется, — добавил Чик.

Чик и Оник, изо всей силы докручивая концы платка, сжимали и сжимали тугой комок с мастикой, пока золотистая, как мед, струйка не просочилась сквозь платок и не стала стекать на дно ручья.

— Идет! Идет! — крикнул Лёсик, пораженный впервые увиденным сотворением мастики.

Чик и Оник продолжали крутить платок, чтобы не дать остыть расплавленной смоле. Золотистый холмик, закручиваясь, поднимался со дна ручья.

— Рыжий! — неожиданно вскрикнула Сонька. Все обернулись к ней. — Правда, правда, — повторила Сонька, испуганно закивав головой.

— Ничего, — сказал Чик, докручивая. Дело было сделано, и теперь одна минута ничего не решала. Они докрутили платок, и Чик, с трудом разодрав слипшийся платок, посмотрел внутрь. Там оставался комок выжимки с кусочками древесины и хвои. Этот грязный комок ненужных веществ сам по себе радовал его взгляд как свидетельство чисто сделанного дела. Чик бросил платок в огонь. Теперь он ни на что не годился. Платок пыхнул и

в несколько секунд сгорел. Оник странно посмотрел на свой исчезающий платок.

— Пойду посмотрю, — сказал Чик и поднялся на край ложбинки. Он улегся рядом с Сонькой и стал выглядывать из-под куста.

— Вон там, — кивнула Сонька на кусты сассапарилия и ежевики. Это было метрах в пятидесяти от родника. Чик всмотрелся в кусты, но ничего подозрительного не заметил.

— Может, показалось? — спросил Чик. Рядом с ним шмякнулся Лёсик. Оник и Ника тоже залегли за кустом.

— Честное слово, — сказала Сонька, — два раза голова выглянула.

— Хоть бы я увидела этих рыжих, — шепнула Ника. Она училась совсем в другой школе и ни разу рыжих не видела.

— На вид они обыкновенные рыжие, — сказал Лёсик.

— Ха, на вид! — усмехнулся Чик, показывая, что ничто не может быть столь обманчивым, как внешность рыжих.

Несколько минут ребята всматривались в кусты сассапарилия и ежевики, но так ничего и не увидели. Вдруг вершина одного из кустов шевельнулась.

— Вон! Вон! — шепнула Сонька.

— Ну и что? Ветер, — сказал Оник, все же вполголоса.

И вдруг сразу из-за кустов появилась рыжая голова. Она со звериной осторожностью посмотрела вокруг себя и на несколько мгновений задержалась, повернувшись в сторону родника.

— Учуйал, — не то удивленно, не то испуганно выдохнул Лёсик.

Голова рыжего отвернулась. Теперь она не скрывалась в кустах. Он протянул руку и, сорвав молодой побег сассапарилия, отправил ее в рот. Вернее, отправил в рот кончик побега и, жуя, постепенно втягивал в рот весь стебель. Потом он снова обернулся в сторону родника и, перестав жевать, замер, прислушиваясь. Стебель продолжал торчать у него изо рта.

— У них нюх, как у волков, — сказал Оник шепотом.

— Их так и называют — рыжими волчатами, — пояснила Сонька для Ники, гордясь этой хоть и опасной, но

все же необычайной достопримечательностью своего края города.

Рыжий все еще смотрел в сторону родника. Но вот стебелек, торчавший у него изо рта, шевельнулся, потом задвигалась челюсть, и он, не меняя позы, вобрал в рот весь побег. Видно, что он совсем успокоился, потому что снова повернул голову, выискивая глазами свежие побеги сассапарилия.

— Я не знала, что их едят, — сказала Ника.

— Еще как, — сказала Сонька, — мама даже на базаре их покупает и готовит с орехами.

Теперь рыжий больше не оборачивался. Он стоял и мирно пасся в кустах. Иногда, фыркнув, громко выплевывал косточки от ягод. Видно, ягоды он поглощал вместе с побегами, когда они ему попадались. Даже не отделяет ягоды от листьев, с восхищением подумал Чик.

— Потихоньку назад, — сказал Чик. Ребята немного отползли от куста и, встав на ноги, вернулись в ложбину.

— Они что, дикие, что ли? — спросила Ника.

— Полудикие, — сказал Чик, окуная руки в ручей и вынимая оттуда уже остывшую и почти затвердевшую массу мастики. Чик помял ее в ладонях, вытянул колбаской, разделил, отметив ногтем пять равных частей, и сказал Онику: — Кусай!

Оник откусил первым, а потом все остальные. Теперь все с удовольствием жевали мастику, сплевывали накапливающуюся слюну, вынимали изо рта, мяли в руках, и, когда сгибали ее упругую массу, она на сгибе делалась золотистой и нестерпимо блестела.

— Чик, а ты говорил, она белая будет? — спросила Ника.

— Потом побелеет, — сказал Чик, жуя.

— Теперь за ягодами, чтобы пузыри пускать, — сказал Оник.

Ребята загасили костер, поливая его водой из банки. Закинули банку в кусты, разбросали камни самодельного очага, чтобы поменьше следов оставалось для рыжих. Потом углубились в рощу, так и не замеченные рыжими. Там, в начале рощи, тоже было одно место, где росли кусты сассапарилия. Чик и Оник хорошо знали это место.

— Неужели из-за этих ягод мастика будет делать

пузыри? — спросила Ника, когда они подошли к зарослям сассапарилля.

— Еще как! — в один голос сказали Оник и Чик.

Они стали рвать красные и зеленые ягоды сассапарилля величиной с чернику. Расколов ягоду зубами, они выплевывали плодик, а потом соскребали зубами тончайшую пленочку вокруг косточки. После этого косточка тоже выплевывалась, а пленочка вжевывалась в мастику. Достаточно было жевать десяток пленочек, как мастика делалась даже на прикус упругой, как резина.

— Какая нежная, — сказала Ника, сняв пальцем с кончика языка зеленовато-прозрачную пленку.

Первым выдул пузырь Оник. Чик не спешил. Чик продолжал жевать. Надо ее как следует разжевать, чтобы пузыри делались крупными и достаточно громко лопались.

— Я одного не пойму, — сказала Ника, — кто первым догадался, что надо сдирать пленочку, чтобы пузыри получались?

Чик даже перестал жевать, до того он поразился этому вопросу. Ему самому это не раз приходило в голову. Он никак не думал, что это и ей может прийти в голову, да еще с первого раза.

— Сам не знаю, — сказал Чик. Это в самом деле невозможно было понять, кто догадался первым соединить мастику с этой пленочкой.

— Так делают все с незапамятных времен, — сказала Сонька.

— Тогда кто догадался первым до незапамятных времен? — спросила Ника.

— Первобытные люди, — сказал Оник и выдул пузырь. Все посмотрели, какой у него получится пузырь. Пузырь у него получился хороший, величиной с персик.

— Первобытные люди мастику не жевали, — сказал Чик, дождавшись, когда лопнет пузырь.

— Тогда кто? — спросил Оник, слизывая языком кусочки мастичной пленки, оставшейся на губах от лопнувшего пузыря. Он посмотрел на Чика с выражением тусклого любопытства к вечности.

— Не знаю кто, но только не первобытные люди, — сказал Чик. Он был уверен, что первобытные люди мастику никогда не жевали. Тем более пузырями не пускали. Вообще лучше было об этом не думать. Это могло навести на мысли о началах и концах вообще. Чик не любил этих мыслей, но они иногда сами приходили, и от них некуда было деться.

Чаще всего они приходили на закате, в хорошую погоду, в теплое время года. Кроме того, Чик заметил, что в городе они приходили к нему гораздо реже, чем в деревне. Но и в городе приходили, если вдруг на улице встречалась похоронная процессия, или вечером возле моря, или днем где-нибудь в таком месте, как сейчас.

В таких случаях Чик с нежной печалью думал о непонятности строения Вселенной. Вот, например, наша планета, думал Чик, с ее горами, зелеными долинами, теплыми морями — это понятно, это хорошо. А вот дальше идут звезды, а за этими звездами другие звезды, а за другими звездами еще другие неведомые звезды. Ну а дальше что? То, что некоторые звезды на самом деле планеты, на которых, может быть, есть жизнь, служило очень слабым утешением. А что дальше, дальше что? Вот что было непостижимо. Если Вселенная имеет конец, то что за этим концом? А если она его не имеет, то как это представить? Да и как это может быть, чтобы какое-то расстояние длилось, длилось, длилось и никогда, никогда не кончалось?

Душа Чика ни конца Вселенной не могла принять, ни отсутствия этого конца. Вот что было удивительно. И Чик, когда об этом думал, заранее понимал, что ни один из взрослых ему не ответит на этот вопрос. Ведь ответ взрослого мог бы означать одно из двух: или есть бесконечность, или есть конец. Но Чик никак не мог принять такую бессмысленность. Может быть, есть что-то третье, но что?

И еще вот что было удивительно. Сначала об этом думалось с нежной печалью, даже как-то сладко-сладко становилось. Так бывало, когда в школе решаешь задачу и чувствуешь, что идешь по правильному пути. Значит, думая об этом, вспоминал Чик, я решаю какую-то нужную задачу и иду по правильному пути, поэтому сначала хоть грустно, но грусть приягная. Но потом я чувствую, что решение уходит куда-то и я не могу найти ответа, и тогда становится тоскливо.

В такие минуты Чик ругал себя за то, что стал думать об этом, до того ему делалось тоскливо. Но не думать он уже не мог. Он и думал и тосковал по бездумью. Если это было в деревне, он тосковал по беззаботной городской суете, где ни дети, ни тем более взрослые об этом не думают. Хорошо им там не вспоминать об этом, с завистью думал Чик и хотел туда, в город, в родной двор, в забвение суеты. Тоска эта доводила Чика до ощу-

щения какого-то космического сиротства, особенно если его не прерывали или тем более не звали на ужин.

Если же звали на ужин, в первые минуты Чик, входя в кухню, никак не мог взять в толк, как это все эти мужчины и женщины, его родственники, могут говорить о каких-то шнурометрах табака, о каких-то там бригадирах, которые вечно чего-то там недоприписывают? Как это можно обо всем этом говорить, когда еще не решен вопрос, где конец Вселенной и как он может быть вообще?

Но потом постепенно у веселого очажного огня, кусая пахучий кусок вяленого мяса, дую на горячую мамалыгу, Чик чувствовал с некоторым легким смущением, как его тоска быстро улетучивается куда-то и он теперь с удовольствием вслушивается во взрослые разговоры. А думал он в такие минуты, вспоминая о началах и концах, но не чувствуя их, что потом когда-нибудь додумает это.

Поэтому Чик и сейчас, чтобы случайно не задуматься об этом, решил приняться за пузыри. Он как следует помял в руках мастику, сунул обеими руками расплющенный комок в рот, вытянул его языком, стараясь нигде не придавить, убрал язык и дунул в образовавшийся мешочек. Пузырь получился неплохой, но все-таки у Оника он был гораздо крупней.

Теперь все делали пузыри, и они то и дело лопались. Ника сразу же научилась делать пузыри, у нее был длинный, ловкий язык. У бедняжки Лёсика и пузыри получались кривобокими, потому что у него язык плохо ворочался. Но за этот день он столько увидел и столько достиг, что можно было им гордиться. Так думал Чик, с удовольствием гордясь им и тем самым гордясь собой. Все-таки кто бы взял такую обузу, как Лёсик, думал Чик, мысленно пробегая по рядам знакомых ребят с их улицы или из школы, и все они малодушно или презрительно отворачивались от Лёсика. А вот я взял, думал Чик, поглядывая на Лёсика с отцовским умилением. Взял, хотя будет очень трудно на обратном пути громоздить его на стену. Ничего, думал Чик, как-нибудь взгромоздим, зато он всю жизнь будет помнить этот поход за мастикой.

Ребята пошли обратно и снова вышли к таинственному домику, во дворе которого жил щенок волкодав. Щенок сидел посреди двора и грыз кожаную тапку. Он не обратил на них внимания, хотя они подошли к само-

му забору. Знаем, знаем, подумал Чик, это твой старый трюк.

— Я его отвлеку, а вы проходите к ивжиру, — сказал он остальным, просовывая руку между планками штакетника и отодвигая щеколду калитки.

Пожевывая мастику, он вошел во двор и направился к щенку. Тот на мгновение оторвался от тапки, посмотрел на Чика и мотнул головой.

«Не хочу играть!» — сказал он Чику этим движением головы и снова взялся за тапку.

Что за черт, подумал Чик, ничего не понимаю. И в это мгновение в доме скрипнула дверь и на веранде появилась женщина. Чик даже испугался — до того это было неожиданно, а главное, что женщина была Чику хорошо знакома. Звали ее тетя Лариса. Она довольно часто приходила к тетушке в гости. Они обе были горбоносенькие, и у обеих брови срастались на переносице. Чик считал, что это сходство помогло им сдружиться. Им легко было хвалить и считать друг друга красавицами. Потому что, если одна называла другую красавицей, получалось, что это она про себя говорит. Во всяком случае, тетушка считала, что вся ее цветущая юность прошла в боях с легионами женихов, которые штурмовали ее как крепость. Но взять крепость сперва почему-то удалось какому-то старенькому персидскому консулу, а уж второй раз дядя Чика, как считал Чик, и крепость одолел, и консула прогнал, и сам засел в этой крепости. На самом деле тетушка сама прогнала консула, а уж потом вышла замуж за дядю, но этого Чик тогда не знал. И вот вдруг он оказался во дворе тетушкиной подруги.

— Чик, — страшно удивилась эта женщина, — что-нибудь случилось?

— Ничего, — сказал Чик, — мы мастику собирали.

Тут тетя Лариса увидела и остальных ребят, все еще стоявших за забором.

— Ах, мастику, — сказала она, улыбнувшись, потому что обрадовалась, что ничего не случилось. — Проходите, детки. А дома знают? — с тревогой спросила она у Чика.

Чик ожидал этого вопроса.

— Конечно, — сказал он. Чик считался правдивым мальчиком, потому что врал очень скупое, только по необходимости.

Из домика, дожевывая хлеб, вышел подросток. Это

был ее сын Омар. Он несколько раз приходил со своей мамой, когда надо было тащить фрукты, которые они приносили тетке в подарок. Но Чику с ним не удавалось поговорить, потому что он сразу же уходил или играл на улице со своими сверстниками.

Иногда тетя Лариса приходила одна, с большим букетом цветов. В таких случаях тетушка преувеличенно суежилась вокруг цветов, чтобы незаметно было, что на самом деле ей гораздо больше нравится, когда приносят фрукты.

— А где наш Омарчик, я скучаю по нашему золотому Омарчику, — говорила тетушка, сажая тетю Ларису за свои бесконечные чаи. Чик не только понимал, что она говорит одно, а думает другое, он прямо-таки чуть ли не над каждым сказанным словом мог поставить подразумеваемое.

«А где ваши фрукты? Я соскучилась по вашим персикам, яблокам, хурме!» — вот что на самом деле означали тетушкины слова.

Тетя Лариса уставилась на детей, смутно узнавая их.

— А эта синеглазка не дочь Патарая? — спросила она у Чика, кивнув на Нику.

Ребята стояли за Чиком, сдержанно, через два-три положенных такта, пожевывая мастику.

— А вы знаете моего папу? — расцвела Ника и потянулась к тете Ларисе с благодарным вниманием.

— Конечно, знала, — вздохнула тетя Лариса, — бедный Пата...

Она еще что-то хотела сказать, но Чик сделал самые страшные глаза из всех, какие мог, показывая, что об этом нельзя говорить.

— Что с тобой, Чик? — глупо удивилась тетя Лариса и сделала круглые глаза. Все-таки, видно, она что-то почувствовала, потому что больше ничего не стала говорить.

— Вот Чик дает! — засмеялся Омар, увидев, что Чик сделал страшную морду. Он, конечно, и вовсе ничего не понимал.

— Ребята, может, поедите инжиру? Вон там скоро-спелка растет, — кивнула она в сторону стены.

— Нет, — сказал Чик за всех, — нам не хочется...

— Тогда открой им ворота, Омар, — сказала тетя Лариса, лучезарно улыбаясь. — Скажи тете, что в субботу приду.

Раз уж вам ничего не хочется поесть, вы хоть возьмите мою прекрасную улыбку, казалось, хотела она сказать, глядя им вслед.

— Хорошо, — сказал Чик и пошел к лестнице. У него немного отлегло на душе. Он очень боялся, что тетя Лариса скажет еще что-нибудь про отца Ники. С этими взрослыми трудно дело иметь, думал Чик, они ничего не понимают.

— Чик, Чик, — вдруг окликнула его тетя Лариса, что-то вспомнив.

Чик остановился. Вся его команда тоже остановилась.

— Я сейчас тебе роз нарежу, подожди! — крикнула она.

— Что вы, тетя Лариса! — закричал Чик, страшно испугавшись. — Мы сейчас не домой идем... Мы идем в гости...

— Вот и хорошо, — согласилась тетя Лариса, — придете в гости с розами.

— Я хотел сказать, мы не в гости, мы в парк кататься на гигантских шагах, — лихорадочно поправился Чик, злясь на тетю Ларису, что она его вынуждает врать и при этом довольно глупо.

— Жаль, — сказала тетя Лариса, — такие розы пропадают.

— Мне тоже жалко, — согласился Чик, — но что поделаешь.

Тетя Лариса повернула к дому, а Омар вприпрыжку через одну-две ступени стал спускаться к ним.

У нее розы пропадают, а я должен позориться, подумал Чик. Сейчас появиться на полянке с охапкой роз все равно что навеки себя похоронить. Проще принести их на свою могилу, чем ходить с ними по улицам.

— Какие гости, какой парк? — спросила Сонька, разводя руками, — нас и так уже ищут, наверное...

— Это он с понтом, — сказал Оник, понимая, почему Чик отказался от роз.

— Так я бы понесла, — добавила Ника, пожав плечами.

Чик ничего не ответил. Он посмотрел на Нику. Она как-то скучно притихла, как будто отделилась от всех. Хуже нет, подумал Чик, чем хранить чужую тайну. Он решил не обращать на нее внимания, чтобы она успокоилась, если что-то заподозрила. А может, и не заподо-

зрила, подумал Чик, успокаивая самого себя. Может, она просто так притихла.

Лестница была длинная и крутая. Время от времени она расширялась до размеров площадки, на которой с обеих сторон стояли каменные скамейки.

По обе стороны от лестницы, за каменным барьером, росли розы, георгины, карликовые пальмы и всевозможные кактусы, один уродливее другого. Чик знал, что эти площадки сделаны для того, чтобы князь со своей свитой, поднимаясь по лестнице, отдыхал на каждой площадке и нюхал цветы.

Чем ниже они спускались, тем больше волновался Чик, думая о предстоящей драке. Если бы этот Омар хоть бы постоял рядом, когда они будут драться. Чик считал бы, что ему повезло. Но сам говорить ему об этом Чик не хотел. Это было бы очень стыдно. Если бы само собой в разговоре случайно он узнал о предстоящей драке в невыгодных для Чика условиях, тогда другое дело.

— А вы давно здесь живете? — начал Чик издалека.

— Всегда, — ответил Омар, останавливаясь и оглядываясь на Лёсика. Он все никак не мог понять, почему Лёсик отстаёт, хотя понять это было проще простого. Такая непонятливость ничего хорошего не сулила, и Чик пожалел, что начал разговор очень уж издалека. — ...Здесь же государственный сад, — продолжал Омар, — а мой папа работает садовником...

Слова о государственном саде прозвучали со странной внушительностью, как если бы эти фрукты предназначались не для еды, а для какой-то символической цели, например для сельскохозяйственной выставки или для какого-нибудь праздничного парада, чтобы пронести их.

— Я знаю, — сказал Чик и, показывая свою осведомленность, добавил: — До революции здесь жил князь...

— Точно, — сказал Омар, — отец его помнит, он у него садовником работал...

Вот это да, подумал Чик, и у князя садовником работал, и у нас.

Он очень удивился этому, но постарался скрыть свое удивление, чтобы не огорчать Омара.

Они уже подходили к воротам, и Чик почувствовал, что никак не сумеет случайно намекнуть Омару о предстоящей драке. Сквозь узоры решетчатых ворот Чик успел заметить, что ребята все еще на полянке, хотя уже и не играют в футбол. Он понимал, что Бочо среди

них, хотя его и не было видно. Сгрудившись, они сидели посреди полянки. Хозяин мяча сидел на своем мяче, как на трибунке, вполне законно возвышающей его над остальными.

Скрежеща ключом, Омар открывал ворота, и Чику теперь хотелось хотя бы задержать его у ворот, чтобы ребята на полянке заметили его в обществе этого внушительного подростка.

— Омар, а почему маслины у вас не родятся? — спросил Чик в отчаянии, пытаясь его задержать.

— Ну их к чертовой матери, эти маслины! — неожиданно вспыхнул Омар и, открыв скрипучие ворота и нетерпеливо придерживая их, пропустил ребят наружу. — Из-за них у отца знаешь какие неприятности?!

— Да, я знаю, — подтвердил Чик тоскливо, чувствуя, что разговор не получился.

Омар, видно, тоже почувствовал, что слишком резко обошелся с Чиком, хотя и не знал, что Чику надо.

— Заходи, — кивнул он уже из-за ворот, — у нас есть кое-что повкуснее этих вонючих маслин.

Громыкнув закрытым замком, чтобы проверить его надежность, Омар исчез, и ребята остались одни. Главное, что на полянке так ничего и не заметили.

Ребята пошли через полянку. Чик старался шагать как можно независимей. Он даже решил, как только поравняется со всей этой компанией, пустить пузырь.

Через несколько секунд их заметили. Чик не смотрел на них, но он это понял по тишине, которая воцарилась на поляне. Это была неприятная, насмешливо-ожидательная тишина. Пора пускать пузырь, подумал Чик, почувствовав, что поравнялся с ними. Он сунул язык в расплюснутую мастику и выдул довольно приличный пузырь. Пузырь лопнул ему в лицо.

— Чик, — крикнул Шурик, дождавшись, чтобы пузырь лопнул. Все-таки ему было интересно посмотреть, какой получится пузырь.

Чик обернулся, словно только что всех их заметил.

— Или ты дерешься с Бочо, — сказал Шурик, — или ты честно говоришь, что сдрейфил.

Чик оглядел всех сидевших и лежавших на траве и успел заметить, как Бочо глупо и горделиво улыбается. Он сделал вид, что только что вспомнил об обещанной драке. Он медленно слизнул в рот пленочки мастики, оставшиеся под носом и на подбородке, и, продолжая жевать, спокойно сказал:

— Всегда готов!

Глаза у ребят загорелись от любопытства. Бочо не в силах был сдержать блудливой улыбки, до того выгодные условия драки предстояли ему.

— Чик, не дерись, их много, а ты один! — бесстрашно крикнула Сонька.

— Глупости, — сказал Чик и подошел к ребятам. Он считал, что пока он очень здорово держится и дай бог держаться так до конца.

Все встали, предвкушая удовольствие поглазеть на драку. Только хозяин мяча продолжал, покачиваясь, сидеть на своем мяче.

Широкоплечий и большоголовый Бочо, глядя на Чика, как-то снисходительно улыбался, словно ясно видел побежденного и опозоренного Чика. Переносить эту улыбку было ужасно неприятно.

— Здесь будем? — спросил он своим сильным голосом.

— Где хочешь, — сказал Чик, чувствуя, как челюсть его, жующая мастику, сама остановилась. Чик усилием воли снова принялся жевать, стараясь ничем не выдать своего волнения.

— Так давай! — просипел Бочо и стал подходить к Чику, внимательно всматриваясь в него, чтобы не пропустить признаки робости или нерешительности.

«Неужели так сразу, так быстро?!» — содрогнулся Чик внутренне, в то же время ни на секунду не забывая, что никак нельзя показывать своего страха.

— Оник, держи. — Чик вынул мастику изо рта и, не спуская глаз с надвигающегося Бочо, протянул назад руку.

Раньше Оника подбежала к нему Сонька ихватила мастику.

— Чик, их много, а ты один! — опять бесстрашно крикнула Сонька.

— Ничего, — сказал Чик, продолжая внимательно смотреть на Бочо. Чик был уверен, что никто не вмешается в драку, потому что это были ребята с соседней улицы, и они знали Чика. Но все-таки, когда все «болеют» за твоего противника, до чего же неприятно драться. Вдруг Бочо остановился в нескольких шагах от Чика.

— Если хочешь, отойдем, — кивнул Бочо на край поляны, где начиналась стена. Сейчас, когда у него было столько болельщиков, он хотел показать, что он в них не нуждается. Наверное, ему и в самом деле так казалось.

— Как хочешь, — сказал Чик, радуясь передышке, но показывая, что не боится никаких болельщиков.

— Ребя! — заорал Бочо изо всех сил. — Вы стойте здесь, а мы пойдем подеремся!

Он мог это сказать гораздо тише, но он хотел своим голосом напугать Чика. Голос у него в самом деле был внушительный. Главное, он здорово хрипел и даже си-пел. Чик его отчасти за этот голос уважал, но не ей-час, когда он его пугал этим голосом.

— Давай! — радостно отозвались ребята. — Мы будем отсюда смотреть, как ты его отколошматишь!

Чик и Бочо решительно направились в сторону стены.

— Чтоб не фасонил со своей москвичкой! — крикнул вслед один из ребят. В его голосе прозвучала вечная слободская ненависть вот к таким чистеньким, хорошо одетым девчонкам, как Ника. Чик совершенно неуместно полезла в голову какая-то мысль насчет бедных и богатых. Но он ее не успел додумать, да и не хотел додумывать, это она сама полезла ему в голову, когда он услышал голос этого мальчишки.

— Она не москвичка, — услышал Чик просящий мира голос Оника, — она в нашем дворе живет...

— А фасонит, как москвичка, — уверенно сказал тот же голос, и Чик показалось, что он услышал, как тот презрительно цвиркнул сквозь зубы слюной, хотя услышать это было никак невозможно.

— Чик, не бойся, мы здесь! — вдруг пронзительно крикнула Сонька, и голос ее обдал Чика какой-то великолепной волной бодрости, хотя он и понимал, что помощи от своей компании ждать бессмысленно.

Услышав Сонькин крик, ребята с улицы Бочо захотали, до того им это показалось смешным.

— Лёсик, а-а-сто-рожна, у-па-дешь! — гадливым голосом пропел Шурик и фальшиво захохотал, показывая хохотом, чего стоит Чик и вся его команда.

Чик и Бочо стояли в двух шагах друг от друга. Они еще как-то недостаточно подогрелись для драки. Бочо угрюмо, исподлобья глядел на Чика, стараясь припомнить какую-нибудь старую обиду. Но, видно, обида не припоминалась, и Бочо начинал злиться на Чика за то, что он никак не может припомнить какую-нибудь стоящую обиду. Чик это чувствовал.

— Ха! — вдруг хрипло усмехнулся Бочо, глядя на Чика. Что-то унижительное было в его усмешке.

— Чего смеешься? — спросил Чик и бегло оглядел себя.

— Ха! — усмехнулся Бочо еще более хрипло и добавил: — Посмотри на мои плечи и на свои.

Это была правда. Бочо был куда шире Чика, зато у Чика грудь была намного здоровее, чем у Бочо, и Чик это знал.

— А грудь? — сказал Чик и, набрав воздуха, изо всех сил растопырил ее.

— Что ты мне суешь свою грудь! — страшным голосом захрипел Бочо.

— А что ты мне суешь свои плечи! — ответил ему Чик, собрав все свое мужество. Все-таки Бочо здорово его подавлял своим голосом.

Вдруг Бочо протянул руку и молча приложил ладонь к его груди. Чик прямо растерялся, до того это был страшный и непонятный жест.

— Ты чего меня лапаешь? — в ужасе крикнул Чик. — Хочешь драться — дерись!

— У тебя сердце дрожит, я слышу! — закричал Бочо радостно. — Вот до чего ты меня дрейфишь!

Сердце Чика и в самом деле страшно колотилось. Но какое он имел право дотрагиваться до Чика и слушать, как стучит его сердце?!

«Ах, ты так!» — подумал Чик, и в это же мгновение его осенила военная хитрость.

Он приподнял голову и как бы украдкой бросил многозначительный взгляд наверх, в сторону домика, где жила тетя Лариса. Бочо сразу же клюнул. Он тоже поднял голову и, посмотрев туда, снова уставился на Чика, теперь уже подозрительно.

— Ты чего туда смотрел? — спросил он не так уж хрипло, как раньше.

— Никуда я не смотрел, — сказал Чик, успокаиваясь оттого, что Бочо начинал волноваться.

— Нет, смотрел.

— Нет, не смотрел.

— Может, скажешь, что ты с Омаром знаком? — спросил Бочо.

Чик промолчал. Надо было, чтобы рыба получше села на крючок.

— Чего молчишь? Скажи, скажи, — насмешливо торопил его Бочо. На самом деле он начал тревожиться.

— Он мой троюродный брат, — нахально отчеканил Чик.

— Ха! — хрипло усмехнулся Бочо, думая, что поймал Чика. — Тогда почему по стене лезли?

— Потому что их дома не было, — сказал Чик, чувствуя, что Бочо сам себя загоняет в ловушку.

— А сейчас? — раздраженно просипел Бочо.

— А сейчас они дома, — сказал Чик, чувствуя, как тело его освобождается от страха, легчает.

— Ребя! — крикнул Бочо, как бы отчасти жалуясь и раздражаясь из-за того, что они его подвели. — Он говорит, что Омар его брат?!

— Не верь, не верь, — крикнул Шурик, как человек, больше всех заинтересованный в победе Бочо, — он все придумал!

— Пусть скажет, как зовут его маханю! — крикнул тот мальчик, который назвал Нику москвичкой.

— Да, — снова оживившись, прохрипел Бочо, — скажи, как зовут его маханю?

— Тетя Лариса, — сказал Чик презрительно.

— Ребя, — крикнул Бочо с отчаянной надеждой, — он говорит, тетя Лариса!

— Правильно, — мрачно подтвердили ребята.

— Правильно! — крикнула Сонька и даже подпрыгнула от радости. — Она к ним часто в гости ходит.

— Ненавижу ехидину! — крикнул Бочо и ринулся на Чика. Другого выхода у него не было.

Чик почувствовал страшный удар в скулу, голова его загудела, и он бросился в драку, как в воду. Чик слышал за спиной топанье бегущих ребят. Он и так знал, что, как только начнется драка, все прибегут. Но теперь ему ничего не было страшно. Он изо всех сил махал руками, стараясь попасть в раздваивающееся и мелькающее лицо Бочо, не чувствуя ударов, которые тот ему наносил.

Главное — стараться попасть в лицо, в которое почему-то до удивления, какое бывает во сне, трудно попасть, и оно все время расплывается, и только отовсюду смотрят темные глазищи Бочо и мелькает его лобастая стриженная голова. Иногда они сцепляются, потом расцепляются, изредка обмениваясь яростными словами.

— Получай на закуску!

— Ах, ты плашмя?!

— Вот тебе, вот тебе, головой!

Сопение, крихтенье, тяжелое дыхание, обмен ударами и обмен впечатлениями от ударов. Но время идет, и Чик чувствует, как тяжело наливаются руки и тело, как

они слабеют с какой-то непонятной быстротой, как все трудней и трудней дышать. Неужели, думает Чик, чувствуя, что начинает теряться, неужели только я так устал? И почему у меня дыхание кончается, как же моя широкая грудь?

И вдруг Бочо хватается за лоб и мгновенно выходит из круга, образованного прибежавшими ребятами. Чик ничего не понимает, у него перед глазами все покачивается, но он чувствует, что случилось что-то радостное, неожиданное.

Бочо некоторое время стоит, пригнувшись, и ладонью щупает лоб.

— Фонарь? — вдруг спрашивает он, опустив руку и удивленно оглядывая всех.

— Фонарь! — подтверждает тот, что назвал Нику москвичкой, и переводит взгляд на Чика, словно только сейчас заметив какие-то интересные подробности в его облике, которых он раньше не замечал.

Чик смотрит на Бочо. Все смотрят на Бочо. У Бочо над глазом появилась огромная шишка.

— Фонарь? — спрашивает Бочо и оглядывает друзей с какой-то трогательной надеждой, что они его разуверят в этом.

— Фонарь, фонарь, — подтверждают все удивленно и с посвежевшим интересом к его личности смотрят на Чика.

— Ой-ой-ой! — неожиданно запричитал Бочо, снова схватившись за лоб. — Что я дома скажу? Что я дома скажу?!

— Ничего, — сказал Чик, — надо холодное... Оник, дай свой пятак...

Оник неохотно вынул из кармана тяжелый царский пятак и протянул Чику. Чик взял пятак и, подойдя к Бочо, приложил его к шишке. Чик чувствовал, что каждое его движение сейчас уверенно и свободно и никому не может прийти в голову, что он подлизывается или как-то слишком расчувствовался. И Бочо с такой трогательной надеждой и доверчивостью смотрел на Чика, так безропотно надеялся на его помощь, так глубоко был поглощен возможностью предстоящего наказания родителями, что Чик чувствовал, как внутри у него все переворачивается от нежности и благодарности к Бочо за эту прекрасную победу.

— Смачивай в воде и прикладывай, — говорит Чик, — а пятак потом когда-нибудь отдашь...

Оник с молчаливым упреком посмотрел на Чика в том смысле, что ему хорошо быть щедрым за счет других. Чик ответил ему на это восторженным взглядом, показывая, что в часы великих побед нельзя считаться с такими мелочами. Чик краем глаза заметил, что Шурик старается не попадаться ему на глаза, прячется за спинами ребят, как предатель Мазепа.

Уходя со своей командой, Чик напряг слух. Он чувствовал, что он должен что-то очень приятное услышать за спиной. И он в самом деле услышал. Он услышал целую фразу, которая потрясла его своей былинной красотой.

— Ребята, ну и колотушка у этого Чика, — сказал кто-то.

Зарево славы подымалось за его спиной. Чик ощущал в своем теле необыкновенную легкость. Он почти не чувствовал земли. Он почти ничего не видел и не слышал. Что-то радостно лопочут друзья, Сонька ему сует мастику, но он ее почему-то положил не в рот, а в карман. Потом появились какие-то волнения, стали говорить, что нас, наверное, ищут, что нам, наверное, попадет. Кого ищут, чего ищут? Он только чувствовал какую-то легкость, легкость и музыку. Будто слышится какой-то оркестр, вроде тех предпраздничных оркестров, которые за несколько дней до праздника начинали шагать по городу, как бы пробуя будущее веселье. Чик страшно любил эти пробы будущего веселья и, бывало, как только услышит такой оркестр, вместе с Белочкой выбегал на улицу и долго-долго провожал его.

— Чик, — вдруг донеслось до него сквозь музыку оркестра, — я тебе что-то хочу сказать.

Они уже шлепали по тротуару, вот-вот свернут на свою улицу. Это был голос Ники.

— Ага, — сказал Чик, не останавливаясь и не оборачиваясь, потому что никак не хотел упускать музыки, которую он слышал, — говори...

— Только один на один, — сказала Ника, и Чик по ее голосу почувствовал, что она остановилась. Ему стало тревожно.

— Что? — спросил Чик, останавливаясь и с легкой досадой чувствуя, что музыка уходит вперед; ну ничего, догоню, подумал он. — Вы идите, — кивнул он остальным.

— Чик, — тихо сказала Ника и прямо посмотрела ему в глаза своими темными от густоты синевы глаза-

ми, — почему эта женщина сказала про папу «бедный»?

Чик сразу все вспомнил.

Он вспомнил, что все это время, пока они спускались с лестницы и пока он готовился к драке, она как-то замкнулась и съежилась. Теперь он понял, что она все время думала о словах тети Ларисы...

— Просто так, — сказал Чик, — женщины всегда так говорят.

— Нет, — сказала Ника и с какой-то упрямой силой посмотрела ему в глаза, — разве мой папа никогда не вернется?

Чик вдруг почувствовал, что музыка, все еще игравшая вдалеке, вдруг смутилась и смолкла. У Чика мурашки побежали по спине. Неужели она все знает, подумал он.

— А разве он вам не пишет? — осторожно спросил Чик.

— Редко, и мне отдельно, и маме отдельно, — тихо сказала она, — а раньше, когда ездил в командировки, он всегда нам вместе писал...

— Что тут такого, — сказал Чик и радостно, оттого, что это было в самом деле так, вспомнил, — мой дядя, когда ездит в командировки, иногда пишет всем отдельно...

Чик почувствовал, что она поддается. Глаза ее потеплели, в них уже не было той упрямой твердости, с которой она смотрела на него вначале. Но его это почему-то не обрадовало. Он почувствовал, хотя и не осознавал, что она не убедилась в правильности того, что он говорил, а снова покорилась неизвестности. Чик это почувствовал.

— Но почему так долго, Чик? Уже девять месяцев прошло, — сказала она.

— Покамест все выяснят, — начал Чик и впервые с раздражением подумал о тех, кто и в самом деле так долго выясняет: знал отец Ники, что начальник, перед которым он танцевал, вредитель, или не знал? То, что сам начальник мог и не быть вредителем, Чику и в голову не приходило.

— Что выяснят? — спросила Ника и удивленно посмотрела ему в глаза.

— Чик, — крикнула Сонька, — нас, может, ищут, а вы там шепчетесь!

Чик обернулся. Сонька на него смотрела взглядом

женщины, устающей от бесплодной любви. Чик удивился этому взгляду, потом вспомнил о его неуместности и раздраженно отмахнулся. Он и так чуть не проговорился, а тут еще Сонька пристаёт со своей дурацкой ревностью.

— Как что выяснят! — ответил он Нике. — В командировке всегда что-нибудь выясняют.

— Я его люблю больше всех, — сказала Ника, — я его буду ждать до гроба.

Чик почувствовал, что она повторила чьи-то слова, наверное, собственной мамы.

— Еще бы! — с жаром подхватил Чик, напав на благодарную тему, где можно ничего не выдумывать. — Еще бы такого не любить. Мой дядя говорит, что он великий танцор, что он мог танцевать на рюмке... Представляешь, такая маленькая рюмочка и на ней взрослый человек танцует?! Я на перевернутом ведре и то бы не смог танцевать, а он на рюмке...

— Ну, вы идете или мы пошли! — со злостью крикнула Сонька.

Глупая, подумал Чик, обернувшись, тут совсем другое дело.

— Пошли, — сказал он Нике таким тоном, словно теперь уже все стало ясно. Но он понимал, что далеко не все ясно, и это его все-таки смущало. Он попробовал прислушаться к той музыке, которую слышал до разговора с Ни~~к~~ой, но не услышал ее. Оркестр куда-то скрылся.

Только они дошли до угла своей улицы, как лоб в лоб столкнулись с соседским мальчишкой Абу.

— Чик, вас ищут, — радостно крикнул он, — думают, вы утонули.

— Я жё говорила, я же говорила, — затараторила Сонька, гневно поглядывая на Нику. Лёсик от волнения расплылся в улыбке. У Чика тоже что-то неприятно кольнуло в груди.

Абу стоял перед ними, любуясь их растерянностью и смущением.

— Чик, это правда, что ты фонарь поставил Бочо? — вдруг спросил он, перестав любоваться их растерянностью.

Чик непроизвольно улыбнулся. Слава обгоняла его и выходила навстречу.

— Да, — сказал Чик, не в силах сдвинуть расползающиеся в улыбке губы, — но откуда ты узнал?

— Да тут один проезжал на велике и сказал, — от-

ветил Абу и с посвежевшим уважением, как те на поляне, взглянул на Чика. — За мастикой ходили?

— Да, — сказал Чик доброжелательно, — а правда, что нас здорово ищут, или треплешься?

— А-а-а! — махнул Абу рукой. — Немножко искали и бросили... Пойду посмотрю, какой ты фонарь поставил Бочо.

— Он, наверно, уже домой ушел, — сказал Чик.

— Ну тогда поиграю в футбол, — ответил Абу и пошел дальше.

Ребята радостно заработали челюстями и пошли своей дорогой. Все-таки хорошо, что Абу их успокоил. Когда они зашли за угол, Чик сразу же увидел на балконе сутулую спину Алихана, склоненную над игровой доской. Он играл в нарды с Богатым Портным. Ясно, что Богатому Портному сейчас не до Оника. Оник сразу же повеселел.

В сущности, Богатый Портной и тетушка были главными паникерами. Но тетушка тоже, как и Богатый Портной, если увлечется чем-нибудь, могла и не вспомнить о его существовании...

Чик заметил, что Белочка сидит у калитки и смотрит в их сторону. Видно, она их еще не узнала, но почувствовала что-то знакомое. Чик не хотел подавать голоса, чтобы с балкона на них не обратили внимания. Он только всплеснул руками и ударил ими по ногам, как если б сидел на скамейке и приглашал ее на колени. Белочка мгновенно склонила набок голову, и, когда Чик повторил этот жест, она сорвалась с места и помчалась навстречу. Она бежала своей боковой побегой, которую Чик так любил, и она его всегда так смешила.

Белочка с разгону налетела на Чика и в прыжке несколько раз лизнула ему лицо. Потом она для приличия лизнула Оника и Соньку, не слишком скрывая, что больше всего обрадовалась Чикю. Она бегала вокруг них, визжала и прыгала... Она очень соскучилась и совсем не помнила, что Чик ее обидел. Ну, где можно еще отыскать такую веселую, добрую собаку? Нет, подумал Чик, с этим собаколовом надо что-то делать, иначе не будет спокойной жизни.

Ребята приближались к дому. С каждым шагом Чик чувствовал, что слабеет и слабеет их походный уют, вот-вот совсем распадется, потому что каждый сейчас занят собственной тревогой встречи со своими родителями.

Чик у всегда бывало немножко грустно в такие часы. Но ничего не поделаешь, он и сам сейчас занят этой тревогой. Поэтому ему было приятно, что рядом кружится Белка, словно он с ней особенно и не расставался, словно так: вышли немного погулять, а теперь возвращаются домой. Одомашненный тем, что Белочка была рядом, Чик подходил к дому с плутоватой и, может, потому тайно веселящей надеждой на безнаказанность.

ЧАЕПИТИЕ И ЛЮБОВЬ К МОРЮ

Было около одиннадцати часов утра. Тетушка сидела на веранде на своем обычном месте перед распахнутым окном, откуда хорошо просматривался двор. Недаром место это называлось «капитанским мостиком».

Отсюда она не только наблюдала за жизнью двора, но и нередко вмешивалась в нее, иногда полностью меняя ход тех или иных коммунальных баталий. Чика всегда поражало то мгновение, та неуловимая неожиданность, когда тетушка из постороннего наблюдателя и миротворца превращалась в соучастника скандала.

Какое-то пустячное слово, какой-то пренебрежительный жест мог послужить детонатором ее взрывного характера. Но сегодня, слава богу, и во дворе все было тихо, и тетушка была особенно благодушно настроена.

Тетушка пила чай с пирожками и персиками и угощала Евгению Александровну, новую соседку по двору, которая недавно вместе с мужем и сыном Эриком переехала сюда жить.

Чик тоже пил чай, но, в отличие от тети, нарезавшей в свой стакан весь сочащийся, исходящий соком персик, он съел его отдельно, а чай с пирожками пил отдельно. Чик у казалось, что Евгения Александровна тоже хотела бы съесть свой персик отдельно, но тетушка сама нарезала ей в стакан персик, говоря, что чай с персиком это совершенно особый деликатес.

Вообще тетушка любила пить чай. Впрочем, кофе тоже. Но в чай, в отличие от кофе, она всегда что-нибудь клала. Если были лимоны, она пила чай с лимоном; если лимонов не было, пила с мандаринами, с яблоками, с клубникой или, как сейчас, с персиками.

Дядя Коля, сидевший в углу веранды за отдельным столиком, тоже, как и Чик, выпил свой чай с пирожками отдельно, а персик съел отдельно. Всем досталось по

персику, но в вазе, стоявшей прямо перед Чиком, оставался еще один персик, и Чик был сильно озабочен его судьбой: кому он достанется?

Тетушка вроде про него и забыла, но взять самому было неудобно, потому что тетушка могла остановить его попытку и, не стесняясь присутствия малознакомой женщины, пристыдить его.

Чтобы обратить внимание тетушки на этот неиспользованный персик, Чик несколько раз отгонял от него мух, а один раз даже раздраженную осу. Он ждал, что тетушка обратит на это внимание и в конце концов скажет: «Съешь, Чик, этот персик, чтобы не собирать здесь мух!»

Но тетушка, увлеченная разговором, не замечала Чика, и судьба последнего персика оставалась неясной.

Еще сильной, чем судьбой персика, Чик был озабочен необходимостью выпросить у тетушки разрешение пойти на море. Этого ждал не только Чик, но, можно сказать, вся его команда. Если бы тетушка разрешила Чику идти, то и всем остальным родители разрешили бы.

* * *

Чик вдруг вспомнил мальчика, которого несколько раз видел на море. Вот уж кто явно ни у кого не спрашивал, идти ему на море или не идти.

Первый раз он его встретил на «Динамке». Так называлась бывшая пристань, теперь переоборудованная для водного спорта. Здесь была сооружена вышка для прыжков в воду, расставлены дорожки для плавания — одна на пятьдесят метров, другая на двадцать пять. Кстати, именно здесь Чик убедился, что может пронырнуть в длину двадцать пять метров. Правда, такое расстояние он проныривал в прыжке со стартового причала, но все равно это было неплохо.

Так вот, этот мальчик, ростом не больше Чика, одинаково хорошо прыгал со всех трех ступеней вышки. Чику он нравился за бесшабашную удачу, с которой он прыгал с вышки.

Однажды Чик видел, как несколько взрослых ребят поспорили, прыгнет он или нет с самой высокой точки, а именно с крыши бильярдной, которой увенчивалась вышка.

Они предложили ему прыгать, но он сначала отказывался, говоря, что ему неохота взбираться на эту кры-

шу. Тогда один из взрослых сказал, что он только делает вид, что не хочет прыгнуть, а на самом деле просто боится.

Мальчик сразу же разгадал эту хитрость.

— Смотрите, — обратился он к своим друзьям и, кивнув на этого взрослого, сказал: — Гнилой заход делает...

Взрослые посмеялись этому выражению, Чику оно тоже понравилось.

— А за рубль прыгнешь? — вдруг предложил один из взрослых.

— Конечно, — ответил он.

— Так давай, — сказал тот, что предлагал деньги.

— Ваш свет, — обратился он к взрослому. Взрослые снова рассмеялись.

На мальчишеском языке это означало: покажи свое право вступать в игру, то есть где твои деньги...

Тот, что предлагал прыгать за деньги, достал из кармана кошелек и вынул оттуда новенький, хрустящий, словно проглаженный утюгом рубль.

Мальчик поднялся на третью ступень вышки, оттуда вскарабкался на крышу бильярдной по одному из четырех столбиков, подпиравших ее.

Глядеть, как он вскарабкивается на крышу бильярдной, было неприятно, потому что он мог сорваться и грохнуться на деревянный помост причала.

Сейчас Чику были неприятны и эти взрослые, заставившие мальчика заниматься таким опасным делом.

Но потом, когда мальчик благополучно вскарабкался на крышу и, бросившись оттуда вниз головой, прекрасно вошел в море, только чуть-чуть приплюснув воду слегка закинувшимися ногами, Чик перестал сердиться на взрослых.

Через несколько минут мальчик вышел на помост причала мокрый, весело возбужденный, и Чику вдруг показалось, что взрослые обманут его и не отдадут рубль. Но тот, что обещал рубль, передал его ему, улыбкой показывая, что он ничуть не жалеет потерянных денег.

Мальчик, держа двумя пальцами деньги, чтобы не замочить, стал прыгать на одной ноге, вытряхивая из ушей воду и одновременно приговаривая:

— Гоните рубчик — еще прыгну!

Но взрослые посмеялись и, громко предполагая, что таким путем он их оставит совсем без денег, ушли в бильярдную.

Через несколько дней Чик снова встретил его, но уже совсем в другом месте. Он его встретил в море, у развалин старой крепости. Там был большой обломок скалы, торчавший из моря в десяти метрах от берега. Чик подплыл к нему и с большим трудом вскарабкался на него. Здесь он и увидел мальчика. Но сейчас у него был совсем другой вид. Посиневший от холода, он лежал на скале, плотно прижимаясь к ней и стараясь унять озноб, колотивший его.

Возле него в позе нетерпеливого ожидания стоял Керопчик. Про Керопчика можно было сказать, что он довольно известный хулиган. Рядом с Керопчиком стояло еще двое взрослых парней.

У всех троих тела были разрисованы наколками. Из разговоров между ними стало ясно, что мальчик ныряет возле скалы и достает для них мидии, которые они собираются продать на базаре.

Горка мидий килограммов в десять лежала на поверхности скалы. Керопчик время от времени напоминал мальчику, что ему пора прыгать со скалы и нырять за мидиями.

— Сейчас, дай согреться, — отвечал мальчик, не попадая зуб на зуб.

По его голосу Чик догадывался, до чего ему надоело нырять, и в то же время чувствовалось, что он в чем-то зависит от Керопчика и не смеет ему отказать. На «Динамке» он был веселый, вольный, он сам диктовал условия взрослым людям и даже шутил над ними. Здесь было совсем другое дело, и Чик стало его жалко.

— Давай я половлю? — предложил Чик.

— А ты сможешь? — спросил Керопчик.

— Я на «Динамке» дно достаю, — похвастался Чик.

— Ну, давай прыгай, — сказал Керопчик без особой веры в Чика.

Чик подошел к краю скалы, обращенному к морю, и приготовился прыгать.

— Справа будет острая свая — не порежься, — сиплым голосом сказал мальчик, не отрывая подбородка от скалы.

— Хорошо, — сказал Чик и прыгнул в воду.

Вынырнув из воды, он подплыл вплотную к скале, набрал воздуха и нырнул. Чик считал себя неплохим ныряльщиком. Особых достижений у него не было, но все-таки он доставал дно на конце «Динамки» и мог в длину пронырнуть около двадцати пяти метров.

Нырнув, Чик увидел подводную часть скалы, поросшую морской травой. Трава эта в ритме движений волн колыхалась. Колыхнется — раздуется и снова опадает, колыхнется — раздуется и снова опадает.

Между колыхавшимися пучками травы мелькнули морской карась и маленькая рыбка зеленуха. Чик у показалось, а может, так оно и было на самом деле, что карась, стараясь остаться не замеченным Чиком и думая, что тот его не видит, колыхнулся вместе с пучком травы, за которой он прятался.

Чик знал, что морская трава крепко держится за поверхность скалы, и, ухватывая пучки этой травы и перебирая руками, стал погружаться в глубину. Таким нырянием он надеялся сохранить силы и подольше остаться под водой. Руками, хватаящими пучки травы, он чувствовал острые края мелких мидий и уходил все глубже и глубже, надеясь добраться до крупных мидий.

В то же время он внимательно смотрел налево от себя, боясь неожиданно напороться на острую сваю. Но сваи не было видно. Трава внезапно кончилась, и Чик отпустил ее, не успев перевернуться, и его как-то само собой выбросила на поверхность выталкивающая сила моря.

Чик старался отдышаться, а Керопчик сверху глядел на него своими козлиными глазами. Он ничего не спросил, потому что и так было видно, что Чик плоховато нырнул.

— Что-нибудь достал? — спросил один из парней, сопровождавших Керопчика.

— Хоть вынырнул — и то хлеб, — сказал Керопчик.

Чик снова нырнул. На этот раз он решил, опять держась за траву, дойти до того места, где она кончается, но не бросать ее, а еще держась за нее, перевернуться вниз головой и дальше нырять собственными силами.

Так он и сделал. Продолжая держаться за траву, он перевернулся и нырнул дальше. В полумгле он заметил несколько свай, торчащих в воде, и конец одной из них напоминал острый край свежеразбитого оконного стекла.

Не дай бог напороться, подумал Чик и, ухватившись за другую сваю, неприятно колющую руку мелкими мидиями, несколько раз перебрав руками, ушел по свае вглубь, в темноту.

Руками он чувствовал, что свая здесь обросла более крупными мидиями, и попробовал выдернуть одну. Но он

даже не смог ее расшатать. Тогда Чик взялся за другую мидию, шатавшуюся, как зуб, и с отчаянием последних усилий дернул ее и, выдернув, едва не задохнувшись, вырвался наверх. Это была большая мидия, величиной с мужской кулак.

Он вытащил руку с мидией над водой, и Керопчик сверху посмотрел на нее оценивающим взглядом.

— Хорошая, — сказал Керопчик поощрительно, — только сразу несколько вырывай.

«Легко говорить, — подумал Чик, — ты бы сам попробовал...» Он подплыл к сачку, на веревке свисавшему со скалы, и вбросил туда свой трофей.

После этого Чик, сколько ни нырял, доставал только очень маленькие мидии или совсем ничего не мог достать.

Откровенно говоря, Чик просто боялся напороться на один из обломков этих свай. Чик заметил, что там торчит еще одна свая с зубчатым, рваным краем.

Вообще Чик не любил нырять в незнакомом месте. Особенно в таком месте, где неожиданно перед носом может оказаться свая или какой-нибудь другой предмет с заостренным краем. В конце концов один из друзей Керопчика сказал ему, чтобы он подымался наверх, и Чик вцепился в веревку, к концу которой был привязан сачок с его мидией, правда большой, но слишком одинокой. Другие мелкие мидии, которые он доставал, Керопчик браковал, и Чик их отбрасывал.

Друг Керопчика вытащил Чика наверх, и по тому, как тот его тащил, Чик почувствовал, что неудача сделала его тяжелее, чем он есть. Единственным, правда, слабым утешением Чика было то, что он и в самом деле достал очень крупную мидию.

Мальчик все еще лежал на скале. Теперь Чик с еще большей очевидностью почувствовал превосходство его во всем, что можно было сделать в море. Превосходство было настолько полным, что Чик не завидовал ему, а просто восхищался им и жалел, что Керопчик имеет над ним какую-то власть. Немного согревшись, Чик прыгнул в сторону берега и поплыл к нему.

* * *

Конечно, в другое время Чик мог решиться увести свою команду на море и без всякого разрешения, но не сейчас.

Дело в том, что два дня тому назад Чик был застигнут в школьном саду сторожем школы, и хотя Чик удалось удрать, но проклятый старик Габуня, то есть сторож, пришел к ним домой и пожаловался на Чика. Хорошая репутация Чика этим обстоятельством была сильно подорвана. Считалось, что Чик на такие вещи не способен, считалось, что только его старший брат способен на такие вещи.

Поэтому, понимая, что сейчас шансы на разрешение слишком малы, Чик и не осмеливался просить. Он ждал удобного случая, ждал такого мгновения, когда тетушка так увлечется своим рассказом, что может разрешить Чик-у что угодно, только бы он ей не мешал.

Сейчас тетушка довольно увлеченно (но Чик затруднялся определить, достаточно ли увлеченно для его просьбы) рассказывала о своей знаменитой встрече с принцем Ольденбургским, который когда-то до революции жил в Гаграх и был там самым главным человеком.

В одном из поместий принца работал садовником один из родственников тетушки. И там тетушка встретила с принцем, который приехал со своей свитой осмотреть сад.

В этом рассказе было одно противоречие, которое сильно смущало Чика и даже раздражало его иногда. По одним рассказам тетушки она была тогда совсем маленькая девочка, а по другим получалось, что она была уже довольно взрослой девушкой и принц залюбовался ее красотой. Сейчас тетушка излагала именно второй вариант. Она сказала, что принц залюбовался ее красотой и хотел привлечь ее ко двору. Она так и сказала: «привлечь ко двору».

Услышав такое, Чик украдкой взглянул во двор из-за тетушкиной спины. Ника, сидя на виноградной лозе, читала книгу. Рядом с ней сидела Сонька и гладила Белку, очищая ее шерсть от всякой нацепившейся на нее дряни. Ухаживая за Белкой, она как бы заменяла Чика.

Он сидел рядом с ней с выражением унылой задумчивости на лице. Поймав взглядом взгляд Чика, он кивнул ему головой, словно спрашивая: «Ну как там? Долго еще мне здесь сидеть с выражением унылой задумчивости на лице?» Чик в ответ пожал плечами, показывая, что он старается, но ничего определенного пока сказать не может. Белка по выражению лица Оника поняла, что он смотрит на Чика, и сама, повернув голову, посмотрела вверх, где Чик, сидя на тахте, выгляды-

вал в окно из-за тетушкиной спины. Белка несколько раз махнула хвостом, показывая, что она видит Чика и радуется этому.

Сонька тоже поняла, что Чик смотрит в их сторону, и, взглянув наверх, просияла. Лицо ее засветилось уверенностью, что Чик добьется своего.

В это время вошла во двор ее мать, возвращавшаяся с базара. Как всегда, она старалась понезаметней прощмыгнуть в свою комнату. Но тетушка заметила ее.

— Ну как базаровала? — громко спросила она у тети Фаины, и та, вздрогнув, остановилась.

— Они сошли с ума хуже вашего брата, — отвечала тетя Фаина, продолжая держать на весу корзинку, — скоро картошка таки будет дороже золота.

Тетушка кивнула ей головой в знак того, что любопытство ее исчерпано, и та, повернувшись, пошла дальше.

— Вот женщина, — сказала тетушка, закуривая папиросу, — всю жизнь жалуется и всю жизнь полные корзины с базара тащит... Да... На чем я остановилась?

— Вы сказали, что принц Ольденбургский был очень богатый человек, — напомнила Евгения Александровна.

— Он был миллиардер, — уверенно сказала тетушка и, пыхнув дымом, прихлебнула чай. — В Гаграх ему принадлежали все дворцы и вся земля...

Все это Чик тысячу раз слышал.

— Вся земля и ее недра? — спросил Чик.

— Какие недра? — растерялась тетушка.

— Ну, недра, — пояснил Чик, — сейчас земля и ее недра принадлежат народу, а раньше они принадлежали царю, помещикам и фабрикантам.

— Отстань, Чик, — сказала тетушка, — не вмешивайся, когда взрослые разговаривают... Разумеется, недра тоже ему принадлежали... В тот день он посадил меня в свою машину и катал по всему городу. Это было бесподобно... Все умирали от зависти....

Чик погрузился в свои размышления. Его всегда удивляла и радовала уверенность Соньки, что Чик все может. Бывало, Чик у страшновато подраться или что-нибудь там сделать, но Сонька тут как тут со своей уверенностью, что Чик у ничего не страшно, и это как-то взбадривало, окрыляло его.

Так, совсем недавно, когда вдруг исчезла Белка и ее не было целый день и целую ночь и Чик был в страш-

ном отчаянье, что ее поймал собаколов, именно Сонька сумела убедить его, что Белка жива и ее надо только хорошенько поискать.

Чик ей поверил и немного успокоился. В самом деле собаколов со своей колымагой уже давно не появлялся на их улице. А Белка сама далеко от дома никогда не уходила.

Чик вместе со своими друзьями прочесал все дворы своего квартала, спрашивая, не видел ли кто Белку. Но Белку никто не видел. И что же? Совсем рядом с домом во дворе грузинской школы Чик услышалось завывание собаки. Он перескочил через забор и, остановившись посреди школьного двора, снова стал прислушиваться. Через некоторое время он услышал тихий скулеж, доносившийся, как показалось Чик, со стороны школьного дровяного склада.

Чик подбежал к самому сараю, на ходу крича: «Белочка! Белочка!» Из сарая донесся до него такой радостный визг, что у Чика горло перехватило.

Так вот оно что! Оказывается, проклятый школьный сторож, живущий рядом с Чиком и стороживший школьный сад и самую школу, словно ее кто-то мог унести, оказывается, этот старик Габуния запер в сарае бедную Белочку!

Вообще-то Чик подозревал Габуния, но никак не думал, что тот пустится на такую подлость! И все из-за одного цыпленка! Правда, Белка его слегка придушила, пока Чик успел вырвать его из пасти собаки. Правда, цыпленок потом сдох... Но ведь Белка схватила этого цыпленка в нашем дворе, думал Чик, ведь Габуния сам виноват, что разрешил своим цыплятам разгуливать по чужим дворам.

— Белочка, — крикнул Чик, — подожди, я тебя выручу!

Но как ее выручишь? Чик обошел весь сарай, но там не было ни одной щели, достаточно большой, чтобы просунуть руку, а не то чтобы самому пролезть. Может, сделать подкоп, подумал тогда Чик, но это было слишком рискованно: старик Габуния мог поймать его до того, как он прорвет проход.

Как это ни странно, самым слабым местом оказался огромный замок, висевший на дверях сарая. Кстати, летом обычно сарай бывал открыт, а теперь вдруг замок... Чик подергал его и заметил, что крюк с петлей, вбитый в дверной косяк, оказался распатанным. Чик подергал

замок минут десять-пятнадцать, крюк вылез из косяка, и дверь со ржавым скрипом отворилась...

Чик бросился к углу сарая, откуда навстречу ему, гремя цепью, которой она была привязана, рвалась Белка. Она подняла ужасный визг, совершенно не понимая, что старик Габуня может их услышать. Он жил рядом со школьным двором, и Белка об этом прекрасно знала, но она так обрадовалась Чика, что обо всем забыла.

Она лизала Чика в лицо, она прыгала ему на грудь, она хватала его за штаны! Своим лаем и визгом она плакала, смеялась, жаловалась на старика Габуня и даже ухитрилась укорить Чика за то, что он так долго не выручал ее!

Проклятый живодер, подумал Чик, не находя рядом с собакой не только миски с едой, но и вообще какой-нибудь посуды, из которой Белочка могла бы похлебать воды. Было ясно, что старик Габуня решил уморить ее здесь голодом и жаждой.

Но больше всего Чик поразился, увидев возле стены сарая, где была привязана Белка, довольно большую яму. Оказывается, Белка пыталась сделать подкоп и вырваться наружу! Ну где в мире можно отыскать такую смелую и сообразительную собаку!

Чик спустился в яму, чтобы удобней было отвязывать Белку, потому что она своими радостными прыжками и непрерывным трепыханием никак не давала ему снять с ее шеи эту проклятую гремучую цепь. И только он снял эту цепь и еще стоял в яме, которая приходилась ему по бедра, как в дверях появился старик Габуня.

— А-а-а, сукин сын, — сказал он по-мингрельски, что Чика все равно было неприятно, как если бы он сказал это по-русски. Некоторое время удивленно глядя на Чика, он добавил по-русски: — Посмотрим, как ты отсюда выйдешь... — Он продолжал стоять в дверях, продолжая удивляться, как понял Чик, тому, что он, Чик, почти по пояс в земле. И вдруг Чика осенило.

— Как вошел, так и выйду, — ответил Чик и еще ниже пригнулся в своей яме.

— А-а-а, сукин сын, — повторил сторож по-мингрельски, но Чик, разумеется, опять его понял. В следующее мгновение сторож ударил себя по лбу и сказал по-русски: — В земле дырка делал, да?!

Чик еще ниже нагнулся, словно стараясь влезть в этот несуществующий проход. В это миг сторож Габуня

ния, тяжело стуча ногами, побежал вдоль сарая, чтобы поймать Чика, когда он будет вылезать с той стороны.

Чик вместе с Белкой ринулись к дверям и побежали через школьный двор, уже издали осыпаясь безопасными проклятиями старика Габуня.

Чик прибежал к себе во двор и вместе с Белкой поднялся к тетке на второй этаж и там притаился.

Конечно, старик Габуня пришел во двор, поднял дикий скандал, предъявлял вздорное требование уплатить курицей за цыпленка, задушенного несколько месяцев назад. Но тут тетушка со своего «капитанского мостика» пустила в Габуня такую пулеметную очередь, что тот вынужден был замолкнуть и убраться со двора.

Чик знал за тетушкой немало недостатков, но она любила животных и жалела их, и Чик многое прощал ей за это.

Чик снова выглянул во двор. Ребята сидели в тех же позах на виноградной лозе, и только у Оника вид был еще более унылый, чем раньше. Чик заметил, что тетя Тамара вышла из своей кухонной пристройки с ведром и украдкой поглядывает вверх на тетушку Чика. Чик сразу понял, что она хочет взять из бочки дождевой воды, но пытается это сделать незаметно для тетушки.

Бочка принадлежала тетушке, и она обычно давала дождевой воды соседкам, но иногда, когда слишком долго не было дождей или она была не в настроении, та или иная соседка лишалась возможности пользоваться дождевой водой.

Во времена детства Чика почему-то все женщины считали своим долгом мыть голову дождевой водой. Позже этот обычай вымер, из чего, разумеется, не следует, что женщины перестали мыть голову. Но они упростили этот высокий ритуал и стали пользоваться обыкновенной водопроводной водой.

Так вот, Чик заметил, что тетя Тамара поглядывает наверх, стараясь поймать мгновение, когда тетушка покинет «капитанский мостик», чтобы незаметно черпнуть ведром из бочки.

Но тетушка была занята новой соседкой и потому, не отвлекаясь на другие дела, продолжала сидеть на месте. Кстати, одна из особенностей тетушки заключалась в том, что она сейчас всеми силами старалась угодить Евгении Александровне. Эта женщина была новым человеком во дворе, и тетушке было ужасно приятно угощать

ее чаем, фруктами, кофе и оказывать ей массу всяких незаслуженных услуг.

Чик знал, что месяца через два эта женщина ей смертельно надоест, кончится ласковая близость тетушки, и она отстранит ее от себя, еще, дай бог, без словесного кровопролития.

И эта женщина, как и все другие, привыкнув к дармовым угощениям и ко всем удобствам дружбы с тетушкой, будет потрясена неприятной резкостью ничем не заслуженного охлаждения.

Хорошо еще, если тетушка мирно охладевала к своей очередной подруге. Чаще всего дело кончалось грандиозным скандалом, после чего женщина, с которой тетушка дружила, изгонялась из ее дома и они несколько месяцев не разговаривали.

Позже, если у тетушки под рукой не оказывалось достаточно интересной собеседницы, а точнее сказать, слушательницы, а еще точнее, зрительницы, она первая делала шаг примирения с отброшенной подругой. И та сперва робко начинала сходить с тетушкой, но потом тетушка, объяснив их разрыв клеветой предыдущей приятельницы («я, дурочка, всему поверила»), окончательно успокаивала ее и осыпала ничем не заслуженными, как и предыдущее изгнание, милостями.

Чик никогда в жизни не видел человека такого доброго и такого несправедливого одновременно — все зависело от настроения.

Чик снова выглянул во двор и снова увидел тетю Тамару, поглядывающую навверх в ожидании, когда тетушка покинет свой пост.

Попытка тети Тамары похитить дождевую воду напомнила Чикю о том, что он сам ждет сильной грозы, чтобы, в конце концов, этот теннисный мяч, все еще торчащий в желобе, проходящем вдоль крыши соседнего дома, выкатился по водосточной трубе и бултыхнулся в воду.

Чик посмотрел на теннисный мяч, застрявший в желобе, потом случайно взгляд его упал на чердачное окошко, и он увидел в чердачном окне этой крыши тетушкину кошку Ананаци.

— Тё, смотри, где Ананаци, — сказал Чик.

— Ананаци, как ты туда попала? — спросила тетушка, хотя ничего особенного в этом не было. Но сейчас ей хотелось показать Евгении Александровне, что у нее очень воспитанные кошки.

У тетушки было две кошки, звали их Ананац и Апапаци. Чик знал, что имена кошек не существуют ни на одном из многочисленных языков, которые знает тетушка. Имена эти придумала сама тетушка, они каким-то образом передавали ее нежное отношение к своим кошкам и еще то, что они, эти кошки, родственницы, то есть Ананац мать Апапаци.

— Иди ко мне, моя золотая, иди ко мне, моя дорогая, — нараспев повторяла тетушка, но Ананац, сидя на чердачном окне соседней крыши, смотрела на них спокойными неузнающими глазами.

Тогда тетушка взяла с тарелки один пирожок и, громко зовя обеих кошек, вышла из галереи на открытую лестничную площадку.

— Ананац, Апапаци, — звала тетушка на весь двор, но раньше, чем кошки, на призыв ее отозвалась Белка. Она вырвалась из рук Соньки и побежала наверх.

— Нет, Белочка, — громко сказала тетушка, — ты свою долю уже получила, а я хочу накормить моих дорогих кошечек. Ананац! Апапаци! — громко звала тетушка, но Ананац, которая сидела у открытого чердачного окна, даже не шевельнулась.

Только кошки бывают такими, подумал Чик. Собака никогда так не сделает. Собака или прибежит на зов хозяина, или, если не прибежит, всем своим видом покажет, что она обижена на хозяина или боится его. Но вот так вот прямо смотреть в глаза хозяину и совершенно никак не выдавать своего отношения к нему умеют только кошки.

В конце концов Апапаци откуда-то прибежала, а тетушке надоело звать Ананаца.

— Ешь вместе с Белочкой, если эта дура по чужим чердакам шатается, — сказала тетушка и, как понял Чик, поделила пирожок между кошкой и собакой. Это понял не только Чик, но и Ананац. Поняв, что ее больше не зовут, а пирожок разделен, она громко и жалобно замыкала.

В это время тетушка возвращалась на свое место, а тетя Тамара, пользуясь тем, что двор исчез из кругозора тетушки, быстро подошла к бочке и, сунув туда ведро, наполнила его водой и ринулась назад. Но в это время мякнула Ананац, и тетушка на полпути назад открыла одно из окон галереи и стала громко укорять Ананаца за то, что та, когда ее просили, не пришла, а теперь жалобно мяукает.

Одновременно с этим она проследила за тетей Тамарой, которая с ведром дождевой воды ушла к себе, думая, что ее никто не видит. Продолжая укорять Ананаца, тетушка сказала несколько слов о некоторых, кому слаще украсть, чем попросить у хозяйки, которая, если с ней обращаться по-хорошему, готова поделиться последней рубашкой, а не то чтобы ведром дождевой воды.

Несколько мгновений тетушка ждала, но тетя Тамара ей ничего не ответила, и тень возможного скандала, легшая на двор, потихоньку рассеялась.

— Ну и сиди там, дурочка, — сказала тетушка, обращаясь к Ананацу.

Тетушка подошла к столу, но, увидев, что чай уже допит, вдруг сказала:

— А знаете что? Я угощу вас настоящим турецким кофе.

— Ну что вы, — отвечала Евгения Александровна, — мы с вами так славно почаевничали...

— А теперь покофейничаем, — уверенно сказала тетушка, — тем более вы у себя в России понятия не имеете, что такое настоящий турецкий кофе.

Тетушка опять вошла в кухню, где у нее стояли примуса и керосинки. Возможность заново приступить к угощению вдохновляла ее. Она даже запела свой любимый романс:

И в тот час упоительной встречи
Только месяц в окошко глядел...

Чик почему-то страшно нравилась эта песня в исполнении тетушки. В сущности, никакого другого исполнения он не знал, но в тетушкином исполнении эта песня казалась ему очень красивой.

— Пойду посмотрю, как готовится кофе по-турецки, — сказала Евгения Александровна и улыбнулась Чик, словно извиняясь, что тетушка вокруг нее столько хлопочет, встала и ушла к тетке.

Чик заранее жалел ее за ее будущее разочарование, но помочь ей ничем не мог, да и охоты не было. Ему во что бы то ни стало надо было вырваться к морю, а он до сих пор ничего не придумал, чтобы получить разрешение у тетушки,

Чик одного никак не мог понять, как это люди, живущие у моря, не любят ходить на море. А таких было очень много. Тетушка тоже была такой.

По своей воле Чик ни одного бы дня не пропустил, чтобы не выкупаться в море. Он любил море в любую погоду.

И смешно сказать, но каждый раз, когда он ходил на море, перед самой встречей с морем у него возникало страшное волнение, которое он ничем не мог объяснить. Оно было похоже на страх, что вдруг море не окажется на месте, или какие-то силы помешают с ним встретиться, или вдруг милиция запретит купаться в море.

Однажды Чик купался в море, когда был шторм около трех баллов. В тот день вообще мало кто купался, и тем более Чик было лестно. Дожидаясь самой большой волны, Чик, умирая от страха, бесстрашно приближался к ней, стараясь поднырнуть под волну, пока выгнутый гребень ее с замедленной яростью не опрокидывался над ним, не успев подцепить Чика.

Со стороны посмотреть, кажется, что вот-вот человека раздавит многотонная масса воды, а на самом деле, если ты успел поднырнуть под гребень, волна перепрыгивает через тебя, как нерасчетливый хищник.

Но если ты успел поднырнуть под опасную волну, ты должен следить в оба, чтобы не оказаться под ударом следующей. На этом многие попадают.

Чик сам на этом однажды попался, но, слава богу, отделался наждачной царапиной на ноге. Прибойная волна со страшной силой взболтнула его, потом проволокла по песку и презрительно выбросила на берег. От обиды и перенесенного страха Чик тогда немного прослезился, но, к счастью, никто ничего не заметил, потому что он и так был весь мокрый. С тех пор Чик стал гораздо внимательней.

Но если ты отплыл от опасной зоны прибоя и катаешься на волнах, ты должен помнить, как надо выходить на берег. Дело в том, что некоторые малоопытные пловцы, возвращаясь на берег, вдруг начинают чувствовать, что сколько они ни гребут, а с места почти не сдвигаются. И они, не понимая, в чем дело, теряются, и иногда возможны несчастные случаи из-за этого.

Когда ты находишься по ту сторону линии прибоя, но достаточно близко от нее, на тебя действует течение

откатной волны. Но внешне это течение незаметно, потому что проходит под водой.

И вот неопытный человек, находясь в нескольких метрах от линии прибоя, никак не может понять, почему он к ней никак не подплывет. И его тогда охватывает дикий страх, он начинает бешено и бесполезно грести, быстро устает, и тогда все может случиться.

А надо, если не хватает сил перегрести встречное течение, отдаться волне, и она сама тебя вынесет. Но и отдаваясь волне, надо держаться у самого гребня и в то же время не давать себя втащить на гребень, чтобы не оказаться в опасном водовороте прибоя.

Чик даже удивлялся, почему на пляже не вывешивают такие плакаты или таблички, рассказывающие, как надо вести себя человеку, который решил купаться во время шторма. Ну, шторм, конечно, слишком громкое слово, но все-таки.

Чик готов был сам написать такую инструкцию, если бы у него кто-нибудь попросил бы это сделать. Но он понимал, что такой инструкции никогда не вывешат, потому что купаться, когда волнение больше двух баллов, вообще запрещено. А если человек не знает о запрете? А если человек, вроде Чика и некоторых других людей, и знает о запрете, а все равно лезет в воду?

Однажды Чик, придя на море, услышал, что в море на днях утонул человек. Несколько дней море штормило. Но Чик не придавал значения этому слуху, потому что мало ли что говорят. С детства он слышал про утонувших людей, но никогда не видел настоящего утопленника. Чик лежал на теплой гальке и отдыхал, когда услышал про это. Он поднял голову и увидел множество людей, сгрудившихся у края пляжа и глядевших в море, все время показывая на что-то.

Многие люди спешили присоединиться к толпе, а некоторые даже бежали к ней, подгоняемые странной смесью любопытства и ужаса, что с человеком может случиться такое, и тайной радостью, что это случилось с каким-то другим человеком, а не с тобой.

Чик это понимал, потому что его самого охватило именно такое любопытство. Он подбежал к толпе, но, сколько ни вглядывался в море, ничего не мог разобрать, и все время ему хотелось думать, что все это выдумки, что ничего такого не может быть.

А между тем толпа, обрастая все новыми и новыми

людьми, двигалась вдоль моря и все время показывала на какую-то точку, которая тоже двигалась в воде.

Чик долго никак не мог разглядеть эту точку. И он все время спрашивал у одной женщины, стоящей рядом с ним, а та ему все время показывала на эту точку, которая время от времени всплывала в воде и снова исчезала.

Наконец Чик в самом деле уловил эту точку, это пятно, означающее человека, но никакого сходства с человеком не имеющее.

Когда Чик разглядел это слегка розовеющее пятно, ему стало удивительно, что он его до сих пор не замечал. И потом, когда один мужчина подошел к Чику и стал строго спрашивать, почему другие видят утопленника, а он не видит, Чик сам стал ему показывать на это пятно, то исчезающее в мутной воде, то снова на мгновение появляющееся. И этот человек тоже долго не мог поймать глазами это пятно, потому что мгновенья, когда Чик показывал на пятно, хватало, чтобы оно исчезало под водой.

Оно, это страшное и таинственное пятно, приближалось к берегу наискосок, потому что так работало течение.

Вдруг появились на берегу два спасателя. Один из них — молодой, тонкий парень лет восемнадцати, другой — мужчина лет тридцати, геркулесовского сложения. Они подтащили к самой кромке прибоя лодку, дождались мгновения, когда к берегу шла самая маленькая волна, и потащили лодку прямо в пену прибоя. Геркулес вскочил в лодку и схватился за весла, а юный все толкал ее и, выскочив за линию прибоя, вскарабкался в лодку, и они поплыли прямо к этому пятну.

Когда они близко к нему подплыли, тот, что был помоложе, вынул со дна лодки веревку с петлей. То проваливаясь в ямину, то подымаясь на гребне волны, они несколько раз осторожно подходили к этому таинственному пятну, но словно не решались слишком близко к нему подойти. С берега казалось, что они боятся повредить утопленника, наехав на него лодкой. И это было странно. В конце концов спасатель, тот, что был помоложе, накинул на тело петлю, и, видно, удачно, потому что старший стал грести к берегу и веревка натянулась.

Они опять проскочили линию прибоя, и было видно мгновенье, когда лодка почти висела в воздухе, держась на воде только кормой, и весла беспомощно трепетнули

в воздухе, а потом младший, не бросая веревку, выскочил из лодки, вслед за ним выскочил из лодки старший, и оба по пояс в белой пене прибоя тапили свой груз: младший тянул веревку, а старший — лодку.

И уже на берегу младший продолжал тянуть и тянуть веревку, а потом, обернувшись к какому-то парню в толпе, сказал:

— Помогай, чего стоишь?

И парень молча взялся за веревку, и Чик почувствовал, что это не случайный человек, и угадал в толпе прошелестевшие слова: «Его товарищ...» Чик с ужасом следил вместе с толпой, как тело человека, на мгновение скрывшись в буруне прибоя, было выволочено на берег и лежало сейчас в нескольких метрах от Чика.

То, что Чик увидел, потрясло его, как ничто в жизни не потрясало. Чик видел труп примерно двадцатилетнего юноши в красных трусиках с какими-то синими пятнами на теле и с побелевшими пальцами ладоней, изъеденными и размытыми морской волной. Такие изъеденные водой ладони бывают у женщин после долгих стирок, вспомнил Чик.

Но у женщин это почему-то не бывало страшно, а здесь было страшно. Было страшно все тело, местами изъеденное морской водой.

Чика пронзила мысль, хотя он этого до конца не осознавал, его пронзила мысль о незащитности человека, его слишком большой телесной хрупкости.

Чик помнил, что в деревнях и в городе ему приходилось видеть мертвых животных, и эти животные гораздо дольше сохраняли сходство со своим живым обликом.

А здесь Чик видел почти разложившийся труп, который пробыл в воде всего, может, двое, может, трое суток.

И Чик ощутил тогда, хотя и не осознавал этого, но ощутил именно тогда очень важную для себя мысль.

Он подумал тогда: «Не может быть, чтобы человеческая жизнь вся уместалась в размеры этой жизни, случайно оборванной штормовым морем. Это было бы слишком жестоко и бессмысленно». Именно тогда, до конца не осознавая эту мысль, но с огромным тайным упорством Чик решил, что человеческая жизнь — это обязательно что-то большее, чем существование в пределах случайной или неслучайной смерти.

— Вот видите! — грубо крикнул молодой спасатель, глядя на толпу и показывая на труп. — Вот что с вами будет, если во время шторма вздумаете купаться...

Потом пришел милиционер, пришла машина «Скорой помощи», толпа стала редеть, и Чик тоже ушел. Он ушел, стыдясь своих суетных вопросов, которые он задавал в толпе еще до того, как увидел труп. Он все хотел узнать, как именно погиб этот парень, но никто толком ничего не знал, да и дело, как понимал теперь Чик, было не в этом.

Он почувствовал, что море, которое он так любил, может быть жестоким и равнодушным, но все равно он его любил, как любят жизнь, зная, что она может быть и равнодушной и жестокой, и все-таки упрямо ожидая от нее чуда счастья.

* * *

После того как Евгения Александровна ушла к тетушке на кухню, Чик и дядя Коля остались, можно сказать, один на один. Как только они остались вдвоем, дядюшка сразу же усталился на Чика, чтобы выяснить, собирается его Чик дразнить или не собирается.

Именно вот этим вопросительным выражением лица, пытающимся определить, собирается Чик дразнить его или нет, дядюшка каким-то образом настраивал Чика подразнить его даже тогда, когда сам Чик не думал об этом.

Чикуну сейчас было не до дядюшки. Ведь он все еще никак не мог найти подходящий случай, чтобы попросить у тетушки разрешения идти на море. Должен же он наконец угадать такое ее настроение, когда она все на свете разрешает, лишь бы ее в эти минуты не беспокоили.

Сейчас Чик раскаивался, что не попросил у нее разрешения, когда она рассказывала о встрече с принцем Ольденбургским. Он боялся раньше времени рисковать, зная по опыту, что после принца она обязательно прихватит рассказ о персидском консуле, за которого она вышла замуж, потому что тот ей не давал проходу. Так она ему нравилась.

Это был гораздо более увлекательный рассказ, потому что тетушка на все подарки и знаки внимания отвечала персидскому консулу: «Нет!» В конце концов она ему сказала, что он рыжий, а ей не нравятся рыжие мужчины. И тогда персидский консул признался ей, что он на самом деле брюнет, а волосы и бородку красит в рыжий цвет, потому что в Персии очень редко встречаются ры-

жие и поэтому в персидских краях рыжий цвет высоко ценится.

И в самом деле вскоре персидский консул волосами на голове и бородкой почернел как ворон, и тетушка стала относиться к нему гораздо нежнее.

Но, оказывается, с персидского консула день и ночь не сводили глаз люди из ЧК. И они были сильно взволнованы тем, что рыжий персидский консул вдруг почернел. Они никак не могли понять, с какой целью он стал черным. Они предполагали, что он выполняет задание английской разведки, но почему он из рыжего стал черным, они никак не могли понять.

И тогда они вызвали тетушку и очень вежливо с ней говорили, прося дать разъяснения по этому вопросу. Тетушка сказала им то, что она знала. Она сказала им, что он сватается к ней, а она, как девушка, не выносящая рыжих мужчин, призналась ему в этом. В ответ на ее честное признание он признался, что до сих пор красил волосы, но если ей не нравятся рыжие мужчины, то он с удовольствием перестанет их красить.

Тогда человек из ЧК, который с ней говорил, сказал, что он удивляется ее наивности и если она действительно уверена, что естественный цвет волос у консула черный, так пусть она им принесет несколько волосинок для анализа. Она это сделает, сказал ей человек из ЧК, если она, конечно, патриотка.

Тетушка очень удивилась такому предложению, но потом решила, что тут нету ничего страшного, потому что вертела персидским консулом как хотела.

Во время одной из встреч с персидским консулом она сказала ему, что хочет попробовать сделать ему более модную прическу. Персидский консул не только согласился, он был вне себя от радости. Тетушка вынула свой гребень из собственных волос и как бы шутя стала перечесывать персидского консула. Почувствовав руки тетушки у себя на голове, персидский консул был вне себя от блаженства. Он даже слегка заснул, пока тетушка вычесывала из его головы нужные для химического анализа волосинки.

Вычесанные из головы персидского консула волосы она отнесла в ЧК, и оттуда через некоторое время ей сообщили, что химический анализ волос доказал, что они действительно крашены.

Тут тетушка сильно рассердилась на персидского консула и сказала ему, что он обманщик, что он и в самом

деле рыжий человек, а только перекрасил свои волосы в черный цвет, чтобы угодить английской разведке и загубить ее цветущую молодость.

И тогда персидский консул пал на колени и заплакал, говоря, что волосы у него действительно крашены в черный цвет, но в действительности они никогда не были рыжими, а были черными, но он поседел согласно возрасту и не хотел перед ней, такой молодой, показаться старым.

Тут тетушка обрадовалась, говоря, что ей седые мужчины нравятся, подняла его с колен и вышла за него замуж, и вскоре они уехали в Персию.

Чик рассчитывал именно во время этого рассказа прервать тетку и попросить ее отпустить его на море, но он не знал, что тетушка его вздумает делать кофе по-турецки и скорее всего сейчас там, в кухне, рассказывает эту историю. Чик вздохнул и снова вспомнил о море.

* * *

В тот день Чик был на море с дядюшкой. Дядюшка сидел на конце причала и ловил рыбу своей безопасной для рыб, лишенной крючка, удочкой. Разве что найдется глупая рыба, что тяпнет свинцовое грузило и проглотит его. Чик знал, наблюдая за дядюшкиными опытами, что настолько глупых рыб в Черном море не водится.

Метрах в пятидесяти от берега какой-то человек ловил рыбу с лодки. Чик довольно близко подплыл к этой лодке и следил, как этот человек ловит рыбу.

Чик знал этого человека немного, но тот его навряд ли знал. Этот человек жил рядом со спортплощадкой и вечно скандалил со спортсменами, когда к нему во двор залетал мяч. Он боялся, что мяч разобьет одно из окон его дома, но на памяти Чика ни разу окно не было разбито, а этот жилец приходил в необыкновенную ярость, если мяч падал близко от его дома.

Сейчас он ловил рыбу на закидушку. Одну снасть он держал в руке, а две другие, намотанные на бамбуковые прутики, свисали за бортом. Сами бамбуковые прутики были воткнуты в борт лодки. Если рыба начинала клевать, бамбуковые прутики слегка прогибались, и рыбак брался за шнуры, привязанные к бамбуковому пруту.

Два раза при Чике рыбак снял рыбу со своей закидушки и с той, которая была привязана к бамбуковому пруту. Первый раз это была розовая барабулька, во второй

раз великолепный серебряный ласкирь величиной с мужскую ладонь. Без особых и даже без всяких признаков радости рыбак оба раза снял рыбу с крючка, бросил ее на дно лодки и снова наживил крючки.

Чик следил за ним метрах в десяти от лодки, чтобы не мешать ему рыбачить и в то же время все видеть самому.

Рыбак это время от времени смотрел в сторону берега, словно ждал кого-то, с кем договорился рыбачить, а тот все не приходил.

Потом Чик догадался, что рыбак этот следит за его дядюшкой.

— Хочешь заработать миллион? — вдруг спросил он у Чика.

Чик улыбнулся из воды, показывая, что он понимает, что человек шутит.

— Серьезно говорю, — без всякой шутки отвечал ему рыбак и, наживив крючки на закидушки, бросил за борт снасти, — если только ответишь на один вопрос.

Он сделал движение, как будто отсчитывая Чику бесконечные деньги.

— Какой вопрос? — заинтересовался Чик и как бы на правах заинтересованного человека подплыл к лодке. Чик ужасно хотелось попроситься в лодку порыбачить.

— И что делает этот человек на причале? — кивнул рыбак, явно имея в виду дядю Чика. — Наживки не вижу, рыбы не вижу и крючки то же самое, — он загнул три пальца и посмотрел на Чика, как бы предлагая ему решить уравнение с тремя неизвестными.

— Этот мой дядя, — сказал Чик, — он просто так развлекается.

— Как — просто так? — удивился рыбак. — Он что, малахольный?

— Немножко, — сказал Чик.

— Тогда совсем другое дело, — сказал рыбак и, пальцем поддев шнуры на обеих закидушках, намотанных на бамбуковые пруты, попробовал, нет ли клева. — Почему сразу не сказал... Я думал, шпион какой-то...

«Когда, интересно, я мог ему сразу сказать?» — подумал Чик.

— Дядя, — сказал Чик, — можно мне с вами порыбачить?

Человек посмотрел на Чика, стараясь, как показалось Чикю, найти в его облике черты опасной родственности с дядей.

— А залезть можешь? — спросил рыбак.

— Смогу, — сказал Чик и осторожно подплыл к корме.

Чик ухватился за корму и, изо всех сил выпрыгнув из воды, сумел перевесить себя в лодку и вползти в нее.

Хозяин лодки снял с бамбукового прутика одну из закидушек и передал Чику. У него были густые черные усы и то горделивое выражение лица, какое бывает у очень глупых людей восточного происхождения.

— Если будет клевать, сразу не дергай, — сказал он Чику с таким видом, словно Чик только что дал слово сразу дернуть за шнур при первой же поклевке... — Сразу не дергай, — снова повторил он ворчливо и вдруг добавил: — А дядя твой кушает нормально?

— Да, нормально, — ответил Чик, — только у него аппетит больше, чем у нас.

— Ты смотри, — удивился рыбак, — значит, все кушает, что мы кушаем?

— Да, — сказал Чик, — все...

Чик давно заметил, что глуповатые люди довольно подробно с большим удовольствием интересуются жизнью дяди. По наблюдениям Чика, им приятно убедиться лишний раз в достаточно значительном расстоянии между умом дяди и их собственным умом.

— Я, например, — сказал хозяин лодки, — когда кушаю дынь, чихаю иногда до двадцати раз...

Чик косвенно польстил ему, сказав, что дядя с удовольствием ест арбузы и дыни и при этом никогда не чихает.

Хозяин лодки спрашивал подробности о жизни дяди. Чик ему отвечал, не переставая прислушиваться к своей леске. Сначала, когда он начал говорить с хозяином лодки, у него вроде несколько раз клюнуло, но он выдержал характер и не стал дергать шнур. Потом у Чика перестало клевать, а хозяин лодки все расспрашивал про дядю, а сам за это время вытащил одну колючку и одну барабульку. Чику стало обидно.

— У меня что-то совсем не клюет, — сказал Чик с обидой в голосе.

— У тебя, наверное, уже склевала, — сказал хозяин и, прислушавшись к собственному шнуру, подсек рыбу, — по-моему, барабулька будет...

В самом деле он вытащил барабульку, снял ее с крючка и, продолжая держать ее в руке, поднес к лицу.

— Минэ все интересуется, — сказал он, — вот я смотрю на рыбу и думаю: это рыба барабулька. Но минэ интересуется, что она думает, когда смотрит на минэ...

Он бросил барабульку на дно лодки, где та, потрепе-

тав, затихла. Чик вытащил свой шнур и в самом деле убедился, что крючки на обоих поводках пустые.

Чик никогда в жизни по-настоящему не рыбачил, но он постарался скрыть это от хозяина лодки.

Хозяин лодки наживлял ему крючки, и Чик жадно вглядывался, как тот берет в руки креветку и, начиная с хвоста, продевает ее всю в крючок, иногда отламывая головку, иногда оставляя.

Чик спросил у него, почему он так делает, хозяин ответил, что рыба боится креветок с длинными усами и потому таким креветкам он отламывает голову. Чик обратил внимание на то, что у хозяина лодки тоже были большие усы.

Чик закинул свой шнур, и, когда грузило легло на дно, он сразу почувствовал удар какой-то рыбы. Чик замер в ожидании нового удара. Через минуту он почувствовал сдвоенный удар и подсек какую-то рыбу. Чик стал вытаскивать шнур и, чувствуя пальцами тяжесть живой, упирающейся рыбы, испытал настоящее счастье.

— Главное — не давай слаbinу, — сказал хозяин, радуясь за Чика, и внезапно сам подсек рыбу и стал тянуть ее вверх.

Чик, наклонившись к воде, увидел, как в глубине проблеснула его рыба и блеск ее становился все ярче и ярче, а хозяин тоже поймал рыбу, и почти одновременно они вытащили свой улов. Чик держал большого, дрожащего и бьющегося в руке ласкиря, а хозяин, поймавший барабульку, показывал Чику, как надо действовать, когда рыба поймана.

Хозяин лодки вытащил изо рта рыбы крючок, причем сделал это так ловко, что наживка так и осталась на крючке. После этого он демонстративно бросил рыбу на дно и так же демонстративно бросил леску за борт.

Чик вытащил крючок изо рта своего ласкиря и, стараясь действовать в ритме, который продемонстрировал ему хозяин, бросил конец своей закидушки на дно лодки, а великолепного, бьющегося, большого, плоского ласкиря бросил в море.

Рыба влетела в воду как бы с радостным вскриком: «Идиот!» Чик почувствовал невероятную горечь потери.

— Ты от своего дяди далеко не ушел, — сказал хозяин лодки, — ты разве не понял минэ?

— У меня как-то нечаянно получилось, — сказал Чик чуть не плача.

— Ничего, — утешил его хозяин, — бывает... Я, напри-

мер, когда кушаю дынь, до двадцати раз могу чихать. Ни один дохтур, ни один профессор не может сказать, почему это получается. И в Тифлисе, и в Бакю я спрашивал у профессоров, почему так получается. Никто ничего не может сказать. Не надо, говорят, кушать дынь, не будешь чихать. Это я и без профессоров знаю. Ты минэ скажи, почему чих получается и почему до двадцати раз иногда чихаю, а больше двадцати раз никогда не получается...

Чик никак не мог понять и даже решительно отказывался понимать, какое отношение имеет так глупо упущенный им ласкирь к чиханию хозяина лодки.

Через некоторое время хозяин, увидев чайку, севшую на воду недалеко от лодки, сказал:

— На воде сидит птичка под названием чайка. Это я думаю про нее, но что она про минэ думает, вот что минэ интересно...

Несмотря на странные разговоры хозяина лодки, рыбалка получилась прекрасная. Чик поймал три барабульки, двух ласкирей, шесть колючек и одну морскую иглу, серебристую длинную рыбу с клювом водоплавающей птицы.

Чик сделал себе небольшой кукан из кусочка лески и продел в нее всю свою добычу.

Хозяин подвез его к причалу и на прощанье сказал:

— Видишь во-он там гора?

Чик посмотрел, куда тот показывал, и увидел конусообразную вершину далекой-предалекой горы.

— Минэ интересно, что есть за этой горой. Тысячи рублей не жалко, если кто-нибудь скажет, что есть за этой горой.

Пока Чик сходил с лодки и объяснял дяде, что пора сматывать удочки, возле лодки столпились отдыхающие и рассматривали улов хозяина лодки. Особенно удивлялись люди морской игле, а хозяин лодки охотно объяснял названия и повадки различных рыб.

Когда дядюшка сматал удочки и они уходили с причала, Чик напоследок слышал голос хозяина лодки:

— Я, например, когда кушаю дынь, до двадцати раз чихаю... Минэ интересно...

* * *

Кажется, переосторожничал, подумал Чик, возвращаясь к действительности. И так как дядюшка продолжал смотреть на него в ожидании подвоха, Чик маши-

нально скатал крошку хлеба и вяло махнул рукой, сделав вид, что кидает в него этот катыш.

Дядюшка мгновенно затвердел всем телом, уставился на Чика зелеными глазами и даже подался немного вперед, показывая готовность дать отпор любым проишкам Чика.

И тут Чика осенило! Надо подразнить дядю, чтобы он начал бузить, как это бывало раньше, и тогда тетюшка может отпустить его на море, попросив Чика пойти с ним как разумную, сопровождающую силу!

Чик набрал полные легкие воздухом и, напрягая лицо, как если бы надувал футбольный мяч, подул в сторону дядюшки. Между ними было около четырех метров, и навряд ли дуновение Чика достигало дяди Коли, но тот сразу же принял меры срочной санитарной обороны.

— Дурачок, — сказал дядюшка и быстро перевернул свою кружку, из которой он обычно пил чай, чтобы воздух, испорченный пребыванием внутри Чика, не коснулся этой священной посуды. Из тех же санитарных соображений после этого он ладонью прикрыл лицо, но так, чтобы и лицо было защищено, и он мог продолжать следить за Чиком.

Чик с новой силой набрал воздух в легкие и снова подул на дядю. Чик дул в него, как дуют в костер, чтобы он разгорелся. Сейчас Чик старательно раздувал в нем пламя безумия.

— Дурачок, с ума сошел! — крикнул дядя.

— Чик, что там еще?! — спросила тетюшка с кухни, где она варила кофе и откуда Чика не было видно.

— Не знаю, — ответил Чик, продолжая глядеть на дядю, — он ко мне придирается. — Говоря это, Чик пожал плечами.

Дядюшка не столько понял его слова, сколько понял пожатие плеч как выражение полной неосведомленности Чика причиной дядюшкиного гнева. Чик знал, что это его еще больше разозлит.

— Дурачок, дразнит, дразнит! — закричал дядя, обернувшись в сторону кухни. Потом он быстро повернулся к Чику, чтобы не пропустить мгновенья, когда Чик снова будет его дразнить.

Чик услышал тетюшкины шаги. По мягкому звуку шагов было понятно, что она несет полный джезвей кофе.

Чик, не спуская глаз с дядюшки, тяжело вздохнул и

снова направил струю воздуха в сторону дяди. И теперь формально можно было считать, что Чик и сейчас и раньше только тяжело вздыхал, а не дразнил дядю. И дядя эту его новую уловку хорошо понял, и это вызвало новый прилив его гнева.

— В чем дело? — спросила тетушка и, продолжая держать в одной руке дымящийся, источающий аромат свежезаваренного кофе джезвей, другой приподняла две кофейные чашечки, стоявшие на столике дяди, переставила их на общий стол и разлила в них кофе. Сначала понемногу в обе чашечки, чтобы каймак разделился поровну, а потом остальное. Струя кофе из джезвея выливалась замедленно и маслянисто, и было видно, что кофе очень густой. Чик не любил такой кофе, но смотреть на эту густую, маслянистую струю было приятно.

Разлив кофе, тетушка уселась на свое место, а Евгению Александровну усадила на ее. Гостья сидела спиной к дяде Коле, и это теперь приводило ее к некоторому беспокойству, хотя она из приличия старалась делать вид, что совершенно спокойна за свой затылок.

— Ну, в чем дело? — несколько раздраженно спросила тетушка, уловив во взгляде дядюшки ожидание справедливого наказания Чика. На этот раз она свой вопрос сопровождала нетерпеливым жестом руки, заранее признающим вздорными все его претензии. Жест ее дядюшке явно не понравился.

— Воздух кидает в Колю! — отвечал дядюшка гневно и потряс ладонью, повторяя тетушкин жест, на этот раз означающий, что вздорность претензий свойственна не ему, а скорее ей.

Тетушка посмотрела на Чика.

— Я только вздохнул, — сказал Чик, — а ему показалось, что я дышу на него.

— Совсем спятил? — спросила тетушка и, чтобы он ее лучше понял, слегка посверлила указательным пальцем свой висок.

Тут тетушка допустила ошибку. Видно, она была слишком увлечена своей беседой с Евгенией Александровной и хотела побыстрее отделаться от этого маленького недоразумения. Кроме того, она хотела показать новому человеку, что она всегда контролирует положение и сумасшествие дяди скорее забавно, чем опасно.

Оскорбительность предположения, что он спятил, окончательно вывела дядюшку из себя. Он вскочил со стула, подошел к столу, за которым сидела тетушка, и,

низко наклонившись в ее сторону, спросил с гневным удивлением:

— Я спятил?!

Он спросил это отчасти как бы не веря своим ушам, тем более что он был глуховат.

— Да, ты, — спокойно ответила тетушка, положив горящую папиросу в пепельницу и прихлебывая кофе. Всем своим поведением она показывала Евгении Александровне, что ей незачем волноваться, что все это сущие пустяки. Евгения Александровна слегка побледнела, когда дядюшка вскочил с места и подошел к их столу.

— Это ты спятила!!! — крикнул дядюшка и погрозил тетушке пальцем. На Чика он взглянул с еще большим укором и, погрозив ему пальцем, добавил с не меньшей убежденностью: — Это он спятил!!!

Потом он посмотрел на Евгению Александровну с выражением гневного укора, но и с желанием разобраться, на чьей она стороне. Видимо, не определив этого, он отвернулся от нее, и по выражению его лица можно было понять, что он оставляет за собой право высказаться об этой малознакомой женщине несколько позже, когда прояснятся ее позиции.

Под взглядом дядюшки Евгения Александровна побледнела еще заметней.

— Кажется, он бузить начинает, — сказала тетушка, глубоко вздохнув и теперь входя в роль угнетенной женщины, выпущенной во цвете лет быть сиделкой при тяжело больном брате, — господи, за что такое наказание?!

— Как бы дверь не начал кромсать, — добавил Чик, вспоминая об одном из ближайших этапов нарастания дядюшкиного гнева. В самом деле, в таких случаях, если гнев его ничем не погасить, он начинал со страшной силой хлопать какой-нибудь из дверей, так что известка с потолка сыпалась на пол.

Дядюшка продолжал смотреть на тетю, ожидая от нее последней искры, не хватающей ему для сокрушительного взрыва. Когда Чик сказал про дверь, Евгения Александровна беспокойно забегала глазами. Тетушка ничего не ответила, а только скорбно вздохнула, поникнув головой.

— Сегодня жарко, — как бы объясняя дядюшкино состояние, напомнил Чик.

— Ах, да! — ожила тетушка и хлопнула себя по лбу. — Я же совсем забыла... Чик, я тебя очень прошу, сходи с ним на море...

— Хорошо, — сказал Чик, стараясь ничем не выдавать своей радости.

Дядюшка не меньше Чика любил море. Но без взрослых его отпускали только в очень жаркие дни с Чиком. В жаркие дни на него что-то находило или считалось, что может найти, а море действовало на него успокаивающе.

— Море, — сказала тетушка веско, словно щелкнула ножницами, перерезавшими тлеющий бикфордов шнур.

— Море?! — переспросил дядя, как бы не веря своим ушам. Теперь голос у него был почти дружелюбный.

— Да, море, — повторила тетушка, снова зажигая недокуренную папиросу и показывая Евгении Александровне, что заминка была совершенно случайной и она, тетушка, как всегда, полностью контролирует положение. — Можешь взять, — добавила тетушка, видя, что Чик снова принялся отгонять мух от персика.

Чик осторожно взял персик, надкусил его сочащуюся нежную плоть и, прежде чем оторваться от надкуса, всосал в рот излишки сока, чтобы он не пропал.

— Море, море, — радостно забормотал дядюшка и, уже так же радостно обращаясь к Евгении Александровне, стал объяснять ей поступок Чика, окрашивая его в юмористические тона.

— Мальчик фу, фу! — показывая, что Чик дул в его сторону, объяснял дядюшка, похохатывая над глупым чудачеством Чика. — Мальчик дурачок...

Дядюшка пошел в залу за своей удочкой, которая стояла возле его кровати.

— Так на чем я остановилась? — спросила тетушка, прихлебывая уже остывший кофе.

— Вы говорили, что к вам стал свататься персидский консул...

— Да, консул, — подтвердила тетушка, — он проходу не давал ни мне, ни моему отцу...

Через пять минут Чик спускался по лестнице вместе с дядей Колей, у которого за плечом торчала вполне оснащенная удочка, если не считать такой маленькой детали, что на конце лески не было крючка.

— Разрешила? — хором спросили ребята, видя Чика, спускающегося по лестнице вместе с дядей.

— Разрешила, — ответил Чик и добавил: — Только дядю надо будет напоить водой с сиропом...

Чик все-таки чувствовал некоторые угрызения сове-

сти за то, что он добился разрешения таким коварным способом.

— Конечно, — согласился Оник, понимая, что финансовое бремя, как обычно, ляжет на него.

— С двойным сиропом, — жестко добавил Чик.

— Конечно, — снова подтвердил Оник. Ведь недаром он был не кем-нибудь, а сыном Богатого Портного.

ЖИВОТНЫЕ В ГОРОДЕ

Из деревни приехал дедушка с коровой и теленком. Корова эта была записана на имя тетушки, хотя, в сущности, принадлежала дедушке. Но она была записана на тетушку, и деревенское начальство решило, что корову надо отдать тому, на кого она записана. Вот дедушка и пригнал корову вместе с теленком.

Чик сначала на корову и ее теленка не обратил внимания. Внимание его целиком было поглощено лошадыю дедушки. Дедушка приехал верхом на лошади, корову вел на веревке, а теленок сам шел за коровой. Дедушка загнал корову вместе с теленком в сарай, лошадь привязал к забору, а сам ушел на базар, помахивая камчой.

Чик подошел к лошади. Она была рыжая. От нее пахло приятным запахом пота и кожей седла. Лошадь искося смотрела на Чика и клацала удилами. Когда Чик приблизился к лошади, он почувствовал волнение. Точно такое же волнение он испытывал, когда приближался к морю. Чик очень удивился похожести этого волнения на то, потому что лошадь ничем не напоминала море. Может быть, дело было в том, что запах ее напоминал запах моря?

Чик осторожно скинул поводья со штaketника и вывел лошадь на улицу. Лошадь послушно шла за ним. Чик остановил лошадь, закинул поводья к седлу и, задрав ногу, попытался вставить ее в стремя. Задирать ногу было ужасно трудно, но Чик все-таки добрался ногой до стремени. Но когда он попытался оттолкнуться второй ногой от земли, чтобы взобраться на седло, лошадь повернула голову и попыталась укусить его за задранную ногу. Чик ее быстро убрал, и тогда лошадь отвернула голову.

Чик снова задрал ногу и попытался оттолкнуться от земли другой ногой, но лошадь опять повернула голову и хотела укусить его. Чик опять быстро убрал ногу. Чик

сильно разволновался. Он никак не мог понять: в самом деле она пытается его укусить или только делает вид? Чик решил перехитрить лошадь. Он так натянул поводья, чтобы она повернула голову в противоположную сторону. Тогда он снова вставил ногу в стремя и снова попытался оттолкнуться от земли, но тут лошадь, обо всем догадавшись, опять повернула к нему голову и попыталась дотянуться до его ноги. Чик снова убрал ногу. Он даже вспотел от волнения. На него уже посматривали прохожие и соседи, те, что стояли на улице или сидели на ступеньках своего крыльца.

В деревне он часто видел, как всадники садятся на лошадь и она точно так же поворачивала голову, чтобы схватить их за ногу, но они успевали вскочить в седло, и лошадь, не дотянувшись до ноги, отворачивалась и послушно шла в ту сторону, куда направлял ее всадник.

И Чик решил рискнуть. Он подумал, что в крайнем случае ей не так-то легко будет прокусить его сандалию. Он снова приподнял ногу, вставил ее в стремя и, не обращая внимания на голову лошади, изо всех сил оттолкнулся другой ногой. Он упал грудью на седло и, как ему показалось, неимоверно долго докарабкивался до него, так что лошадь за это время могла бы откусить ему ногу. Но она не откусила ему ногу, и он успел перебросить через седло вторую ногу и, усевшись, вдел ее в стремя.

Радость победы пронзила Чика. В деревне он уже несколько раз садился на оседланную и неоседланную лошадь. Но тогда его обязательно кто-нибудь подсаживал и закрывал от лошадиной головы. А тут он сам сел, и лошадь его не укусила. Теперь Чик подумал, что она умница, что она и не собиралась его кусать, но ей надо было испытать, трус он или нет. А раз уж он сел, она пошла, повинувшись поводьям.

Чик шагом доехал до следующего квартала, натянул поводья, и лошадь послушно стала. Потом он потянул один повод, и лошадь послушно повернулась. Чик слегка ударил ее ногой в живот, и она пошла. Но Чик хотел, чтобы она перешла на рысь. Но лошадь его не понимала или делала вид, что не понимает. Чик несколько раз ударял ее ногой в живот (он знал, что это не больно), а она упрямо продолжала идти шагом. Она как бы ему говорила: «Чего ты меня лупишь, я и так иду».

Чик еще несколько раз ударил ее ногой, но она продолжала идти шагом. Тогда Чик покрепче ударил ее, и

она, словно догадавшись о его желании: «Ах, ты хочешь, чтобы я пошла рысцой? Так бы и сказал», — затрусилась.

Чик почувствовал, как затряслась его голова, затряслась грудь, затрясся живот, и даже почувствовал, что внутри живота затряслась селезенка. По правде сказать, трястись на лошади было не особенно приятно, но Чик понимал, что со стороны это должно выглядеть великолепно.

Трясаясь, он видел, что некоторые ребята из соседних дворов стоят у калиток и следят за ним. С его собственного двора вышел Оник с велосипедом, за ним Ника, Сонька и Лёсик.

— Чик, где взял лошадь? Чик, дай сделать круг! — кричали соседские ребята, когда он проезжал мимо.

— Чик, покатай! — крикнула Сонька и запрыгала на месте, когда он поравнялся с ними.

Оник вскочил на свой велосипед и сопровождал Чика до самого конца квартала.

— Чик, а быстрее можешь? — спросил Оник.

— Конечно, могу, — сказал Чик. Ему самому порядочно надоело трястись рысцой. Ему хотелось попробовать галопом.

На углу он повернул лошадь, ударил ее несколько раз ногой, но она как тряслась рысцой, так и продолжала. Тогда Чик въехал на тротуар, подъехал к молодой шелковице, росшей у забора, протянул руку и выломал небольшую ветку. Он очистил ее от листьев и взмахнул хлыстом. Еще когда он только стал выламывать ветку, Чик почувствовал, что лошадь под ним подобралась и уши у нее стали торчком. Он почувствовал, что она изменила к нему отношение. Он почувствовал, что она теперь внимательно следит за его хлыстом.

Он не очень сильно ударил ее хлыстом, и она пошла рысью. Тогда он резко взмахнул хлыстом и не успел ее ударить, как почувствовал, что его перестало трясти, что могучая сила подхватила его и понесла. Лошадь пошла галопом.

Рядом мелькнул школьный двор, школьный сторож старик Габуня, притаившийся в кустах в ожидании разорителей школьного сада, мелькнули ребята, стоявшие в калитке их дома, соседские ребята у соседских калиток, мелькали прохожие, и все время, не отставая от лошади, рядом летел Оник на своем велосипеде. Оник раздражал Чика, потому что Чик боялся, что он попадет под копыта разгоряченной лошади. К тому же Чик х-

телось, чтобы Оник отставал от мчащейся галопом лошади, а тот упрямо не отставал.

Проехав квартал, Чик с трудом изо всех сил натянул поводья и, остановив лошадь, повернул ее назад. Выезжать из своего квартала он не решался.

Он снова пустил лошадь галопом и снова почувствовал ровное и сильное качание, почувствовал, как душа его от страха и наслаждения опускается куда-то в живот, а встречный воздух режет глаза и набивается в рот. Да, мчаться галопом — это совсем не то, что трястись рысцой!

Доехав до конца квартала, он опять изо всех сил натянул поводья и с большим трудом остановил лошадь. Чик почувствовал приятную усталость. «Пожалуй, хватит», — подумал Чик. Теперь он повернул лошадь и шагом доехал до своего дома. Он остановил лошадь, бросил поводья, вынул ноги из стремян и слез с лошади. Когда он спрыгнул с нее, он почувствовал надежную твердость земли, по ней было непривычно приятно ходить.

Теперь надо было угостить лошадью своих товарищей по двору. Первым он допустил к лошади Оника, предупредив его, что лошадь может его укусить, но он будет удерживать ее голову, коротко взяв поводья. Со свойственной ему ловкостью Оник легко вскочил в седло, Чик сел на его велосипед и поехал рядом.

— Оник, упадешь, убью! — крикнул отец Оника, Богатый Портной, работавший на балконе и хорошо видевший оттуда улицу.

Чик ехал рядом с Оником на его велосипеде и время от времени давал ему указания. Оник хотел попробовать пойти галопом, но Чик ему не разрешил ввиду близости его грозного отца. Проехав квартал сначала шагом, потом рысью, Оник вернулся к дому и слез с лошади.

Потом катались девчонки, и Чик вместе с Оником подсаживал их на лошадь. Чик с удовольствием следил, как Ника красиво трясется на лошади, идущей рысцой, а Сонька рысцой идти не захотела, но и она довольно хорошо сидела в седле.

Теперь очередь была за Лёсиком. Лёсик был инвалидом от рождения, руки и ноги плохо слушались его. Он, конечно, и не мечтал покататься на лошади, но именно поэтому Чику очень хотелось, чтобы Лёсик испытал это удовольствие.

Чик попросил девочек подержать лошадь под уздцы, а сам вместе с Оником стал громоздить Лёсика на седло.

Оник поддерживал Лёсика, а Чик, приподняв его непослушную ногу, вдвёл ее в стремя. Потом Чик подсел под Лёсика, и они вместе с Оником положили его животом на седло. Неумелое тело Лёсика оказалось ужасно тяжелым, и у Чика от напряжения дрожали ноги, и глаза, казалось, выскочат из глазниц. К тому же, когда они громоздили его, лошадь сделала шаг, и Чик чуть не рухнул под телом Лёсика. Он с трудом удержался и, когда они положили Лёсика на седло, выпрямился. Теперь надо было так передвинуть его тело, чтобы он оказался верхом на лошади. Чик велел Онику перейти на другую сторону и там поддерживать Лёсика, чтобы он не рухнул туда, а сам, приподняв его ногу, стал осторожно перекидывать ее через седло. И вот Лёсик оказался в седле.

Все это время Лёсик ужасно сопел и изо всех сил старался облегчить свое тело. Оказавшись в седле и вдвев вторую ногу в стремя, он облегченно вздохнул, заулыбался, и было видно, что он доволен и совсем не боится.

— Держись руками за луку! — сказал ему Чик и, взяв лошадь за поводья, повел ее.

Неумело растопырив ноги в стременах, держась обеими руками за переднюю луку, Лёсик, смущенно улыбаясь, сидел в седле.

— Лёсик на лошади! Лёсик на лошади! — кричали соседские ребята и громко смеялись, но Чик, не обращая внимания на их смех, осторожно вел лошадь. Лёсик, покачиваясь, сидел в седле, продолжая смущенно улыбаться. Чик чувствовал, до чего Лёсику приятно ехать верхом, и ему самому от этого было приятно.

Дойдя до угла, Чик осторожно повернул лошадь и сказал Лёсику:

— Хочешь, дам поводья?

Это было опасно, но Чик чувствовал, что Лёсик совсем-совсем будет счастлив, если он ему даст поводья и Лёсик сам поведет лошадь.

— Да, — сказал Лёсик и еще шире улыбнулся своей смущенной улыбкой.

Чик завел поводья за голову лошади и дал их в руки Лёсику. Лёсик неумело ухватился за них.

— Прижимайся ногами к животу, — сказал Чик.

Лёсик прижался ногами к животу лошади, но все равно ноги у него как-то неловко висели и неумело торчали в стременах. Лошадь стояла.

— Ударь ногой! — сказал Чик.

Лёсик ударил сильнее, но лошадь продолжала стоять. Она чувствовала бессилие Лёсика. Чик сбоку подошел к лошади и, думая, как бы она не понесла, ладонью шлепнул ее по ляжке. Лошадь пошла. Чик шел сзади, все время следя за телом Лёсика, боясь, что он не сумеет удержать равновесие и сверзится. Лёсик, пыхтя, сидел на лошади и довольно сносно держался.

Вдруг впереди появилась машина, и Чик сильно испугался. Он не знал, что делать. Лошадь шла посреди дороги, и Чик не знал, чего ожидать: то ли она понесет, то ли она прыгнет в сторону и Лёсик рухнет, то ли машина наедет на них.

— Поворачивай! — крикнул Чик, когда машина была совсем близко, и Чик захотелось закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. В последние мгновения лошадь сама сделала несколько шагов в сторону, и машина, подняв столб пыли, проехала мимо.

Когда пыль улеглась, Чик увидел, что лошадь идет себе по краю улицы, а Лёсик сидит в седле как ни в чем не бывало. Какая же она умница, подумал Чик, какой же молодец Лёсик, что не растерялся!

Когда лошадь поравнялась с их домом, Чик забежал вперед, чтобы остановить ее, но Лёсик потянул поводья и остановил ее сам. Он сидел в седле, смущенно и горделиво улыбаясь, и вся улица смотрела на него. Чик велел девочкам держать лошадь под уздцы, а сам вместе с Оником помог Лёсику слезть с лошади. Успех окрылил Лёсика, и тело его сделалось гораздо более послушным, и Чик с Оником было намного легче спускать его с лошади, чем громоздить на нее.

После Лёсика ребята с других дворов стали проситься на лошадь, но Чик сказал, что лошадь устала, надо сделать перерыв и попасти ее. На противоположной стороне улицы была крошечная лужайка, где росла довольно густая трава. Чик подвел туда лошадь, и она с хрустом, не обращая внимания на удила, стала рвать траву и есть. Все хотели держать лошадь за поводья, пока она пасется, но Чик разрешил держать ее одному из мальчиков, который еще не катался.

Впрочем, больше никому не удалось покататься на лошади, потому что пришел хорошо известный на этой улице драчун и заводила, по прозвищу Кабан. Это был очень здоровый восемнадцатилетний парень, и на улице Чика никто не смел ему прекословить.

— Чья кляча? — спросил он, останавливаясь напро-

тив ребят и лениво оглядывая лошадь. Руки он держал за поясом.

— Это к Чик у дедушка приехал, — сказал Оник.

— Он корову привез с телятком, — пояснила Сонька, словно пытаясь своим пояснением избавиться от Кабана.

Но избавиться от него было невозможно.

— Попробуем, что за штучка, — сказал Кабан и, подойдя к мальчику, державшему поводья, взял их у него.

Он вывел лошадь на улицу. Ему и в голову не приходило, что надо бы попросить разрешения у Чика. Чик у было неприятно, что он назвал дедушкину лошадь клячей, и было неприятно, что он собирается на ней кататься, но помешать ему было невозможно. Кабан делал все, что хотел, и никогда ни у кого не спрашивал разрешения.

Чик надеялся, что лошадь его укусит, но Кабан, приподняв свою толстую ногу, сунул ее в стремя, оттолкнулся от земли и грузно уселся в седло. Лошадь даже не повернула голову. Чик у показалось, что она прогнулась под тяжестью Кабана.

Кабан шагом проехал до конца квартала. Чик очень боялся, что поедет куда-нибудь дальше, но Кабан завернул лошадь и поехал назад. Грузно трясясь на лошади, он рысцой проехал мимо них и доехал до конца квартала. Чик опять испугался, что он куда-нибудь уедет, но Кабан и тут завернул лошадь и шагом поехал назад. Чик у показалось, что ему надоело кататься и он сейчас слезет с лошади. От этого Чика охватила тайная радость. Он подумал, что, кажется, все кончится мирно.

Кабан доехал до них, и по его ленивой посадке Чик у показалось, что он собирается слезть с лошади. Но Чик ошибся, Кабану и в самом деле надоело просто так кататься, и он, вынув ноги из стремян, перевернул свое тяжелое тело и уселся на лошади задом наперед.

Все стали смеяться, а Кабан погнался лошадь, и она пошла. Поводья ее волочились по земле, и она шла с нелепо повернувшимся к хвосту всадником. Чик почувствовал ужасное унижение за лошадь и за дедушку. О, если б она сейчас взбрыкнула и сбросила его с седла! Но лошадь спокойно шла, ничем не угрожая уни-

жающему ее всаднику. Неужели она этого не понимает?

Как же он ее повернет на углу, думал Чик, надеясь, что во время попытки повернуть ее, лошадь что-нибудь сделает с этим хулиганом. Доехав до угла, Кабан попытался повернуться и дотянуться до поводьев, но не сумел дотянуться и слез с лошади. Он повернул ее назад и сел нормально верхом. Чик облегченно вздохнул, но, когда лошадь пошла, Кабан снова повернулся в седле и сел задом наперед. Теперь он подъезжал задом наперед, иногда с улыбкой оглядываясь, и многие взрослые смеялись его выходке и кричали:

— Вот Кабан дает!

Чик у Чик было горько слышать этот подхалимский смех. Он чувствовал, что они смеются не столько оттого, что им смешно, сколько для того, чтобы угодить Кабану.

Поравнявшись с ними, Кабан вдруг наклонился и, схватив лошадь за хвост, потянул его наверх. Теперь он двумя руками держал за кончик нелепо вскинутаго лошадиного хвоста, и лошадь, окончательно униженная, шла с обнаженным задом и не пыталась сбросить и растоптать своего угнетателя.

Чик чувствовал себя раздавленным подлым унижением, которому Кабан подвергал дедушкину лошадь. Мужительный ком сдерживаемого возмущения стоял в гортани Чика, и он его сглатывал судорожными глотками, потому что ясно осознавал свое бессилие. Он мог бы на коленях умолять его не издеваться над лошадью, но это только еще сильнее унизило бы Чика, а Кабан все равно бы не послушался.

— Чик, вон дедушка твой идет! — крикнула Сонька с таким отчаянием в голосе, что Чик мгновенно уловил: она чувствует все, что он сейчас переживает.

Чик посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и увидел дедушку, который шел, помахивая камчой, навстречу своей лошади. Что же сейчас будет, подумал Чик, предчувствуя что-то неслыханное. Чик понимал, что дедушка не вынесет унижения своей лошади, но что может сделать маленький, хотя и жилистый дедушка против могучего Кабана?

Дедушка уже заметил свою лошадь и заметил задом наперед сидящего на ней всадника. Он только не видел, что тот еще держит ее за хвост.

Не спуская глаз со своей лошади и еще, видимо, до конца не поняв, что делает над ней этот человек, си-

дящий задом наперед, дедушка приближался. В походке его появилась какая-то воинственная вкрадчивость. Казалось, он боится вспугнуть дичь и, сам удивляясь ей, идет на нее. В нескольких шагах от лошади он остановился. В правой руке он держал приподнятую камчу.

Но Кабан, сидевший на лошади задом наперед, его не видел.

— Клянусь аллахом, — воскликнул дедушка по-абхазски, словно осознав смысл происходящего, — этот человек глумится над моей лошадью!

В следующее мгновение он схватил лошадь под уздцы. Лошадь остановилась, и Кабан, не понимая, в чем дело, повернул голову.

— Слезь! — крикнул дедушка по-абхазски, но по движению камчи в его руке можно было понять, что он имеет в виду.

В ответ Кабан только рассмеялся, и теперь дедушка заметил, что тот сжимает в руках кончик хвоста его лошади.

— Брось хвост моей лошади! — крикнул дедушка по-абхазски и, не дожидаясь, пока тот станет бросать хвост лошади, сам схватил хвост лошади и дернул его вниз. Но Кабан, смеясь, смотрел вниз на дедушку и продолжал сжимать в руках кончик хвоста. Огромный Кабан на лошади выглядел как памятник перед маленьким дедушкой. Чик почувствовал, что унижение дошло до предела: Кабан лошадь унизил, Чика унизил, а теперь унижал самого дедушку. Но что можно было сделать против него? Что?!

В это мгновение в воздухе мелькнула дедушкина камча, и плеть хлестнула Кабана по рукам. Кабан бросил хвост и с криком затряс руками, словно окунул их в кипяток.

— Слезь с моей лошади! — крикнул дедушка по-абхазски.

— Ну, старый хрыч, держись! — взревел Кабан и, перекинув ногу, сполз с лошади. Лошадь сделала несколько шагов вперед, и маленький дедушка остался один на один с огромным Кабаном.

Кабан ринулся на дедушку. Не отступив ни на шаг от ринувшегося на него тела Кабана, дедушка снова взмахнул камчой, и Чик увидел, как в воздухе откинулась назад голова Кабана и красный рубец перерезал его лицо. На мгновение Кабан замер и снова ринулся,

пытаясь схватить дедушку своими могучими лапами, и снова дедушка, не отступив ни на шаг, взмахнул камчой, и голова Кабана отдернулась с такой силой, что он рухнул на спину.

В следующее мгновение Чик с восторженным ужасом увидел, что дедушка сидит верхом на Кабана и, держа его одной рукой за горло, другой бьет его рукояткой камчи по лицу. Всесильный Кабан не только не перевернул дедушку, не перебил его одним ударом, но он, по сути, даже не сопротивлялся. Он только пытался вырваться и орал как зарезанный, а дедушка методично колотил его по лицу рукояткой камчи.

Сколько это длилось? Минуту, две, три? Чик не мог понять. Наконец Кабан вырвался из-под дедушки и, отбежав шагов на двадцать, повернулся окровавленным лицом и истерическим голосом стал кричать ему всякие непристойности, которые дедушка все равно не понимал, потому что Кабан кричал их по-русски.

— Над лошадью вздумал глумиться! — то и дело повторял дедушка, отряхивая той же рукояткой камчи свои брюки и оглядывая их со всех сторон. Кабан, чувствуя, что дедушка его не понимает, сделал похабный жест и крикнул:

— Вот тебе!

Дедушка, увидев этот похабный жест, сделал несколько быстрых шагов в сторону Кабана, но тот с неожиданным проворством побежал и бежал до самого угла. Дедушка победно взглянул в его сторону, пригрозил ему еще раз камчой и, поймав свою лошадь, пошел во двор.

Чик ликовал. Никогда в жизни никто так не мог напугать Кабана, как напугал его дедушка, ничего не знавший о его славе первого хулигана этой улицы. В тот же день дедушка на своей лошади уехал в деревню, а Кабан хоть и не перестал быть одним из первых хулиганов, но в квартале, где жил Чик, он вел себя довольно тихо. Слишком многие люди видели, как дедушка Чика лупцевал его, а он ничего не смог сделать.

Одним словом, дедушка уехал, а корова с теленком остались. Чик пас ее вместе со своим сумасшедшим дядей Колей на собственной и близлежащих улицах, хотя это и не разрешалось. Вместе с дядюшкой и ребятами своего двора Чик пас корову и рвал траву для нее и ее теленка.

Иногда тетушка вместе с Чиком и дядей рвала траву. Вечерами она показывала мужу свои натруженные ладо-

ни и говорила, что он сделал из нее несчастную женщину, и спрашивала, что бы сказал бывший муж, персидский консул, если бы увидел, как она руками рвет траву для пропитания коровы. Муж ее, дядя Чика, отворачивался и молчал, потому что не знал, что бы мог сказать персидский консул при виде натруженных рук тетушки. В такие минуты Чик жалел дядю и с раздражением думал о неведомом персидском консуле.

Тетушка доила корову два раза в день, а потом пускала под нее теленка. Корова оказалась хитрая. Иногда она прятала молоко, и тогда тетушка почти ничего не могла надойть. Тетушка прикладывала к вымени грелку с теплой водой, чтобы корова расслабилась и пустила молоко, но она, если уж ей втемяшилось в башку прятать молоко, крепко его держала при себе и отпускала только тогда, когда теленок тыкался ей в вымя. В конце концов тетушка приспособилась пускать под нее теленка и одновременно доить ее — из одного сосца тянет молоко теленок, а из другого сосца выдаивает его тетушка.

В первое время Чик пас корову рядом с домом во дворе грузинской школы. Там была густая, летняя, неистоптанная школьниками трава. Корова с удовольствием ела эту траву, и все были довольны, что нашли ей такое близкое и удобное пастбище.

Но это длилось не более недели. Видно, школьный сторож, вздорный старик Габуния, куда-то уезжал или был болен. Однажды он появился на школьном дворе и прогнал оттуда Чика вместе с коровой. Как Чик его ни упрашивал, старик был неумолим, хотя на кой ему черт эта школьная трава, было непонятно.

Кроме школьного двора и самой школы, старик Габуния охранял и школьный сад. Он иногда часами сидел, притаившись в кустах, ждал, не вздумают ли мальчишки с их улицы забраться туда. Чик уговорил Оника и Лёсика похаживать за забором возле сада, чтобы возбуждать бдительность старика Габуния. Старик затаивался в кустах, и Чик, воспользовавшись этим, успевал несколько часов попасти корову в школьном дворе. Но это длилось недолго. Старик Габуния догадался о хитрости Чика и стал прерывать засаду внезапными обходами школьного двора. Чикун пришлось переместиться на новое место.

За три квартала от дома была большая поляна, на одной стороне которой строился Дом правительства, так называлась эта стройка, а другая сторона представляла со-

бой большую зеленую лужайку. Здесь-то Чик и приспособился пасти свою корову.

Около десяти безмятежных дней провел Чик вместе с коровой на этой лужайке. Хотя Чик знал, что здесь корову пасти нельзя, он не думал никуда уходить отсюда, тем более что здесь его никто не трогал.

В сущности, пасти корову нельзя было нигде, хотя держать корову разрешалось. Чика удивляло и потрясало это противоречие. Из разговоров взрослых Чик знал, что корову в их городе разрешают держать. Но из этих же разговоров он знал, что пасти ее нигде не разрешают. Чик никак не мог одно соединить с другим. Он решил, что это произошло так. Один взрослый начальник разрешил держать коров, из чего следовало, что пасти их в городе можно. Но другой взрослый начальник запретил пасти коров, из чего следовало, что держать их в городе нельзя. Получалось, что первый взрослый начальник ничего не знал о запрете второго начальника, а второй взрослый начальник ничего не знал о разрешении первого начальника. Чик считал, что это противоречие кому-то из взрослых начальников надо растолковать, но кому именно, он не знал.

Однажды, когда на этой лужайке он пас корову вместе со своим сумасшедшим дядюшкой, к ним подошел милиционер.

— Уходите домой, — сказал он, — здесь корову пасти нельзя.

— Почему? — спросил Чик миролюбиво.

— Потому что здесь Дом правительства строят, — сказал милиционер и кивнул на стройку.

— Дом правительства пускай строят, — согласился Чик со строительством, — корова им не мешает.

— Мешает, — возразил милиционер.

— Чем мешает? — спросил Чик.

— Дом правительства строят, — терпеливо повторил милиционер, — комиссия может из Москвы приехать... Что, они на вашу корову будут смотреть?

— Зачем им смотреть на корову, — сказал Чик, — они будут смотреть на строительство.

— А если посмотрят на корову? — спросил милиционер.

— Ну и что, — сказал Чик, — посмотрят и отвернутся.

— Комиссия отвернуться не может, — строго заметил

милиционер, — а корову в черте города пасти не разрешается.

— А держать корову в городе разрешается? — спросил Чик.

— Держать разрешается, — ответил милиционер.

— Но раз держать разрешается, — сказал Чик, — значит, и пасти разрешается.

— Нет, не значит, — ответил милиционер, — ты меня не путай, я законы знаю.

— Но раз держать разрешается... — начал было Чик.

— Держать разрешается, но пасти не разрешается, — перебил его милиционер.

— Это неправильно, — сказал Чик.

— Это правильно, — сказал милиционер.

— Но раз держать разрешается... — сказал Чик.

— Еще одно слово, — сказал милиционер, — я оштрафую корову.

— Все равно это неправильно, — сказал Чик.

— Все, — сказал милиционер, — штраф пять рублей.

— У меня денег нет, — сказал Чик.

— А это кто такой, — спросил милиционер, — он глухонемой?

— Нет, — сказал Чик, думая, что милиционер довольно близко попал, — он мой дядя.

— Вот он и заплатит, — кивнул милиционер на дядюшку Чика.

— Батум, Батум, — сказал дядя, чувствуя непорядок и начиная раздражаться.

— В Батуме то же самое, — сказал милиционер, — законы везде одинаковые.

— У него тоже денег нет, — сказал Чик.

— Это мы выясним, — сказал милиционер.

— Он сумасшедший, — сказал Чик.

— Как штраф платить, все сумасшедшие, — сказал милиционер.

— Батум! Батум! — более четко повторил дядя.

— Он правда сумасшедший, — сказал Чик.

— Тогда почему он не в сумасшедшем доме? — удивился милиционер, как и все в таких случаях.

— Ему разрешается, — сказал Чик, — он вреда никому не приносит.

— А справка есть? — спросил милиционер.

— Да, — сказал Чик, — он всегда с нами живет.

— А почему он вспомнил про Батум? — спросил милиционер.

— Он всегда про Батум вспоминает, — сказал Чик.
— Очень интересно, — загадочно сказал милиционер, — но в Батуме граница.

— Он всегда про Батум вспоминает! — воскликнул Чик, чувствуя, куда гнет милиционер, и стараясь отвлечь его от этих мыслей.

— Шпионы ходят по стране, — сказал милиционер.

— Знаю, — согласился Чик.

— В том числе и под видом сумасшедших, — сказал милиционер.

— Знаю, — согласился Чик, потрясенный тем, что милиционер подозревает дядю в том, в чем Чик сам подозревал его когда-то. — Но он настоящий сумасшедший. Его доктор Жданов проверял.

— Этот номер не пройдет, — сказал милиционер, — я вас всех забираю в милицию. Там все выяснят... Корова не бодается?

— Нет, — сказал Чик, — она мирная.

— Вот и хорошо, — сказал милиционер и отобрал у Чика веревку, за которую была привязана корова. — Я ее поведу.

— Мы уйдем домой, — сказал Чик, чувствуя, что опоздал с этим предложением.

— Поздно, — сказал милиционер, наматывая веревку на руку. — Ты попался через свои ехидные вопросы.

С этими словами он повел корову через поляну в сторону милиции. Чик с дядей шли рядом. По дороге Чик еще несколько раз просил милиционера отпустить их домой, но тот был непреклонен.

Они вошли во двор милиции, и милиционер крепко привязал корову к забору. Там росла густая трава, и корова тут же начала ее есть, но милиционер на это не обратил внимания, хотя корова начала есть траву, когда он ее только привязывал.

Велев им ждать у входа, милиционер вошел в небольшой дом, стоявший во дворе милиции. Чик был сильно расстроен случившимся и не знал, что думать. В те времена очень многих людей подозревали в шпионстве. Чик сам в этом подозревал дядю, но потом понял, что все это чепуха. Он понимал, что в конце концов через доктора Жданова они докажут, что дядя не шпион. Но сколько времени на это понадобится? И не продержат ли их все это время в милиции?

Сколько Чик ни думал, как выйти из этого положения, он ничего не мог надумать. Одна надежда остава-

лась на доктора Жданова. Доктор Жданов был известным в городе психиатром. Когда про кого-нибудь хотели сказать, что он псих, говорили: «Тебя надо к доктору Жданову отправить!»

Чик с дядей довольно долго стояли у входа в этот домик. Вдруг Чик увидел, что во двор милиции зашел милиционер-абхазец, живший с Чиком на одной улице. Рядом с ним шла женщина, и даже издали было заметно, что она ярко раскрашена. Платье на ней тоже было яркое.

Милиционер шел в их сторону, но он на них с дядей не смотрел, хотя обоих прекрасно знал. У Чика сердце забилось от радости и тревоги. Он изо всех сил старался быть замеченным милиционером. И в самом деле, подойдя близко, милиционер на него посмотрел. Но он его не сразу узнал, потому что никак не ожидал встретить его здесь.

— Я Чик! — воскликнул Чик, помогая милиционеру узнать себя.

— Кто не знает, что ты Чик, — сказал милиционер, останавливаясь, — но как ты здесь оказался? О, да еще с Колсэй!

И тут ему Чик все рассказал и про корову, и про дядю.

— Бедный мальчик, — сказала женщина, когда Чик рассказывал, и попыталась заплакать, но потом, как догадался Чик, вспомнила, что она раскрашена, и раздумала плакать.

— Ты себя пожалей, — сказал милиционер, тоже заметив, что она хотела заплакать.

— А я ни в чем и не виноватая, — сказала женщина, — мне дите жалко.

— Никуда не уходи, жди меня здесь, — сказал милиционер Чику и вошел вместе с женщиной в домик.

Чик увидел открытые окна домика и подошел к ним, надеясь узнать что-нибудь о своей и дядиной судьбе. Из комнаты доносились голоса людей, и один из этих голосов принадлежал знакомому милиционеру. Другой голос Чик признал за начальнический. Третий голос принадлежал женщине, которую ввел знакомый ему милиционер. Чик понял из их разговора, что она занимается чем-то запретным, но чем именно, Чик не мог понять. Она говорила, что приехала из Воронежа, чтобы купаться в море и загорать, а не для того, чтобы заниматься

этим. Но чем именно, она не говорила. А они говорили, что она приехала не загорать и купаться, а заниматься этим. Она говорила, что она этим нигде не занималась, ни здесь, ни в Воронеже. А они говорили, что она этим занимается здесь и, судя по всему, занималась этим же в Воронеже. Она говорила, что она в Воронеже этим не занималась, а работала воспитательницей. А они говорили, что она воспитательницей работала давно, а потом занималась этим, потому что нигде не работала. Она говорила, что она потому нигде не работала, что ее кормил муж и ей незачем было этим заниматься. Но они сказали ей, что согласно документам она с мужем разошлась еще до того, как она работала воспитательницей, и поэтому после того, как она бросила работать воспитательницей, муж ее не мог кормить, и она занималась этим и сюда приехала, чтобы и здесь заниматься этим. Разговор был ужасно интересным, но Чик не мог понять, чем она занималась. Чик смутно догадывался, что ее яркое платье и ярко раскрашенное лицо имеют какое-то отношение к этим занятиям, но что это за занятия, он не мог понять.

— Чтобы тебя в двадцать четыре часа в городе не было! — наконец сказал начальник, и Чик понял, что судьба этой женщины решена.

Она попробовала было заплакать, но потом то ли вспомнила, что слишком накрашена, то ли голос начальника был слишком непреклонным, и она, поняв, что это не поможет, перестала пытаться. Через минуту она вышла из домика и пошла по двору, покачивая бедрами и бросаясь в глаза ярким платьем.

— Слушай, это ты задержал мальчика с коровой? — услышал Чик голос своего милиционера.

Видно, что милиционер что-то ответил, но Чик не расслышал что.

— Какого Миши? — спросил голос, который Чик еще раньше признал за начальнический.

— Миши, который директором гастронома работает, — сказал свой милиционер.

— Ах, этого Миши, — сказал голос начальника, — ну, пусть войдут...

Чик отошел от окна. Через несколько секунд вышел свой милиционер и сказал:

— Входите вместе с дядей.

Чик оглянулся на корову. Она охотно ела сочную миллицейскую траву. Они прошли в комнату, где за дере-

вянным барьером сидел начальник. Милиционер, который их привел, стоял возле барьера.

— Так это вы нарушители общественного порядка? — спросил начальник.

Чик по его голосу понял, что он добродушно настроен.

— Мы пасли корову, — сказал Чик откровенно.

— Знаю, — отвечал начальник, — но пасти корову в городской черте не разрешается... Тем более возле Дома правительства.

— А как же, — сказал Чик, чувствуя, что входит в запретную зону, но не в силах удержаться, — держать корову разрешается, а пасти не разрешается?

— Очень просто, — ответил начальник, — надо кормить ее дома, как-то: сеном, отрубями, помоями, арбузными корками... А пасти в городской черте не разрешается... Понял?

— Понял, — сказал Чик.

— Я вижу, ты понятливый, — сказал начальник. — А это твой дядя?

— Да, — сказал Чик.

— С какого года он с вами живет? — спросил начальник.

— С незапамятных времен, — отвечал Чик, — он всегда с нами живет.

— Доктор Жданов его смотрел? — спросил начальник.

— Да, — сказал Чик, — доктор Жданов ему разрешил с нами жить.

— Ладно, — сказал начальник, — забирайте корову и скажите дома, что пасти ее в городской черте не разрешается.

— Хорошо, — сказал Чик и сделал дяде знак, показывая, что им можно выходить.

Чик поспешил выходить, потому что на стене милицейской комнаты висел плакат, изображавший пограничника, ставшего ногой на распластанного на земле шпиона. Дядюшка с доброжелательным интересом уже приглядывался к этому плакату. Он мог, по привычке принимая за себя любое понравившееся ему изображение мужчины, сказать: «Это я».

Чик боялся, что такое самозванство дядюшки может вызвать новые осложнения, и поспешил вывести его из помещения. Когда они вышли, корова все еще жадно паслась возле забора, и Чик даже пожалел, что все так

быстро кончилось. Они отвязали корову и благополучно вернулись домой.

Богатый Портной разрешил пасти корову на своем участке, где он строил дом. Там росла хорошая трава и было несколько фруктовых деревьев. Корова ела траву, а если ей попадались паданцы, она съедала и паданцы.

— Пускай кушает — не жалко, — говорил Богатый Портной, заметив, что корова ест паданцы.

Так он говорил каждый раз, когда видел, что корова ест паданцы, и Чик удивлялся этому. Чик считал, что достаточно было об этом сказать один раз. Но Богатый Портной каждый раз, заметив, что корова ест паданцы, говорил об этом. Из этого Чик заключил, что ему все-таки жалко паданцы.

Когда корова съела всю траву на участке Богатого Портного, Чик стал пасти ее неподалеку от этого участка на небольшой поляне перед маленьким ветхим домиком. По наблюдениям Чика, в этом месте кончался город, и поэтому здесь можно было пасти корову.

В домике, по слухам, жил какой-то сумасшедший парень, и, хотя Чик опасался его, он все же надеялся, что встреча с ним не так уж опасна. Так как Чик сам приходил сюда со своим сумасшедшим дядюшкой, он надеялся, что сумасшедшие найдут друг с другом общий язык. Чик в своей жизни видел только одного сумасшедшего, и этим сумасшедшим был его дядя. Он был довольно мирным сумасшедшим, и Чик надеялся, что этот сумасшедший парень тоже будет достаточно мирным, тем более, когда увидит, что с ним его сумасшедший дядя. Они поговорят между собой, думал Чик, про свои сумасшедшие дела, поделятся своими смешными фантазиями и мирно разойдутся.

На поляне паслась корова, принадлежащая этому сумасшедшему парню, но она, по наблюдениям Чика, была вполне нормальная и тихо паслась рядом с тетушкиной коровой.

В тот день Чик вместе с дядюшкой, Оником, Сонькой и Никой пасли корову на этой полянке. Там росло грушевое дерево с мелкими, но очень вкусными плодами, черными изнутри. Чик с Оником сначала сбивали груши камнями, но это было неудобно, потому что ветки были расположены высоко и камни редко задевали плоды. Чик решил, что можно залезть на эту грушу и потрусить ее. Он считал, что это ничейная груша, потому что она росла посреди полянки, а полянка не входила ни в чей участок.

Чик и Оник залезли на грушу и стали трясти ветки. Груши дождем падали вниз, но тут под деревом появились обе коровы и какие-то бродячие свиньи.

— Гоните свиней! — крикнул Чик с дерева.

Ему было противно, что свиньи подбирают те же груши, которые подбирают девочки. Чик в те времена не ел свинину и вообще был воспитан в нелюбви к свиньям, и это воспитание еще долго сказывалось на нем.

Девочки пытались гнать свиней, но те были такие нахальные, что отходили на несколько шагов и первыми прибежали, когда мальчики начинали трясти ветки. Они пользовались тем, что девочки не могли их огреть камнем или палкой. Коровы тоже ели груши, но они не с такой жадностью набрасывались на них. Они поедали груши более медленно и прилично. А свиньи, поедая груши, чавкали так, что с дерева было слышно.

Увидав, что Чик и Оник трясут грушу, из ветхого домика вышла старушка и стала ругать их за то, что они трясут грушу. Ругаясь, она подошла к дереву. Чик и Онику не мешала ее ругань, тем более, что ругалась она по-мингрельски. Но самое смешное, что ее ругань ей самой не помешала набрать полный подол груш, который натрясли Чик и Оник, и с этим полным подолом, продолжая мирно ругаться, она удалилась к себе домой.

Чик и Оник слезли с дерева, и девочки угощали их грушами, которые собрали в подолы, а потом высыпали в одном месте на чистую травку. Несмотря на коров, свиней, старушку из ветхого домика, девочки набрали много груш, и они дружно их ели, и груши были сочные, с темным нутром и с маленькими скользкими семечками.

Дядя Коля, который сам для себя отдельно собирал груши и с особенной яростью гнал свиней, потому что был очень брезглив, сейчас тоже ел свои отдельные груши, обтирая каждую из них платком. Он бы ни за что не взял груши из девчачьих подолов, потому что был брезглив не только по отношению к животным, но и ко всем людям, кроме бабушки.

И вот они уже доели свои груши и подумывали, чем бы заняться на этой полянке, чтобы не скучать, когда вдруг услышали голос того сумасшедшего парня. Они даже не заметили, когда он пришел домой. Может, он даже не приходил домой, может, он просто спал, а сейчас проснулся и стал громко кричать.

Чик почувствовал смутную тревогу. Ему показалось,

что крик этого сумасшедшего имеет к ним какое-то отношение. Вдруг сумасшедший подошел к калитке своего двора и выглянул на полянку. Вид у него был страшный: лохматая голова и лицо, обросшее бородой, и сам одет в какие-то лохмотья.

Чик сравнил глазами его со своим сумасшедшим дядюшкой, аккуратно выбритым, одетым в поношенную, но опрятную одежду, и почувствовал, что его дядя, пожалуй, не сладит с таким дикарем. Дядюшка вообще не понимал, что происходит, тем более что плохо слышал. Он безмятежно сидел на траве и, наевшись груш, напевал песенки собственного сочинения.

А сумасшедший парень продолжал бушевать у себя во дворе, иногда высовываясь над калиткой своей лохматой головой и глядя в их сторону грозным взглядом. Он явно был недоволен их присутствием здесь. Чик, содрогаясь, подумал, что было бы, если бы он увидел, как они трясут грушу. Может быть, стал бы камнями сбивать их с дерева.

Ребята тоже почувствовали тревогу. Лицо Ники слегка побледнело. А во дворе ветхого домика перехлестывались голоса старушки и сумасшедшего. Теперь Чик жалел, что стал здесь пасти корову. Он подумал, что другие владельцы коров, живущие в городе, потому и не пользовались этой полянкой, что знали, кто здесь живет. А он-то думал, что всех перехитрил: и за чертой города, и близко, и полянка хорошая.

Ребята встали на ноги и стояли, растерянно столпившись. Они чувствовали, что голос старушки едва удерживает сумасшедшего во дворе. Продолжая ругаться, тот все чаще подходил к калитке и бросал на них грозные взгляды.

Наконец дядюшка тоже кое-что расслышал и, глядя в сторону ветхого домика, мирно сказал:

— Человек кричит! Человек с ума сошел!

Он всегда так говорил, но на этот раз попал в точку. И до чего же мало было на него надежды! Он по сравнению с этим сумасшедшим казался нормальным старичком. А Чик так надеялся, что сумасшедшие в случае чего найдут между собой общий язык. Но, оказывается, сумасшедшие бывают совсем разные, оказывается, они отличаются друг от друга еще сильнее, чем нормальные люди.

И вдруг сумасшедший с топором выскочил из калитки.

— Зачем корова?! — кричал он издали, приближаясь к ним.

Чик не знал, что делать, он почувствовал, что его руки и ноги коченеют от ужаса. Все же он одолел окаменение и дернул дядю за рукав, подталкивая его в сторону приближающейся грозной фигуры:

— Скажи ему что-нибудь! Скажи!

— Отстань! Мальчик с ума сошел! — отвечал дядя, отстраняясь рукой и показывая, что он не собирается связываться с этим сумасшедшим, сколько бы его Чик ни натравлял на него.

— Зачем корова? — орал сумасшедший, приближаясь с топором и показывая на корову. И этот топор со свежеструганным топорищем, сверкавшим белой древесиной, он держал как пушинку, и чувствовалось, какая в нем неимоверная сила.

«Зарубит, — подумал Чик, ощущая в себе самом какую-то пустоту, — нас зарубит и корову зарубит». Все ребята и дядюшка Чика стояли, скованные ужасом, и слова не могли произнести. Он приближался, и голова его с яростными глазами и лохматой бородой, казалось, росла на глазах.

В следующее мгновение Чик очнулся, почувствовав, что он вместе со всеми бежит вдоль лужайки от сумасшедшего. Впереди всех бежал дядюшка Чика.

— Зачем корова?! — слышался яростный голос сзади, и этот голос раздавался все громче и громче.

Чик чувствовал, что через минуту он их догонит и произойдет что-то чудовищное. Сквозь ужас этого бегства он успел подумать о том, что Лёсик со своими больными ногами и десяти шагов не пробежал бы от этого страшного человека. И, чувствуя ужас, он все-таки обрадовался этому маленькому везению, тому, что Лёсика нету с ними. Они обежали полянку и сейчас приближались к тому месту, где стоял домик этого сумасшедшего. Та самая старушка вышла из калитки и, что-то крича, палкой грозила своему сыну.

Ребята бежали изо всех сил, но сумасшедший их медленно догонял. И вдруг каким-то образом оказалось, что от толпы бегущих отделилась Сонька и сумасшедший словно отрезал ее от других, устремился за ней.

Оба они оказались впереди остальных, и Чик с ужасом видел, как быстро уменьшается расстояние между Сонькой и сумасшедшим. Он ее догонял и должен был вот-вот ее догнать, и у Чика мелькнуло в голове, что он

выбрал Соньку потому, что она была хуже всех одета, точно так же, как собаки, если у них есть выбор, направляют свою ярость на самого плохо одетого человека.

Он уже пытался цапнуть Соньку рукой, свободной от топора, но она каким-то чудом увернулась и вдруг побежала в сторону старушки и, подбежав, спряталась за ней.

Этого никто не ожидал, и сам он, конечно. Теперь он перешел на шаг и направился вслед за ней. Но это уже был не сумасшедший, бегущий с топором.

— Зачем корова?! — заорал он снова, но движения его потеряли решительность.

Старушка что-то отвечала ему по-мингрельски, и, когда он приблизился, она сделала несколько шагов ему навстречу, грозя поднятой палкой и прикрывая Соньку.

Грозя ему палкой, старушка отгораживала Соньку, а он медленно напирал на нее, и старушка, бочком отступая, продолжала отгораживать Соньку, и в конце концов так получилось, что он оказался у самой калитки, и старушка, бесстрашно грозя ему палкой, втокнула его в калитку и прикрыла ее своей спиной. Больше всего поразило Чика в этой картине, что он явно боялся ее палки, хотя и наступал на старушку.

— Уходи, уходи! — сказала старушка, махнув рукой всем, и Чик побежал к корове и стал ее гнать с лужайки.

Сумасшедший время от времени орал из-за калитки, и волны ярости в его голосе то kloкотали сильней, то ослабевали. Особенно сильно они kloкотнули, когда Чик с коровой проходили мимо дома.

— Зачем корова?! — яростно и даже с каким-то отчаянием крикнул он им вслед, и Чик, спиной чувствуя смертельную опасность, вместе со всей компанией покинул полянку.

Через некоторое время после этого случая, запомнившегося Чикю на всю жизнь, тетушке надоело рвать траву, надоело прикладывать грелку к вымени прячущей молоко коровы, и вообще корова ей смертельно надоела. Она устроила дяде скандал, говоря, что он ей сгубил молодость, а теперь окончательно губит ее жизнь этой несносной коровой. Пришлось корову вместе с теленком отогнать в деревню, уже к другому родственнику, и Чик об их дальнейшей судьбе больше ничего не слышал.

Чик стоял рядом с дядей Алиханом, продававшим сласти у входа на базар, когда с базара вышел Керопчик с тремя друзьями. Чик сразу почувствовал, что Керопчик и его друзья очень весело настроены и что это не к добру.

Они выпили на базаре чачи, и желание повеселиться настигло их у выхода с базара. Чик это сразу почувствовал.

— Хош * имею пошухарить, — сказал Керопчик и остановился вместе с друзьями.

Слева от входа под навесом лавки стоял Алихан со своим лотком, набитым козинаками и леденцами, а справа от входа расположился чистильщик обуви Пити-Урия.

Только что прошел дождь. Пережидая его, Чик остановился под навесом возле Алихана, но уже сверкало солнце, и Чик собирался уходить домой, когда появился Керопчик со своими друзьями.

Небольшого роста, коренастый, Керопчик посмотрел вокруг себя своими прозрачными глазами безумной козы. Сначала он посмотрел на Пити-Урию, который барабанил щетками по дощатому помосту, куда клиенты ставят ногу, но под взглядом Керопчика перестал стучать.

Керопчик перевел взгляд на Алихана и, решив, что с Алиханом ему интереснее повеселиться, подошел к нему.

Чик почувствовал тревогу, но Алихан почему-то ничего не почувствовал. Высокий, сутуловатый, он стоял над своим лотком, уютно скрестив руки на животе.

— Салам-aleyкум, Алихан, — сказал Керопчик, еле сдерживая подпиравшее его веселье. Чик понял, что Керопчик уже что-то задумал. Друзья его тоже подошли к Алихану, весело глядя на него в предчувствии удовольствия. Алихан и тут не обратил внимания на настроение друзей Керопчика.

— Алейкум-салам, — отвечал Алихан на приветствие, голосом показывая неограниченность своей доброжелательности.

— Ты почему здесь торгуешь, Алихан? — спросил Керопчик, словно только что заметил его лоток.

* Настроение.

— Разрешениям имеем, Кероп-джан, — удивляясь его удивлению, отвечал Алихан.

— Кто разрешил, Алихан?! — еще больше удивился Керопчик, подмигивая друзьям, уже корчившимся от распиравшего их веселья. Алихан и на подмигивание его не обратил внимания.

— Милициям, Кероп-джан, — отвечал Алихан, слегка улыбаясь чудаческой наивности Керопчика, — начальник базарам, Кероп-джан.

— У меня надо разрешение спрашивать, Алихан, — назидательно сказал Керопчик и легким толчком ноги опрокинул лоток. Стеклянная витрина лотка лопнула, и часть сладостей высыпалась на мокрую булыжную мостовую.

Керопчик и его друзья повернулись и пошли к центру города. Они шли, подталкивая Керопчика плечами и показывая ему, как это он здорово все проделал.

Алихан молча смотрел им вслед. Губы его безропотно шевелились, а в глазах тлела тысячелетняя скорбь, самая безысходная в мире скорбь, ибо она никогда не переходит в ярость.

Сердце Чика разрывалось от жалости и возмущения подлостью Керопчика и его друзей. О, если бы у Чика был автомат! Он уложил бы всех четверых одной очередью! Он строчил бы и строчил по ним, уже упавшим на землю и корчившимся от боли, пока не опустел бы диск!

Но не было у Чика никакого автомата. Он держал в руке базарную сумку и молча смотрел вслед удаляющимся хулиганам.

Алихан постоял, постоял и вдруг, опираясь спиной о стенку лавки, возле которой он стоял, сполз на землю и, сев на нее, стал плакать, прикрыв лицо руками и вздрагивая тощими сутулыми плечами.

Лавочник высунулся из-за прилавка и удивленно посмотрел вниз, словно стараясь разглядеть дно колодца, в который опустился Алихан.

— Дядя Алихан, не надо, — сказал Чик и, нагнувшись, стал подбирать леденцы и лишние от меда козинаки, сдувая и выковыривая из них соринки. Чик подумал, что если их вымыть под краном, то еще вполне можно продать. Он собрал все, что высыпалось, и вложил обратно в лоток через пролом разбитого стекла. Он отряхнул руки, как бы очищая их от медовой липкости, а на самом деле показывая окружающим, что ничего не взял из того,

что высыпалось из лотка. Он это сделал бессознательно, как-то так уж само собой получилось.

Вокруг Алихана сейчас столпились лавочники из ближайших лавок, знакомые и просто случайные люди.

— Он сказал: «Хош имею пошухарить», — рассказывал Пити-Урия вновь подходившим, — я думал, ко мне подойдет, а он прямо подошел к Алихану...

И вдруг Чик почувствовал, что по толпе прошел испуганный и одновременно благоговейный шелест. Некоторые стали незаметно уходить, но некоторые оставались, шепча вполголоса:

— Мотя идет... Тише... Мотя...

По тротуару, ведущему ко входу на базар, шел Мотя Пилипенко. Это был рослый, здоровый парень в сапогах и матросском костюме с медалью «За отвагу» на бушлате.

Год тому назад он появился в Мухусе и сразу же настолько возвысился над местной блатной и приклатнейной мелкотой, что никому и в голову не приходило соперничать с ним. Считалось, что его и пуля не берет, и потому он имел прозвище Мотя Деревянный.

О его неслыханной дерзости рассказывали с ужасом и восхищением. Простейший способ добычи денег у него был такой. Говорят, он входил в магазин со своим знаменитым саквояжем, вызывал заведующего и, показывая на саквояж, тихо говорил:

— Дефицит... Закрой двери...

Заведующий выпускал покупателей, приказывал продавцу закрыть дверь и подходил к прилавку, куда Мотя ставил свой саквояж. Мотя осторожно открывал саквояж, заведующий заглядывал в него и немел от страха — на дне саквояжа лежало два пистолета.

Заведующий подымал глаза на Мотю, и тот, успокаивая его, окончательно добивал:

— Эти незаряженные, — кивал он на пистолеты, лежавшие в саквояже, — заряженный в кармане.

После этого заведующий более или менее послушно вытаскивал ящик кассы и вытряхивал его в гостеприимно распахнутый Мотей саквояж. Мотя закрывал саквояж и, уходя, предупреждал:

— Полчаса не открывать...

Так, говорили, он действовал в самом Мухусе и в окрестных городках.

Чик не только слышал о Моте, но и довольно часто видел его. Дело в том, что недалеко от улицы, на кото-

рой жил Чик, был довольно глухой переулочек и в конце этого переулка находились баскетбольная и волейбольная площадки. Между ними травянистая лужайка, на которой росла шелковица.

Мотя почему-то любил приходить сюда отдыхать. Он или спал на траве под деревом, или, опершись подбородком на руку, лениво следил за игрой, и его глаза выражали всегда одно и то же — спокойный брезгливый холод.

И глаза Моти (что скрывать!) были источником тайного восторга Чика. Чик знал, что именно такие глаза были у любимых героев Джека Лондона. Ни у одного из знакомых Чика не было таких глаз. Чик иногда украдкой всматривался в зеркало, чтобы поймать в глубине своих глаз хотя бы отдаленное сходство с этим выражением ледяного холода, и с грустью вынужден был признать, что ничего похожего в его глазах нет.

Может быть, дело в том, что глаза у Чика были темные? Кто его знает. Но до чего же Чик любил эти стальные глаза, выражающие ледяной холод или презрение к смерти. Иногда Чик думал: согласился бы он потерять один глаз, чтобы второй глаз стал таким? Чик не мог точно ответить себе на этот вопрос. С одной стороны, ему все-таки было бы неприятно становиться одноглазым, а с другой стороны, он не был уверен, что одинокий, хотя и источающий ледяной холод, глаз может производить то впечатление, которое производили глаза Моти.

Мотя, конечно, не мог не заметить восхищенных взоров Чика, когда тот издали на спортплощадке любовался им, но, разумеется, Чик с ним никогда не разговаривал, тем более на эту тему. Однажды на спортплощадке Мотя хотел Чика послать за папиросами, но Чик не успел подойти, как один из мальчиков постарше Чика выхватил у него деньги и побежал сам.

И вот сейчас Мотя, сверкая своей медалью, приближался к ним. Говорили, что он эту медаль получил не на фронте, а каким-то темным путем. Чик этому почему-то не хотел верить, хотя одновременно и восхищался дерзостью, с которой Мотя носил эту медаль, если она не заслужена...

...Мотя подходил тяжелыми шагами усталого хозяина. Поравнявшись с толпой и не понимая, в чем дело, он остановился и сумрачно оглядел толпу. Толпа раздвинулась, и Мотя увидел Алихана, сидящего на земле и плачущего рядом со своим разбитым лотком.

— Кто? — спросил Мотя, с брезгливым холодком оглядывая толпу. Взгляд его говорил: то, что вы не способны кого-нибудь защитить, это я и так знаю, но сделайте то, что вы можете сделать, назовите виновника.

Толпа несколько секунд смущенно молчала: все жалели Алихана, но никому не хотелось осложнять себе жизнь.

— Керопчик! — первым крикнул Пити-Урия, и сразу же все закивали, показывая, что это правда...

— Говорит: «Хош имею пошухарить», — продолжал Пити-Урия, — подошел и ногой перевернул...

— Оттягивать стариков, — сказал Мотя задумчиво и, уже двинувшись, добавил: — Он у меня получит...

Так сказал Мотя, и, скользнув холодными глазами по Чику (Чик одновременно почувствовал страх и восхищение), Мотя тяжелыми шагами хозяина прошел на базар.

— Мотя, сапоги почистить?! — крикнул ему вслед Пити-Урия, но тот ничего не ответил. — Он у меня всегда чистит, — добавил Пити-Урия, оглядывая редкую толпу, — все знают...

— Дай бог мне столько здоровья, — сказал лавочник, снова высовываясь из лавки и оглядывая сверху Алихана, словно удивляясь, что тот все еще не поднялся, — сколько крови потеряет Керопчик...

Чик шел домой, взволнованный всем случившимся и воодушевленный предстоящим возмездием, ожидающим Керопчика. Чик давно ненавидел Керопчика. Он ненавидел его еще с довоенных времен, о чем Керопчик, конечно, не подозревал.

В тот день Чик сидел на верхней трибуне стадиона и смотрел футбольный матч. Недалеко от него на верхней же трибуне сидел его старший брат. И вдруг он услышал, что дразнят его старшего брата.

— Мусульманин? Ислам-бек! — выпевали они гнуснейшими голосами.

Как настрадался тогда Чик в обиде за брата! И как гнусна была сама омерзительная бессмысленность этой дразнилки. Ну, предположим, то, что они мусульмане, это более или менее верно... Но при чем тут Ислам-бек?! В роду у Чика и его брата не было никакого Ислам-бека, и этот подлец об этом хорошо знал.

С каким горьким презрением поглядывал Чик на брата, особенно раздражала его стрижка «под бокс», которую самое время было оправдать. Поймай и избежь их, ду-

мал Чик, ты же сильнее их, я же знаю. Но брат сидел и молчал или изредка поворачивался к ним и бросал им какие-нибудь бесплодные угрозы, которые еще больше подхлестывали их.

Все удовольствие от футбольного матча было тогда для Чика испорчено. И хотя с тех пор уже прошло много лет, а брат Чика уже давно был в армии, но, как только Чик вспоминал тот день, настроение у него портилось.

Чик сам не мог понять до конца, почему это так. Может быть, дело в том, что дразнили его старшего брата. Если бы дразнили самого Чика, было бы не так обидно. Он это знал.

Но главное все-таки заключалось в самой бессмысленности этой дразнилки, в уверенном торжестве этой бессмысленности, которая была написана на вздетом вверх на трибуны лице Керопчика, в сиянии его прозрачных козых глаз. Он как бы говорил всем своим обликом брату Чика: вот тебе кажется, что ты давным-давно забыл о своем мусульманстве, вот тебе кажется, что Ислам-бек не имеет к тебе никакого отношения, но именно поэтому мы тебя будем так дразнить, и тебе от этого будет очень обидно.

И вот сегодня этот самый Керопчик так подло обидел дядю Алихана — и вдруг появился сам Мотя и при всех сказал, что Керопчик свое получит.

Возмездие, возмездие! Ну, теперь, Керопчик, держись! Чик по-разному представлял месть Моти. Иногда ему представлялось, что тот избивает Керопчика до полного нокаута. Иногда ему представлялось, что он ставит Керопчика на колени перед самым лотком Алихана и, велев ему так стоять весь день до самого закрытия базара, сам уходит по каким-то своим делам. Чик даже представлял, что Алихан, глядя на Керопчика своими круглыми персидскими глазами, делает ему знаки, чтобы тот стал на ноги и немного поразмялся, но Керопчик продолжает стоять в униженной позе, потому что так приказал сам Мотя, по прозвищу Деревянный, потому что его не берет ни одна пуля. Чик даже представлял себе все того же лавочника, возле которого стоял Алихан, он представлял, как этот лавочник высовывается из-за прилавка и смотрит вниз на Керопчика, как бы удивляясь непомерной глубине его падения.

В течение ближайших дней Чик лихорадочно искал на улицах города, на базаре и в парках встречи с Мотей или Керопчиком.

Несколько раз он мельком видел Керопчика, но по лицу его никак нельзя было понять, что возмездие совершилось. Мотю он тоже дважды за это время встречал на спортплощадке и несколько раз бросал на него жгучие, тоскующие по возмездию взгляды. Но понимал ли его Мотя, Чик не мог сказать, а сам напомнить ему об обещанном возмездии не рещался.

Примерно через неделю после случая с Алиханом Чик пришел в парк кататься на «гигантских шагах» и вдруг увидел здесь Керопчика. Тот сидел со своими дружками под огромной сосной и играл в «очко».

Увидев Керопчика, Чик почувствовал приступ тоски по возмездию. Он не стал дожидаться своей очереди, чтобы покататься, а тихонько вышел из парка, решив во что бы то ни стало найти Мотю.

В таком удобном виде, как сейчас, за это время он Керопчика нигде не встречал. До этого он его встречал мельком, а сейчас Керопчик сидел под сосной и играл в карты, и Чик знал, что это надолго.

Чик был так возбужден, что решил: будь что будет, но если он найдет Мотю, то обязательно напомнит ему об обещанной мести.

Первым делом Чик отправился на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Спортплощадка была расположена совсем близко от парка, в двух кварталах от него. И надо же, чтобы Чику наконец так повезло! Только он подошел к ней, как увидел человека, спящего под шелковицей. Это был он. Чик был в этом уверен. Да там и не осмелился бы никто отдыхать, зная, что это место облюбовал сам Мотя.

Сердце у Чика бешено заколотилось. Он вошел в ворота спортплощадки. Он пошел по лужайке к шелковице, стараясь шуметь травой, чтобы Мотя его услышал.

Услышав эти шаги, Мотя приподнял голову, спросонья зевнул и посмотрел на Чика. Чик поздоровался с ним и, ничего не говоря, бросил на него взгляд, полный такого тоскливого напоминания, что, кажется, Мотя догадался. Во всяком случае, он еще раз зевнул и вдруг сам спросил у Чика:

— Керопчика не видел?

— Видел, — ответил Чик, едва сдерживая прихлынувший восторг, — в детском парке в карты играет.

Чик невольно, но отчасти и сознательно придаст своему голосу такую интонацию: ему ли после обещанного Мотей возмездия спокойно играть в карты?!

— Приведи его сюда, — сказал Мотя и, лениво вынув из кармана папиросы «Рица», закурил.

— Сейчас, — сказал Чик и, выбравшись на улицу, изо всех сил помчался к парку.

У входа в парк он остановился и отдышался. Он боялся, что Керопчик что-нибудь заподозрит и сбежит. Нельзя вслугивать дичь раньше времени! Он спокойно подошел к играющим в карты.

— Керопчик, — сказал Чик, — тебя Мотя зовет...

— А где он? — спросил Керопчик, не вынимая изо рта папиросы и подымая над картами свои, сейчас прищуренные от дыма, прозрачные козьи глаза.

— На спортплощадке, — сказал Чик.

— А что он хочет? — спросил Керопчик.

Чик окончательно уверился, что Керопчик ничего не знает о ждущем его возмездии.

— Не знаю, — сказал Чик, — он спросил меня: «Керопчика не видел?» Я сказал: «Видел». Тогда он сказал: «Приведи его сюда».

Теперь все игравшие в карты бросили играть и прислушивались к тому, что говорит Чик.

— Ты с ним дела не имел? — спросил один из игравших.

— Никогда, — сказал Керопчик и пожал плечами.

— Ну пойдя, — сказал тот, что держал колоду, — раз Мотя зовет, значит, что-то хочет узнать.

— Я сейчас прикандёхаю, — сказал Керопчик и, сунув во внутренний карман пиджака кучу мятых денег, лежавших возле него, встал. Он отряхнулся и, плотнее заложив в брюки сбившуюся рубашку, затянул пояс.

Чик и Керопчик вышли из парка и пошли в сторону спортплощадки. Чик заметил, что Керопчик, пока они выходили из парка, шел бодро, но потом приуныл.

— А вид у него какой? — спросил Керопчик.

— Обыкновенный, — сказал Чик.

Они свернули в глухой переулок, в конце которого была спортплощадка.

— Братуха пишет? — вдруг спросил Керопчик.

— Да, — сказал Чик и почувствовал, как что-то в нем кольнуло. Он вспомнил, что брат его и после того футбольного матча много раз мирно встречался и разговаривал с Керопчиком. Это Чик помнил обиду, но сейчас она ему показалась не очень важной.

— Хороший парень был, — сказал Керопчик про брата.

Чик промолчал.

— Не жадный, — добавил Керопчик после некоторой паузы. Они уже были совсем рядом со спортплощадкой.

Они вошли в нее. Мотя сидел на траве и ожидал их.

— Привет, Мотя! — бодро сказал Керопчик, когда они подошли. Мотя ничего не ответил и продолжал сидеть. Он даже не поднял головы. Во рту у него дымилась папироса. — Ты меня звал? — спросил Керопчик.

Мотя опять ничего не ответил, а, тяжело поднявшись и не вынимая папиросу изо рта, сказал:

— Раздевайся...

— За что, Мотя?! — удивился Керопчик.

— За... — спокойно ответил Мотя и лениво наотмашь ударил Керопчика по лицу. Голова Керопчика мотнулась назад.

— За что, Мотя?! — снова спросил он.

— За... — спокойно повторил Мотя, — раздевайся...

Чик стало ужасно неприятно. Но почему он ему не говорит, за что, подумал Чик, и, главное, почему он его раздевает?!

Керопчик молча снял пиджак и протянул его Моте. Чик вспомнил, как он небрежно впихивал деньги в карман пиджака.

— Держи, — кивнул Мотя Чик. Чик стало совсем неприятно, но возразить он не посмел. До сих пор он был свидетелем возмездия, о котором так мечтал, а теперь стал как бы его соучастником. Чик держал пиджак на полусогнутой руке, стараясь как можно меньше притрагиваться к нему. — Раздевайся, — снова сказал Мотя и отплюнул окурок.

— За что?! За что, Мотя? — отчаянно спросил Керопчик.

— Я же сказал, — Мотя снова тяжело и лениво ударил Керопчика по лицу.

Голова Керопчика опять отмотнулась. Он расстегнул рубашку и стянул ее с себя, обнажив голую грудь, на которой был наколот орел, уносящий девушку. Наколка эта сейчас показалась Чик. жалкой.

Керопчик положил рубашку на пиджак.

— Корочки, — приказал Мотя.

Керопчик поспешно снял свои туфли и, не зная, как их вручить Чик, замешкался.

— Свяжи шнурками, чудило, — посоветовал Мотя, и Керопчик стал поспешно связывать шнурки туфель неслышающими пальцами. Наконец он их связал и пере-

кинул связанные туфли через полусогнутую руку Чика.

Чем больше тяжелела рука Чика, тем сильнее он чувствовал свое участие в том, что делал Мотя, и ему это было ужасно неприятно. Кроме этого, он еще боялся, что кто-нибудь из редких прохожих на этой улице окажется знакомым и донесет тетушке, что он принимал участие в грабеже.

Но редкие прохожие не обращали внимания на то, что происходило здесь.

В конце спортплощадки стоял домик, выходявший окнами на спортплощадку. Там жил один нервный тип, ненавидевший эту спортплощадку, потому что мяч иногда попадал в окна его домика. Это случалось очень редко, потому что домик стоял достаточно далеко, но хозяин все равно был очень нервным и, бывало, часами следил из окна в ожидании, когда мяч перелетит в его дворик или попадет в окно.

Сейчас он стоял у окна, и даже издали было видно, что он тарасит белки глаз и как бы рвется выпрыгнуть в окно. Жена, стоя за ним, удерживала его. Чик понимал, что его не столько удерживает жена, сколько собственный страх.

Неужели он его и брюки заставит снять, с ужасом подумал Чик, когда Керопчик повесил ему на руку свои перевязанные шнурками туфли.

— Шкары, — приказал Мотя, словно отвечая Чику.

— Хоть скажи, за что! — снова отчаянно попросил Керопчик. Лицо его побледнело, и только на щеке, куда его дважды ударил Мотя, горело красное пятно.

— Я же тебе сказал, — спокойно отвечал Мотя. — Повторить?

Керопчик, расстегнув пояс, стал дрожащими руками снимать брюки и долго не мог вытащить ногу из одной штанины, наконец, вывернув ее, снял брюки и положил их на уже немеющую руку Чика.

Теперь Керопчик стоял в носках и сатиновых трусиках, и орел, уносящий девушку, наколотый на его груди, казался еще более нелепым.

Чику стало его страшно жалко. Ему стало стыдно, что все это случилось благодаря его стараниям. Чтоб уменьшить этот стыд, он старался припомнить, как Керопчик дразнил его старшего брата, как тогда ему было больно и тяжело слышать его гнусное пение, он старался вспомнить, как Керопчик нагло опрокинул лоток Алихана, но все это сейчас почему-то казалось не таким уж

важным по сравнению с унижением, которому подвергал его Мотя.

«Неужели он его в таком виде заставит пройти по городу, и неужели я должен буду идти рядом и нести его одежду?» — с тоскливым отчаянием думал он.

Когда Керопчик положил, вернее, даже повесил брюки на согнутую руку Чика, нервный домовладелец схватился за голову, а потом решительным движением высунулся из окна, словно хотел спрыгнуть, но жена его опять удержала. Из другого окна выглядывали трое черноглазых детишек и с большим любопытством следили за происходящим на спортплощадке.

— Ну, теперь трусы, — сказал Мотя, — а носки можешь оставить.

— Трусы я не сниму, — вдруг сказал Керопчик и еще сильнее побледнел. В его прозрачных глазах появилось выражение смертельного упорства загнанной козы. Он приподнял голову и прямо смотрел на Мотю, ожидая удара.

Мотя не стал его ударять, а спокойно вынул из бокового кармана финский нож. Страх и ужас сковали Чика. Неужели он его будет убивать, мелькнуло у него в голове, как же это может быть?

— Сымай, — сказал Мотя и посмотрел в глаза Керопчика своим холодным брезгливым взглядом.

— Не сниму, — сказал Керопчик тихо и еще больше побледнел.

Мотя взял свой финский нож за лезвие и, оставив острие свободным пальца на три, наклонился и всадил нож в голое волосатое бедро Керопчика.

Приступ тошноты подкатил к горлу Чика. Керопчик неподвижно стоял и только слегка дернулся, когда нож вошел ему в ногу. Мотя разогнулся и посмотрел на Керопчика своими холодными глазами, и вдруг Чика показалось, что он понял смысл выражения его глаз: человеческое тело незащитно против ножа и пули и потому сам человек достоин презрения.

Густая пунцовая капля крови появилась на том месте, куда Мотя всадил нож. И только Чик удивился, что оттуда не идет кровь, как Керопчик переступил с ноги на ногу и из ранки полилась тоненькая быстрая струйка крови. Она пошла вдоль ноги и затекла за носок.

— Сымай, — повторил Мотя.

— Не сниму, — ответил Керопчик, глядя на Мотю, и глаза его теперь были похожи на две ненавидящие раны.

Мотя наглядно перехватил лезвие фипки, так что теперь он освободил его от острия примерно на четыре пальца и, наклонившись, всадил лезвие в другую ногу Керопчика. Керопчик вздрогнул, но опять не сошел с места, и только Чик услышал, как у него скрипнули зубы.

И опять Чик, как сквозь сон, удивился, что из ноги не идет кровь, и опять Керопчик переступил с ноги на ногу, и струйка крови, еще более обильная, полилась вдоль ноги, извиваясь и выбирая русло между густыми курчавящимися волосками.

— Негодяй, что ты делаешь! — вдруг с улицы раздался чей-то зычный голос, и через секунду в воротах спортплощадки появился высокий человек в военной форме.

Чик успел заметить, что Мотя посмотрел на него, никак не изменившись в лице, его глаза по-прежнему светились спокойным брезгливым холодом. В то же время он заметил, что Керопчик не только не обрадовался этой неожиданной помощи, а с явным раздражением смотрит в его сторону.

Не успел военный пройти и половину расстояния от ворот до того места, где они стояли, как из окна в самом деле выпрыгнул нервный домовладелец и с криком помчался в их сторону.

— Милиция! — кричал он дурным, блеющим голосом. — Я все видел! Я свидетель! Милиция!

Военный и домовладелец, сверкавший безумными глазами, почти одновременно подступали к Моте. Военный что-то возмущенно говорил Моте, но голос его полностью заглушался голосом домовладельца.

— Шакал! Гитлер! — кричал он. — Идем милиция! Я свидетель!

Мотя в это время спокойно всовывал нож в боковой карман бушлата.

— Пирячет! Пирячет! — с торжествующим злорадством закричал нервный. — А кировь куда пирятать будешь?!

И он показал на окровавленные ноги Керопчика.

Вдруг Мотя выхватил из кармана, куда он прятал нож, пистолет и с криком:

— Ложись! — выстрелил два раза.

В первое мгновение Чикуну показалось, что он убил домовладельца и военного, потому что оба они упали как подкошенные, и только через секунду Чик понял, что Мотя стрелял в землю.

Почти сразу после выстрелов раздался истошный голос жены домовладельца, и Чик увидел, что она бежит к ним, рвя на себе волосы и крича, как по покойнику. Чик не понял, выпрыгнула она в окно или влетела через вторые ворота, которые были расположены возле их дома.

Услышав крики жены, тот приподнял голову, издали показывая, что он вполне жив-здоров и только удивляется ее странному поведению.

Увидев, что муж ее жив, жена бросилась к Моте.

— Мамочка, не убивай! Его не жалко — дети жалко! Мамочка, не убивай!

Тут Чикуну показалось, что Мотя немного растерялся.

— Ладно, ладно, — сказал он, слегка отстраняясь от нее, и, обращаясь к военному, приказал: — Встать!

Рука его, до этого свободно державшая пистолет, отвердела.

Домовладелец, лежавший рядом с военным, сейчас посматривал на него, как бы удивляясь, откуда здесь могло появиться это чужеродное существо.

Военный молча встал.

— Кругом шагом марш! — приказал Мотя, и высокий, сильный на вид военный, посмотрев на Мотю ненавидящими глазами, молча повернулся и, опустив голову, ушел.

Но ведь у него нет оружия, подумал Чик, стыдясь за военного и жалея его, а Мотя может сделать все, что захочет.

— Вставай ты тоже, — обратился Мотя к домовладельцу и, пряча пистолет, брезгливо передразнил: — «Милиция»...

Тот вскочил на ноги и слегка отряхнулся не столько от пыли, сколько показывая, что с недоразумением покончено и вообще оно было незначительным.

— Какой милиция?! — отвечал он Моте. — И гдe милиция?! Зайдем мой дом, гостем будешь, да? Гудаутское вино выпьем, да?

— Пошли, — вдруг сказал Мотя, охватывая всех глазами.

— Спасибо, мамочка! — снова запрчитала женщина.

— Цыц! — прикрикнул на нее муж и пригрозил пальцем. — Иди что-нибудь приготовь!

Женщина быстрыми шагами, переходящими в побежку, пошла вперед, а следом двинулись все четверо. Впереди Мотя с хозяином, а чуть позади Керопчик в сати-

новых трусиках и в носках, а рядом с ним Чик, оглушенный всем случившимся, с одеждой Керопчика, висящей на онемевшей руке.

И пока они переходили спортплощадку и пока, выйдя на улицу, входили в дом, у ворот домов, расположенных напротив, стояли люди и молча следили за ними. Чик знал, что все они появились, как только раздались выстрелы, во всяком случае, никак не позже. Он также знал, что никто из них не пожалуется в милицию и не расскажет об увиденном.

Чик запомнил выражение лица хозяина, когда он, гостеприимно распахнув дверь, пропускал туда всех и одновременно поглядывал на улицу, как бы говоря ближайшим соседям: «Хочу — зову милицию, хочу — приглашаю в гости. Это мое дело».

Гости прошли по довольно темному коридору, хозяин открыл дверь перед собой, и они вышли на светлую застекленную веранду, где стояло несколько больших бочек, как понял Чик, пустых. На одной из бочек стоял небольшой бочонок, и по влажной втулке было видно, что в нем есть вино.

Хозяин достал висевший на стене резиновый шланг, поставил рядом с маленькой бочкой пятилитровую банку, открыл бочонок, сунул туда конец шланга, второй конец взял в рот и, втягивая щеки, стал высасывать оттуда вино. Вытянув вино, он быстро вынул изо рта конец шланга и сунул его в банку, куда мягко стала стекать розовая «изабелла». На веранде запахло виноградом.

Все это он проделывал с лихорадочной быстротой, то и дело поглядывая на Мотю, словно стараясь убедиться в правильности своих действий. Когда вино стало стекать в банку, он торжествующе посмотрел на Мотю. Теперь он сам был убежден в правильности того, что он делал.

Мотя взглянул на Чика и, кивнув на одну из бочек, сказал:

— Положь...

Чик сбросил одежду Керопчика и освободил онемевшую руку. Он посмотрел на Керопчика, Керопчик посмотрел на Мотю, может быть, ожидая, что тот предложит ему одеться, но Мотя промолчал.

Чик обратил внимание, что на противоположной стене веранды, над уютной тахтой, висел портрет Ломоносова. Точно такой же портрет висел у них в школе, и Чик

никак не мог понять, откуда взялся такой портрет в этом доме.

— Красивый мужчина, да, — сказал хозяин, обратив внимание на то, что Чик смотрит на портрет Ломоносова, и как бы объясняя причину появления здесь этого портрета.

«Вот уж не сказал бы», — подумал Чик. Круглое лицо Ломоносова под париком никогда не казалось Чику красивым.

Хозяйка внесла большую миску с нарезанными помидорами и огурцами и, поставив ее рядом с вином, вышла.

— Сейчас один-два стаканчика, пока курица будет, — сказал хозяин, разливая вино.

Пили почему-то из пол-литровых банок.

Хозяин произнес тост за Мотю. Он говорил, все время повышая голос, и, как догадывался Чик, все больше и больше пьянел от радости, сознавая миновавшую опасность. В конце концов он сказал, что город не так дрожит, когда пролетает «юнкерс», как дрожит, когда проходит по его улицам Мотя. Держа банку в руке, Мотя слушал его с выражением угрюмой благодарности.

Чик все время думал, как бы ему уйти отсюда, но не знал, как это сделать. Он боялся, что, когда они напьются и уйдут отсюда, ему придется по всему городу нести одежду Керопчика, если Мотя не сменит гнев на милость.

Когда хозяин дошел до «юнкерса», Мотя попытался его остановить.

— Ладно, — сказал он, приподняв банку и показывая, что тост затянулся, а ему хочется выпить.

— Цыц! — прикрикнул вдруг на него хозяин. — Когда за тебя пьют, ты должен слушать и молчать.

И Мотя в самом деле промолчал.

— Аллаверды к нашему Керопчику! — сказал хозяин, выпив свою банку до конца, и, перевернув ее, показал, как от души до последней капли он выпил.

И Керопчик произнес тост за Мотю, стоя в своих саатиновых трусах, с кровавыми ручейками запекшейся крови на волосатых мускулистых ногах. Он говорил, всем своим видом показывая, что стоит выше личной обиды, может быть, по ошибке нанесенной ему Мотей.

Выпив свою банку, он сделал несколько шагов к бочке, поставил банку и взял из миски ломоть помидора. Когда он шагнул, Чик заметил, что от его ног остаются грязно-красные следы. Мотя тоже это заметил.

Чик молча пригубил банку. Хозяин хотел заставить его выпить, но Мотя знаком показал, что Чикун пить не обязательно.

Выпив свою банку с вином, Мотя тоже взял из миски большой ломоть помидора и кружок огурца, отправил их в рот и, жуя, мотнул головой на ноги Керопчика.

— Поди вымой...

— В бочке вода! — охотно отозвался хозяин, словно мытье ног Керопчика входило в его планы, только он ждал удобного случая. Хозяин распахнул дверь веранды и кивнул на бочку, стоящую под водосточной трубой.

— Можно папиросу возьму? — сказал вдруг Керопчик, показывая Моте на пиджак.

Последовало долгое молчание. Мотя смотрел на Керопчика, словно пытаясь его узнать. Потом он медленно полез в карман и вынул оттуда пачку папирос «Рица». Он закурил сам и дал закурить Керопчику.

С дымящейся папиросой в зубах Керопчик уверенно прошел во дворик.

— Чик, попроси у хозяйки кружку, — крикнул он оттуда.

Чик прошел в темный коридор и оттуда вошел в кухню, где хозяйка ошпаривала курицу в кипятке, чтобы ошпарить ее. Чик с тоскою подумал, как это долго все будет продолжаться. Он еще обратил внимание на то, что детей нигде не видно. Наверное, хозяйка их куда-то услала или спрятала в другой комнате. Хозяйка дала ему кружку и большую чистую тряпку, чтобы Керопчик мог вытереть ноги. Вид у нее был очень подавленный. Перед Чиком ей нечего было изображать гостеприимную хозяйку.

Когда Чик вышел из кухни и проходил по веранде, хозяин и Мотя пили по второй банке. Чик подошел к водосточной трубе, где рядом с бочкой стоял Керопчик. Он уже снял свои носки и, сделав несколько глубоких затяжек, докурил папиросу и выбросил ее.

Чик поливал ему из бочки, а Керопчик сначала вымыл носки, повесил их на край бочки и стал мыть ноги. Он с лихорадочной быстротой соскребал с ног кусочки спекшейся крови. Он очень тщательно мыл ноги. Он их так мыл, словно надеялся, что все, что было, сейчас смоем и все забудется, а Мотя вернет ему одежду. Самые ранки, куда ударял его Мотя, покрылись засохшей корочкой крови, и он не стал их трогать, чтобы они не кровоточили. То ли от воды, то ли от волнения Керопчика коло-

тил озноб. Он надел свои влажные чистые носки, и они с Чиком поднялись на веранду.

Хозяин разливал по третьей банке. Мотя курил.

Чик прошел с кружкой на кухню. Он поставил кружку на стол. Хозяйка его даже не заметила. Он тихо вышел в коридор, но повернул не на веранду, а прямо к выходу на улицу. Он распахнул дверь и, не веря своему освобождению, вышел на улицу. Он сделал несколько шагов в сторону дома, а потом не выдержал и побежал. Он бежал до самого дома, словно выныривая и выныривая, просыпаясь и просыпаясь от ужасного сна.

Дома никто ничего не знал о случившемся, люди ничего не знали о том, что происходит у них под носом. А может, вообще ничего не было? Во всяком случае, Чик перестал ходить на спортплощадку, где любил отдыхать Мотя. Зимой Мотю арестовали, и, по слухам, он получил громадный срок и больше никогда в их городе не появлялся.

С того самого дня Чик потерял интерес к людям с холодными стальными глазами. Он больше не испытывал романтического любопытства к людям преступного мира. Он даже впал в обратную крайность, то есть, увидев человека с такими глазами, он начинал подозревать его в преступных склонностях, хотя обладатели таких глаз иногда бывали людьми даже слишком благопристойными.

Что касается Керопчика, то его тоже пару раз арестовывали по мелочам, и он в конце концов образумился и стал сапожником по модельной дамской обуви. Он работает на том же базаре, и будочка его изнутри увешана снимками кинозвезд и звезд мирового футбола.

ЗАЩИТА ЧИКА

Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте. Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть — сиди и поклевывай виноградины, охота лежать — лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши.

Чик очень любил это место. Оно было во всех отношениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хоро-

шим, потому что прямо с этого места можно было рвать виноград, груши и даже инжир. Он рос в соседнем дворе, и между огородом, где росла груша, и инжировым деревом высилась стена. Но одна ветка инжира вытянулась в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при желании инжир можно было достать отсюда. Инжир был особенно вкусным именно потому, что дерево было чужим. Чик об этом сам догадался. Поедая чужие плоды, он удивленно думал над этой загадкой природы. Инжир, который рос в их огороде, был того же сорта, но плоды чужого инжира были гораздо вкусней.

Кроме всего прочего, это место Чiku нравилось и тем, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. Вообще Чiku взрослые не разрешали лазить по деревьям не потому, что жалели фрукты, а потому что боялись, что он упадет с дерева. Но самое смешное заключалось в том, что, когда дома у него или у тетушки нужны были фрукты, ему давали корзину и просили нарвать винограду, груш или инжира.

— Только смотри, Чик, не упади, — предупреждали они.

— Да не бойтесь, не упаду, — отвечал Чик и с корзиной проходил в огород.

По мнению взрослых, получалось, что раз они предупредили его, чтобы он не падал, значит, он будет крепче держаться за ветки. По этому же нелепому мнению взрослых получалось, что если он сам залез на дерево, то он обязательно будет проявлять стремление падать с него. Это было тем более глупо, что как раз с корзиной перелезть на дереве с ветки на ветку гораздо трудней и опасней, чем лазить по деревьям без всякой корзины.

Да, Чик любил это место. Кроме всего, это место имело еще одно достоинство, которое заключалось в том, что Чик здесь мог от всех отъединиться. Можно точно сказать: Чик любил людей. Но иногда они ему здорово надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же мешают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими вечными рассказами о своей якобы изумительной молодости, надоедала бабушка, надоедали друзья. Даже сумасшедший дядюшка и то надоедал.

И когда они ему все надоедали, ему негде было от них укрыться, кроме как на вершине этой груши. И он потихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор, пока люди ему не переставали надоедать. Бывало, час сидит на груше или два сидит на груше, а потом слезает и сам

чувствует, что люди ему больше не надоедают. И он повежливее глазами смотрит на них, разговаривает, играет, слушает их рассказы.

Но сегодня Чика не радовало ни его любимое место, ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чика случилась ужасная неприятность. Учитель русского языка, Акакий Македонович, или как его называли, Закидонович, сказал ему, чтобы он на следующий день пришел в школу с кем-нибудь из родителей.

И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школе. Родителей постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик, гордость тетушки, сделал такое, что его родителей вызывают в школу! Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар. Вернее, какой это будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик исподтишка.

В последние годы тетушка, как бы махнув рукой на старшего брата Чика, перестала говорить, что он загубил своей дурной учебой и плохим поведением ее лучшие, золотые годы. Она стала придерживаться версии, что старший брат Чика получился таким, потому что не она его воспитывала, а мать Чика. А Чик получился таким хорошим в учебе и поведении потому, что его воспитанием занималась она.

Чик с содроганием представлял, что будет говорить его тетушка. Она начнет с того, что бросила персидского консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих инвалидов. Имелась в виду бабушка, которая была вполне здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя и был сумасшедшим. Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика, и вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний, смертельный удар, от которого она навряд ли выживет.

Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков.

«Что же делать?» — с отчаянием думал Чик и ничего не мог придумать. Хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать. В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир.

Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обычно на перемене. А тут Чик не утерпел.

Сегодня Акакий Македонович своим красивым наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями».

Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране?
То ли вместе, то ли врозь?!
Не надеясь на авось,
Вы поймете из примера,
Нужного для пионера.
НЕКРАСИВО жить без цели,
Это так, но в самом деле
НЕ КРАСИВО, а ужасно,
Жить без цели, жить напрасно.
И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.

Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в головы учеников правила русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию Македоновичу.

Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и наивной хитростью. Они как бы говорили: «А теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно и полезно».

На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни полезного не находил. И другие ученики тоже не находили. Но всем приходилось смиряться и учить наизусть эти стихи.

На этот раз Чику особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик, конечно, понимал, что, когда говорят так, имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли солнечной. Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу.

И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чику особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. И им было приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и от того им становилось еще веселее.

Чик почувствовал, что Акакий Македонович заметил его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придавал этому значения, он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самолюбие.

— А теперь, ребята, — сказал Акакий Македонович, — хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками.

Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране?! —

грянул класс тридцатью глотками.

Высокий, со смиренно-покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук он подсказывал ребятам правильную интонацию и скорость, с которой надо читать стихи.

Когда ребята читали строчку:

То ли вместе, то ли врозь? —

Акакий Македонович развел руками, и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшно запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчки:

Вы поймете из примера,
Нужного для пионера... —

лицо Акакия Македоновича просветлело, оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица.

Некрасиво жить без цели... —

читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели: «Некрасиво, нехорошо».

Не красиво, а ужасно,
Жить без цели, жить напрасно.

Тут лицо Акакия Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки уже до самого конца стихотворения лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу.

И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.

Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком. А Чик этого не знал.

Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, сказал:

— Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, над чем он смеялся, и, если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся?

Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича.

— Я смеялся просто так, — сказал Чик.

— Нет, Чик, ты скромничаешь, — сказал Акакий Ма-

кедонович, — по-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может быть, мы все ошибаемся, так поправь нас, Чик.

Все это он сказал очень спокойным, доброжелательным голосом, но хотя Чик и не правилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исключено, что Чик захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране.

— По-моему, — сказал Чик, — одна строчка неправильная.

— Очень интересно, — заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями, и, как бы кланаясь, слегка нагнувшись вперед, — какая строчка?

— У вас сказано, — бодро начал Чик, —

Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране?

— Удивительно, как ты это заметил, — сказал Акакий Македонович.

— Но ведь получается, — пояснил Чик, — что правило это только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится?

Класс засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел.

— Глупый смех, — сказал Акакий Македонович, — нелепое замечание. Мы живем в солнечной стране, и, естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на нашу страну.

— А если кто-то пишет частицу «не» в другой стране, — продолжал Чик, не давая себя сбить, — разве правило для него не годится?

Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать.

— Мы всегда за критику, — сказал Акакий Македонович, — но мы против критиканства. Завтра придешь с кем-нибудь из родителей, придется с ними серьезно поговорить...

И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся неожиданному повороту в судьбе Чика. Чику хотелось крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу, но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смиренностью удалился из класса.

И вот теперь Чик сидит на вершине груши на пружинистом ложе из плетей виноградной лозы и думает, что же ему завтра делать.

· Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране...

Проклятые стихи! Зачем, зачем, думал Чик, я ввязался в этот дурацкий спор! Все равно Закидонович не прав! Страна тут ни при чем! И никакого значения не имеет, солнечная она или дождливая! Но как быть завтра? Ведь без родителей его не пустят в школу.

Чик дотянулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался не сладким, а каким-то пресным, водянистым.

Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в «классику». Лесик покачивал в коляске своих братьев-двойняшек. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках четки. Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных времен безответной, упорной любовью. Об этом все знали. Хорошо ему живется, подумал Чик, поет себе песенки, ни о чем не думает, никто его родителей не вызывает в школу.

Чик оглядел крышу флигеля, в котором жил Лёсик. В желобе, ведущем к водосточной трубе, все еще лежал теннисный мяч. Уже целых два года Чик ожидал, когда струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мяч остановился в двух метрах

от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то сильно задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень и поток в конце концов загонит мяч в трубу.

В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящейся в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затосковал с новой силой.

Вдруг в воздухе грохнул восторженный вопль толпы. За два квартала отсюда был расположен стадион. Там сегодня местная команда играла с городом Армавиrom. Судя по взрыву восторга, наша команда забила мяч. Обычно, если мяч забивала приезжая команда, на стадионе устанавливалась обидчивая тишина.

Чик знал, что сегодня на стадионе игра, но из-за своего плохого настроения туда не пошел. Что за охота идти на стадион, когда у тебя на душе скребут кошки? Несколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. Когда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это понятно: значит у них нет денег, а пройти зайцем они не решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за игрой с крыши своего дома — это как-то противно.

— Костя! — крикнул один из мужчин, обернувшись в колодец своего двора.

— Костя спит, — ответил ему женский голос.

— Разбуди его, Тамара, разбуди!

— Зачем его будить? — ответила женщина.

— Интерес имею что-то сказать ему, — крикнул мужчина.

— Он ругаться будет, — ответила женщина.

— Не будет, клянусь детьми! — крикнул мужчина. — Я ему скажу такое, что он радоваться будет, а не ругаться!

— Чего тебе? — раздался через минуту сильный мужской голос. Видно, женщина разбудила мужа.

— Костя, — восторженно закричал человек с крыши, — наши хамают их, как пончик! Уже два мяча забили!

— Зачем разбудила, — раздраженно сказал мужчина, — я еще полчаса поспал бы...

— Он поклялся детьми, — визгливо сказала женщина, — я думала, что-то по работе!

— Ладно, — сказал мужчина, — арбуз под кран поставила?

— Поставила, — ответила женщина.

— Тогда принеси, — сказал мужчина, — хоть арбуз покушаем, раз ты меня разбудила.

Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше следили за тем, что происходит на стадионе.

— Слушай, в игре забили или со штрафного? — крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что голос его посвежел от первого ломтя арбуза.

— Клянусь детьми, оба мяча забили в игре, Костя! — восторженно крикнул мужчина с крыши.

— Ладно, — примирительно сказал тот, что кушал арбуз, — если что-нибудь будет интересного — крикнешь!

— Обязательно, Костя! — крикнул человек с крыши и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест второй ломоть арбуза.

Вообще Чик любил бывать на стадионе. Недавно дядя Чика, разумеется, не сумасшедший, а, наоборот, самый умный дядя Риза водил его на стадион. И надо было, чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Единственный раз в жизни Чик видел, что наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Все болельщики города вместе с Чиком мечтали о таком дне. И вот этот день наступил, и восторгам болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплескали фінтам наших нападающих, с преувеличенным весельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча противником и взрывом восторга встречали каждый гол, забитый нашей командой.

Правда, Чик от дяди знал, что на этот раз тбилисцы прислали молодежный состав команды и поэтому она играла слабее, чем обычно. И Чик чувствовал, что радость его по поводу победной игры нашей команды от этого несколько ущемлена. Но он также чувствовал, что радость болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, что тбилисцы проигрывали, а остальное никого совершенно не трогало. Чик чувствовал в глубине души некоторую зависть к такому упрощенному восприятию радостей жизни. Он понимал, что он сам на это не способен.

А самое интересное, что после каждой удачной обводки нашим игроком их игрока или после каждого неудачного паса их игрока, а уж тем более после каждого забитого гола нашими игроками весь стадион оборачивался и смотрел куда-то, а куда они все смотрят, Чик никак не мог понять.

— Куда они смотрят, дядя? — спросил Чик.

— Они считают, что на стадионе есть один болельщик из Тбилиси, вот они все и пытаются его разглядеть.

— Они его знают? — удивленно спросил Чик.

— Не больше, чем нас с тобой, — ответил дядя.

— Куда же они все смотрят? — спросил Чик, удивляясь, как это можно на переполненных трибунах разглядеть одного человека.

— Им кажется, — сказал дядя, — что они его могут разглядеть. Может, они меня принимают за него или еще кого-нибудь...

Чика тогда очень удивило это безумие толпы. Ну как можно на трибунах огромного стадиона разглядеть одного человека, даже если он и в самом деле здесь? Каждый раз после удачи наших футболистов или неудачи их футболистов сотни людей оборачивались, многие вскакивали с мест и старались разглядеть этого неведомого тбилисца, чтобы насладиться выражением растерянности, подавленности на его лице. Чик тогда хорошо почувствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы.

Ну до чего же смешные эти люди! Во-первых, явно не зная, где именно сидит этот неведомый тбилисец, они все-таки все смотрели куда-то наверх и в сторону центральной трибуны. Можно было подумать, что этот тбилисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он никому никакого слова не давал, если он вообще был на стадионе. Просто всем удобнее было таращиться наверх, и они его искали там, куда им удобней было смотреть.

И еще смешно было, что все, вскакивая с мест и уставившись вдаль с торжествующей улыбкой и явно никого не разглядев и несколько этим не разочаровавшись, через минуту успокаивались и начинали следить за игрой, словно они достигли своей цели. Их успокаивающие лица с выражением дурацкого торжества как бы говорили: «Ну, может быть, я его на этот раз и не разглядел, но

уж он-то никак не мог не разглядеть моей торжествующей улыбки, а это — главное».

И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскакивая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно забывала опыт своих предыдущих бесцельных вскакиваний, и на лицах вскакивающих и оборачивающихся людей не было ни малейшего следа мысли о возможности повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно на этот раз они увидят злосчастного тбилисца.

— Чик, кинь кисточку винограда, — услышал он чей-то голос.

Чик оглянулся. Из окна дома, высящегося рядом с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он учился с Чиком в одной школе, только был из другого класса. Он жил на третьем этаже, и окно его находилось на одном уровне с Чиком. Сейчас он вынес на подоконник тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще этот мальчик считался маменькиным сыночком и невысоко ценился Чиком и другими ребятами.

Тем не менее Чик сорвал большую гроздь винограда и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал кисть на грудь и стал есть виноград. Он быстро прикончил гроздь и снова попросил Чика:

— Чик, кинь теперь мне грушу!

Чик неохотно потянулся за грушей.

— Не ту, Чик, во-о-он ту! — сказал мальчик и, вытянув из окна толстую руку, показал на грушу, висевшую на конце ветки далеко от Чика.

— Бери, пока дают! — сказал Чик и, сорвав грушу, висевшую близко от него, кинул ее в окно.

Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал уплетать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что Чик самому захотелось, и он, сорвав грушу, стал ее есть.

— Чик, отчего ты все время на дереве сидишь? — спросил мальчик, шумно жуя и причмокивая.

Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он жевал, сделался водянистым и невкусным.

— Чтобы бросать тебе груши и виноград! — ответил Чик сердито.

— Нет, правда, Чик, — сказал мальчик, доедая свою грушу, — я уже давно заметил, что ты сидишь на дереве... Кинь теперь виноград!

— На твое пузо не напасешься, — сказал Чик, но сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно. Хотя этот мальчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не

бросить ему кисть винограда. Он подумал, что когда человеку уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать ему еще раз что-то хорошее. Это потому так получается, думал Чик, что если ты ему откажешься делать что-то хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал раньше. А тебе не хочется, чтобы оно пропадало.

— Кроме шуток, Чик, — снова спросил мальчик, — почему ты так давно на дереве сидишь?

— Я теперь отсюда никогда не слезу, — сказал Чик.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он никогда с дерева не слезет.

Мать ему что-то ответила, но Чик не расслышал ее голоса.

— Чик, но ты же умрешь с голоду, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери.

— Нет, — сказал Чик, — я буду есть груши, виноград, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать.

— Мама, — обернулся мальчик в комнату, — Чик говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб я ему из окна буду кидать.

Мать ему что-то ответила.

— Чик, — сказал мальчик, явно повторяя слова матери, — но ведь хлеб нельзя из окна кидать?

— Значит, груши и виноград в окно можно кидать, — язвительно проговорил Чик, — а хлеб из окна нельзя?!

Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько секунд. По-видимому, он почувствовал в словах Чика какую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого противоречия, он обратился к матери.

— Мама, — сказал он, — а Чик говорит: почему груши и виноград в окно можно кидать, а хлеб из окна нельзя?

Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет его мама. Но она ничего не ответила сыну, а, подойдя к окну, выглянула в него и сказала Чику:

— Чик, ты его отвлекаешь от уроков.

— Он сам первый начал, — ответил Чик.

Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину комнаты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел на Чика из-за стекла, по-видимому, стараясь осмыслить его слова, и, скорее всего так и не осмыслив их, занялся своими уроками. Время от времени, подымая голову над задничком, он снова глядел на Чика, явно вспоминая его слова, но Чик уже на него не смотрел. Он смотрел во двор.

Девочки продолжали играть в «классики». Лёсик, сидя возле коляски со своими двойняшками, читал книгу. Тетушка продолжала пить чай на веранде. Бабушка, сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда на веранду, а сумасшедший дядюшка Чика, воспользовавшись тем, что бабушка за ним не следила, спустился вниз и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене кухонной пристройки, подглядывал за тетей Фаиной. Одна сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, и дядя как раз стоял с этой стороны, потому что здесь его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо видел его склоненную спину и голову, прильнувшую к фанерной стене.

Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он никак не мог понять, какое таинственное удовольствие доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина возится в своей захлавленной кухоньке. Эта кухонная стена пестрела кожаными латками, при помощи которых муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело пробуривал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за тетей Фаиной. Кстати, вдосталь насладившись зрелищем тети Фаины, дядя вставлял в дырочку маленький колышек, специально соструганный им, чтобы дырочку не было заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись над наивной хитростью дяди Коли. Но Чик в отличие от всех догадался (во всяком случае, он так думал) еще об одном предназначении этого колышка. Чик решил, что этим колышком дядя не только скрывает дырочку от постороннего глаза, но как бы пресекает возможность для других подглядывать за тетей Фаиной.

Кстати, дырочку эту все равно рано или поздно обнаруживала тетя Фаина или ее муж, и во дворе подымался небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от бабушки несколько подзатыльников, которые он, как виновный, цереносил с безропотной застенчивостью, а тетушка в зависимости от настроения ругала или дядю Колю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совращает дядюшку.

Муж тети Фаины, ворча, что его жена — честная женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дядя Коля несколько дней воздерживался от подглядываний за тетей Фаиной. Но потом он или забывал о случившемся, или под влиянием своей неутихающей страсти снова про-сверливал дырочку в стене и снова сосредоточенно зами-

рал над щелочкой, подглядывая за тетей Фаиной, готовившей обед.

Чик с дерева следил за дядей Колей, как вдруг из кухни выскочила тетя Фаина, обогнула ее и очутилась за спиной дяди Коли, продолжавшего смотреть в щелочку.

Она хлопнула его по спине, дядя Коля разогнулся и, страшно сконфуженный, развел руками, видимо, показывая, что страсть, владеющая им, сильнее его воли.

Чик решил, что она сейчас подымет крик, обращаясь к тетушке, все еще пившей чай на веранде, но она неожиданно сделала совсем другое. Она сунула дяде Коле кошелку и, показывая на дерево, на котором сидел Чик, сказала:

— Груши, груши...

Дядя посмотрел на дерево, потом на тетю Фаину, потом опять на дерево и, наконец уразумев ее просьбу, закивал головой и радостно улыбнулся, благодарный ей за то, что она не ругает его. Он тряхнул в руке кошелку и быстро направился к груше.

Чик никак не ожидал такого оборота дела. Дяде Коле строго-настрого запрещали лазить по деревьям, да он и не пытался никогда влезать на дерево. А тут, оказывается, вон что!

Дядя Коля быстро разулся и с необыкновенной энергией, которую Чик определил как следствие его ненормальности, влез на грушу. Сумасшедший дядя и племянник, тайно залезшие на одно дерево, — это было слишком! Если он долезет до вершины, подумал Чик, то он обнаружит, что Чик без разрешения влез на дерево, и поймет, что Чик его самого застукал за тайным сбором груш для тети Фаины. Интересно, сообразит ли он все это?

Но дядя Коля до вершины не долез, а долез только до середины дерева, повесил кошелку на сучок и стал дотягиваться до груш, срывая их и перекладывая в кошелку. Действовал он быстро, но и достаточно осмотрительно, чтобы не упасть с дерева. Оказывается, сумасшедшие тоже чувствуют, как надо держаться на дереве, чтобы с него не упасть. Чик понял, что дядя Коля все это проделывает не в первый раз. Человек, который первый раз влез на дерево, не может действовать столь уверенно и четко.

До чего же хитрая, оказывается, тетя Фаина! Оказывается, она использует любовь дяди Коли, чтобы получать задарма фрукты. Покамест дядя Коля собирал груши, тетя Фаина несколько раз выскакивала из своей кухоньки и глядела на дерево. Чик понял, почему она это делает. Она

не хотела, чтобы дядя Коля сам принес ей на кухню кошелку. Тетушка в этом случае его могла заметить с веранды.

У Чика был большой соблазн срывать виноградины и сверху бросать их на голову дяди Коли. Сидя в густой листве своего укрытия, он мог оставаться для него незамеченным. Но Чик все-таки не решился тронуть его. Все-таки он же никогда не пробовал дразнить дядю Колю на дереве. Вдруг он от неожиданности сорвется с дерева и упадет? Лучше не пробовать.

Набрав груш, дядя Коля слез с дерева, а тетя Фаина подбежала к нему, отобрала у него кошелку, и, пока дядя Коля обувался, она с кошелкой, незаметно прижав ее к бочку, шмыгнула к себе на кухню.

Ну и дела, подумал Чик. Вот как она, оказывается, использует любовь дяди Коли. Дядя Коля обулся и снова подошел к кухонной пристройке и стал глядеть на тетю Фаину в щелочку, по-видимому решив, что теперь он вполне заслужил это удовольствие. Но недолго пришлось ему смотреть в щелочку. Тетя Фаина выскочила из кухни, подошла к дяде Коле и, ткнув его в бок, сказала, показывая во двор:

— Хватит, иди, иди!

Дядя Коля посмотрел на нее растроганным взглядом и виновато пожал плечами. Он как бы робко намекал на то, что на этот раз заслужил некоторую благодарность. Но тетя Фаина оставила этот намек без внимания и, снова ткнув его в бок, показала рукой, чтобы он убирался отсюда. После этого тетя Фаина быстро удалилась, метнув взгляд в сторону веранды, где тетушка Чика продолжала, сидя у окна, пить чай. Дядя, как показалось Чикю, тяжело вздохнул, вынул из кармана колышек, воткнул его в дырочку и ушел во двор.

Во двор вошел дядя Алихан, катя перед собой свой лоток с восточными сладостями. Он остановил лоток у порожка своей комнаты, вынес из комнаты большую тарелку и, переложив в нее непроданные сладости, внес в комнату. Потом зажег керосинку, стоявшую у порога дома, и поставил на нее кувшин с водой. Подогрев воду, он вынес из комнаты таз, налил в него воду из кувшина, уселся на маленькой скамейке, разулся и окунул ноги в таз с водой. Распаривать ноги в горячей воде было его любимым занятием. Обычно, распаривая ноги, он скреб подошвы особой ложечкой, при этом постанывая от удовольствия.

Но на этот раз до ложечки не дошло, потому что во

двор вышел Богатый Портной с нардами под мышкой. Жена Алихана вынесла два стульчика. На один из них они поставили нарды, а на другой уселся Богатый Портной. Они раскрыли доску, расставили фишки и стали метать кости. Дядя Алихан, играя в нарды, время от времени подливал из кувшинчика в таз горячую воду, с удовольствием замирая и прислушиваясь к действию воды на его покрытые мозолями ноги. При этом Богатый Портной с раздражением смотрел на него и нетерпеливыми восклицаниями тормошил его и заставлял браться за кости. Так было всегда. Богатый Портной ни за что не хотел верить, что такое пустячное занятие, как распаривание ног и поскребывание подошв ложечкой, может человеку доставлять какое-то удовольствие.

Снова со стороны стадиона раздался взрыв восторга толпы. Видно, наши забил гол.

— Разве это футбол! — воскликнул Богатый Портной. — Это не футбол, Алихан!

— Почему не футбол? — миролюбиво возразил Алихан, подымая свои круглые брови над круглыми глазами.

— Потому что футбол кончился, — сказал Богатый Портной, — кто слышал, чтобы Армавир играл в футбол? В Армавире всегда только семечки кушали. Футбольные годы — это тридцать пятый, тридцать шестой, тридцать седьмой! Это золотые годы футбола!

Чик понял, что сейчас он начнет хвастаться, как он играл в футбол.

— В тридцать пятом году, как сейчас помню, — начал Богатый Портной, — играем с Батумом на нашем поле. Никак не можем забить гол. Тут мне Арчая подает, и я с ходу иду на прорыв. А трибуны волнуются: «Браво, браво, правый инсайд!» А кто правый инсайд? Я правый инсайд! Одного хавбека обвожу! Второго хавбека обвожу и врезаю в девятку! Трибуны с ума сходят: «Браво, браво, правый инсайд!» А сейчас Армавир бросил семечки и начал играть в футбол.

— Значит, научились, — мирно возразил Алихан и подлил в таз воду из кувшинчика.

— Что ты говоришь, Алихан, — крикнул Богатый Портной, — где Армавир, где футбол?!

— Ладно, играй, — сказал Алихан и метнул кости.

Богатый Портной продолжил игру, ворча и постепенно успокаиваясь.

Тут во двор вошел какой-то человек и подошел к дяде Коле. Дядя Коля сидел на одном из камней, огора-

живающих клумбу со сливой посредине, и, помахивая веточкой шелковицы, отгонял от себя мух.

Человек что-то стал спрашивать у дяди Коли, но дядя Коля явно его не понял и стал отмахиваться от него веткой шелковицы. Тот продолжал свои расспросы, и дядя Коля несколько более раздраженно отмахнулся от него веткой.

Тут Богатый Портной и Алихан заметили этого человека, и Алихан раскрыл было рот, чтобы объяснить ему, что он имеет дело с сумасшедшим. Но Богатый Портной движением руки остановил его, чтобы позабавиться этим недоразумением. Человек снова обратился к дяде Коле, и Богатый Портной затрясся от сдерживаемого смеха. Дядя Коля уже довольно резко отмахнулся от него своей веточкой шелковицы.

— Отстань, — сказал он ему по-турецки и добавил по-русски: — Иди, иди!

Небольшой словарь дяди Коли, по подсчетам Чика, около восьмидесяти слов, состоял из абхазских, турецких и русских слов. На этих языках говорили дома, и он составил себе небогатый, но затейливый язык из смеси трех языков.

— Что вам надо, товарищ? — наконец обратился к этому человеку Богатый Портной, словно только что заметив его.

— Я у него спрашиваю, не живет ли в этом дворе Габуния, — сказал человек, недоумевая, — а он мне ничего не отвечает.

— Так он же сумасшедший, — ответил Богатый Портной восторженно, — разве вы не знаете?

— Нет, конечно, — ответил человек и опасливо отстранился от дяди Коли.

— Да, — восторженно подтвердил свои слова Богатый Портной, — он самый настоящий сумасшедший!

— Я же не знал, — сказал человек, опасливо косясь на дядю Колю, который, обернувшись к Алихану и Богатому Портному, стал им, смеясь и делая рукой всякие знаки, объяснять нелепость поведения этого человека, обращающегося к нему с праздными вопросами.

— Если вас что-нибудь интересует, — продолжал Богатый Портной с важностью, — вы можете спросить у меня. У Алихана тоже можете спросить, но у него нельзя спрашивать, потому что это будет пустой номер. А если вас интересует Габуния, работающий сторожем в школе, он живет в следующем дворе направо.

— Спасибо, — сказал человек и, как показалось Чика, с облегчением покинул их двор.

— Вот люди, — сказал Богатый Портной, — мы здесь сидим и играем, но он у нас не спрашивает, а спрашивает у бедного Коли.

Богатый Портной разговорился, и, видно, ему еще хотелось поговорить.

— Ладно, играй, — прервал его Алихан, и Богатый Портной метнул кости.

И тут внезапно Чика осенила гениальная мысль: он приведет в школу дядю Колю! Ведь его там никто не знает. А если учителю что-нибудь покажется странным, то Чик объяснит это тем, что дядя Коля плохо слышит. Он ведь и в самом деле плохо слышит.

Осчастливленный своей удивительной догадкой, Чик быстро слез с дерева и вошел во двор. Белочка подбежала к нему и стала прыгать вокруг него, показывая, до чего она по нему соскучилась. Поглаживая прыгающую Белку, Чик с удовольствием обошел дядю Колю, деловито вглядываясь в него и стараясь почувствовать, какое впечатление он произведет завтра на Акакия Македоновича. Дядя тоже насторожился, следя глазами за Чиком. Ему казалось, что Чик присматривается к нему, чтобы начать его дразнить.

— Собака, — по-абхазски прикрикнул он на прыгающую Белку, тем самым предупреждая, что готов дать отпор любому злему умыслу Чика.

Но Чик и не думал его дразнить. Он готов был броситься на шею дяде Коле и восторженно прижать его к груди. К сожалению, дядя Коля такие вещи не понимал. Чик отошел от него и стал ходить по двору, обдумывая план завтрашних своих действий.

Как дядю Колю выманить со двора и привести его в школу? Конечно, лучший способ — пообещать ему лимонад. Дядя Коля больше всего на свете обожал лимонад. Магазин, где продавали лимонад и всякие другие продукты, был расположен рядом со школой. Надо привести туда дядю Колю, напоить его лимонадом и потом, когда благодущие его достигнет предела, завести его в школу.

Но где взять деньги на лимонад? У Чика денег не было, а дома с деньгами было трудно. Дома денег не дадут. Где же их взять? Конечно, у Оника, сына Богатого Портного. У него копилка, в которую он опускает монеты почти каждый день.

Чик имел большое влияние на своих товарищей по двору. Он мог уговорить Оника одолжить ему эти деньги. Но он знал, что от этого у Оника испортится настроение. Чик не хотел, чтобы у Оника портилось настроение. Он решил что-нибудь обменять на деньги, которые даст ему Оник. Что же ему дать? У Чика не было ничего такого, что бы могло понравиться Онику.

Но, видно, гениальный замысел не приходит один, он приводит с собой другие гениальные догадки, чтобы выполнить этот замысел. Чик понял, что он предложит Онику. Он ему продаст теннисный мяч, который застрял в желобе крыши. Хотя формально мяч этот Чик не принадлежал, но Чик его первый заметил, и это означало, что он будет принадлежать Чикю.

Чик посмотрел на небо. Ему хотелось, чтобы на небе были тучи и собиралась гроза. Тогда легче было бы уговорить Оника, потому что во время грозы поток воды в желобе может подхватить мяч — и он, пройдя водосточную трубу, бултыхнется в бочку.

Небо, к сожалению, было синее, и никаких признаков ухудшения погоды Чик не заметил. Но ничего, все равно теперь он уговорит Оника. Надо взять у него денег на две бутылки лимонада. Такой мячик стоит гораздо больше, чем две бутылки лимонада.

— Наши выиграли четыре — поль! — восторженно кричал Оник, вбегая во двор.

— Армавир — это не команда, — сказал Богатый Портной, уже обращаясь к Онику, — в Армавире только семечки кушают!

Чик взял Оника под руку и отвел его подальше от всех к подножию кипариса. Оник еще был пронизан восторгом победы наших футболистов. Чик чувствовал, что очень скоро восторг его угаснет, но ничего нельзя было сделать, решалась судьба.

— Оник, — сказал Чик, — мне позарез нужно сорок копеек для одного дела.

— Но у меня нет, — сказал Оник, постепенно тускнея.

— Знаю, — сказал Чик, — но ты их должен вынуть из своей копилки.

— Из копилки папа не разрешает, — сказал Оник, окончательно грустив.

— Знаю, — сказал Чик, — но мне позарез нужно сорок копеек. Я тебе продаю свой теннисный мяч за сорок копеек.

— А он что, уже выкатился? — оживился Оник и даже удивленно посмотрел на небо.

— Нет, — сказал Чик, как человек, придерживающийся суровой правды, — но скоро начнутся ливни, и он выкатится...

— Выкатится, — уныло повторил Оник, опять потускнев, — он целых два года все выкатывается...

— Обязательно выкатится, — сказал Чик уверенно, — ведь больше ему некуда деться.

Оник уныло посмотрел на синее небо.

— На небе ни одной тучки, — сказал Оник.

— Правильно, — сказал Чик, — но что это значит?

— Это значит, — сказал Оник, — что погода хорошая и дождя не будет.

— Нет, — сказал Чик, — это значит, что скоро будет дождь.

— Почему? — удивился Оник.

— Как же ты не понимаешь, — сказал Чик, — раз уже столько дней погода хорошая, значит, скоро должен пойти дождь. Не может же быть все время хорошая погода?

— Все-таки неизвестно, выкатится мяч или нет, — сказал Оник.

— Выкатится, — повторил Чик убежденно, — ему больше некуда деться... И вот что... Если тебе жалко денег, так я у тебя потом выкуплю мяч, и получится, что ты все это время бесплатно пользовался моим мячом...

— А когда выкупишь? — оживился Оник.

— Не знаю, — сказал Чик честно, — но ведь чем дольше я не буду у тебя выкупать мяч, тем больше ты будешь им бесплатно пользоваться.

— Ладно, сейчас принесу, — сказал Оник, задумавшись над двусмысленным предложением Чика. С одной стороны, вроде лучше бы Чик его быстрее выкупил, а с другой стороны, чем дольше он не будет выкупать, тем дольше можно им бесплатно пользоваться.

Оник бежал домой и чувствовал, что он сделал выгодную сделку. Он вытряхнул из копилки сорок копеек, поставил копилку на место и вернулся во двор. Он передал деньги Чику, и Чик положил их в карман. Тут Оник вспомнил, что мяча еще нет и погода не портится. Он опять загрустил, и Чик это почувствовал.

— Не унывай, — сказал Чик, щупая в кармане две двадцатикопеечные монеты, — скоро у тебя будет прекрасный теннисный мяч.

— Нет, — вздохнул Оник, — я ничего.

Остаток дня и весь вечер Чик думал о предстоящем походе с дядей Колей в школу. Он испытывал необычайный прилив нежности к дяде Коле, но не знал, как его проявить. Он бросал на него долгие взгляды, особенно когда оставался с ним наедине или когда на них никто не смотрел. Раньше обычно Чик эти мгновения использовал для того, чтобы подразнить его. И когда сейчас Чик смотрел на дядю Колю, дядя Коля тоже смело устремлял на него свой взгляд в ожидании, что Чик его сейчас начнет дразнить. Но Чик ему взглядами старался сказать, что он его любит и никогда, никогда его больше не будет дразнить. Он также пытался объяснить дяде Коле взглядами, к какому большому и важному делу он приставлен Чиком.

Но дядя Коля его взглядов не понимал. Он только знал, что раз Чик стал на него глазеть, то, значит, Чик собирается его дразнить. И он готовился к обороне, слегка подбравшись и глядя на Чика твердым, почти не мигающим взглядом. В конце концов кроткий взгляд Чика дяде надоел, и он, решив, что этот кроткий взгляд — новый способ издевательства, упрощенно пожаловался бабушке:

— Мальчик смотрит.

— Уж и посмотреть на тебя нельзя, — сказала бабушка и слегка хлопнула дядю по спине.

На следующий день перед началом занятий Чик воспользовался моментом, когда дядюшка был вне поля зрения взрослых, подошел к нему и показал свои деньги. Дядюшка очень заинтересовался деньгами и, наклонившись, внимательно их рассмотрел.

— Лимонад, лимонад, — громко сказал Чик и, махнув рукой, дал ему знать, что он может пойти с ним в магазин и выпить лимонаду.

— Лимонад? — обрадованно переспросил дядюшка.

— Лимонад, — подтвердил Чик и положил деньги в карман.

— Пошли, — сказал бодро дядюшка по-турецки и добавил по-русски: — Мальчик хороший.

Они спустились со второго этажа во двор, и Чик, зная, остановив дядюшку, забежал домой за портфелем и пиджаком отца. Чик заранее завернул в газету этот пиджак и собирался по дороге напялить его на дядю. Чик считал, что в пиджаке у дяди будет более солидный, интеллигентный вид. А так он выглядел как-то несолид-

но — то ли деревенский пасечник, то ли сторож какого-то сада.

Чик схватил портфель и сверток с пиджаком и выскочил во двор. Он очень боялся, что мама, или тетушка, или бабушка остановят их, пока они выходят со двора. Но их никто не заметил, и они, выйдя на улицу, быстрыми шагами дошли до угла. У дядюшки был тот целенаправленный вид, какой у него бывал, когда они шли на море, на базар или в баню.

На углу Чик развернул сверток и подал пиджак дяде. Дядюшка с удивлением оглядел пиджак.

— Черим-баба? — догадался дядюшка, что пиджак принадлежит отцу Чика. Так он его называл.

— Надевай, надевай, — кивнул Чик.

— Колю ругать? — спросил дядюшка, имея в виду, что без спросу надевать чужие вещи не положено, хотя он очень любил всякую обновку.

— Нет, нет, — замотал головой Чик, а потом утвердительно закивал: можно.

— Можно? — спросил дядюшка, склоняясь надеть пиджак и радостно глядя на него.

— Да, да, — сказал Чик и подал ему пиджак.

Дядюшка надел пиджак и взволнованно оглядел его. Он сунул руки в карманы и вынул из одного из них платок. Тут разыгралась его обычная брезгливость; пиджаку он был рад, но грязный платок ему был ни к чему.

— Гадкий, — сказал он по-турецки и, держа платок двумя пальцами, вручил его Чичу.

Чик молча положил платок в карман, и они подошли к магазину, где торговал толстый продавец Месроп.

— Дядя Месроп, две бутылки лимонада, — сказал Чик и, стукнув монетами, положил их на прилавок.

Дядюшку распирала радость и от предстоящего лимонада, и от нового пиджака.

— Черим-баба, Черим-баба, — сказал он продавцу, хлопая себя ладонями по груди и показывая, что отец Чика подарил ему новый пиджак.

— Хороший, хороший, — сказал Месроп, знавший дядю Колю, и показал ему большой палец в знак высокой оценки пиджака.

— Хороший, — согласился дядя Коля и поощрительно похлопал Чика по плечу в знак одобрения всех его действий. Он был взволнован и возбужден.

Месроп открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан и поставил его перед дядей. Дядя быстро налил себе

в стакан желтый бурлящий лимонад и, продолжая держать одной рукой бутылку, поднес другую руку ко рту и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, вылил туда весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад испарится, налил второй стакан, и не успели пузырьки в нем успокоиться, как он с такой же быстротой вылил его себе в горло. После третьего стакана, опорожнив бутылку, он сделал небольшую передышку.

Пока он пил, толстый, тяжело дышащий Месроп добродушно следил за ним, радуясь за него, что он может так наслаждаться такими простыми вещами, и одновременно радуясь за себя, за то, что он в отличие от дяди Коли нормальный человек, а не сумасшедший.

Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, стал знаками и восклицаниями рассказывать Месропу свою запутанную историю взаимоотношений с Чиком. Он ему пытался объяснить, что вот Чик по своему недомыслию иногда его дразнит, а на самом деле довольно добрый мальчик, потому что подарил ему пиджак и еще угостил лимонадом.

После второй бутылки дядя был в полном восторге. Как только они отошли от прилавка, Чик повернулся в сторону школы, которая находилась рядом, и, показывая на нее, сказал:

— Пойдем в школу.

— Школа, школа, — согласился дядя, взглянув на нее, но еще не понимая, что Чик его туда приглашает. О предназначении школы дядя, как понимал Чик, догадывался. Но в таких мелких подробностях, как учителя, директор, вызов родителей, он, конечно, не разбирался.

Чик, взяв его за рукав, слегка потянул в сторону школы.

— Школа, школа, — повторил Чик, стараясь голосом довести до его сознания свое намерение и внушить, что это намерение ничего опасного для него не содержит в себе.

— Школа? — переспросил дядя.

— Да, школа, школа, — повторил Чик и снова потянул его за рукав.

— Пошли, — сказал дядя по-турецки и отправился вместе с Чиком в сторону школы.

Чика несколько тревожило, что дядя, общаясь с учителем русского языка, может употреблять нерусские слова. В крайнем случае, решил Чик, он скажет учителю, что дядя хорошо понимает по-русски, но плохо говорит.

Как раз прозвенел звонок на большую перемену, и Чик у вдруг пришла в голову возможность нового препятствия. Он боялся, что кто-нибудь из его друзей, встретив его в школе с дядей и не понимая, для чего он его привел, невольно выдаст, что дядя сумасшедший.

В самом деле, как только они вошли в школьный двор, навстречу им бросилась Сонька.

— Чик, зачем ты дядю привел? — крикнула она.

— Молчи, — сказал Чик, — потом все узнаешь.

— Что узнаю, Чик? — спросила Сонька, но Чик, сделав страшные глаза, прошел мимо Соньки.

Перед учительской была большая открытая веранда, где на переменах прогуливались учителя. Чик заметил среди них Акакия Македоновича. Чтобы дойти до лестницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень боялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и будет, показывая на нее рукой, говорить: «Я, я, я...»

У него была привычка принимать за себя всякое изображение понравившегося ему человека, будь то скульптура, плакат, фотокартонка или газетный снимок.

Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до лестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал вдохновение. Он понимал, что решается его судьба.

Акакий Македонович стоял один у балюстрады. Чик с дядей подошли к нему.

— Акакий Македонович, здравствуйте, — сказал Чик, первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя не отвечает на приветствие. Обычно дядя не здоровался и не прощался. Для него это были слишком мелкие подробности жизни. Но руку подавать он умел, хотя и не любил из брезгливости.

— Здравствуйте, — обернулся Акакий Македонович, смотревший в другую сторону.

Оглядев Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. Для начала было неплохо.

— Это мой дядя, — сказал Чик и, как бы откровенно признаваясь, добавил: — Он плохо слышит.

Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал прогуливаться с ним по веранде. Чик правильно сделал, что предупредил Акакия Македоновича о том, что дядя плохо слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик заботился не о том, чтобы Акакий Македонович приспособился к его слуху. Нет, его хитрость состояла в том, что, предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым

оправдывал некоторые странности, которые Акакий Македонович мог заметить за дядей.

Чик точно не знал, о чем говорит Акакий Македонович с дядей. Он только услышал, когда они проходили мимо него, что Акакий Македонович читает ему свои последние грамматические стихи.

...И теперь любому ясно,
Как писать частицу «не»
В нашей солнечной стране.

— Спрашивается, что тут странного? — сказал Акакий Македонович, и они прошли мимо. Неизвестно, ждали ли Акакий Македонович на свой вопрос какого-то ответа. Чик ничего не слышал. Но он надеялся на характер Акакия Македоновича. Ему было важнее всего самому говорить, а не слушать, что ему говорят.

По виду дяди было заметно, что он польщен разговором, который затеял с ним этот важный человек. А то, что человек этот важный, дядя мог понять потому, что тот был в галстук и в шляпе. Акакий Македонович очень редко и неохотно расставался со своей зеленой велюровой шляпой.

Вдруг в конце веранды появилась Сонька. Она никак не могла понять, почему Чик пришел в школу со своим сумасшедшим дядей. Чик сделал страшное лицо, давая ей понять, чтобы она ни за что на свете не приближалась к нему. Сонька в недоумении стояла в конце веранды, не понимая причины волнения Чика и еще более не понимая, почему учитель прогуливается с сумасшедшим дядюшкой Чика.

Снова прошли мимо него Акакий Македонович с дядей Колей. По лицу дяди было заметно, что он доволен разговором, который ведет с ним серьезный взрослый человек.

— Я думаю, тут сказывается влияние улицы, — донесся до Чика голос Акакия Македоновича.

— Улица, улица, — повторил дядя по-русски знакомое ему слово.

Дойдя до конца веранды, они повернулись и подошли к Чику.

— Я надеюсь, Чик, ты теперь осознал всю неуместность своего поведения на уроке? — сказал Акакий Македонович.

— Да, — согласился Чик смиренно, — осознал.

— Я тут обсудил с твоим дядей твоё поведение и надеюсь, он всё передаст твоим родителям.

— Конечно, — сказал Чик, как бы слегка сожалея о неизбежной пунктуальности дяди.

— Не скрою, — добавил Акакий Македонович, понижая голос, — твой дядя мне показался странным.

— Он необразованный, — пояснил Чик странность дяди.

— Да, это заметно, — подтвердил его слова Акакий Македонович и протянул дяде руку. Дядя пожал протянутую ему руку.

— До свидания, — сказал Акакий Македонович.

— До свидания, — ответил Чик за обоих и поспешил увести дядю с веранды.

Чик шел с дядей по лестнице. Рядом вприпрыжку спускалась Сонька, то и дело спрашивая:

— Чик, что случилось?

— Ничего не спрашивай, — отвечал ей Чик, — потом всё расскажу.

Сонька отстала. Чик чувствовал за спиной взгляд Акакия Македоновича, в душу которого явно закрались какие-то подозрения. Чик хотел, чтобы дядя как можно благопристойней покинул школьный двор.

Внезапно посреди двора дядя остановился у колонки и, отвернув кран, стал усердно мыть руки. Он всегда мыл руки, если с ним кто-нибудь здоровался. Чик это очень не понравилось, но он не стал останавливать дядю, боясь, что это может привести к непредвиденным осложнениям.

Чик украдкой оглянулся на веранду и встретился взглядом с Акакием Македоновичем. Тот перевел удивленный взгляд с дяди на Чика, как бы требуя объяснить поведение дяди. Чик слегка пожал плечами, как бы давая знать, что необразованные люди вроде дяди вечно моют руки, как только им на глаза попадается какая-нибудь колонка.

Но тут дядя, вымыв руки и вытерев их платком, поднял глаза и увидел скульптуру трубача. Он стал показывать на нее рукой и, радостно стучая себя в грудь другой рукой, повторять:

— Я, я, я...

Акакий Македонович еще более удивленно наклонился над балюстрадой веранды, стараясь разглядеть предмет, на который указывал дядя. По-видимому, он все-

таки не догадался, что дядя имеет в виду статую. Слова, которые дядя произносил, он не мог расслышать.

Чик подхватил дядю под руку и увел его со двора. Дядя слегка упирался и оглядывался. Он явно недостаточно налюбовался скульптурой. Чик вывел его со школьного двора, направил в сторону дома и отпустил, надеясь, что он по инерции уже сам дойдет до дома, никуда не сворачивая. Дядя быстрой походкой удалялся. Несколько раз он оглянулся, надеясь разглядеть скульптуру трубача, но теперь веранды не было видно.

Прозвенел звонок, и Чик побежал в свой класс. Чик был счастлив, что сумел перехитрить Акакия Македоновича. Его немножко смущало, что, как только дядя придет домой, с него совлекут пиджак отца, не понимая, как он к нему попал. Но это было не страшно. Главное, что тетушка, ни о чем не зная, могла спокойно пить чай на своей веранде.

ЧИК НА ОХОТЕ

Чик проснулся рано утром. Он тихо встал, чтобы не разбудить спящих. Он надел майку, потом натянул поверх трусов короткие штаны с карманами и продел в них пояс брата, который Чик еще ночью выдернул из его брюк и положил возле своей кровати.

Он собирался идти на охоту за перепелками и в случае удачи рассчитывал, что перепелок можно головками засовывать за пояс и они будут держаться. Как миленькие будут держаться, только пояс затягивай потуже! Хотя было тепло, Чик влез в рубашку. Он сообразил, что перепелки иногда могут падать в колючие кустарники, и тогда в майке все тело исцарапаешь. Поэтому лучше в рубашке. Надел на ноги сандалии, застегнул пряжки и вышел на веранду.

Чик открыл кран и умылся. Когда Чика не видела мама или тетушка, он умывался очень быстро. Если бы проводились всесоюзные соревнования по быстроте умывания, Чик мог бы стать чемпионом страны. Умывался он молниеносно. Со стороны можно было подумать, что он проверяет воду на влажность. Мазанул мокрыми руками по правой и левой щеке — и все. Да, вода продолжает оставаться влажной. Чик воду любил в виде моря. Или море, или ничего.

На столе стояла миска с грушами. Над ними уже кру-

жились осы. Осы были желтые, как груши. Чик взял со стола свой учебник по истории древнего мира и стал убивать ос. Две осы он убил, а одна улетела, хотя и была тяжело ранена. Уже убитых ос Чик окончательно раздавил на столе тем же учебником истории. Сгреб их спичечной коробкой на учебник и выкинул за окно. Чик знал, что даже мертвой осе нельзя доверять: осу можно раздавить, но она и после этого сохраняет способность жалить. Жить уже не может, но жалить еще может. Вот что такое оса.

Расправившись с осаами, Чик тихонько отворил дверцу буфета. Дверца сладостно скрипнула, потому что там лежала любимая еда Чика. Когда в буфете ничего, кроме хлеба, не лежало, дверца скрипела скучно.

Чик отрезал от буханки самую поджаристую горбушку, намазал ее маслом, а сверху еще размазал повидло. Можно было повидло размазать так густо, что масла не будет видно. Но Чик так не любил. Он любил есть хлеб с маслом и повидлом так, чтобы одновременно видеть и масло и повидло. Поэтому он повидло размазал как бы небрежно, волнами. Когда сразу стоят перед глазами и хлеб, и масло, и повидло, получается гораздо вкусней. Чик это точно знал. Про самую любимую еду в мире всегда все точно знаешь.

Вообще Чик ел все, кроме помидоров. Помидоры не лезли. Какая-то противная слизь. Но Чик не терял надежды с годами преодолеть свою неприязнь к помидорам. Иногда, когда его никто не видел, Чик тренировался, чтобы привыкать к помидорам. Успехи были, но небольшие. Чик заметил, что после моря помидоры как-то легче идут.

Чик решил, что дело в медузах. Медузы слизистые и помидоры слизистые. Когда наглядишься на слизистые да еще тряские медузы и подумаешь: а если бы тебе пришлось есть медуз? — помидоры легче идут.

В голодном состоянии Чик мог съесть целый помидор, густо осыпав его солью. Конечно, приходилось проявлять большую силу воли. Зимой, когда по утрам мама заставляла его выпивать ложку рыбьего жира, тоже приходилось проявлять большую силу воли. У Чика была сила воли, и он надеялся с годами привыкнуть к помидорам. Но не все сразу.

Поев, Чик напился из-под крана, хотя пить ему не хотелось. Но он знал, что идет на охоту, а там кто его знает, скоро ли нашьешься. Проявляя силу воли, Чик

постарался как можно больше выпить прохладной утренней воды. Везде нужно было проявлять силу воли. Чик знал, что сила воли у него есть, но проявлять ее было не всегда охота.

Боясь, что его не пустят, Чик никого не предупредил, что собирается на охоту. Взрослые — странные люди. Когда, бывало, уйдешь на море или в горы, они потом ругаются и говорят, ты хотя бы предупредил! А когда предупреждаешь — не пускают. Чик сегодня решил пойти средним путем. Он решил не предупреждать, но оставить записку. Он вырвал из старой тетради неисписанный кусок листа, макнул ручку в чернильницу и, подумав, написал: «Иду на охоту с Белкой. Ждите к обеду с перепелками».

Чик перечитал написанное, и ему показалось, что он напрасно хвастанул перепелками. Он почувствовал, что это нехороший признак. Чик только собирался на охоту, но уже проникся охотничьим суеверием. Он тщательно замазал чернилами ненужное слово. Положил записку посреди стола и придавил ее чернильницей, чтобы ее не снесло порывом случайного ветерка.

Он достал из-за буфета свой лук и три стрелы с жестяными наконечниками, заточенными напильником. Чик проверил на пальце наконечники, словно за ночь их могли притупить мыши. Нет, наконечники в порядке. Он надел на плечо лук тетивой вперед, как ружейный ремень. Заткнул за пояс стрелы. Наконечниками вверх, чтобы не царапали ноги. Потом стал шевелить животом, прислушиваясь, где и как наконечники упираются в живот. Приладил так, чтобы не упирались. Теперь он себя чувствовал не хуже, чем те воины, что изображены в учебнике древней истории.

Чик взял из миски две груши, глазами выбрав те, что получше. Одну себе, другую своей собаке Белке. Только он хотел вонзить зубы в ту грушу, что была особенно крутобокой, как мелькнуло: нечестно! Себе берешь ту, что получше, а любимой собаке ту, что похуже. Чик все-таки вонзил зубы в лучшую грушу и, уже вонзив, разлился на Белку. Нечего баловать, сурово подумал Чик, другие собаки вообще не знают, что такое груша!

Он отрезал от буханки еще одну горбушку. Белочка тоже любила горбушку. Чик вышел во двор.

— Белочка! — позвал он не очень громко, чтобы не будить соседей.

Она спала посреди двора возле виноградной лозы.

Услышав его голос, Белочка приподняла голову и посмотрела на Чика, словно удивляясь спросонья: в такую рань?!

— Белочка, Белочка, — снова позвал Чик и издали показал ей грушу.

Белочка вскочила и подбежала к нему. Но Чик бросил ей сначала горбушку. Белочка не очень охотно ее ела, то и дело подымая голову и завистливо прислушиваясь к Чику, сочно чмокавшему своей грушей. После того как она съела весь хлеб, Чик поставил возле нее грушу.

Белочка ела все фрукты. Чик ее давно приучил к этому. Она даже ела виноград. Было бы враньем сказать, что она выплевывала шкурки. Виноградины она глотала целиком. Она даже отличала на вкус белый виноград от черного. Черный виноград «изабелла» Белочка предпочитала любому белому винограду.

Чик много раз делал такой опыт. Он подзывал Белку и клал перед ней две кисточки — черный и белый виноград. И Белочка всегда сперва съедала черный виноград, а потом, в зависимости от настроения, могла съесть и белый виноград, а могла и не съесть. Если, конечно, она была голодной и ничего другого под рукой не было, она тут же могла слопать кисточку белого винограда. Но если была возможность выбирать, она всегда начинала с черного.

Самое смешное, что Чик тоже всегда черный виноград предпочитал белому. Нет, он, конечно, Белочку несколько не приноравливал к своему вкусу. Она сама поняла, что черный виноград приятней белого. Взрослые утверждали, что надо больше любить белый виноград, потому что это столовый сорт, а черный виноград «изабелла» любить не так уж культурно, потому что это не столовый сорт. Мало ли что надо! Надо, но неохота! Чик так считал: что вкусней, то и культурней! И Белочка это понимала.

Только самый небесовестнейший человек мог сказать, что Белочка любит черный виноград, потому что он похож на мясо. Нет, просто Белочка была умнейшая собака и знала толк во вкусных вещах.

На ее необыкновенную сообразительность Чик и надеялся, беря ее на охоту. В эти теплые осенние дни охотники возвращались из-за города с перепелками, до того аппетитно телепавшимися вокруг пояса, что Чик прямо замирал от неведомой прежде охотничьей страсти. И Чик

решил во что бы то ни стало сходить с Белкой на охоту.

Раньше они никогда не бывали на охоте, и Белочка была дворняжкой. Она была дворняжкой среднего роста, вся белая, особенно после купания, с темно-коричневым пятном на левом ухе и левом боку. Как будто кто-то лил сверху коричневую краску, а Белочка пробежала вниз. Кап! кап! — и два коричневых пятна. В отличие от охотничьих собак, которые бывали или очень лохматые или неприлично-голые, у Белочки была ровная, приятная шерстка.

Чик давно приучил Белочку искать еду или какую-нибудь спрятанную вещь. Сначала приучил искать еду, а потом уже, дав понюхать палку, спичечный коробок, карандаш или учебник, вообще любой предмет, достаточно удобный для зубов, он прятал его, а потом говорил: — Белочка, ищи!

Белочка искала и находила. Еду можно было и не давать нюхать, она ее и так находила. Белочка была умнейшая собака. Если ей сказать: Белочка, ищи! — и ничего не давать нюхать, она искала особенно азартно, она уже знала, что ее ждет еда.

Нюх у нее был исключительной силы. Котлету, например, она вынюхивала за тридцать шагов. На этот нюх Чик и надеялся, беря ее на охоту. Правда, Чик слышал, что охотничьи собаки при виде перепелки делают какую-то стойку. Чик думал, что охотничьи собаки, как цирковые, делая стойку, поднимаются на задние, а то и передние лапы. Нет, Белочка этого не умела. Чик ее никогда не приучал стоять на задних лапах.

Чик у почему-то всегда было не по себе, когда собака стоит на задних лапах. Собака, становясь на задние лапы, делалась похожей на униженного человека. Возвышаясь до двуногого существа, она каким-то образом становилась жалкой и униженной. Может быть, эти передние лапки, опущенные как тряпочки, может, неустойчивость всей ее позы вызывала в Чике ощущение униженности? Чик у было ужасно неприятно, когда кого-нибудь унижали. Особенно ему было неприятно, когда унижали животное. Поэтому Чик никогда не учил Белочку стоять на задних лапах и выклянчивать сахар! Ищи! И тогда ты его сама заработала!

Три дня тому назад, когда Чик окончательно решил во что бы то ни стало сходить на охоту, он срезал хорошую ветку кизила в соседнем школьном саду. Он и рань-

ше делал лук и стрелы и всегда на лук вырезал кизил-ловую ветку. Считалось, что кизил самое подходящее дерево для лука. Стрелы Чик сделал из прутьев молодого ореха. Он их вырезал в том же школьном саду. Сад, который охранял старик Габуня, отличался исключительным многообразием фруктовых деревьев. К тщательно обструганным стрелам Чик прикрепил наконечники, вырезанные из крышки консервной банки.

За три дня Чик так натренировался в стрельбе из лука, что в пятнадцати шагах запросто попадал в ту же многострадальную консервную банку, уже до этого лишенную своей крышки.

Вчера Сонькина мать принесла с базара перепелок. Чик попросил Соньку тайком взять одну перепелку из дому с тем, чтобы натаскать на нее Белку, а потом вернуть. Сонька принесла перепелку. Чик дал ее понюхать Белке и спрятал.

— Белочка, ищи перепелку! — говорил Чик, нажимая на последнее слово, чтобы выработать в ней условный рефлекс. И Белочка великолепно находила перепелку и приносила ее в зубах.

— Но, Чик, — говорили ему во дворе, — это же мертвая перепелка, а надо, чтобы она находила живую!

— Пока потренируется на мертвой, — бодро отвечал Чик, — а потом будет находить и живую.

Белочка восемь раз находила перепелку и приносила ее Чикю в зубах. А на девятый раз, когда она из сада несла перепелку, Сонькина мать вошла во двор и увидела Белку с перепелкой во рту.

— Чик, — радостно обернулась она на Чика, — твоя Белка перепелку поймала!

И тут все дети и жена старого Алихана начали хохотать. Им показалось смешным, что она так сказала. И Сонькина мать, хотя и вполне справедливо считалась глупой женщиной, подозрительно посмотрела на Соньку. Сонька, не выдержав ее взгляда, опустила глаза. Потом она так же посмотрела на Чика, но Чик проявил силу воли и не дал сбить своего взгляда. Но она все равно догадалась. Очень уж ехидно хохотала жена старого Алихана.

— Моя перепелка! — крикнула она истошным голо-сом и, набросившись на Белочку, вырвала у нее изо рта перепелку.

Она подняла ужасный шум и, держа в вытянутой руке перепелку, обращалась к тетушке Чика. Тетушка

в это время сидела на веранде второго этажа на своем обычном месте. Она попивала чай и, покуривая, следовала за жизнью двора. Сонькина мать кричала, протягивая в сторону тетушки перепелку, словно предлагая ее немедленно обменять на более свежую.

— Ваша Белка мне всю перепелку исключавила, — кричала она, — это все Чик! Ваша Белка мне всю перепелку исключавила! Зачем мне такая перепелка!

Тетушка спокойно дождалась паузы в ее криках, отхлебнула чай, затянулась папиросой и, выпуская дым, громко сказала:

— А ты, эфиопка, думаешь, охотничьи собаки в перчатках приносят перепелок!

Хорошо ей тогда тетушка сказала. Белочка не только исключавила перепелку, она ее слегка поджевала зубами и вымазала в пыли. Но ведь Чик собирался после натаски хорошенько вымыть перепелку под краном и высушить на солнце. Никто не ожидал, что Сонькина мать так рано вернется домой. Несмотря на это препятствие, Чик считал, что Белка достаточно хорошо натренировалась.

Чик с Белочкой вышли на улицу. Чик всем телом чувствовал бодрую свежесть сентябрьского утра. На востоке, прямо над Чернявской горой, золотилось облачко, радуясь, что оно раньше всех поймало солнечные лучи.

Чик надо было идти в противоположную сторону. Он знал, что там, где кончается город, но еще не начинается деревня, есть огромная поляна, выходящая к морскому берегу. Он слышал, что там городские охотники охотятся на перепелок и диких голубей.

Не успел Чик дойти до конца своего квартала, как его обогнал фаэтон. Лошадки, выбивая из немощеной улицы легкую пыль, шли ровной рысцей. Кузов фаэтона мерно покачивался. Было бы величайшей глупостью не воспользоваться попутным транспортом. Чик быстро догнал фаэтон и уцепился за его задок.

Фаэтон проехал мимо греческой церкви и мимо школы, где учился Чик. Ему вдруг пришло в голову, что было бы смешно, если бы директор школы, Акакий Македонович, побежал за фаэтоном, чтобы выяснить, это Чик бесплатно катается или он обознался. И было бы еще смешней, если бы при этом Белочка, не зная, что Акакий Македонович директор школы, стала бы яростным лаем отгонять его от Чика.

Но, конечно, ничего такого не могло случиться, по-

тому что день был воскресный и в школе никого не было. Почему-то Чик всегда было грустно за школу, когда она стояла вот такая пустая-пустая. Без звонка и без детей. Сам-то Чик очень любил выходные дни и каникулы, но ему было грустно смотреть на пустую школу. Ему казалось, что она скучает без детей. Тем более что его школа и раньше, до революции, была гимназией и за всю свою долгую жизнь здорово привязалась к детям. Чик почему-то это чувствовал.

А между тем Белочка стала волноваться. Она не привыкла, чтобы Чик ехал, прицепившись к фэнтону, а она бежала рядом. Она несколько раз требовательно взлаяла возле Чика, предлагая ему немедленно слезть. Потом она, по-видимому, решила, что Чик не виноват, что его насильно тащат на этом чудище. Она храбро выбежала вперед и стала облаивать фэнтонщика.

— Пошла вон! — услышал Чик хриплый голос фэнтонщика и звук щелкнувшего кнута. Белочка залаяла сильнее, но Чик знал, что кнут ее не достал. Иначе бы она завизжала.

Фэнтон ехал все дальше и дальше, и Белочка, делая неуродливые передышки, упорно его облаивала.

Скатерть белая залита вином,
Все гусары спят непробудным сном,
Лишь один не спит... —

красиво спел седок и вдруг добавил:

— Свежая барабулька под гудаутское вино хорошо идет. Больше ничего мне в жизни не надо. Не надо мне никакие чебуреки, никакие пенерли. Свежая барабулька, жаренная на собственном жире, и гудаутское вино — больше ничего не хочу!

— Ты не прав, Боря, — мягко возразил второй седок, склоняя его к миролюбию, — я тоже уважаю барабульку под гудаутское вино. Но горячее пенерли — это горячее пенерли. Наши отцы и деды не были дураками, когда любили горячее пенерли...

— Что хочешь со мной делай! — воскликнул первый седок, — свежая барабулька, вот только что из моря, еще играет, зажаренная на собственном соку, и гудаутское вино!

Чик услышал, как он при этом чмокнул, и понял, что любитель гудаутского вина послал вино воздушный поцелуй. По-видимому, гудаутское вино все еще находилось в достаточно обозримой близости.

— Пенерли, чебуреки, шашлыки — даром не хочу, — продолжал тот, — а, между прочим, хорошо провел стол наш вчерашний тамада! Находчивый! Отвальную, говорит, буду пить из вазы! Крепко сказал! И не только сказал, но и выпил, сукин сын! Интересная личность!

— Что ты, что ты, Боря! — одобрительно зацокал второй седок, — он вообще застольный, хлебосольный парень! У него и отец был такой, и дед был такой! Но ты напрасно обижаешь пенерли. Горячее пенерли...

— Никакого пенерли мне не надо! — весело перебил его первый седок, — свежая барабулька и гудаутское вино!

Скатерть белая залита вином,
Все гусары спят непробудным сном,
Лишь один не спит...

Опять он так красиво запел, что Чик замер от удовольствия. Чик обожал русские романсы, но не знал, что это так называется. Любителей объяснять такие вещи генетической памятью он мог прямо-таки поставить в тупик. Если во времена предков Чика гусары и забредали в горы, то им, конечно, было не до романсов. Да и навряд ли предки Чика, стоя с кремневкой за каменным укрытием, прислушивались, не раздадутся ли со стороны русского лагеря звуки любимых романсов.

Но только Чик сладостно настроился узнать, что же делает этот единственный неспящий гусар, как поющий седок опять оборвал песню. Чик от возмущения чуть не свалился. Нельзя же так!

— Сейчас покушаем жирный хаш, — оборвал песню поющий седок, — и домой! Отдых! Отдых!

— Все же ты напрасно обижаешь пенерли, — проворчал второй седок, — наши деды не были дураками, когда любили горячее пенерли.

— Костя, — грозно воскликнул первый седок, — если ты идешь на принцип, я тоже иду на принцип! Я голову наотрез даю за свежую барабульку, жаренную в собственном соку, и гудаутское вино!

Лошадь цокала копытами, фээтон уютно поскрипывал, а Белочка время от времени лаем напоминала фээтонщику: «Отпустите Чика! Отпустите Чика!»

— Слушайте, — обратился фээтонщик к седокам, — я с ума сойду от этой собаки! Впервые в жизни так долго гонится!

— Не обращай внимания, Бичико! — бодро восклик-

нул тот седок, что пел про гусаров, — собака лает — караван идет! Прекрасная поговорка!

— Да, но совсем голову заморочила, — проворчал фэзтонщик, — лошади тоже нервничают!

Теперь Чик знал, куда они едут. На окраине города был один дом, где по утрам можно было съесть хаш. Дядя Чика хаживал в этот дом. Да, хаживал.

Наконец фэзтон остановился. Чик быстро соскочил с задка и перебежал на тротуар, незамеченный фэзтонщиком. Белочка, увидев соскочившего Чика, перестала лаять и побежала к нему. Было похоже, что она гордится своей победой: заставила фэзтон остановиться и отлучить Чика.

— Парень! — крикнул фэзтонщик.

— Сы меня? — спросил Чик, остановившись.

— А разве здесь есть кто-нибудь? — спросил фэзтонщик, кивая на пустынную улицу.

— Откуда я знаю, — сказал Чик, голосом показывая, что степень безлюдности улицы его как-то не занимала.

— Чья это собачка? — грозно спросил фэзтонщик и издали кнутовищем ткнул в Белочку.

Чик взглянул на Белочку, как бы обнаружив ее только благодаря точной указке кнутовища.

— Первый раз вижу! — сказал он.

По взгляду фэзтонщика было видно, что он смутно догадывается, что Чик катался у него на запятках. Чик показалось, что тот не прочь дотащить его до того места, где Чик прицепился к фэзтону, но он никак не мог вспомнить, в каком месте начала облаивать его Белочка.

— Тогда чего она за тобой пошла? — мрачно спросил фэзтонщик.

— Не знаю, — удивился Чик и, взглянув на Белочку, поднял глаза на фэзтонщика, — а разве она за мной идет?

— Ладно, Бичико, — сказал один из седоков, выходя из фэзтона и разминаясь, — береги нервы! Эта собака за тобой тоже бежала! Сейчас покушаем один жирный хаш, выпьем по стопарю и споем «Аллаверди»!

Чик по голосу понял, что это был тот седок, который пел про гусаров. Чик пошел дальше, как-то спиной чувствуя, что фэзтонщик все еще смотрит ему вслед. Белочка мирно семенила рядом.

Через десять минут Чик вышел на огромный примор-

ский луг, озаренный восходящим солнцем. Местами луг был изрезан овражками, над которыми кустилась ежевика, сассанариль и облепиха, выбрасывающая вверх длинные прутья, унизанные желто-маслянистыми ягодами. То там то здесь виднелись выжженные солнцем коричневые заросли папоротников. Посреди луга угадывалось болотце, обросшее камышами и деревьями.

По лугу ходили охотники, время от времени окликаая своих петляющих в кустах собак. Слышались то одинокие, то взахлеб, как бы догоняющие друг друга выстрелы.

Чик пошел в сторону болотца, то и дело приговаривая:

— Белка, ищи перепелку!

Белка бежала впереди, иногда принохиваясь к травам и кустам. Они прошли заросли папоротника, и вдруг совсем близко Чик увидел двух охотников. Один из них был с ружьем, а другой держал на руке серого ястреба. Охотники переговаривались.

— Здесь упал, я точно знаю, — сказал тот, что был с ружьем. — Дик, ищи!

И сразу же в колючих зарослях что-то усердно затрещало. Чик понял, что там собака.

— В такие колючки собаку нельзя пускать, — заметил тот, что был с ястребом в руке. Он погладил его свободной рукой, показывая, что он-то своего ястреба в такие колючки не пустит. Ястреб сверкнул желтым глазом, взмахнул крыльями, и колокольчик на его ноге громко взбрякнул.

— Подумаешь, костюм порвет, что ли, — небрежно ответил тот, что был с ружьем, и опять крикнул: — Дик, ищи!

В зарослях опять усердно затрещало.

— А твоя собака перепелку надыбала, — сказал тот, что был с ружьем, кивая второму охотнику.

Чик заметил рыжую собаку, медленно приближающуюся к зарослям конского щавеля. Она шла, словно с трудом отрывая ноги от земли. Наконец, в нескольких метрах от зарослей остановилась, вытянув отвердевший хвост и слегка приподняв переднюю лапу. Чик понял, что это и есть стойка. Охотник теперь держал ястреба, слегка заломив руку за спину. Он тихо подошел к своей собаке и замер, всматриваясь в заросли. Чику показалось, что он невероятно долго ждет. Наконец, Чик услышал:

— Пиль!

Собака бросилась в заросли конского щавеля. Оттуда вырвалась какая-то птица и метнулась в небо. Охотник кинул ястреба вслед, но тот, как-то презрительно пролетев мимо, стал удаляться в сторону моря, быстро и мощно взмахивая крыльями. Чик, напрягая глаза, следил за ним и увидел, что ястреб уселся на далекую чинару.

Потрясенный хозяин ястреба так и застыл с открытым ртом. Второй охотник стал хохотать.

— Вот тебе и пиль, — сказал он сквозь хохот, — ястреб ни при чем! Твоя собака стойку делает на трясогузку!

— Ладно тебе! — огрызнулся хозяин ястреба и с ненавистью посмотрел на свою собаку. Она пробежала метров десять за ястребом, вернулась и сейчас, виновато виляя хвостом, глядела на своего хозяина. Хозяин нагнулся, поднял сучковатую палку и швырнул в собаку. Собака отскочила. Хозяин пошел в сторону чинары, громко ругая свою собаку. Когда он отошел шагов на тридцать, собака снова побежала за ним, но он опять сделал вид, что собирается кинуть в нее камень. Собака отскочила и села, тоскливо глядя на удаляющегося хозяина. Чику стало жалко неудачливую собаку.

Вдруг кусты рядом с Чиком затрещали, и оттуда выпарапалась собака второго охотника, держа в зубах трепыхающегося голубя.

— Ко мне, Дик! — радостно крикнул охотник и сам быстро подошел к своей собаке.

— Молодец, мой Дик, молодец, — урчал он, наклоняясь к ней и вынимая у нее изо рта все еще трепыхающегося голубя, — я же знал, что он там упал!

Он разогнулся с голубем в руке и вдруг, небрежно тряхнув рукой, размозжил ему голову о приклад ружья и сунул в ягдташ. Чику видеть это было неприятно, но он, сдерживаясь, не выдал своего чувства.

— А ты что, мальчик, пришел охотиться? — вдруг спросил он, как бы на радостях позволяя себе заметить Чика.

— Да, — сказал Чик.

— А разве стрелой можно попасть в перепелку? — удивился охотник.

— Не знаю, — сказал Чик, — с пятнадцати шагов бьет по консервной банке.

— Ну если твоя собачка получше той, — кивнул он в сторону второго охотника, — может, что-нибудь возьмешь. Попробуй на болоте. Там бывают водяные курочки.

— Хорошо, — сказал Чик, польщенный, что охотник говорил с ним без насмешки.

Чик пошел в сторону болота, время от времени повторяя:

— Белочка, ищи перепелку!

И Белочка усердно искала, петляя впереди него и принюхиваясь к кустам и траве. Чик вдвигал в тетиву слегка раздвоенный конец стрелы и, не натягивая лука, шел за собакой. Кузнечики так и стреляли из-под ног. Белочка усердно искала перепелок, хотя один раз глуповато подпрыгнула, пытаясь схватить стрельнувшего кузнечика, а другой раз погналась за вспыхивавшей бабочкой.

— Белочка, ищи перепелку! — напоминал Чик, нажимая на последнее слово.

И Белочка бежала, нюхом своим прочесывая траву. И вдруг — Чик даже не успел опомниться — прямо откуда-то у него из-под ног вылетела перепелка и низко-низко полетела над травой трепыхающим коричневым комом. Чик все-таки успел натянуть лук и навскидку пустить ей вслед стрелу. Он видел, как стрела, сверкнув на солнце, стала догонять перепелку, но через несколько мгновений сбавила скорость и вонзилась в землю. А перепелка улетела, не думая, сбавлять скорости.

Как только Чик выстрелил, Белочка помчалась за перепелкой и стрелой. Стрела вонзилась в землю, Белочка подскочила к ней, выдернула из земли и победно принесла ее Чикю с таким видом, словно все получилось так, как они с Чиком задумали.

Чик был ужасно огорчен и неудачей такого хорошего выстрела, и тем, что Белочка, не заметив перепелку, пробежала мимо нее, а Чик сам вспугнул ее своими шагами.

— Что ж ты, эфиопка, не почуяла перепелку, — упрекнул ее Чик, небрежно вырвав у нее изо рта стрелу.

Белочка посмотрела на Чика, приподняв одно ушко, как бы выражая полное недоумение: разве я не принесла тебе стрелу?

— Не стрелу, — сказал Чик сердито и внятно, — как ты могла пропустить перепелку? Пропустить!

Белочка на секунду призадумалась и вдруг весело трянула головой и замахала хвостом в знак того, что она ничего не понимает и даже не хочет понимать, но ей все равно хорошо с Чиком. Повернулась и побежала вперед!

— Белочка, ищи перепелку! — говорил Чик, быстро шагая за Белкой и голосом приказывая ей не отвлекаться на мелочи. Сейчас Белочку нервировали наглые сойки, взлетающие у самых ног и тут же рядом садящиеся на землю. Это, конечно, задевало самолюбие Белки: или ты боишься, и тогда улетаешь совсем, или ты не боишься, и сидишь на месте. Нет, взлетит и тут же сядет в трех шагах. Наглость!

Иногда Белочка, словно внезапно оглохнув и не слыша криков Чика, вытянув морду, сентиментально веюхивалась в какие-то якобы родимые запахи, исходящие якобы от знакомых кустов, хотя они здесь были первый раз, и у Белочки не могло быть никакого знакомства с местными кустами. В такие минуты она напоминала Чикю некоторых тетушкиных подруг (да и тетушку!), которые точно с таким же выражением лица нюхали пустые флаконы из-под духов.

Примерно через полчаса перепелка выпорхнула справа от Чика, но полетела не вперед, а в сторону моря. Чик успел повернуться и пустить ей вдогонку стрелу. Стрела красиво взлетела гораздо выше перепелки, но летела точно в ее направлении, так что можно было надеяться, что она сверху накроет перепелку. Но когда стрела пошла вниз, перепелка уже вылетела из-под нее.

Стрела вонзилась в траву возле белого камня, похожего на череп человека, и, покачнувшись, застыла торчком. Белый камень, похожий на череп, и стрела, торчком стоящая возле него, напоминали поле древней битвы. И Чик уже стал осторожно приискивать глазами, что бы напоминало заржавленный меч, полусгнившее копьё или щит. Но тут на поле древней битвы влетела веселая Белка, схватила зубами стрелу и принесла ее Чикю. На этот раз, вынимая у нее из зубов стрелу, он ничего ей не сказал. Перепелка вылетела в стороне от Белки, и она имела право ее не унюхать.

Перед самым болотом Белочка подняла ворону, и она летела над землей, лениво колыхаясь, как большая волшебная тряпка. Чик сгоряча принял ворону за коршуна, но вовремя спохватился и мягко опустил уже натянутую тетиву.

Солнце вовсю сияло, когда Чик подошел к болоту. Его поверхность во многих местах была покрыта грязно-зеленой ряской.

Там, где не было ряски, в болотной воде отчетливо отражался противоположный берег, обросший ежевични-

ком, восклицательными знаками камышей и ольховыми деревьями. Рядом росли мускулистый самшит и мускулистый дубок. Было похоже, что они, напрягая узловатые ветви, соревнуются, кто из них покрепче. Но Чик знал, что самшит — самое крепкое дерево в мире. Дуб занимает не то второе, не то третье место.

Чик удивился, что отражение кустов и деревьев в воде выглядит красивей, чем они сами на берегу. Чик призадумался, но не понял, почему это происходит.

Вообще Чик задумывался над многими вопросами, на которые взрослые ему не могли ответить. Вот что его волновало в последнее время. Чик знал, что подсолнух всегда следит за солнцем своей золотистой шапкой — и это хорошо. Но вот что делает подсолнух, когда начинается солнечное затмение? Опускает головку, думая, что солнце уже закатилось, или ждет, когда затмение кончится? Если ждет, откуда он знает, что это затмение и оно скоро кончится? Это же страшно интересно!

Но ни один из взрослых не мог ему ответить на этот вопрос. Некоторые добродушно смеялись, когда Чик задавал им этот вопрос, а некоторые как-то тоскливо замыкались, думая, что Чик хочет поймать их в какую-то ловушку. И какая тут может быть ловушка, и чего они все время боятся какой-то ловушки?! Глупо!

Чик этой весной вырастил у себя на огороде три великолепных подсолнуха. И все три дружно поворачивали свои золотые шапки в сторону солнца. И тут все было правильно. Но как их проверить на солнечное затмение?! Где его взять? Это уже от него не зависело.

Когда Чик подошел к самому илистому берегу, в воду посыпались лягушки. Точно так же пловцы во время соревнований шлепаются с мостков в воду. И точно так же некоторые из них шлепаются с опозданием.

Чик шел вдоль илистого берега и все время смотрел на противоположный, где кусты ежевики и сассапарилиа иногда ниспадали к воде. Ему все время мерещилась курочка, выходящая из воды, хотя Чик очень трудно было совместить курицу с водой. Так как Чик никогда не видел водяной курочки, он ее представлял как обычную курицу.

И вдруг не из воды, а из ежевичника вышла какая-то замызганная птица величиной с цыпленка. Чик и не знал, что подумать, но он понял, что это дичь и надо в нее стрелять. Замызганная птица ходила по бережку, что-то выклеывая из земли и то и дело вскидывая го-

ловку, кажется, тоже замызганную, и к чему-то прислушиваясь.

Чик вдруг подумал, что Белочка ее заметит и лаем вспугнет. Поэтому он, стараясь скрыть от Белочки свое охотничье волнение, осторожно прицелился, натянул тетиву до отказа и, уже чувствуя, что у него все начинает плыть перед глазами, выстрелил.

Стрела перелетела болотце и вонзилась в землю в нескольких сантиметрах от водяной курочки, которая ничуть не испугалась. Она посмотрела на стрелу и, обратив внимание на блеск верхней части наконечника, высовывавшегося из земли, клюнула его. После третьего клевка стрела повалилась, и курочка, потеряв к ней интерес, снова стала искать в земле корм. Чик был несколько уязвлен таким неуважительным отношением к его стреле. Он выхватил из-за пояса вторую стрелу и только вложил ее в тетиву, как курочка вошла в заросли камыша. Чик ждал, ждал, ждал, но она больше не вышла.

Надо было достать стрелу. С того берега к ней невозможно было подойти, настолько он был заколючен. Чик посмотрел на Белку. Белка посмотрела на Чика. Чик стал осторожно подходить к Белке, чтобы схватить ее и заставить плыть за стрелой. Чик не был уверен, что она, доплыв до того берега, догадается вернуться со стрелой. Все-таки слишком много времени прошло с тех пор, как он выстрелил. Но надо было попробовать. Чик решил, что если она все-таки не догадается взять стрелу, то он на ее глазах пустит вторую стрелу, которая вонзится в землю рядом с первой и тогда, возможно, Белка догадается прихватить и первую стрелу. Чик самому было ужасно неприятно лезть в болотную воду.

Чик поймал Белку и сразу же по ее сопротивлению почувствовал, что она не хочет лезть в болотную воду. Но до чего же умная собака! Он ей еще ничего не сказал, а она уже все знает. Чик подошел с ней к самой воде, поставил ее в воду и приказал:

— Белка, плыви!

Белка стояла в воде, раздумывая, плыть или не плыть.

— Плыви, плыви! — взбадривал ее Чик.

Белка постояла, постояла, потом неохотно лакнула несколько раз болотную воду и, решительно повернув, вышла на берег и села в стороне от Чика. Она посмотрела на Чика и с отвращением стряхнула с подбородка капельки воды, словно сказала Чик:

«По такой воде не то что плыть, ее даже пить неприятно!»

Чик опять поймал Белку и, разувшись, внес ее в воду и подтолкнул в направлении того берега. Белочка покорно проплыла несколько метров и вдруг свернула, стараясь выйти на землю подальше от Чика. И Чик теперь понял, почему она проплыла вглубь несколько метров. Если бы она сразу повернулась, Чик ее остановил бы. А так, отплыв на несколько метров, она уже могла маневрировать. Дьявольски умная собака!

Чик понял, что она не поплывет, и разделся сам. Он стал входить в теплую, неприятную воду и чем глубже входил, тем труднее было выдирать ноги из илистого дна. Чик слышал, что ил может всосать человека, и поплыл, не дожидаясь, пока вода дойдет у него до горла. Чик быстро переплыл болото, даже внутри воды стараясь как можно меньше соприкасаться с водой.

Чтобы ил при выходе из воды не всосал его в свои недра, Чик доплыл до самой кромки болота, уже животом чувствуя бархатистое коварство мягкого дна. Он вылез из воды, весь вымазанный илом. Чик поднял стрелу и уже хотел плыть назад, когда заметил, что ежевичник усеян крупными спелыми ягодами. Такого огромного количества ежевики Чик никогда не встречал на одном месте. И вдруг он догадался, что стоит на такой земле, где никогда не ступала нога человека. Кроме первобытного, который тоже мог переплыть болото, чтобы достать свою стрелу.

Чик отмыл руки и приступил к ежевике, думая, до чего приятно ее есть там, где ни разу не ступала нога человека. Кроме первобытного. Но его можно не считать. Время от времени он вспоминал о водяной курочке и поглядывал в камыши, но ее не было видно. Срывая и стряхивая на ладонь мягко-увесистые и уже теплые от солнца ежевичины, Чик поглядывал на тот берег, где возле его одежды сидела Белка. Она поняла, что Чик что-то ест, и начала проявлять беспокойство. Чик набрал горсть ежевики и очень аппетитно отправил ее в рот, при этом громко и сладостно чмокая, чтобы Белка слышала, как он наслаждается. Он и к ежевике ее приучил, она ее очень любила.

Белочка несколько раз нетерпеливо подвыла, давая знать, что она чувствует себя обделенной. Наконец не выдержала и подошла к воде. Она зашла по колено в воду и посмотрела на Чика. И Чик, чтобы придать ей

больше смелости, высыпал в рот полную горсть ежевики и громко зачмокал, показывая невероятность своего наслаждения. И Белка уже хотела поплыть, но опять два-три раза лакнула воду, и сразу как-то поскучилась и, забыв про ежевику, вышла на берег. И она опять посмотрела на Чика, словно хотела сказать:

«Как можно плыть по воде, которую даже пить противно!»

— Ну и сиди там! — ответил Чик сердито и, уже больше не оглядываясь, продолжал есть ежевику.

Солнце слегка припекало, глинистый ил на теле Чика высох и как-то забавно стягивал кожу. Наевшись ежевики и жалея, что ее еще так много здесь остается, он взял в руки стрелу, подумав, переложил ее в рот, надкусив за середку древка, вошел в воду и сразу поплыл, чтобы не иметь дело с болотным илом, всасывающим живых людей. Выйдя на берег, он бросил стрелу и отмыл тело.

Чик сидел возле своей одежды и Белочки. Было приятно высушаться на солнце, слушая далекие выстрелы. Они раздавались так странно. Вдруг лихорадочно: шлеп! шлеп! шлеп! — и все тихо. Потом редкие, одиночные, как бы из последних сил — шлеп! и еще раз еле-еле: шлеп! И ни звука. И кажется, все навсегда кончилось. А потом опять. И снова тишина. Только теплое солнце, запах болота и вянущих трав. Чик было хорошо.

Чик так любил море и всегда жалел народы, у которых нет теплого моря, чтобы летом купаться. Он, конечно, знал, что многие приезжают к ним купаться в море, но он прекрасно понимал, что все приехать не могут. И он жалел их. А теперь, после купания в болоте, высыхая на теплом солнышке, он подумал, что, пожалуй, в болотной воде тоже можно купаться. Особенно, если очистить ее от ряски.

Чик обратил внимание на мошкару, столбиком стоящую над водой и толкующуюся внутри своего столбика. Чик вдруг почувствовал, до чего им весело. Толкутся, толкутся, сами не зная, чего толкутся, но им все равно весело. Греет солнышко, кругом все свои, и они толкутся себе и при этом сами из своего столбика не выходят.

Иногда невидимым дуновеньем снесет их в сторону или приподымет, и они все внутри столбика перемешиваются. И вот что забавней всего — сама мошкара не замечает, что все перемешалось, что рядом с одними мошками уже танцуют совсем другие мошки, а они толкутся

себе, как будто ничего не изменилось! Глупышки, толкуются себе — и все!

Вдруг Чик заметил, что по болотцу гуськом плывут утки. Они плыли в узком проходе между двумя большими кусками ряски. Казалось, караван судов плывет между ледовыми полями, рассеченными ледоколом.

Чик встрепенулся от волнения, решив, что это дикие утки. Их было семь штук. Они были серые, и из хвоста каждой торчало белое перышко. Но они плыли так спокойно и так беззаботно, что Чик сказал себе, не будь смешным! Это домашние утки.

Доплыв до свободной от ряски (ряска всем мешает) воды, они стали нырять, смешно переваливаясь и мелькая красными лапками. Казалось, они изо всех сил вкапываются в воду, а вода их не пускает. Вкапываются, вкапываются в воду, вот-вот докопаются до корма, а вода их не пускает, и они вытягивают голову из воды, чтобы отдышаться.

Чик здорово удивился, что утки так далеко забрели от жилого дома. Продолжая за ними послеживать, он вытряхнул из сандалий травяную труху и стал одеваться. Вдруг одна утка встрепенулась, взмахнула крыльями и полетела над водой, медленно набирая высоту. Следом остальные, и через минуту они летели в сторону моря. Тут-то Чик докумекал, что прохлопал уток: Если б он знал! Ведь они так спокойно проплыли мимо него. Он мог запросто стрелой попасть в любую из них! Но теперь они черными точками мелькали над морем.

Чик горестно вздыхал, приладил две стрелы к поясу и, взяв на изготовку лук с одной стрелой, пошел дальше. На охоте, подумал Чик, всегда надо ожидать дичь, нельзя расслабляться и думать о народах, живущих вдали от теплых морей, и соображать, как бы их приспособить к болотам. Всею свое время!

— Белка, ищи перепелку! — говорил Чик, стараясь сам не отвлекаться и не давать отвлекаться Белочке. Они довольно долго шли и шли, но перепелки почему-то не попадались. Становилось все жарче и жарче, и уже чувствовалось дыхание разогретого моря.

Чик остановился под ореховым кустом и стал наблюдать за двумя охотниками, стоявшими под сенью дикой яблони. Чик понял, что они ждут голубей, потому что они не выходили из-под дерева и время от времени поглядывали в ту сторону, откуда налетали перелетные голуби.

Чик долго из-за орешника следил за ними. Ему хотелось посмотреть на голубиную охоту. Один из них был высоким и красивым. Другой был маленький и черненький. Высокому наконец надоело высматривать голубей, которые все не налетали, и он, как палку, положил ружье на плечи и лениво подвесил руки с обеих сторон.

Он о чем-то стал переговариваться со вторым охотником, и разговор постепенно оживлялся, и голоса делались все громче и громче. По некоторым словам, долетавшим до Чика, он понял, что они говорят совсем не об охоте. Но о чем они говорят, Чик не мог понять.

— Честное слово, — вдруг сказал высокий и красивый, — был бы у меня кусок золота, ушел бы работать простым прорабом. Каждый месяц отрезал бы кусочек к зарплате... Так же нельзя работать! Присылают безграмотных инженеров! Как я им могу доверять!

Чик ужасно удивился, что инженеры могут быть безграмотными. В той среде, где жил Чик, считалось, что инженеры самые культурные люди. Детям говорили: «Учись хорошо, инженером будешь!»

Но чтобы инженер не мог ни читать, ни писать — такого Чик и не слыхивал. И в то же время по голосу этого высокого охотника Чик точно знал, что он не шутит. Неужели вредители? Конечно, вредители! Они везде вредят! Но почему же, мелькнуло у Чика в голове, прежде чем принимать на работу инженера, не сказать ему: «А ну, прочти эту страницу! Только громко и с выражением!»

И липовый инженер сразу засыплется! Но, может быть, вредители не разрешают проверять безграмотных? Непонятно.

— Легят! — вдруг спохватился маленький, и оба, вскинув ружья, плотнее прижались к яблоне.

Чик посмотрел в ту сторону, откуда должны были лететь голуби, но ничего не увидел, кроме дуги залива, белого столба маяка и сизо-золотистых холмов. И вдруг он заметил над холмами какие-то точки, которые приближались, дрожа и сдвигаясь то вправо, то влево. Но почему, уже волнуясь, подумал Чик, охотники уверены, что голуби пролетят именно над ними?

Дрожащие в небе точки, дрожа и непрерывно перемещаясь, приблизились и приблизились. Когда они были уже метрах в ста от яблони, вдруг раздалась пальба, и голуби сперва заметались на месте, а потом, не долетев до яблони, резко свернули на север, но и там их встретили

лихорадочные выстрелы, и они опять заметались на месте и вдруг всей стаей пошли в сторону яблони.

Только они долетели до яблони, как из-под нее раздалась близкие, оглушающие выстрелы: бах! ба-бах! бах!

Голуби опять заметались в небе, и Чик натянул лук и выстрелил в того из них, что был поближе к нему. Не успела стрела подняться до той высоты, на которой трепетал голубь, как он плеснул в сторону, а другой голубь рванулся на стрелу. На миг стрела и голубь слились в одной точке, но в следующее мгновение голубь пролетел, не задетый стрелой, и она, повернувшись, пошла вниз, сверкая на солнце наконечником.

Снова из-под яблони раздалось несколько выстрелов, и один голубь кувырком пошел вниз.

— Мой! — крикнул маленький охотник и вслед за своей собакой побежал к зарослям папоротника, куда хлопнулся голубь.

Стая пролетела дальше, и через несколько минут слышалась отдаленная пальба. Высокий красивый охотник стоял под яблоней, озираясь. Он явно пытался понять, откуда взялась эта взвившаяся стрела. Чик вышел из-за кустов, чтобы успокоить его.

— Ах, вот кто это! — сказал он, улыбнувшись Чику. — Ты, кажется, стреляешь лучше меня. А ну, покажи свой лук!

Чик подошел к нему и по дороге, нагнувшись, поднял свою стрелу. Она на этот раз не смогла вонзиться в сухую, твердую землю. Она лежала. Было бы, конечно, красивей, если б она торчала из земли.

— Ты что, всегда так охотишься? — спросил он, улыбаясь. Сейчас он прислонил свое ружье к стволу яблони и стоял, заложив руки за ремень патронташа, свободно висевший у него на поясе. Чик заметил, что из ягдташа у него ничего не торчит.

— Нет, — сказал Чик, подавая ему лук, — в первый раз.

— В первый раз, — удивился он, рассматривая лук, — я видел, с каким точным опережением ты послал стрелу. Ты будешь настоящим охотником. Как тебя зовут?

— Чик, — сказал Чик.

— Чик? — удивился охотник.

Началось, подумал Чик. Дело в том, что многие удивлялись его имени. И это было неприятно. И даже больно, когда начинали насмешничать и говорить, что такого име-

ни на свете вообще не существует. Чик потихоньку навел справки насчет своего имени и однажды в пионерлагере даже встретил мальчика, которого звали тоже Чик.

Чикун захотелось иметь его под рукой, и он попытался переманить его в свою школу, обещая ему показать на горе такое место, где можно раздобыть мастичную жвачку, и показать дикое семейство рыжих, живущее в пещере. Чик даже слегка преувеличивал дикость семейства рыжих, назвав их семейством первобытных людей. Но это был до того вялый Чик, что он даже не удивился семейству первобытных людей.

Потом, убедившись, что этот мальчик бегают плохо, еле-еле плавают и ни разу не залез ни на одно дерево, Чик решил, что даже лучше, что он остается в своей школе. Подальше, подальше. Еще будут путать с ним и спрашивать, это какой Чик? Но все-таки Чик был рад, что встретил его. Мальчик-то плохонький, зато он может служить доказательством из самой жизни, что такое имя существует на свете.

— Да, — сказал Чик, стараясь говорить просто, непринужденно, — я знал одного мальчика, его тоже звали Чик.

— Чик, — вдруг крикнул высокий, красивый охотник своему товарищу, — твой тезка пришел к нам в гости!

В это время маленький, чернявый охотник, взяв из зубов своей собаки голубя, совал его в свой ягдташ.

— Не может быть? — обернулся он и быстро взглянул на Чика узкими китайчатыми глазами.

— Да, — посмеиваясь, сказал высокий, — иди, познакомлю.

Он передал Чикуну его лук, чтобы он встретил второго Чика в полном вооружении. Так показалось Чикуну. Второй охотник подошел к Чикуну и серьезно протянул ему руку.

— Будем знакомы, Чик, — сказал он просто.

— Чик, — сказал Чик, протягивая ему руку и внимательно глядя ему в глаза.

Глаза у него были хоть и китайчатые, но вполне серьезные.

Чик взглянул в глаза высокого охотника, но тот, как и раньше, продолжал посмеиваться. Так что Чик никак не мог понять, разыгрывают его или нет. Все-таки было странновато, что взрослого человека называли Чиком.

— А на работе как вас зовут? — осторожно спросил Чик.

— На работе? — переспросил он и задумался. — Порядочные люди называют меня Чичико Теймурович. А вот такие испорченные люди, как этот дядя, пользуясь тем, что они учились со мной в школе, прямо на собрании говорят: «Чик, у нас план горит!»

Тут высокий, что-то вспомнив, начал хохотать.

— Ох, Чик, — сказал он, обращаясь к Чикю, — если б только я один! Я тебе сейчас расскажу такой смешной случай, что ты просто обхохочешься.

— Нечего ребенка портить! — строго перебил его чернявый. Ему было неприятно, что товарищ хочет выставить его в смешном виде. Чикю очень захотелось узнать про этот случай.

— При чем тут ребенок! — хохотал большой, красивый охотник, — просто интересный случай. Слушай, Чик, ты поймешь, в чем соль. Если уж ты пускаешь стрелу с таким точным опережением, ты поймешь, в чем соль. Однажды к Чичико Теймуровичу, нашему главному инженеру, пришла на работу жена. Секретарши не было, и она прямо вошла к нему в кабинет. Сидит, разговаривает с мужем. И вдруг влетает секретарша...

— Не порть мальчика! — перебил его чернявый, но Чикю показалось, что его китайчатые глаза масленисто улыбаются.

— При чем мальчик! — сквозь хохот воскликнул рассказчик и, взглянув на Чика, продолжил: — Вбегает секретарша и, не заметив жены, прямо с порога кричит: «Чик, главбух наотрез отказался!» И тут его жена, услышав такое, хватает графин и швыряет в секретаршу со словами: «Какой он тебе Чик, финтифлюшка!» И еще кое-что добавила. Графин, слава богу, в стенку — и вдребезги. Шум-гам! Я прибегаю и еле успокаиваю его бедную жену. Она в предобморочном состоянии. «Воды!» — кричу секретарше. А она мне кивает на его жену: «Она графин разбила! Нет воды!» Ты представляешь, Чик?

— Да, — сказал Чик, — очень смешно... Это был последний графин?

Тут оба охотника стали хохотать как сумасшедшие, а большой сквозь хохот кивал Чикю головой, дескать, ты прямо в точку попал. Продолжая смеяться, большой охотник присел, прислонившись к стволу яблони и знаками показывая, чтобы Чик сел рядом. Отсмеявшись, он

стал вытаскивать из ягдташа бутерброды, помидоры и огурцы. Присел и маленький охотник, осторожно положив рядом с собой двухстволку и сняв с пояса флягу.

— Когда я увидел, с каким опережением летит его стрела, — сказал большой охотник, протягивая Чикку бутерброд, — я сразу понял — у этого парня есть голова на плечах. Ты видишь, как он тебя раскусил?

Все стали есть бутерброды с колбасой. Чикку всякая колбаса казалась очень вкусной, потому что в доме Чика по мусульманскому обычаю не ели никакой, подозревая всякую колбасу в связях со свиной. Чик ел бутерброд и хрустел огурцами, а помидоры не брал, как бы по рассеянности.

— Ты что не берешь помидоры? — заметил большой охотник.

— Сегодня не хочется, — сказал Чик как можно проще.

Чик все хотел спросить у него насчет безграмотных инженеров. Но пока ему это было как-то неловко. Но потом, когда оба охотника несколько раз приложились к фляге, Чик осмелился.

— Вы говорили, — обратился Чик к большому охотнику, — что вам присылают безграмотных инженеров. Их присылают вредители?

Охотники переглянулись.

— Эх, Чик, — сказал большой охотник, — если бы вредители! Безграмотных балбесов нам присылают некоторые институты.

— И они не умеют ни читать, ни писать? — поразился Чик.

Охотники опять переглянулись, и большой спросил у маленького:

— Как ты думаешь, наш новый начальник участка может читать и писать?

— Не знаю, — задумчиво пожал плечами маленький, — под зарплатой подписывается аккуратно. Может, он ее рисует?

— Пожалуй, рисует, — согласился большой охотник.

И вдруг Чик понял, что они его разыгрывают. Как-то сразу понял — и все! Он понял, что инженеры на самом деле умеют читать и писать. Тогда в чем дело?

— Значит, вредители ни при чем? — спросил он, стараясь не раздражать взрослых назойливостью, но и не дать им увильнуть от правды.

— Запомни, Чик, — сказал большой охотник и взгля-

нул на него печально и серьезно, — невежество и недобросовестность — вот самый страшный вредитель.

— Как так? — поразился Чик. Он понял из его слов, что настоящих вредителей как бы и нет совсем, а есть глупость и лень. Чик и сам прекрасно знал, что есть глупость и лень. Но он считал, что есть и страшные вредители. Чик знал, что страна идет от победы к победе, несмотря на злобные дела вредителей. А если вредителей нет, а есть только глупость, получалось как-то неинтересно, негероично, скучно получалось.

— Да, да, милый Чик, — сказал большой охотник и приобнял его, — невежественный инженер, не справляясь со своей работой, любит поговорить о вредителях. А недобросовестный рабочий ворует цемент, доски, все, что плохо лежит, и тоже любит поговорить о вредителях. Мы же строители, у нас все как на ладони.

— Как так, — снова удивился Чик, — а кто отравляет консервы?

— А ты ел отравленные консервы? — спросил большой охотник.

— Нет, — сказал Чик, — но я слышал, что многие люди отравлялись.

— Я тоже не ел, но слышал, — сказал большой охотник, — и никогда не видел людей, отравленных консервами.

Чик тоже не видел людей, отравленных консервами. Он напряг все свои способности к здравому соображению и сказал:

— Отравленные умерли, поэтому мы их не видим.

— Что-то я не слышал, — улыбнулся Чик большой охотник, — чтобы кто-нибудь из умирающих в своем завещании написал: умираю от консервов.

Слово «завещание» Чик встречал в книгах. Он знал, что это заявление, которое пишет умирающий человек. Когда человек в последний раз перед смертью пишет заявление, оно называется — завещание.

— Выходит, совсем нет вредителей? — спросил Чик, чувствуя, что жить становится довольно скучно. Чик надеялся разоблачить хотя бы одного вредителя — и притом в недалеком будущем. Он даже знал кого — собаколова.

— Ну как тебе сказать, Чик, — проговорил маленький охотник, вставая и подзывая собак, чтобы раздать им остатки бутербродов, — наверное, встречаются отдельно взятые вредители.

— В отдельно взятой стране, — почему-то добавил большой охотник.

— Но мы их не видели, — скучновато закончил маленький охотник.

Чик незаметно, но очень внимательно проследил за ним, чтобы убедиться, честно он собакам раздает еду или обделяет Белочку. Нет, он поровну раздал собакам остатки хлеба и колбасы, и Чику стало стыдно за свои подозрения.

— Дай-ка я попробую выстрелить из твоего лука, — сказал маленький охотник, и Чик с удовольствием вручил ему лук и стрелу. Как хорошо, что он не заметил его подозрительные взгляды, как хорошо!

— Тугая, — уважительно сказала маленький охотник, натянув тетиву.

— С пятнадцати шагов в консервную банку бьет без промаха, — доложил Чик.

Маленький охотник вложил стрелу в тетиву и стал поводить луком, не зная, во что ударить. Но вот он поднял лук и нацелился в самое красное яблоко на вершине яблони. Чик сразу понял, что он целится именно в это яблоко. Стрела просверкнула, впиалась в яблоко, хищно качнулась, словно хотела поглубже в него впитаться и, не отпуская его, вместе с ним полетела на землю. Она даже на земле его не отпустила!

— Вот это выстрел! — сам себя похвалил маленький охотник и, подскочив к стреле, приподнял ее и в шутку откусил яблоко прямо со стрелы, как с вилки.

Но тут большой охотник подскочил к нему и отнял стрелу и лук. Он выбрал глазами яблоко, нацелился и, хотя благодаря своему большому росту был гораздо ближе к нему, чем его товарищ к своему яблоку, промахнулся.

Маленький охотник, доедая свое яблоко, стал хохотать над ним, но большой охотник наконец с третьего выстрела сбил яблоко.

И Чику было так приятно глядеть, как это взрослые дяди отнимают друг у друга лук и веселятся, как дети. И Чик знал, что они любят друг друга, хотя все время подтрунивают друг над другом. Они уже сбили много яблок, и Чик хрустел яблоком, и сами они хрустели яблоками, и Белочка грызла яблоко. И только охотничьи собаки, обиженные и напуганные падающими яблоками, уселись в сторонке, неодобрительно поглядывая на своих хозяев.

Наконец они насытились игрой (яблоками тоже) и большой охотник, возвращая Чикку лук и стрелу, сказал: — Спасибо, Чик. Удовольствие — лучше всякой охоты.

Чик был тронут.

— Чик, твоя собака ест яблоко! — удивился маленький охотник, только что заметив Белку, грызшую яблоко. Поздновато заметил. Белка уже грызла второе яблоко, придерживая его одной лапой. На земле, конечно.

Это были зрелые, вкусные яблоки. Если яблоко было зеленое, Белка от силы съедала одно. А зрелых яблок она могла съесть несколько. Из этого Чик заключил, что у собаки, как и у человека, бывает оскомина.

— Да, — сказал Чик, — она ест все фрукты. Яблоки, груши, инжир, виноград.

— Ну и собака! — удивился маленький охотник и вдруг его масленистые, китайчатые глаза лукаво залучились, — ах, Чик, если б ты знал, какая у меня была охотничья собака! В мире больше нет такой собаки. И однажды на охоте я ее потерял. Зову, зову, ищущу, ищущу — нет, затерялась. И вдруг через три года охочусь в тех же местах и встречаю ее!

— Она одичала, но узнала хозяина! — воскликнул Чик.

— Нет, — печально признался маленький охотник, — все было гораздо хуже. Я увидел, ты представляешь, Чик, скелет моей любимой собаки, делающий стойку на мертвую перепелку! Оказывается, когда я ее потерял, она нашла перепелку и, сделав стойку, три года ждала меня!

— Это... это гениальная собака! — воскликнул Чик, пораженный невероятной красотой верности своему долгу.

— Да, Чик, — повторил маленький охотник, — три года она ждала, когда я подойду с ружьем и возьму перепелку.

Чик так живо и так любовно представил картину невероятной красоты верности своему долгу, что ему захотелось внести в нее точность.

— Нет, — сказал Чик уверенно, — ждала она дней десять, а потом умерла с голоду... Так, бывает, часовой замерзает на часах...

Чик на мгновение подумал, что умершая от голода собака должна была свалиться. Но потом решил, что вполне возможно, что она продолжала стоять на ногах. На четырех, хоть и мертвых, ногах вполне можно усто-

ять. Еще живая, столько дней стоя на одном месте, она нашла самую лучшую точку равновесия. Чик до того был захвачен неимоверной красотой подвига собаки, что ему не приходило в голову подумать: а чего, собственно, ждала перепелка?

— Да, Чик, вот какие бывают собаки, — вздохнул маленький охотник, а потом добавил: — ты со своей стрелой доставил нам столько удовольствия, что я хочу дать тебе поохотиться с ружьем.

У Чика захватило дух. Воздух прямо застрял в груди.

— Ты когда-нибудь стрелял из ружья?

— Только в тире, — выдавил Чик, застрявший в груди воздух.

— В тире это не то, — сказал маленький охотник и подал Чику свою двустволку.

Чик впервые взял в руки охотничье ружье и сразу же почувствовал его нешуточную, смертоносную тяжесть.

— Только вот что, — предупредил его маленький охотник, — все время держи ствол подальше от себя. Целиться ты умеешь. Увидишь дичь, нажимай на спусковой крючок... Новичкам везет. Недаром ты диких уток заметил на болоте. Здесь они редко садятся...

Чик успел рассказать охотникам о том, как он стрелял в водяную курочку и увидел диких уток.

— В этих местах иногда появляется черный лебедь, — продолжал маленький охотник, — он прилетает с моря... Это очень осторожная птица... Но новичкам везет, кто его знает...

— А куда идти? — спросил Чик, балдея от счастья, и уже уверенный в глубине души, что ему повезет.

— Прямо в сторону моря, — сказал маленький охотник, — он иногда тут появляется... Особенно в папоротниках...

Чик пошел вперед. Он с трудом держал тяжелое ружье. Белочка выскочила вперед. Чика это нервировало, но сейчас прогонять ее было бы слишком суетливо. Он боялся, что Белочка, не зная, как себя вести с черными лебедями, испугнет его. Или чего доброго, сам он сторча заденет ее какой-нибудь дробинкой.

Чик шел и шел и все время думал о том, чтобы помнить о местонахождении Белочки во время выстрела в черного лебедя. Не горячиться!

И вдруг он увидел черного лебедя. И главное, в стороне от Белочки. Высунув длинную шею из папоротни-

ков, лебедь стоял в тридцати шагах от Чика и прислушивался к чему-то.

Чик нагнулся и, еле удерживаясь на ногах, — тяжесть ружья так и тянула ткнуться носом в землю, — сделал еще шагов десять и распрямился. Лебедь все еще стоял над папоротниками, вытянув шею и к чему-то прислушиваясь. Чик приложился к ружью, прицелился, взял пониже шеи лебеда, там, где в папоротниках скрывалось его тело. И, одновременно думая о том, что нельзя торопиться, чтобы не промазать, но и нельзя медлить, потому что Белочка может набежать, стал нажимать спусковой крючок. Он нажимал, испуганно удивляясь, что выстрела все нет и нет, а потом вдруг как бабахнуло!

Вместе с выстрелом раздался лай Белки и хохот бегущих к нему охотников. Чик ничего не мог понять. Лай, хохот, бегущие шаги, а лебедь как стоял, так и стоит! И вдруг он вспомнил, что есть еще и второй ствол, и заторопился, чтобы выстрелить до того, как прибежит Белка. И он прицелился еще раз и, уже ничего, кроме пьянящего азарта, не испытывая и уже совершенно не чувствуя тяжести ружья, бабахнул второй раз.

И опять лебедь стоит как замороженный. Прибежала Белка, неистово лая на ружье, прибежали хохочущие охотники, а Чик ничего не мог понять и только повторял:

— Вон лебедь! Два раза! Не улетает!

— Пойдем, посмотрим, — сказал маленький охотник, и они подошли к тому месту, где стоял лебедь.

И вдруг сквозь расступившиеся папоротники, как в бредовом сне, Чик увидел, что нет никакого лебеда, а есть старая перевернутая коряга, торчащая в небо одним корневищем, изогнутый конец которого Чик издалека принял за шею лебеда.

— Не обижайся, Чик, — воскликнул маленький охотник, пригибаясь к коряге и ища на ней следы его выстрелов, — все охотники покупаются на этом. Ты не первый!

— Но ведь корень совсем не похож на шею черного лебеда, — закричал Чик, пораженный такой необъяснимой ошибкой, — он даже не черный, а коричневый!

— Все охотники покупаются на этот розыгрыш, — повторил маленький охотник, показывая Чику на следы его дробинки, — четыре дробинки. Неплохо!

Чик смотрел на корягу, всю изрыбленную дробинками, и никак не мог отрешиться от мысли, что с ним сей-

час случилось какое-то чудо. И хотя в первую минуту он как-то смутился и даже обиделся на обман, теперь, узнав, что многие охотники стали жертвой этой шутки, перестал обижаться. Он и раньше слышал, что охотники подшучивают друг над другом. Но ощущение пережитого чуда не проходило. Как, как он мог ошибиться?!

И когда они пошли назад, Чик оглянулся с того места, откуда он стрелял. Он поразился, что теперь в корневище, торчавшем над папоротниками, он никакого сходства с лебедем, и тем более черным, не видит. Чик подумал, что если бы у него спросили, какую птицу напоминает вот это корневище, он в лучшем случае ответил бы, страуса. И то, если бы спросили, какую птицу, а не зверя!

У яблони Чик подобрал свой лук и стрелы, распрощался с обоими охотниками и пошел дальше.

— Чик, — крикнул ему вслед большой красивый охотник, — по воскресеньям мы всегда здесь. Приходи!

— Хорошо, — сказал Чик и пошел дальше, все еще думая о том, как было здорово стрелять и какое странное он пережил чудо, приняв обыкновенное корневище за шею лебедя.

Чик шел и шел и все время заставлял Белку искать перепелок. Белке надоело искать, и она теперь, слышав голос Чика, небрежно нюхает траву, нюхает кустик и бежит дальше. Еще одна перепелка, опять пропущенная Белкой, выскочила у Чика из-под ног, но он на этот раз так поздно спохватился, что даже не успел ей вслед пустить стрелу.

Травяная труха набилась в сандалии Чика, и он снял их и тщательно вытряхнул, прислушиваясь к отдаленным выстрелам. Теперь он легко отличал выстрелы в перепелок от выстрелов в голубей. В перепелок стреляли один или два раза. А в мечущихся голубей сразу раздавалось множество как бы мечущихся выстрелов.

Теперь нас трое с именем Чик, подумал он. Конечно, у этого дяди имя Чик уменьшительное. Но это не так важно. Важно, чтобы люди почаще слышали его и привыкали к нему. Чик иногда месяцами забывал о своем имени. Живет себе и не думает, как и все. Но иногда кто-нибудь начинал удивляться, и портилось настроение.

Было жарко и дыхание близкого моря становилось все слышней. Тянуло выкупаться. Но Чик решил не купаться в море. Нельзя путать два таких больших дела,

как купание в море и охота. Одно из двух. Пришел на охоту, будь верен охоте до конца.

Вдруг Чик увидел совсем недалеко от себя человека с ястребом. И как раз в это время его собака сделала стойку. Чик, непроизвольно подражая собаке, замер. Собака с хвостом, затвердевшим, как замерзшая веревка, сделала несколько шагов и остановилась. Чик тоже с отвердевшими от волнения ногами сделал несколько шагов и остановился. Охотник приподнял ястреба на ладони и крадущейся походкой пошел за собакой. Остановился. Он постоял возле собаки и вдруг приказал ей по-абхазски:

— Возьми!

Собака рванулась вперед, перепелка вылетела из травы, и Чик подумалось, что охотник слишком медлит со своим ястребом. Но вот он швырнул его, и ястреб, сверкая на солнце рыжими крыльями, с такой мощной скоростью стал догонять перепелку, что казалось, она неподвижно трепещет в воздухе, а он неотвратно налетает. Ястреб ударил перепелку и, сразу отяжелев, опустился в кусты. Охотник побежал за ним и через несколько минут разогнулся над кустами, держа в одной руке ястреба, а в другой живую перепелку, которую он сунул в большой, самодельный ягдташ, висевший у него на поясе. Теперь Чик заметил, что ягдташ шевелится от живых перепелок.

— Что мальчик, интересно? — улыбаясь, спросил у него охотник.

По его одежде Чик понял, что это деревенский человек. Он был одет в серую рубаху, перехваченную тонким кавказским поясом, в брюки галифе и резиновые сапоги. И хотя на вид он был старый, у него было красное, обветренное лицо и голубые, молодые глаза.

— Да, — сказал Чик, не скрывая восхищения.

— Хочешь попробовать? — улыбнулся охотник, и глаза его засияли, радуясь за Чика. Чик понял, что это очень добрый человек.

— Держись рядом, — сказал охотник наставительно, — я тебя научу охотиться с ястребом.

Чик подошел к охотнику. Ястреб, сидевший у него на руке, взбрыкнув колокольцем, сразу же повернулся в сторону Чика, стремительно наклонив голову и глядя на него желтыми, ненавидящими глазами. Чик стало немного не по себе. Он незаметно перешел и стал по левую руку от охотника. И теперь ястреб, еще более

стремительно наклонив голову, уставился ненавидящими глазами на Белочку, словно хотел сказать, а ты что, шавка, тут делаешь?! Белка тоже перешла на другую сторону и засемила рядом с Чиком. Ястреб все еще сердито поглядывал на них.

— Чужого сразу узнает, — сказал охотник, блаженно улыбаясь и несколько раз встряхнув рукой, заставил ястреба смотреть вперед.

— Снежок, — окликнул охотник свою собаку, ища ее глазами. Чик показалось трогательным и смешным, что охотник своей абхазской собаке дал русское имя Снежок.

Узнав, что Чик абхазец, охотник поощрительно кивнул головой и сказал ему по-абхазски:

— Во всем мире ястребиную охоту знают только турки и мы. Другие народы и слыхом не слыхали о ястребиной охоте.

Чик почувствовал, что если бы охотник не узнал, что он абхазец, он бы ему этого не сказал.

— А я читал, что в Средней Азии охотятся с беркутом, — осторожно, чтобы не сердить его, заметил Чик.

— Да, — неожиданно легко согласился охотник, — я тоже слышал. Они у нас научились. Но первыми в мире с ястребами начали охотиться турки. Из чего это видно? Это видно из того, что все названия ястребов турецкие: кызылгуш, лачин и другие. Ястреб — птица с характером. Гордая птица. Ты видел там болото? Ястреб будет умирать от жажды, но из этого болота не выпьет. Только свежую, ключевую воду пьет... Снежок, где ты? Сюда, сюда!

— А что он ест? — спросил Чик.

— Что он ест? — загадочно улыбаясь, переспросил охотник, — только яйца, сваренные вкрутую! Некоторые глупые охотники дают ему перепелку. Он, конечно, ее съест. Почему не съесть? Перепелку каждый слопает. Но такой ястреб во время охоты, зазеваешься, и сам сожрет перепелку. Надо с самого начала приучать его к яйцам, сваренным вкрутую.

— А как ловят ястребов? — спросил Чик.

— О, — кивнул охотник, блаженно заулыбавшись и одновременно ища глазами свою собаку, — ловить ястреба самое интересное в мире занятие. Сначала ловишь на кузнечика сорокопутку. Знаешь сорокопутку?

— Да, — сказал Чик, чтобы не мешать плавности рассказа.

— А теперь ты спросишь, почему ястреба ловят на

сорокопутку, а не на воробья или, скажем, дрозда? А потому ловят на сорокопутку, что ни одна птица в мире так хорошо не играет, как сорокопутка. Делаешь шалашик на высоком месте, чтобы издали видно было. Укрываешь его листьями, травой, чтобы ястреб сверху не понял, что рядом человек. Натягиваешь возле шалаша сетку, а под сеткой сорокопутка на шпагате. И вот ты видишь — далеко в небе ястреб кружится. Ты — дерг за шнур, и сорокопутка заиграла под сеткой. И ястреб ее замечает. Не может не заметить. Бьет с километровой высоты, аж испугаться можно, если не привыкши. Так и свистит крыльями — шша! и с размаху в сетку! Сетку он не видит, до того его раздражила играющая сорокопутка. Ты мигом его накрываешь сеткой, и он твой. Сперва покусается, а потом смирится. Привязываешь к его ноге крепкий шпагат, вбиваешь планку в дерево возле своего дома и держишь его там. Первые два-три дня он все время так делает...

Чик посмотрел на лицо охотника и вдруг увидел, что тот сделался похожим на ястреба. Охотник с горделивой осторожностью повернул голову направо. Потом с такой же горделивой осторожностью повернул голову налево. Потом опять направо и опять налево.

— Смотрит, чтобы никто к нему не подошел, — продолжал охотник, — но через два-три дня привыкает к хозяину. Ты ему даешь крутое яйцо, и он его ест. Если не сразу, то на второй или на третий день съест. А потом приучаешь к охоте. Живую перепелку привязываешь к шпагату, подбрасываешь и следом пускаешь ястреба на шпагате. Он ее хватит и хочет съесть. Но ты отнимаешь у него перепелку: знай свой паек! Крутое яйцо!

Некоторые слишком гордые ястреба сперва отказываются охотиться. Тогда ты его перестаешь кормить. До шести дней можно не кормить ястреба. Не умрет! Рано или поздно голодный ястреб погонится за перепелкой. Он ее ловит, ты у него отнимаешь перепелку и сразу же даешь крутое яйцо, вот твой паек! Заслужил! За десять дней я любого ястреба могу приучить к охоте!

— А для чего колокольчик на ноге? — спросил Чик.

— Ага, колокольчик, — с удовольствием повторил охотник и опять блаженно улыбнулся, — я же сказал — ястреб — гордая птица. Бывает, ястреб летит на пере-

пелку, но промахивается. И от стыда он улетает и прячется в кустах или на дереве. В листьях его не видно, но только шевельнулся, и ты слышишь колокольчик. И находишь его. Иногда он сам слетает к тебе на руку, потому что поостыл. Иногда приходится лезть на дерево и доставать его.

Теперь, скажем, он ударил перепелку и сел в такие кусты, что его не видно. Сливаётся с травой и листьями. Опять же колокольчик вырывает. Дзинь-дзинь! — и ты его находишь. Вот для чего колокольчик. Где мой Снежок? Это бродяга, а не собака! Снежок! Снежок! Сколько ястребов, столько характеров!

— А когда кончается сезон перепелок, — спросил Чик, — вы их отпускаете?

— Да, — вздохнул охотник, — отпускаем. Но иногда ястреб так привыкает к человеку, что никуда не улетает. Или прилетит и сядет на руку, давай яйца вкрутую! Привыкает к человеку. Я несколько раз оставлял у себя зимовать таких ястребов. Жалко, не хочет улетать.

— И потом на следующий год опять охотились с ним.

— Нет, — сказал охотник и снова улыбнулся, — на следующий год он уже для охоты не годится. На следующий год он уже капет.

— Как? Как? — не понял Чик.

— Капет, — повторил охотник, — так говорится на нашем охотничьем языке. Ястреб, который перезимовал в человеческом доме, он уже окапетился. Для охоты не годится. Сам себе для корма кое-что добывает, но для охоты не годится. Капет. Вот так же, бывает, деревенский человек два-три года проработает в городской конторе, а потом вернется в деревню, но он уже для сельской работы капет. Ноги окапетились, руки окапетились, и душа окапетилась. Так и ястреб, который зимовал в человеческом доме, он уже на следующий год капет. До срока одряхлел: капет. Ястребиная охота такая: охотник может быть старый, но ястреб всегда должен быть молодой... Куда делся мой Снежок? Снежок, Снежок, Снежок!

Снежок не показывался.

— Перепелку учуял, — кивнул охотник и плавно побежал в ту сторону, где, как он догадывался, была его собака. Во время бега руку с ястребом он держал на весу, а ястреб, стараясь не потерять равновесия, взмахивал крыльями и перебирал ногами, как цирковой канатоходец. Глядя на ястреба, Чик бежал за охотником.

И вдруг показался Снежок. Он стоял от них шагах в двадцати, вытянув все свое тело и хвост.

— Я тебе сейчас дам ястреба, а ты иди на собаку, — тихо сказал охотник и снял с руки ястреба. Только Чик потянулся за ним, как охотник обиженно отстранился:

— Кто же ястреба берет как мочалку? Снизу надо! Вот так!

Чик заломил ладонь, и охотник вложил в нее ястреба. Чик приятно почувствовал его мускулистую легкость и сухой жар ястребиного тела. Чик сразу же показалось, что у ястреба температура тела выше, чем у человека. Чик много болел малярией и считал себя большим знатоком по части определения температуры тела без градусника. Сам того не желая, он невольно определил, что у ястреба температура примерно тридцать девять градусов.

— Слишком не зажимай, задушишь, — сказал охотник, — и главное — кидай вперед. Некоторые глупцы горяча разбивают ястреба о землю. Кидай вперед!

Чик до этого уже бросил свой лук и сейчас держал ястреба в заломленной ладони над плечом. Ястреб шевелил царапающими когтями, но Чик терпел и медленно приближался к собаке.

Чик близко подошел к собаке и смотрел вперед, стараясь выглянуть в траве перепелку, но ее не было видно. Только Чик хотел дать ей команду — и покрылся холодным потом. В последний миг он догадался, что собирается по-русски дать команду собаке, а она скорее всего, не знает русских слов, и получится какая-нибудь глупость.

— Возьми! — крикнул Чик по-абхазски, и собака рванулась вперед. Перепелка взлетела, и Чик швырнул ей вслед ястреба. Сверкая на солнце мощными рыжими крыльями, ястреб помчался по воздуху, с невероятной быстротой догоняя перепелку. И опять Чик показалось, что перепелка неподвижно трепещет в воздухе, а ястреб налетает. Он сбил ее с лету и, отяжелев от добычи, опустился в кусты.

— Беги отнимай! — крикнул охотник.

Чик побежал сломя голову, и стрелы, торчавшие за поясом, стали больно царапать живот, но он, не сбавляя скорости, вырвал их из-за пояса, отбросил, подбежал к кустам и шлепнулся на траву. Он всматривался в самые запутанные хитросплетеня ежевичных плетей, ореховых и кизиловых веток и ничего не видел. Вдруг совсем ря-

дом взбрыкнул колоколец, и Чик у открылась такая картина.

Ястреб сидел на перепелке, жадно растопырив крылья, и с какой-то тупой яростью долбил перепелку по голове своим крючковатым клювом. И головка перепелки так обреченно отскакивала от неумолимого клюва и перепелка была такой беспомощной, что Чик содрогнулся от ужаса и возмущения. В следующий миг он рванулся в кусты, дотянулся до ястреба и выволок его вместе с перепелкой.

— Молодец, — сказал подоспевший охотник, — это твоя первая перепелка.

Он взял у него ястреба, уже из руки хозяина рвущегося к перепелке и бешено глядящего на нее.

— Возьми ее себе, — сказал охотник, видя, что Чик ему протягивает перепелку.

— Нет, нет, — решительно сказал Чик, отдавая ему испуганную птицу, — я просто так, я хотел только посмотреть.

Чик был потрясен, но он знал, что это надо скрывать, это стыдно показывать, и старался скрыть свое потрясение. Он никак не мог соединить свое восторженное восхищение могучим ястребом, неотвратимо налетающим и бьющим перепелку, и тем же ястребом, грузно сидящим на маленькой перепелке и, сверкая беспощадным, желтым глазом, продалбливающим ее бессильную головку.

Чик еще не понимал, что и то и другое зрелище в своем соединении и есть истинная жизнь, но он чувствовал, что ему раскрылась какая-то горестная правда, и как бы предугадывал, что в будущем от этой правды будет много печали.

— Выучись охотиться с ястребом, — улыбаясь, сказал охотник, засовывая перепелку в ягдташ, — никакой другой охоты не захочешь. Когда хорошая высыпка, бывает так намахаешься, что плечо болит.

— Да, да, конечно, — отвечал Чик, изо всех сил сдерживаясь и в то же время с надеждой и завистью глядя на улыбающегося охотника и думая, что раз он, старый, добрый охотник все это видел и улыбается, значит, со временем и он, Чик, привыкнет и не будет придавать этому значения.

Чик собрал все свои стрелы, поднял лук, и они с охотником пошли дальше. И Чик постепенно успокоился.

— А как тебя зовут, мальчик? — спросил охотник.

— Чик, — сказал Чик, вздохнув.

— Хоть бы и Чик, — ответил охотник, не глядя. И Чик так понравилось, что охотник не споткнулся о его имя, а тут же нашел ему свое местечко.

— Так вот, Чик, слушай, что я тебе расскажу, — продолжал он, — человек — это такой зверь, что любого зверя переверит. Я вот ястребов приручаю. Это что! У нас в деревне был один крестьянин. Звали его Миха. Так он ворона приручил. Я тебе сейчас расскажу не то, что выдуманно людьми, а то, что было на самом деле. Так вот, у этого Михи всегда на плече сидел ворон. Скажем, мотыжим кукурузу или табак, а он у него на плече сидит. Иногда взлетит, полетает и снова на плечо. Или Миха идет на мельницу. Впереди ослик, а сзади он с вороном на плече. Или на лошади куда едет. Он верхом на лошади, а ворон верхом на нем. Надоест сидеть, полетает, полетает и снова садится на него. Иногда он у него на голове сидел. Куда захочет, туда и сядет.

Они любили друг друга. Жить друг без друга не могли. Если Миха уезжал в город на машине арбузы или орехи продавать, он ворона с собой не брал. Кто же арбузы продает с вороном на плече? Нескладно. Да и милиция не разрешит. Он его оставлял дома, и ворон скучал. Если Миха два-три дня не приезжает, ворон два-три дня ничего не ест. А жена Михи не любила ворона, стыдилась перед людьми. Вечно проклинала мужа: «Чтоб я тебя с этим вороном в один гроб положила!»

А он смеется и поглаживает своего ворона. А жена еще больше злится. И вдруг его ворон стал подолгу исчезать. Улетит и не прилетает. Иногда полдня его нет, а иногда и на всю ночь улетает. А бедный Миха беспокоится, ничего не может понять. И тогда он решил выследить его.

Однажды ворон улетел, а он потихоньку за ним. И выследил. Смотрит, на опушке леса его ворон сидит на ольхе рядом с воронихой. Оказывается, его ворон нашел себе подружку, и они теперь как муж и жена. Вот куда отлучался его ворон!

Миха подошел к ольхе и стал звать его. Ворон забеспокоился: «Кар! Кар!» — и слетел к нему на плечо. А ворониха с дерева: «Кар! Кар!» — и он снова слетел с плеча и сел на ветку рядом с воронихой. Хозяин опять его звать. Бедный ворон с ума сходит. То к нему на плечо, то к воронихе. И все-таки в последний раз сел к нему на плечо, и они ушли. И Миха был рад, что

победил. Он нам об этом случае много раз рассказывал.

Но потом ворон опять стал улетать к своей воронихе. То полдня его нет, а то и на всю ночь пропадает. И бедный Миха заскучал. Бывало, к вечеру выйдет на пригорок и стоит, ждет. Люди к вечеру ожидают свой скот, а он своего ворона.

Добрые люди, видя такое, посмеивались. А дурные, есть же и дурные люди, злились. Они говорили, что это позор для нашего села. По нашим законам мужчина может держать на плече ружье, ястреба, орла. Или, скажем, мешок с кукурузой. Но никак не ворона. Но и против ворона в законе тоже ничего не сказано. Вот они и злятся, не знают, как быть.

А бедному Михе надоело, что его любимый ворон так часто от него улетает, а иногда и на всю ночь. И он снова выследил его и увидел, что тот опять сидит на дереве рядом с своей воронихой. Но теперь уже в другом месте. Миха был с ружьем. Подкрался, выстрелил и убил ворониху. А бедный ворон места себе не находит. Летает над своей воронихой: «Кар! Кар! Кар!» Час летает, два летает. То сядет рядом с ней, то опять взлетит и плачет на дереве: «Кар! Кар! Кар!»

Не по себе стало Михе. Взял он мертвую птицу за крыло, отнес в самые густые чащобы и забросил туда: «Лисица подберет!» А ворон за ним: «Кар! Кар!» — но уже к нему на плечо не садится.

Опечалился Миха и пошел домой. Проходит день, два, три. Ворон не прилетает. Месяц прошел — не прилетает. Жена от радости сама летает лучше вороны. И вдруг на второй месяц ворон прилетел и сел к нему на плечо. Миха не нарадуется, а жена снова за свое: «Чтоб я вас обоих в один гроб положила!»

И они снова зажили, как раньше. И годы прошли, и мы все забыли о той воронихе, а некоторые даже и не знали. И вот однажды мы работаем на табачной плантации. Мотыжим табак. Ворон, как всегда, сидит у него на плече. И вдруг гром, молния, гроза. Недалеко был табачный сарай, и мы все туда. А ворон Михи слетел у него с плеча и сел на большой бук, что рос возле плантации. Вижу, Миха повернул к буку.

— Ты что, — кричу ему сквозь грозу, — побежали в сарай!

— Нет, — отвечает он, — я под буком пережду! Он поближе!

— Опасно, — кричу ему, — слишком большое дерево. Молния может ударить!

— Ворон, — кричит он, — никогда не сядет на дерево, в которое молния ударит!

Мы и побежали в сарай, а он под дерево. Гроза! Земля слилась с небом, гром, молния! И один раз гром ударил так близко, что мы думали — сарай обрушится. Аж запахло. Так только молния пахнет.

— Никак молния ударила по буку! — сказал кто-то.

— Нет, — смеется другой, — у Михи ворон ученый. Он любую молнию ответит!

И вот проходит полчаса, и как это летом бывает — ливень смолк, тучи разошлись, брызнуло солнце. Мы — в поле. А где Миха? Нет Михи. Смотрим на бук — стоит, как стоял. А Михи нет. Куда делся? Подходим к буку и видим — Миха с той стороны сидит на земле, привалившись спиной к стволу. Вот так сидит...

Охотник слегка откинулся, прикрыл глаза, и лицо его стало важным и неподвижным.

— Мертвый? — ужаснулся Чик.

— Мертвее и не бывает, — кивнул охотник и продолжил: — ну, тут, конечно, шум, крик. Смотрим на бук и видим: по всему стволу идет черная трещина. Значит, молния ударила, но он не загорелся, слишком сильный ливень был. А беднягу Миху убило. Кричим в деревню, сбежались люди, и вдруг один из них находит в траве мертвого ворона.

Подивились сельчане, а некоторые вспомнили, как Миху жена проклинала: «Чтоб я вас обоих в один гроб положила!»

Так и получилось, хоть в один гроб клади. Покойника тут же взяли домой, а родственники его зароптали, жена накликала, ведьма. Но потом мудрые старики успокоили их и сказали, что наши женщины, что поделаешь, издавна так ругаются. Нет такого абхазского мужчины, чтобы жена ему не сказала: «Чтоб я тебя с твоей лошадьёю в один гроб положила!» А тут просто случайно совпало.

— И их вместе похоронили? — не выдержал Чик.

— Нет, — улыбнулся охотник, — кто же ворона положит в гроб с человеком? Насмешка получится. Но главное не это. Ты понял, Чик, почему ворон полетел на этот бук?

Чик словно хлопнулся в муравейник: мурашки так и побежали у него по спине!

— Не может быть! — воскликнул он, ужасаясь такой мести и как бы в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему это точно доказали.

— Да, Чик, — сказал охотник, загадочно улыбаясь, — ворон ему отомстил за воронику. Шесть лет он вынашивал эту месть! Шесть лет!

— Случайное совпадение! — воскликнул Чик, в глубине души желая, чтобы так оно и было, но чтобы ему это неопровержимо доказали.

— Ты когда-нибудь слышал, — спросил старый охотник и хитро взглянул на Чика, — что молния убила человека?

— Конечно, — сказал Чик.

— А я, как видишь, не только слышал, но и видел. А теперь ты мне скажи, ты когда-нибудь слышал, что молния убила козу, собаку или буйвола?

— Нет, — ответил Чик, порывшись в памяти, — а что?

— А то, что животные чувствуют, где ударит молния, — уверенно сказал охотник, — скажем, в горах гроза. Козы в загоне. На самом возвышенном месте, как всегда, старый козел. Вожак. Если молния должна ударить в то место, где он сидит, знаешь, что он делает?

Когда Чик жил в горах в доме дедушки, он часто видел таких козлов. Они всегда шли впереди стада. Важный вид, огромные рога и длинная пожелтевшая борода. И сейчас Чик ясно увидел такого старого козла. Кругом гроза, а он сидит на возвышенном месте, мокрой бородой тыкаясь в траву. И у Чика в голове вдруг мелькнула гениальная догадка.

— Он мокрой бородой заземляется, — воскликнул Чик, — и рога служат громоотводом!

— Нет, — сказал старый охотник, улыбкой оценивая затейливость Чика, — если в то место, где сидит старый козел, через минуту должна ударить молния, он...

Тут охотник придал своему лицу глуповато-величественное выражение и стал похож на старого козла. Он застыл на несколько секунд, изображая на своем лице правильную догадку тупой головы.

— ...он тихонько встанет с места и переседет вон туда, — показал рукой старый охотник на то место, куда пересел козел, — а молния ударит в то место, где он сидел.

— А-а-а, — вспомнил Чик, — это как землетрясе-

ние. Наукой доказано, что животные чувствуют землетрясения.

— И без твоей науки, — сказал старый охотник, — народ это всегда знал. И не только землетрясение. Животные все чувствуют. Вот что было со мной в моем доме. Это было лет восемнадцать-двадцать назад. К вечеру завыла собака и вся скотина забеспокоилась. Мы приуныли. Что-то нехорошее должно случиться. Соседи перекликаются. У них то же самое. Старики советуют не ложиться, дежурить всю ночь. Мы ждали, ждали, но ничего не случилось, и, немного успокоившись, легли. И вдруг я просыпаюсь, сам не знаю от чего. Вроде что-то скрежетнуло. Открываю глаза, не дай бог, тебе, Чик, увидеть такое!

— Что случилось? — спросил Чик.

— Открываю в постели глаза, — сказал охотник и слегка запрокинулся, показывая, как человек просыпается среди ночи, — звезды над головой! Оказывается, нет ничего страшнее, как в собственном доме открыть глаза и увидеть звезды над головой. Женщины в крик! Все повскакали с постелей и во двор. Дурной ветер прошел над нашим селом, вот что случилось. Налетел — и нет его! У нас крышу как бритвой срезало! У других и скот погиб, и много всякого убитка имели люди от этого ветра. Никого не убило, но кое-кого поранило.

И вот скотина за пять-шесть часов это почувствовала. И то же птицы. Ты можешь сказать, что ворон случайно полетел на этот бук. А я тебе скажу — за двенадцать лет, пока он жил у бедного Михи, сколько раз дождь заставлял нас на табачной плантации. Один аллах знает! И мы всегда уходили в табачный сарай — и ворон с нами. Иногда он даже раньше нас туда влетал. Видит — дождь. Мы побросали мотыги — значит туда. Мы — в табачный сарай, а он уже там сидит на сушильной раме и смотрит, смотрит. Отчего же он только в этот раз полетел на бук?! Потому что уже почуял, что молния тянется к буку, и он понял, что пришел его час. Сам погиб, но отомстил за ворониху.

— А если б молния промахнулась? — спросил Чик.

— Молния бьет без промаха, — сказал старый охотник, — ястреб еще может промахнуться, а молния никогда. Если уж чего наметит, бьет без промаха.

— А если б Миха все же побежал с вами, что тогда? — спросил Чик.

Охотник удивленно взглянул на Чика.

— Нет, не мог он побежать с нами, — сказал охотник задумчиво, — потому как его срок пришел. Не мог он побежать с нами.

— А если б все-таки побежал? — допытывался Чик.

— Ну если б он с нами побежал, — сказал старый охотник, — ворон прилетел бы к нам и ждал другого случая. Ворон ждать умеет. Знаешь, сколько он живет?

— Триста лет, — подсказал ему Чик.

— Вот такие чудеса бывают в жизни, — сказал охотник, блаженно улыбаясь и взглянув на своего ястреба, добавил: — а мой ястреб сейчас слушает и злится: чего ты не охотишься, чего ты разболтался, старый?! Да и тебя, бедняга Чик, я словами заморил, ты уж прости старика!

— Что вы, что вы! — поспешно ответил ему Чик, умиляясь покаянию старого охотника, — я никогда ничего такого интересного не слышал!

Чик взглянул на ястреба, и тот полыхнул на него глазами с такой ненавистью, что Чик у стало немного не по себе. Может, еще отомстит?

— Ну, я пойду, Чик. Вон уже где солнце, — сказал старый охотник, — мне еще кукурузу ломать надо. Заходи! Видишь наше село? Спроси Бадру, все тебе скажут, где я. Много чего видел на охоте... Снежок! Снежок! Куда ты провалился?

Чик распрощался со старым охотником, снова вытрянул из сандалий травяную труху и пошел назад. Очень уж он далеко зашел. Солнце стояло все еще высоко, а Чик у казалось, что прошло страшно много времени. Он и в самом деле не успеет домой к обеду.

Он шел назад, уже не останавливаясь и не заставляя Белку искать. Он насытился охотой и все время думал о вороне и его мести. Конечно, жалко этого беднягу, но все-таки он был большой эгоист. Зачем он убил ворониху? Ворон иногда улетал бы к своей воронихе, иногда прилетал бы к хозяину. Так бы они и жили. Почему он хотел, чтобы ворон любил только его? Если бы Миха ради любви к ворону ушел бы от своей крикливой жены и жил отдельно, тогда другое дело. Тогда все было бы честно.

Теперь выстрелы раздавались гораздо реже, и Чик видел, что многие охотники бредут в сторону города. Вдруг он услышал слева от себя сразу много беспорядочных выстрелов. Он взглянул в ту сторону и увидел далеко в небе мечущихся голубей.

Один из них отделился от стаи и полетел в сторону моря. Чик решил во что бы то ни стало держать его взглядом, пока он совсем не исчезнет в далеком, струящемся мареве. Голубь летел в сторону моря, то сливаясь с воздухом, то выблискивая из него, и Чик напрягал зрение, чтобы как можно дольше не упускать его, а он все летел и летел в сторону моря. И вдруг он повернул, исчез, появился гораздо ближе. И все ближе, и ближе, и ближе и внезапно, примерно в двадцати метрах от Чика, опустился и сел на ветку дикой хурмы.

Силуэт голубя был такой отчетливый, что Чик решил попробовать выстрелить в него, хотя он сидел все-таки далековато. Чик снял лук с плеча, вставил в него стрелу, совсем не волнуясь, прицелился и пустил стрелу повыше голубя, чтобы она долетела. Описав в воздухе плавную дугу, у самой хурмы стрела пошла вниз и ударила голубя. Чик за несколько мгновений до удара почувствовал, что стрела летит удивительно точно, и, когда она стала снижаться, сам слегка присел, как бы помогая ей правильно снизиться. Стрела слилась с голубем, и он на глазах у Чика упал в кусты под хурмой.

Чик побежал, и Белка, чувствуя удачу, с радостным лаем помчалась за ним. Чик подбежал к хурме, шлепнулся на живот и заглянул в кусты. Голубь трепыхался, попав в рогульку между ветвями лещины. Зажмурив глаза, чтобы не наткнуться на колючку, Чик вполз в кусты. Только он хотел схватить голубя, как тот вывалился из рогульки и, упав на землю, сделал несколько шагов в сторону от Чика и остановился озираясь. Это был голубь пепельного цвета, и Чик увидел на его клюве капельку крови.

Видно, стрела попала ему в голову и слегка оглушила его. Чик осторожно дотянулся до него, но в последний миг голубь ловко увернулся, отошел и снова остановился. Видно, он плохо понимал, что происходит. Снаружи Белка радостно лаяла, но в кусты, между прочим, не лезла. Хорошо тебе лаять снаружи, думал Чик, принаравливаясь проползти между колючими ветками ежевики. На этот раз Чик сумел схватить голубя и, стараясь не раздавить его в ладони, выполз из кустов.

Увидев голубя, Белка стала бесноваться от радости и в прыжке пыталась схватить его за хвост. Чик прикрикнул на Белку и внимательно осмотрел клюв голубя. Капля крови все еще держалась на нем. Чик осторожно оттер ее пальцем. Он подождал, не появится ли на клюве

новая капля, но она, слава богу, не появилась. Это был красивый, светло-пепельный голубь.

Чик был радостно возбужден. Он надел на плечо лук и вспомнил о стреле, ударившей голубя. Под кустами ее не было. Видно, она застряла в зеленой шапке кустов. Чик ухватился за ветку лещины и стал изо всех сил трясти ее, но стрела так и не упала.

Ладно, примирился Чик с потерей стрелы, на охоте всякое бывает. Ему было особенно жалко эту стрелу, потому что именно она вонзилась в землю совсем рядом с водяной курочкой, а теперь ударила в голубя. Конечно, ребятам можно было показать на другую стрелу и сказать, что она поразила голубя. Но ведь самому себе не скажешь. Ладно, подумал Чик, другие на охоте даже собаку теряют.

Не замечая ни жары, ни усталости, Чик радостно шел через поле.

— Неужели вот этой стрелой сбил? — спросил первый охотник, встреченный Чиком.

— Да, — сказал Чик, — с двадцати шагов взял.

— Молодец, парень, — похвалил его охотник, — на жаруху себе заработал.

Чик и в голову не приходило, что можно этого голубя зажарить. Он уже решил приручить его, как тот Миха своего ворона. Но Чик не будет эгоистом. Если голубь со временем найдет себе подружку — пускай! Чик не станет ее убивать. Дело не в мести. Голубь, конечно, не ворон. Пусть живут, пусть наживают деток, пусть его голубь иногда улетает, а иногда прилетает. Чик был уверен, что в один прекрасный день голубь навсегда прилетит к нему во двор со своей подружкой и голубятами.

Встречные охотники удивлялись, как это Чик стрелой взял голубя, но никто не удивлялся, что он попал в него с двадцати шагов. Так что Чик, пока пересекал поле, довел количество шагов до тридцати. Его просто вынудили. Люди такие непонятливые. Иногда приходится кое-что преувеличивать, чтобы они удивились так, как сами должны были удивиться непреувеличенному. А раз сами не удивились, сами виноваты — глотайте преувеличение!

...К сожалению, Чик не удалось приручить дикого голубя. Два дня он жил во дворе под ящиком. И два дня он ничего не ел. Воду пил, если насильно окунуть головку в блюдечко с водой. А есть не хотел. Чик теперь знал, что ястреба могут жить без еды до шести дней, но сколько может жить дикий голубь, он не знал.

Поэтому к концу второго дня он его выпустил. Чик посадил его на ладонь, и голубь с минуту скучно сидел у него на ладони. А потом почувствовал свободу. Чик это понял за несколько секунд до того, как голубь взлетел.

Он как-то подобрался и уперся коготками в ладонь Чика. А до этого не упирался. А тут уперся коготками в ладонь Чика, уперся, поерзал, уперся, поерзал, как будто проверял Чика, отпустит он его или нет. Поверил и взлетел! Он быстро исчез из глаз, потому что в городе много домов и они закрывают небо. Голубь улетел, а Чик еще не знал, что ему в награду остается длинный, ска- зочный охотничий день.

ДОРОГИ

Я сидел с дядей Сандро в обществе нескольких му- хусчан в кабинете летнего ресторана «Нарты». По ны-нешним временам мы неплохо пообедали и ждали кофе по-турецки, чтобы довершить обед.

Компания собралась неожиданная, люди разные, а именно в таком обществе и услышишь что-нибудь за- бавное.

— Что вы, писатели, — слегка ерничая, обратился ко мне один из наших застольцев, — фантазируете вся-кие там выдуманные истории! Надо описывать жизнен-ные случаи, то, что было на самом деле. Этому вас учат, учат да никак не научат. Вот я вам сейчас расскажу то, что было лично со мной.

Когда из Грузии перестали пропускать частные ман- дарины в Россию, чего только не придумывали люди, что-бы их провезти. Говорят, в Кенгурске нашлись дельцы, которые наняли подводную лодку, и она сделала несколь-ко рейсов из Кенгурска до Туапсе.

Конечно, это не современная подводная лодка, со-временную, кто им даст, но дряхлую, довоенную им уда-лось зафрахтовать. Но они недолго продержались. Как говорят, жадность фрайера сгубила.

В один из рейсов кенгурийские дельцы перегрузили подводную лодку, и она села на мель. Бедный капитан, говорят, предупреждал.

— Ребята, — упрашивал он, — не надо перегру-жать лодку, она у меня старенькая.

Но они его не послушались, потому что капитан в

долю вошел и через это потерял контроль над загрузкой. И вот лодка села на мель, вынуждена была выбросить сигнал бедствия, и через это все они вынырнули в Сибири. Говорят, был закрытый суд ввиду капиталистического полуокружения. Но сам я там не был, от людей слышал. Возможно, преувеличивают. У нас вечно все преувеличивают. Так что на подводной лодке не знаю, как было, но на катерах точно провозили мандарины, об этом даже в газетах писали. Может, какой-то перегруженный катер затонул, а люди решили, что это была подводная лодка.

Но это слухи. Теперь я расскажу то, что видел своими глазами, то, что было лично со мной. А ты можешь об этом написать, только фамилий не указывай, тем более что я их все равно не назову.

Наше АТК командировало меня на Пицунду, где я грузил гравий и отвозил его на границу между Абхазией и Краснодарским краем. Там укрепляли опоры железнодорожного моста и нужен был гравий. Вот я и отвозил его туда из Пицунды. Я переезжал через пограничную речку Псоу, заворачивал к железнодорожному мосту, опрокидывал там кузов и возвращался на Пицунду.

Работаю уже дней десять. Все идет нормально. И вот однажды ко мне подходит один местный грузин и говорит:

— Слушай, кацо, перевези мне через границу мандарины — получишь тысячу.

— А если поймают! — говорю.

— Да кто тебя будет проверять, — отвечает этот тип, — гравий пока еще никто не проверяет.

— А если поймают? — говорю.

— Слушай, — отвечает он, — если б совсем никакого риска не было, я бы тебе тысячу рублей не давал. Я за риск плачу.

И вот я крепко задумался. С одной стороны — я неплохо зарабатываю. В месяц триста имею чистыми. С другой стороны — за полтора часа тысяча рублей. На улице не валяются. С одной стороны — поймают, с работы снимут. С другой стороны — за полтора часа тысячу рублей. Мне три с лишним месяца надо вкалывать, чтобы заработать такие деньги. Я, конечно, калымил. Попутно: кому дровишки, кому стройматериалы. Но мандарины — нет. Мандарины теперь валюта. И вот я до того задумался, что даже вспотел. А этот тип ждет.

— Ну как? — говорит.

— Я еще подумаю, — говорю, — приходи завтра.

— Ладно, — говорит, — в это же время приду.

И вот я работаю и целый день думаю, как перехитрить милицейский пост. Как раз между Пицундой и рекой Псоу, где граница Абхазии, был пост. И там один старший лейтенант всем заправлял. Русак. Но местный парень, здесь родился, здесь вырос. Такой аферист, как рентген всех насквозь видит. Что в машине, что под машиной и у какого водителя какие связи. И, между прочим, язык подвешен — как бритва. Его хохмы и в Гаграх и Гудаутском районе все повторяют. Одному гагринскому парню, который в ресторанах среди своих дерзкие речи говорил, а среди чужих был большой мандражист, он дал кличку Кролик-людоед. До сих пор так его называют.

Вот такой автоинспектор там работал. Но при этом хлебосольный парень.

Когда я уезжал в командировку, наши ребята предупредили меня, чтобы я обязательно посмотрел, как он патронит машину какого-нибудь спекуля. Он из этого такой театр устраивает, говорили они, что Аркадия Райкина не захочешь после него смотреть.

И я несколько раз останавливался возле его поста, вроде напиться воды, там колонка была. Но как-то не совпадало. А потом наконец совпало. Я напился, стою и курю, а он совсем рядом.

И вот проезжают «Жигули». Он поднимает руку и останавливает машину. На переднем сиденье муж и жена, а на заднем, как потом выяснилось, теща. Все трое армяне.

...Интересно, между прочим, когда у нас на Кавказе о каком-то человеке что-то рассказывают, обязательно называют национальность. Один армянин, говорят, один грузин, один абхаз, один мингрел. Я сам такой. Конечно, все люди делают одно и то же, но каждый делает немножко по-своему, согласно своей национальности. И потому мы называем нацию, чтобы картина была ясней.

И вот, значит, этот хохмач-автоинспектор останавливает машину и подходит к ней. Я в пяти шагах и все слышу.

— Это кто у тебя сзади сидит? — спрашивает он у водителя.

— Это теща, — отвечает водитель, — хочу город Сочи показать теще.

— Она что у тебя, американка? — спрашивает хохмач.

— Зачем американка, — удивляется водитель, — моя теща армянка.

Ну, думаю, начинается театр и подхожу ближе.

— Нет, — говорит хохмач, снова посмотрев на тещу, — она чистокровная американка.

— Слушай, — немного нервничает водитель, — вы что думаете, мы репатрианты? Мы местные гульрипшские армяне, и теща у меня местная армянка.

— Тогда почему она так высоко колени задирает? — говорит этот хохмач, — это даже неприлично, чтобы армянская старуха так высоко колени задирала.

Я заглядываю в машину. В самом деле старуха сидит странно. Колени почти у подбородка. Неужели, думаю, такая длинная старуха. Тем более армянка. Армянки такими длинными не бывают.

— Слушай, — уже сердится водитель, — моя машина, моя теща, как хотим, так и сидим. Если нарушения не сделали — отпусти.

А хохмач его даже не слушает. Все на старушку смотрит.

— Бабушка, — говорит он ей и показывает руками, — колени ниже, ниже.

Старуха молчит, не смотрит, колени не убирает, но голову приподняла, чтобы голова была подальше от колен.

— Бабушка, — умоляет ее хохмач, — ниже колени опустите! Вы же армянка, а не американка!

Старуха молчит. На него даже не смотрит.

— Она что у тебя, глухая? — спрашивает хохмач у водителя. Уже издевается, но тот еще не понимает, вернее, понимает в свою пользу.

— Да, — говорит, — она глухонемая и по-русски тоже не знает.

— Глухонемая теща, — говорит хохмач, — это подарок судьбы. Но я так прикидываю на глазок, что она вообще не теща.

— Что вы издеваетесь? — наконец психанул водитель, — то моя теща американка. То она совсем не теща! Тогда кто она?

— Кащей бессмертный, — говорит хохмач, — который сидит на золоте, и мы это сейчас проверим.

С этими словами он поворачивается и заходит к себе в будку. Водитель размяк. Про Кащея он, конечно, не по-

нял, но про золото понял. Тут и я допетрил, в чем дело, а до этого не мог понять, зачем он разыграл эту комедию. Так и есть, хохмач выходит из будки с ломиком.

Подходит и показывает рукой, чтобы все очистили машину. Водитель и его жена выходят, а теща продолжает сидеть на заднем сиденье. Делает вид, что не слышит и колени у нее торчат возле самого подбородка. Но я уже понимаю, что она дефективная американка.

Хохмач несколько раз ей кричит, но она даже не смотрит на него. Тогда он сам открыл дверцу и только потянул ее за руку, как она не выдержала и закричала. Ругается, но уже сама выходит из машины.

— Оказывается, я второй Христос, — говорит хохмач, — только дотронулся до глухонемой, как она заговорила.

С этими словами он поддевает ломиком фальшивое дно этой машины и выворачивает его. А я никак не могу сдерживать смеха, хоть и жалко этого водителя. Он, наверное, целый месяц трудился, пока не сделал это второе дно. А хохмач уже вытаскивает из-под фальшивого дна мешки с мандаринами. Складывает на тротуаре и при этом продолжает издеваться.

— В следующий раз, — говорит, — если будешь провозить подпольные мандарины, подруби топором ноги своей теще, чтобы она не сидела, как американская миллионерша.

Бедный водитель молчит, а теща ругается. Теща ругает автоинспектора, а он, не обращая на нее внимание, подначивает зятя.

— Прямо, — говорит, — не знаю, как с тобой быть. Если бы Франко был жив, тогда другое дело. Мы бы устроили тебя провозить в Испанию под фальшивым дном марксистскую литературу. Но Франко умер, и я теперь не знаю, где тебя использовать для пролетарского дела.

Я корчусь, потому что сдерживаю смех, теща ругается; а водитель, бедный, молчит, оборотку дать не может, не знает, что дальше будет.

Наконец хохмач вынул все мешки и дает команду садиться в машину. И они садятся, и теща теперь замолчала, и колени у нее уже больше не торчат, как у американки. Сидит как приличная советская старуха.

Только водитель включил мотор и уже хотел ехать, как этот хохмач снова его остановил.

— Выключи мотор! — громко кричит он ему.

Водитель выключает. Хохмач подходит спереди и открывает капот.

— А, — говорит, — я так и думал! Звук у мотора не тот. Через этот звук я и остановил твою машину, а потом загляделся на коленки твоей тещи и все на свете забыл.

И тут он вытаскивает из-под капота два мешка с мандаринами, вытянутые как змеи. Как только бедный хозяин уложил их, не знаю.

— Слушай, — продолжает издеваться этот хохмач, перекидывая мешки на тротуар, — неужели ты не понимаешь, что пока мандарины в капоте довезешь до России, они сварятся. Ты думаешь в России едят вареные мандарины? Нет! В России едят вареную картошку, а мандарины едят в сыром виде. Иногда даже со шкуркой. Витамины уважают. А теперь езжай и показывай Сочи своей теще.

Хозяин мандаринов, конечно, не собирался ехать в Сочи, он собирался ехать во глубину сибирских руд, как нас учили в школе, чтобы там мандарины продать. Теперь ему надо сворачивать назад и ехать домой. Но он из самолюбия, армяне же упрямые, решил ехать дальше, как будто у него так и было запланировано: сначала теще показать Сочи, а потом попутно продать в Свердловске мандарины.

И вот этого хохмача, который как рентген все насквозь видит, мне надо перехитрить. Конечно, и деньги хочу заработать, но и перехитрить этого афериста интерес имею.

И вот я целый день еду с гравием туда и обратно и думаю, как его перехитрить. Наконец придумал. Узнал номер телефона этого милицейского поста. На следующий день опять приходит тот грузин.

— Ну как, — говорит, — решил?

— Да, — говорю, — вот отвезу гравий, а следующим рейсом подъеду к твоему дому и заберу мандарины.

— Почему следующим, кацо, — удивляется он, — давай сразу!

— Это, — говорю, — тайна моей фирмы. Жди.

И вот, значит, я еду, нагруженный гравием. Доехал до Гагры, остановился возле телефонной будки и набрал номер поста.

— Слушаю вас, — говорит хохмач на том конце провода.

И я таким противным голосом стукача-пенсионера го-

ворю, что сейчас мимо его поста проедет грузовик с таким-то номером, в гравий которого зарыты ящики с мандаринами. И сразу кладу трубку.

Доезжаю до поста. Вижу, он уже стоит и так небрежно подымает руку. Торможу.

Он подходит к кабине, ставит сапог на подножку и, качая головой, смотрит на меня.

— Быстро же тебя, — говорит, — испортили наши спекули. По моим расчетам, ты еще целую неделю должен был продержаться. Вечно я переоцениваю людей и через это сам же страдаю.

— В чем дело, — говорю, — я вас не понимаю?

— Давай, давай, выгружай ящики, — говорит, — до чего же испортились современные люди. Значит, теперь не только машины с гравием, но и машины с цементом придется проверять. Значит, я должен дышать в респираторную маску? А кто за вредность будет платить? Не жалеете вы нашего брата, нет, не жалеете!

— В чем дело, — говорю, — я вас совсем даже не понимаю?

— Хватит, — говорит, — мозги мне пудрить! У меня, учти, везде своя разведка. Выгружай ящики, а то сейчас акт составлю, тогда хуже будет.

— О чем вы говорите? — продолжаю я удивляться, — какие ящики? Я ничего не понимаю.

Тут он, показывая, что злится, убирает сапог с подножки.

— Слушай, — говорит, — если будешь играть в несознанку, я заставлю тебя опрокинуть кузов, и ты будешь отвечать за порчу конфискованного товара.

Я про себя смеюсь, но внешне крепко держу себя в руках.

— Вы что-то спутали, — говорю, — у меня никаких ящиков не было и нет!

И тут он окончательно рассифонился и, вытянув руку вперед, приказывает:

— Отъезжай туда и выгружай гравий на тротуар!

Я отъезжаю метров на двадцать, разворачиваюсь, даю задний ход, въезжаю на тротуар, включаю гидравлику, кузов подымается, и гравий грохается на тротуар. Пыль, и сквозь пыль — он. Лицо вытянулось. Никогда я его таким не видел.

Минуты две рот не мог раскрыть.

— Оказывается, меня разыграли, — говорит он на-

конец, — то-то же мне голос показался фальшивым. Ну, ничего. Я этого человека из-под земли вытащу.

— А что мне теперь делать с гравием, — говорю, — кто мне его будет загружать?

— Езжай, — говорит, — это не твоя забота.

Я выехал, развернулся и чешу назад. Пока я выезжал и разворачивался, он так и стоял на месте. Видно, старался угадать, кто его разыграл.

И вот я приезжаю на Пицунду, экскаваторщик загружает мне кузов, и я на обратном пути останавливаюсь возле дома этого грузина. Десять больших ящиков с мандаринами мы зарываем в гравий, и я уезжаю. Мы договорились встретиться за рекой Псоу.

Проезжаю мимо поста. Хохмач стоит на своем месте. Нарочно притормаживаю, показываю, мол, не хочешь ли проверить мой гравий. Он махнул рукой и даже отвернулся от меня. Наверное, все еще думал: кто посмел его разыграть.

Одним словом, все получилось чин чинарем. Мы встретились с этим типом за рекой Псоу, он заплатил мне деньги и взял свои ящики. А я повернул к железной дороге и скинул там гравий.

Дней через десять моя командировка кончилась. И вот я, последний раз проезжая мимо этого поста, остановился. Настроение имею рассказать хохмачу, как я его обвел. Если начнет на пушку брать, свидетелей нет, скажу, пошутил, а на самом деле ничего не было.

— Чего стал? — говорит он мне.

— Нашел, — спрашиваю, — человека, что разыграл тебя?

— Пока не засек, — говорит — но он от меня никуда не уйдет.

Тут я не выдерживаю и подымаю хохот.

— Он от тебя сейчас навсегда уедет! — говорю.

— Как так? — спрашивает он, и лицо у него балдеет, как в тот раз, когда увидел, что в гравии нет ящиков.

Я ему открыл свой марафет. И вдруг вижу — не обиделся, оборотку не дает. Он даже сверкнул глазами на меня и протянул руку в кабину.

— Молодец, — говорит, — дай руку! Ты первый шоферюга, который меня перехитрил. Но дело не в этом. Ты чужак. Приехал, уехал. Я думал — это наши ребята меня разыграли! Езжай! Только дай слово, что до Гудау-

ты включительно никому ничего не расскажешь! А дальше — кому хочешь рассказывай!

Я даю слово и еду дальше. Душа у меня кейфует: и деньги заработал, и этого знаменитого хохмача перехитрил... За Гудаутами есть ресторанчик. И я решил спокойно там пообедать и посидеть с нашими ребятами, если их там встречу. Захожу, а там целая орава сидит. Среди них двое моих друзей.

Ребята предлагают выпить, но я на колесах никогда не пью и отказываюсь. Мне не терпится рассказать про этот случай. И как раз в это время в ресторан заходит местный автоинспектор и подсаживается к нам. Я думаю — все равно расскажу, еще смешнее будет. Я рассказываю, ребята умирают от хохота и подначивают местного автоинспектора. Он тоже смеется. Сам абхаз, между прочим.

А когда я кончаю, он лично подымает тост за мою находчивость и предлагает всем выпить. Все пьют за меня, и мне, конечно, приятно. И тогда он мне предлагает двумя-тремя стаканами отблагодарить друзей за тост, поднятый в мою честь. Я отказываюсь, но он не отстает, говорит, что ответственность целиком и полностью берет на себя как автоинспектор. Но я тоже слабину не показываю.

— Спасибо, — говорю, — дорогой! Но я, во-первых, на колесах вообще никогда не пью. А во-вторых, у меня дорога и дальше тоже есть автоинспектора.

Я еще немного посидел с ними, а потом попрощался и вышел. Вдруг этот автоинспектор догоняет меня возле моей машины. Я что-то почувствовал, но еще не понял, что к чему.

— Слушай, — говорит, — покажи мне свои права?

— Зачем? — удивляюсь я.

— Надо, — говорит, — потом скажу.

Я за собой никакой вины не чувствую и спокойно даю ему свои права. Он вынимает оттуда талон и вдруг делает прокол. Я балдею.

— За что?! — говорю.

— Здесь, — говорит, — стоянка запрещена, а ты целых два часа здесь простоял.

А сам смеется.

— Тогда оштрафовал бы, — говорю, — если ты такой честняга? Прокол зачем сделал?!

— Да, — говорит, продолжая смеяться, — здесь сто-

янка запрещена и к тому же ты в своем рассказе кое-что утаил.

— Что я утаил, — говорю, — и какое это имеет отношение к проколу?

— Ты утаил, — говорит он, — что дал слово до Гудauty включительно никому об этом не рассказывать.

И в самом деле я об этом не говорил, не потому, что хотел скрыть, а просто забыл, это для моего рассказа не имело значения. Но откуда он узнал об этом. И тут я допетрил.

— Он что, звонил? — говорю.

— А ты думаешь, — смеется он, — кроме тебя, никто не может пользоваться телефоном?

— Но откуда он узнал, — говорю, — что я остановлюсь в этом ресторане?

— Он все знает, — продолжает этот автоинспектор, — ты думал, что ты его сделал, но он, в конце концов, тебе отомстил.

Теперь что я ему скажу! Власть! Я уже сел в машину, думая, лучше бы он мой проклятый язык проколол, чем талон. Он уже, вижу, возвращается к ресторану, чтобы там рассказать, как они меня сделали.

И тут я вспомнил, что я не допустил нарушения слова.

— Стой! — говорю, — что-то хочу сказать.

— Что? — поворачивается он.

— Я же, — говорю, — рассказал об этом уже здесь, за городом. Если ты такой честный, почему ты мне прокол сделал?

— Город растет, — отвечает он, — и ресторан теперь считается в черте города. Включительно!

— Но я же не знал! — кричу.

— Надо было знать, — отвечает он и входит в ресторан.

Вот такая жизненная история со мной случилась, когда я три года назад находился в командировке на Пицунде.

Мы посмеялись рассказу этого лихача, и он, с кротким терпением выждав, пока мы отсмеемся, спросил у меня:

— Вот про этот случай, который был лично со мной, ты можешь написать?

— Попробую, — говорю, — не знаю, что получится.

В нашей компании был один старый рыбак. Среди таких рыбаков встречаются весьма затейливые законо-

толкователи. Когда рыба не клюет, они со всех сторон обдумывают вопросы государственного устройства и правопорядка. А так как рыба с годами на Черном море клюет все хуже и хуже, они в толковании этих вопросов достигают гигантских глубин.

— Никакой редактор не пропустит, — важно заметил он, однако, помолчав, обнадежил: — но если в конце прибавить, что всех нарушителей арестовали, могут пропустить.

— И меня? — спросил лихач.

— И тебя, — безжалостно кивнул законотолкователь.

— А меня за что?! — воскликнул рассказчик.

Все рассмеялись искренности его удивления, но тут вся эта история продвинулась на еще один виток.

— Когда это с тобой случилось? — спросил у шофера самый молчаливый участник нашей компании.

— Три года тому назад, — сказал шофер.

— Я там недавно проезжал, — заметил молчун, — твой гравий до сих пор лежит возле милицейского поста.

Предположения по поводу столь длительной консервации скромного памятника стратегической победы нашего лихача были прерваны появлением официантки с дымящимися чашечками кофе на подносе.

ШИРОКОЛОБЫЙ

В жаркий летний день буйвол по кличке Широколобый сидел в прохладной запруде вместе с несколькими буйволами и буйволицами. Ворона, примостившись на его голове и время от времени озираясь, приятно подалбливала ему череп крепким, требовательным клювом.

Две черепахи, следуя одна за другой, осторожно выползли ему на спину, доползли до самой ее верхней части, торчавшей из воды, покопошились немного и замерли, греясь на солнце.

Широколобому нравилось, что ворона выклеивает у него из шкуры клещей. Ему также нравилось, что черепахи, почесывая ему спину, выползают на него и греются на солнце. Он понимал, почему черепахи предпочитают греться на солнце, лежа у него на спине, а не на берегу. На берегу всякое может случиться, а здесь, на могучей спине буйвола, их, конечно, никто не посмеет тронуть. И это было приятно Широколобому.

Но и ворона, выклеывающая клещей, и черепахи, лежащие на спине, были приятны главным образом тем, что они были признаками мира, спокойствия, отдыха. И он чувствовал всем своим мощным телом, погруженным в прохладную воду запруды, этот мир и спокойствие, это высокое голубое небо и это жаркое солнце, сама жаркость которого и дает почувствовать блаженство прохладной воды.

Широколобый пожевывал жвачку и как всегда, когда он был благодушно настроен, насмешливо думал о тракторе. Два года тому назад в Чегеме появился трактор, и Широколобого, как и остальных буйволов, перестали использовать для пахотных работ, хотя бревна из лесу они все еще волочили и иногда ходили под арбой.

Широколобый уже много раз видел машину и знал, что это неживое существо. Но трактор, по его мнению, был хоть и уродливым, но живым существом, потому что на нем пахали. Он твердо знал, что пашут только на живых. Пашут на буйволах, на быках, на лошадях. Пашут и на этом странном существе, и потому оно живое. Пашут на живых. Он видел это всю свою жизнь, знал об этом от родителей и уверен был, что так было и будет всегда.

Странность трактора заключалась главным образом в том, что сам он ничего не мог делать или не хотел. Сам он, если его не трогать, все время спал. Он просыпался только тогда, когда на него верхом садился человек. Если же человек не садился на него верхом, он спал. Однажды Широколобый видел, как трактор возле фермы проспал дней двадцать. Спит и спит.

Широколобый признавал за ним большую силу, потому что много раз видел, какие тот бревна волочил из лесу. Обычно про себя он его называл Сонливый Крепыш. А когда злился — Тупой Крепыш.

Сила-то она сила, да не всегда сила. Широколобый сам был тому свидетелем, как несколько раз Сонливый Крепыш опозорился. Первый раз он это увидел, когда Широколобого вместе с другим буйволом пригнали на склон, где Сонливый Крепыш во всю глотку стонал и кричал, но никак не мог сдвинуть огромное бревно, застрявшее на крутом подъеме. Сонливый Крепыш до того старался, что у него из задницы дым пошел, а все же сдвинуть бревно не смог.

Бригадир махнул рукой тому, что сидел верхом на Крепыше, и тот спрыгнул на землю, а Крепыш замолк,

обессиленный. Его отпрягли от бревна и припрягли к бревну буйволов.

И они постарались, ох, как постарались! Бревно было очень тяжелым, и как всегда на крутых подъемах, напрягая могучие мышцы, Широколобый вместе с другим буйволом, становясь передними ногами на колени (укорачивание рычага), сдвинул его, и на коленях, на коленях выволокли бревно на гребень холма. Потом туда приковылял Сонливый Крепыш, и его снова впрягли. Тогда-то чегемцы и уразумели, что буйвол это все-таки буйвол и без него не проживешь.

Потом был еще один совсем смешной случай. На этот раз Сонливый Крепыш уже без всякого бревна сам застрял в ручье, и его самого пришлось выволакивать оттуда. И смех и грех с этим Крепышом.

Несколько ворон, сидевших на головах буйволов, неохотно поднялись и, дряхло взмахивая крыльями, отлетели и уселись на полуголой ольхе, умудрившейся усохнуть над самым ручьем.

К запруде подошел пастух Бардуш и стал гнать буйволов из воды. Буйволы медленно подымались с насиженных мест, и черепахи соскальзывали с их спин и плюхались в воду. Буйволы выпли на берег, пошлепывая себя хвостами и лоснясь мокрыми, темными шкурами.

Пастух почему-то отделил от остальных Широколобого и погнал его в сторону правления колхоза. Там уже стоял грузовик, а рядом с ним, покуривая, переминались чегемцы. Их было человек шесть, и Широколобый смутно припоминал, что они местные.

Только одного из них он знал хорошо. Это был заведующий скотофермой. Когда-то давно-давно Широколобый любил его буйволицу, и хозяин ее страшно его унижил, и Широколобый четыре года помнил об этом унижении, дождался своего часа, отомстил и, мстостью утолив душу, простил его подлость. Но все это было так давно, а хозяин его бывшей возлюбленной буйволицы только недавно стал хозяином колхозных животных.

К открытому заднему борту грузовика приладили мостки, и пастух Бардуш, подогнав Широколобого к ним, стал его понукать, чтобы он лез вверх. Широколобому это было неприятно, но он привык подчиняться людям, как разумной силе, так был устроен мир, и он подчинился. Тем более этого пастуха он давно знал и любил.

И он осторожно, боясь, как бы доски под ним не проломилась, прошел мостки и взгромоздился на кузов. Он

знал, что грузовик скоро куда-то побежит, и понял, что его собираются на нем увозить. Он подумал, что его увозят в такую деревню, где еще нет Сонливых Крепышей, и покорился судьбе. Почему его одного? Вероятно, потому, что он самый сильный.

Пастух, перебирая в руках веревки, взошел вслед за ним по мосткам и стал спутывать ему ноги. Сперва передние, потом задние.

— А чего Широколобого решили сдать? — спросил один из чегемцев.

— Одним буйволом отделаемся, — как-то слишком охотно пояснил завфермой, — тонну потянет... На этом мы закроем план мясopоставки на этот год...

— Вообще буйволиное время ушло, — заметил другой чегемец, — слишком много кушает и характер тоже имеет упрямый...

— С твоего стола, что ли, кушает, — ввязался в разговор еще один, — кушает — зато и сила такая. Буйволиное мацони ножом можно резать.

Постепенно развязывались языки, и посыпались разные соображения о буйволах.

— Что интересно — у буйвола самая толстая шкура, и он в то же время хуже всех переносит жару и холод.

— Зато в море плавает, как пароход. От Кенгурска до Батума пройдет. Он в воде раздувается и от этого никогда не тонет.

— Все же слишком много кушает... Так тоже нельзя.

— Что ты заладил — кушает. Ты гостям тоже в рот смотришь, когда они у тебя кушают?

— При чем гость!

— Такого боевого буйвола, как Широколобий, больше нет. Вот Бардуша здесь, не даст соврать. Лет пять тому назад весной еще снег лежал, ночью буйволы паслись на Верхней Поляне. Стая голодных волков на них напала. Буйволы загнали в середину буйволят и круговую оборону держали. Слышим, буйволицы кричат, и мы с Бардушой схватили ружья и фонари — и туда. Не меньше десяти волков было. Увидели нас и убежали. Широколобий сам троих убил...

— Откуда ты узнал, что он убил?

— Вот здесь Бардуша, не даст соврать, кровь только у него на рогах была. Клянусь своими детьми, одного волка он на двадцать шагов отбросил. Я сам своими шагами измерил.

— Такого гордую животную в мире не найдешь! У ме-

ня была хорошая буйволица. Однажды я ее избил! Крепко избил! За дело избил! И она мне до конца своих дней этого не простила. Хозяйка моя доит — все спокойно. Я подсыду — прячет молоко. Мать моя доит — все хорошо. Я подсыду — прячет молоко. И так восемь лет, пока я ее не зарезал.

— Буйвол, как мулла, справедливость любит!

— Много ты справедливости видел от муллы?

— Я при чем! Народ так говорит...

Бардуша слез с грузовика и убрал мостки. Шофер приподнял и закрепил задний борт. Потом они оба влезли в кабину, и шофер включил зажигание. Грузовик сдвинулся с места.

Впервые в жизни не Широколобый тащил груз, а его, как груз, тащила чуждая сила. Ему вдруг стало ужасно неприятно. Он даже испугался. По закону жизни, который он усвоил с детства, то, на чем стоят ноги, должно быть неподвижным. И вдруг не ноги передвигаются, а передвигается то, на чем стоят ноги.

Грузовик еще не успел выехать со двора сельсовета, как Широколобый напряг мышцы, веревки полопались сперва на передних, через миг на задних ногах, и Широколобый перемахнул через борт кузова. Он шмякнулся о землю всей своей огромной тушей, но боли не почувствовал и тут же вскочил.

Те, что стояли возле правления, закричали в один голос. Машина наконец остановилась. Шофер и пастух сами не заметили, что Широколобый спрыгнул. Бардуша вышел из машины и снова подогнал буйвола к правлению. Туда же задним ходом подъехал шофер.

— Чувствует, бедняга, куда едет, — сказал один из чегемцев. Но Широколобый ничего не чувствовал, он просто испугался от неожиданности, когда то, на чем он стоял, сдвинулось с места.

Опять открыли задний борт, приладили мостки, и пастух снова стал загонять его в кузов. Широколобому было неприятно входить на шаткие мостки, но делать было нечего, он привык подчиняться людям как разумной силе и снова взшел на грузовик.

Теперь решили для полной безопасности положить его и связать ему ноги, чтобы он не мог вскочить. Чегемцы влезли в кузов и, шумно споря, стали дергать его за ноги, и он долго не понимал, чего от него хотят, потом наконец понял и лег сам, а люди решили, что это они его опрокинули.

Пастух снова ему спутал ноги, но он уже не собирался выпрыгивать из машины. Он понял, что от него не отстанут, пока его не увезут туда, куда хотят люди. Он все еще был уверен, что его везут в другую деревню, где нет Сонливых Крепышей.

На этот раз шофер сдвинулся осторожней, но и Широколобый уже решил терпеть и покориться судьбе. Пока машина ехала по проселочной дороге, он старался привыкать к своему новому положению, когда не он тащит груз, а его тащат как груз. Он даже попробовал жевать жвачку, но тряска портила удовольствие. Приладить движение челюстей к неожиданностям вихляющегося кузова он не мог и, проглотив жвачку, погрузился в раздумья.

Когда машина выехала на шоссе, ему в ноздри ударил вонючий запах асфальта, и вместе с этим вонючим запахом к нему пришло нежное воспоминание о детстве.

Он был еще буйволенком, но уже достаточно большим, чтобы не сосать молоко, и его отпускали вместе с матерью и другими буйволами пастись в стаде. В тот удивительный день он вместе с матерью, отцом и другими буйволами ел траву в котловине Сабиды.

И был жаркий-прежаркий день. И отец что-то вспомнил и повел куда-то всех буйволов. И они долго шли, шли, шли. Все время вниз, вниз. А потом была дорога вот с таким же вонючим запахом, черная и мягкая, как свежий помет, и они перешли ее и пошли дальше и вышли к огромной воде. И это было море, и море было свободой и счастьем свободы.

И отец вошел в воду, и вслед за ним вошли все буйволы, и они поплыли. И это было так прекрасно, в жаркий-прежаркий день, огромная добрая вода, пахнущая свободой, и мама рядом, и отец рядом, и все остальные буйволы рядом, и они плыли и плыли, а потом остановились в море и блаженствовали, раздуваясь и шумно вдыхая воздух.

Поближе к вечеру к ним приплыл пастух Бардуша со своим сыном. Широколобый был тогда еще такой глупышка! Он подумал, что пастух Бардуша привел сюда своего сына, точно так же, как отец Широколобого стадо буйволов, и они здесь случайно встретились в воде. Пастух взобрался на его отца, а сын его на Широколобого, и они, смеясь, погнали стадо к берегу. И Широколобый до сих пор помнит, как приятно мальчик сжимал

кулачонках его уши, чтобы держаться на его спине и показывать, куда плыть.

На берегу они сошли на землю и пошли в сторону Чегема. И долго шли, и мальчик время от времени садился на спину отца Широколобого, потом, устав сидеть на спине отца Широколобого, пересел на плечи собственного отца и там заснул. Поздно ночью они вошли в Чегем.

С тех пор прошло столько лет, но он всегда с наслаждением вспоминал тот день, ту огромную добрую воду, пахнущую свободой, и мечтал снова испытать это наслаждение. Он хотел теперь сам повести стадо к большой воде, насладиться морем самому и насладиться наслаждением буйволов, еще не издавших моря. Но что-то ему мешало. Просто, наверное, больше не бывало такого жаркого летнего дня.

Сколько времени с тех пор прошло? Он точно не знал. Может, десять раз, может, чаще с тех пор снег падал на землю, и, может, десять раз, может, больше он подымался на альпийские луга, всегда свежие и вкусные. И мать с отцом куда-то исчезли. Сначала отец. Потом мать.

Широколобый всегда считал жизнь прекрасной. Но в этой прекрасной жизни было одно страшное и непонятное: все, кого он любил, рано или поздно куда-то исчезали. Куда? Он не знал. Сначала исчез отец. Потом через два года мать. Потом была в его жизни изумительная коричневая буйволица, его первая любовь. И она куда-то исчезла. И некоторые буйволы, которых он знал по стаду, куда-то исчезали. Он догадывался, что и коровы и быки время от времени куда-то исчезают. Вероятно, и козы и овцы тоже куда-то исчезали, но они были такие мелкие, что за ними не уследишь.

Вместо исчезнувших подрастали новые буйволы, коровы и быки, и все-таки Широколобый за всю свою жизнь не мог не заметить, что деревенское стадо все-таки медленно, но неуклонно уменьшалось. И это доставляло ему временами смутную, нехорошую боль. Своим инстинктом он чувствовал, что тут нарушается закон самой жизни, по которому стадо должно плодиться и множиться, но стадо медленно уменьшалось, и пусть где-то впереди, где-то после жизни Широколобого оно должно было кончиться, если так пойдет дальше, и этот далекий грядущий конец причинял ему близкую сегодняшнюю боль.

По преданию от матери-буйволицы он знал, что на земле есть страшное место, ад — Там, Где Лошади Плачут. От матери он знал, что животные, попадая туда, погибают. Их убивают злые люди.

И только один раз один буйвол вернулся из этого места. Он жил раньше матери, и мать сама знала о нем по преданию. Тот буйвол не покорился злым людям и убежал оттуда, Где Лошади Плачут, и через многие горы и многие леса вернулся в Чегем.

И чегемцы дивились этому буйволу и уважали его за то, что он убежал оттуда, откуда никто не возвращался. Они его до того чтили, что не заставляли пахать, волочить бревна, тащить арбу. И оттого, что чегемцы так любили этого буйвола за храбрость и непокорность, Широколобый твердо знал, что не они, а какие-то совсем другие люди вылавливают животных и отправляют их туда, Где Лошади Плачут.

Но если бы Широколобый был уверен, что все животные, которые исчезают, попадают туда, Где Лошади Плачут, было бы невозможно жить. Нет, он был умным, наблюдательным буйволом и много раз замечал, что в Чегеме время от времени появляются буйволы, коровы, быки, лошади, которые не выросли в Чегеме, а выросли где-то в другом месте. И он понял, что люди иногда меняются животными или просто дарят их друг другу. И если в Чегеме появляется лошадь, которая здесь никогда не была жеребенком, значит, точно так же и многие животные, исчезнувшие из Чегема, появились в других селах. Это было великим утешением. Но ведь никогда точно не знаешь, куда попал тот или иной буйвол, в другое село или туда, Где Лошади Плачут.

Однажды, когда чегемское стадо паслось на альпийских лугах, какой-то человек подошел к стаду и отогнал от него Широколобого. Широколобый по привычке покоряться разумной воле человека пошел в ту сторону, куда его гнал этот человек. Он думал, что этот человек из смутно знакомых чегемцев. Кроме пастухов и тех людей, с которыми он общался в работе, Широколобый с трудом узнавал очертанья чегемцев. В отличие от животных люди вообще очень похожи друг на друга. Их необычная двуногость делает их почти неразличимыми.

И вот Широколобый пошел туда, куда гнал его этот человек. И все-таки, еще сам не зная почему, он вдруг заподозрил в этом человеке злодея из тех, которые загоняют животных туда, Где Лошади Плачут. Широколо-

бый остановился, оглянулся на него, взгляделся и, поняв, что он нечегемец, задышал с такой яростью, что человек, вскрикнув: «Ты что? Ты что!» — трусцой побежал от него. В тот раз Широколобый не погнался за ним, потому что у него не было еще решения убивать таких людей. Но потом, когда такое решение пришло, он жалел, что не погнался за ним.

На самом деле этот человек был скотокрадом. Широколобый многое знал о людях, но он не знал о них самого простого, что люди — племя вороватое. Сам того не осознав, он заподозрил в этом человеке неладное по той суетливой быстроте, с которой тот гнал его от стада. По опыту жизни Широколобый знал, что люди уводят его на работу более размеренной, солидной походкой. Правильно поняв, что его ведут не на работу, он неправильно понял, что его ведут туда, Где Лошади Плачут.

В другой раз Широколобый пасся в котловине Сабиды вместе с другими буйволами. И тогда какой-то человек подошел к стаду и, отогнав его от остальных буйволов, повел его в глубь леса. Это был не случайный, а профессиональный скотокрад, и поэтому он уводил Широколобого спокойной деловитой походкой, чем и запутал его на некоторое время. Они уже шли около двух часов и прошли все места, где валили лес, и кругом все было незнакомо. И тут Широколобый что-то заподозрил, остановился, взгляделся в очертания человека и понял, что он нечегемец. Так вот он, убийца, ведущий его туда, Где Лошади Плачут! От нарастающей ярости у Широколобого воздух с шипеньем стал выходить из ноздрей.

Человек испугался и побежал от него. От разогнавшегося буйвола и лошадь не уйдет, и Широколобый, конечно, об этом знал. Теперь он отомстит за всех! Но тут случилось неожиданное. Человек на ходу подпрыгнул, ухватился за ветку молоденького бука и вскарабкался на него.

Широколобый в бешенстве стал бить рогами по дереву. Была осень, буковые орешки поспели, и они, как дождь, сыпались с веток. Но человек почему-то не стряхивался. Люди — цепкие существа! Широколобый пришел в неимоверную свирепость и сотрясал дерево ударами рогов. Орешки сыпались, а человек не падал. А дерево, хоть и было молодое, но все-таки достаточно крепкое, чтобы устоять под его рогами.

Широколобый злился и на самого себя. Опять он это-

го человека принял за чегемца! Но люди так похожи друг на друга! Не говоря о буйволах, двух коров, даже если они одной масти, он всегда мог различить. То же самое и лошади. Коз и овец, конечно, можно спутать — мелочь, мелочь!

О свиньях и говорить нечего. Чегемцы были настолько мусульманами, чтобы не есть свинину, но не настолько мусульманами, чтобы гнушаться разводить их на продажу. И Широколобый давно заметил, что чегемцы, подзывая свиней или загоняя их в свинарник, не могут скрыть в голосе брезгливого презрения. Разумеется, свинья лучшего обращения и не заслуживает.

Омерзительная подлость свиней заключалась в том, что они в летнюю жару находили себе какую-нибудь лужу и, думая, что они от этого делаются похожими на буйволов, лезли в нее.

Одно дело — могучий буйвол, пожевывая вкусную жвачку, спокойно лежит в запруде с вороной на голове и черепахами на спине. И совсем другое дело — хрюкающая свинья ерзает в грязной луже! Не для того ли аллах создал свинью, чтобы все живое видело перед собой образ богомерзости?! Широколобый от всей души презирал свиней и в этом, сам того не зная, был настоящим мусульманином.

Устав бить по дереву, Широколобый пошел на такую хитрость. Он сделал вид, что вернулся к стаду, а сам спрятался в кустах и следил за человеком. Широколобый долго ждал, но человек не слез с дерева. Широколобый не догадывался, что сверху с дерева хорошо видна его спина.

Тогда Широколобый решил зайти к нему сзади и неожиданно ударить по дереву. Может, человек от неожиданности рухнет. Но с какой стороны Широколобый ни заходил, человек оказывался лицом к нему. И тогда он понял, что человек все время следит за ним с дерева.

Широколобый любил буковые орешки и стал подбирать губами те из них, которые выпали из колючей кожуры. Он долго ел вкусные орешки, слушая проклятия, доносившиеся с дерева. Широколобый решил, что человек голоден и завидует ему. Он знал, что все живое должно есть, и человек, ослабнув от голода, в конце концов, рухнет.

И тогда Широколобый решил не оставлять человеку на дереве буковых орешков, чтобы ему нечем было подкрепиться. Он снова стал бить по дереву рогами, но дол-

го бить не пришлось, потому что он и так стряхнул с него почти все орешки. Широколобый съел все, что натряс, и улегся под деревом. Решение казнить убийцу было непреклонным. Сколько надо будет, столько он и проведет под деревом.

Сквозь чуткую дрему, ночью лежа под деревом, он снова несколько раз слышал проклятия человека. Широколобый спокойно дожидался своего часа. За ночь с дерева дважды что-то лилось, и Широколобый правильно догадался, что человек мочится. Ничего, думал Широколобый, с дерева мочиться легко, но гораздо трудней раздобыть там себе еду.

На следующее утро пастух Бардуша вышел на след Широколобого и вскоре появился под деревом, где тот лежал. За спиной у пастуха был легкий топорик.

Увидев пастуха с топориком, Широколобый обрадовался. Подобно многим современным людям, Широколобый преувеличивал возможности передачи мысли на расстоянии. Он решил, что его страстное желание достать убийцу передалось пастуху и потому тот пришел сюда с топориком, чтобы срубить этот молодой бук.

Увидев человека на дереве, а Широколобого под деревом, Бардуша заподозрил, что этот человек скотокрад. Он стал с ним ругаться. По жестам человека с дерева Широколобый понял, что тот пытается доказать свою невиновность, якобы буйвол сам за ним погнался и он вынужден был вскарабкаться на дерево. А по жестам пастуха, который все время показывал на котловину Сабиды, было ясно, что он ему не верит. Не мог буйвол так далеко загнать человека, он бы его давно догнал.

Зачем так долго спорить, думал Широколобый, надо просто рубить дерево, и будет ясно, что делать с убийцей, который уводит животных туда, Где Лошади Плачут. Но пастух, увы, видно ему поверил, дерева рубить не стал, но, продолжая ругаться, погнался Широколобого назад. Широколобому было ужасно обидно, но, привыкнув подчиняться разумной воле людей, он уныло поплелся в котловину Сабиды.

...Шоссейная дорога, по которой катил грузовик, приблизилась к морю. Широколобый почувствовал этот волнующий, солоноватый запах свободы, к сожалению, замутненный зловонными струями дорожного запаха. Приподняв голову, он глубоко дышал, стараясь выцеживать из воздуха запах моря и поменьше глотать запахи дороги. Забывшись, он снова взялся за жвачку, но трясущийся

кузов и вонь асфальта портили удовольствие. Он проглотил жвачку и задумался о жизни.

Он вспомнил о своей первой любви. Широколобый за свою жизнь любил буйволиц три раза. Но сейчас он вспомнил о своей самой первой любви.

Это случилось как-то странно. Он даже не мог понять, как это случилось. Молодая буйволица обычно паслась вместе со всеми буйволами то в котловине Сабиды, то на других лугах и выгонах. Она почти ничем не отличалась от остальных буйволиц. Только остальные были потемней, а она была коричневатая. И бедра у нее были покруглей, и рога были похожи не столько на оружие, сколько на украшение.

Он сам сначала не понял, почему рядом с ней приятней пастись. Он решил, что у нее какое-то особое чутье к траве и она находит самые вкусные уголки пастбища. С радостным удивлением он чувствовал каждый раз, когда подходил к ней, что трава возле нее гораздо вкусней обычной. Какая же она разумница, как она ее находит!

Потом он заметил, что если хозяин немного запаздывает выпустить ее в стадо, трава делается совсем невкусной, и Широколобый, подняв голову, ждал ее, все еще думая, что она его избаловала уменьем находить самую вкусную траву. И только потом он понял, что это любовь делает траву вкусной.

По вечерам, когда она уходила к себе домой или ее отгонял хозяин, Широколобый скучал и думал о следующем утре, когда она появится. И каждое утро было праздником ее прихода в стадо.

Он открыл ей свою маленькую, но приятную тайну. Конечно, все буйволы и так знали, что чесать бока лучше всего о грецкий орех. У него самая шероховатая кора. Она хорошо прочесывает шкуру.

Но Молельный Орех выделялся среди других деревьев своими глубокими, мощными шероховатостями. Оттого, что он стоял на косогоре, остальные буйволы ошибочно думали, что к нему неудобно приладиться для почесывания. На самом деле приладиться было очень просто.

С первого же раза, почесавшись о Молельный Орех, она сразу же вошла во вкус, и как бы далеко от него они ни паслись, когда ей хотелось почесаться, она, пропуская все остальные деревья, приходила вместе с ним

к Молельному Ореху и почесывалась о него, благодарно поглядывая на Широколобого.

В запруде было одно место, где лежать было гораздо мягче, чем в других. Там почти не было камней. Она об этом не знала. И первый раз, когда они входили в запруду, ее, глупышку, пришлось слегка подтолкнуть к этому месту. Потом она уже сама укладывалась всегда в этом месте, а он устраивался рядом. Случалось, они приходили к запруде, а ее место уже занято. И тогда ничего не поделаешь! — приходилось сгонять буйвола, разлегшегося не там, где положено. Широколобый был еще молод, но уже все буйволы и многие люди знали о его силе.

Лето первой любви было самым прекрасным в его жизни, и он еще был так молод, еще не знал ничего о времени осеннего гона, еще думал, что вся полнота любви и есть: хрустеть вкуснейшей травой рядом с любимой буйволицей, ждать ее по утрам, скучать по ней вечерами, блаженствовать рядом с ней в запруде или одновременно с ней почесывать бока о священную кору Молельного Ореха.

И вдруг в один осенний день она исчезла. Утром не появилась в стаде. Широколобый ждал, ждал, а потом не выдержал и, стыдясь самого себя, подошел к ее дому и заглянул в загон. Но там было пусто, пусто. И великая печаль пронзила его. Он решил, что она исчезла, как в свое время исчез его отец, как исчезли многие буйволы и животные. Мысль, что его нежная, коричневая буйволица могла попасть туда, Где Лошади Плачут, сводила его с ума.

Два дня он ничего не ел. То бродил как неприкаянный по котловине Сабида, то нарочно заходил в самые колючие дебри, чтобы колючки, болью оцарапывая шкуру, заглушали внутреннюю боль. Иногда он молча стоял в тени деревьев.

Время этой великой печали совпало с желанием гона, может быть, оно ускорило это желание. Он стоял под деревьями в тени и слушал, как сладко переливаются внутри него соки любви, деревенеют ноги, кружится голова. И стоило чуть прикрыть глаза, как она появлялась перед ним, тихая, покорная, тяжелоглазая. Он ее видел перед собой — коричневую, крутобедрую — и, сходя с ума от любви, никак не мог понять одного. Как это он мог спокойно пастись рядом с ней, как он мог спокойно лежать — рядом с ней! — в запруде, как он мог спокойно

почесывать шкуру одновременно, с ней под Молельным Орехом!

Да если бы он сейчас улегся рядом с ней в запруде, запруда закипела бы от его страсти! Да если бы он сейчас стал прочесывать свою шкуру рядом с ней о Молельный Орех, дерево задымилось бы и запылало от его страсти, как пылало оно когда-то от небесного огня!

И вдруг на третий день, когда он так стоял под дождем у выхода из леса, он услышал запах своей буйволицы. И он с такой силой втянул в себя этот любимый запах, что шкура его чуть не лопнула под растяжкой ребер. И тут за деревьями показалась арба, в которую была впряжена его буйволица. Арба была наполнена дровами, а впереди с хворостиной в руке сидел хозяин. Так вот где она пропадала два дня!

Забыв все на свете от счастья, Широколобый ринулся к своей любимой! И грянул гром! И дождь превратился в ливень. Увидев бегущего на арбу буйвола, хозяин, уже пытаясь перекричать ливень, грозил ему хворостиной, но Широколобый ничего не видел и не слышал, кроме своей буйволицы.

Он налетел — ураган обожания! Хозяин в одну сторону, арба кувыркком в другую, всякие там хитрые ремни, при помощи которых буйволица была впряжена в арбу, полопались! Но каждый раз, когда он пытался овладеть своей буйволицей и она от застенчивости уходила, делала несколько шагов вперед, арба неизменно волочилась за ними. Оказывается, один какой-то ремень еще держался. А Широколобый был тогда еще так молод, так разгорячен близостью буйволицы, что вдруг решил — арба тоже вспылала незаконной страстью к его буйволице и хочет последовать его примеру. Он с такой яростью подцепил ее на рога и отбросил в сторону, что она, рухнув, распалась грудой деревяшек, а одно колесо покатилося в сторону хозяина.

И тогда под жалкое лopotание хозяина он овладел своей возлюбленной буйволицей. И был ливень неба, и был ливень любви, а потом могучая страсть улеглась, и они, омытые обоими ливнями, спокойно паслись рядом и рвали траву, омытую тем же ливнем.

А через три дня глухой хозяин, решив, что Широколобый будет именно так всегда овладевать его буйволицей и тем самым введет его в неисчислимые расходы, продал ее в соседнее село. И теперь она исчезла навсегда, и Широколобый не знал, куда она делась. Горе его

было так велико, что было замечено богом, и бог в знак сочувствия ему целых полгода выпускал на небо тусклое, раненое солнце. И худшего времени Широколобый не знал.

...Грузовик мчался и мчался по шоссе в сторону Мухуса. Августовское солнце припекало все горячее. Дорога продолжала исправно вонять, и только спасительные струйки морского воздуха, время от времени влетавшие в ноздри, успокаивали душу. Встречные машины проносили встречную вонь.

От жары Широколобый перестал думать о буйволицах и стал вспоминать о всех водах, которые ему удалось перепробовать в жизни, поблаженствоваться в них. Конечно, лучшим воспоминанием было море, но и всякая другая вода в летний день хороша.

Чем хороши болотистые воды, расположенные пониже Чегема? Черепах вдосталь! Не успеешь разлечься, как дюжина черепах так и напоззает на тебя, так и копошится на твоей шкуре, так и почесывает ее. И дно мягкое, мягкое. Ил толщиной с буйволиную ногу. Но вода, пожалуй, слишком теплая, заласкивает. Приятно, но после нее чересчур расслабляешься, млеешь.

Теперь чегемская запруда. Хороша. Вода не слишком теплая и не слишком холодная. В самый раз. Черепах, конечно, гораздо меньше, но зато вороны, если поблизости нет человека, отковыряют своими точными клювами из твоей головы и спины много вредных клещей. Но что плохо? Надо честно сказать — всем хороша чегемская запруда, но дно слишком каменистое. Такого нежного ила, как внизу, нет. Чего нет, того нет. Нельзя же хвалить свое только потому, что оно свое.

Теперь альпийские озерца. На вид красивые — ничего не скажешь. Но вода слишком холодная. Эти озерца — самая удивительная загадка природы. Ведь альпийские луга гораздо ближе к солнцу, чем остальные места земли, а вода почему-то не успевает прогреться. Так что слишком долго в ней не улежишь.

Но зато чем хороша эта бодрящая вода? Appetit после нее невероятный! Вылезает из озерца на луг и начинаешь есть траву. Ешь и ешь! Ешь и ешь! И вкуснее травы в мире нет. Она до того вкусная, что даже потом, когда жуешь жвачку, по ее аромату понимаешь, что это жвачка из альпийской травы.

Иногда ночью, особенно в первые дни после перегона стада в горы, забываешься, думаешь, что ты еще в Че-

геме, но вырыгнул в рот жвачку и сразу понимаешь, нет, ты на альпийских лугах.

Широколобый вместе с другими буйволами несколько раз спускался к быстрой, текучей воде Кодора и в ней прохлаждался. Это совсем особое дело! Эта сильная вода омывает тебя, тащит, но ты держишься на ногах, потому что ты буйвол и тебя никто не может тащить насильно. И что интересно на Кодоре — ни одна муха не подлетит, когда ты в реке! Трусливые твари!

А дети, дети! Они с кубышками особой пустотелой тыквы, подвязанными к поясам, чтобы не утонуть, подплывают к тебе, садятся на тебя верхом, галдят, брызгаются, смеются. Хорошо! С мухами не сравнишь. А вода мощная, хочет сбить тебя с ног и потащить, но ты держишься и сам чувствуешь свою мощь. Приятно перемогучить могучий поток.

Воспоминание о водах так взбудрило Широколобого, что он, несмотря на вонь дороги, снова перекинулся на любимых буйволиц.

Следующую буйволицу он любил около двух лет. И он думал, что это навсегда, на всю жизнь, но никто не знает, что ждет его впереди. От этой буйволицы у него был буйволенок, и они так любили друг друга, что чегемцы нередко посмеивались над этим. Почему люди, заметив, что животные любят друг друга, начинают подсмеиваться? Наверное, от зависти.

Широколобый всегда ел траву рядом с ней и рядом с ней лежал в запруде, конечно, приучив ее к самому мягкому ложу. Да если говорить правду, ее даже и приучать не пришлось. Она, зная, что находится под защитой Широколобого, сама плюхнулась туда. И если, когда она приходила с Широколым, место было занято, она ждала некоторое время, а потом оглядывалась на Широколобого, чтобы он навел порядок.

Широколобому забавно было следить за каким-нибудь буйволом-ленивцем, запявшим ложе его возлюбленной и делающим вид, что ничего вокруг не замечает, а только лежит себе в полудреме и жует жвачку. Он спокойно ждал, зная, что у самого ленивого буйвола рано или поздно должна проснуться совесть. И конечно, в конце концов, просыпалась. Ленивец вдруг оглядывал их, стоящих на берегу, делая вид, что удивлен тому, что они стоят над водой, а в воду не входят, а потом как бы догадавшись: ах, я по рассеянности занял место твоей ца-

рицы! — медленно вставал, отходил на несколько шагов и устраивался на новом месте.

Хотя Широколобый любил эту новую буйволицу, а все-таки он ей не открыл, что вкуснее всего в Чегеме чесаться о Молельный Орех. Пусть Молельный Орех останется чесальней первой любви. Теперь он иногда сам приходил сюда почесать свою шкуру, погружаясь в сладкие и грустные воспоминания.

Теперешнюю свою любимую буйволицу Широколобый всегда провожал до дому, стоял рядом с ней на скотном дворе, пока ее доили, а потом возвращался в колхозное стадо.

И чегемцы иногда приходили посмотреть по вечерам на Широколобого, забравшегося на скотный двор, где жила его любимая буйволица. Они объясняли чужакам, что это, мол, буйвол по кличке Широколобый, что он не принадлежит этому хозяину, а принадлежит колхозу, но исключительно ради буйволицы каждый вечер приходит сюда. И люди дивились такой привязанности буйвола к буйволице не только во время осеннего гона, а круглый год.

Но все это кончилось так нелепо, так нехорошо.

Однажды хозяин доил буйволицу, как обычно, отгоня буйволенка хворостинкой. А буйволенок нетерпеливо ожидал, когда хозяин, кончив доить, даст ему дососать остатки молока.

Широколобый стоял возле буйволицы, и вдруг она потянулась к нему, чтобы положить свою голову ему на шею, да так неловко, что задней ногой опрокинула поддонник, полный молока.

Широколобый никогда бы не подумал, что хозяин этой буйволицы такой жадный. Он схватил палку и стал изо всех сил бить его и гнать со скотного двора. И это было так обидно. Ему казалось, что его принимают на этом скотном дворе как члена семьи. Широколобый потерялся не от боли, а от этого позорища.

Широколобый уходил со скотного двора быстрыми шагами. А хозяин поспевал за ним и бил его палкой и кричал нехорошие слова. Конечно, Широколобый мог бежать, но бежать было стыдно, а от того, что он не бежал, само позорище длилось гораздо дольше.

Конечно, и его любимая буйволица все это видела, и его буйволенок, бедняга, притих и прижался к матери, и две коровы все это видели, и глупые козы удивленно смотрели, и даже две свиньи — смрад позорища, — ко-

торым хозяйка как раз налила поила в корыто, не поленились задрать морды, но при этом, не переставая чавкать, смотрели на него. И только лошадь, благородное существо, увидев такое, грустно отвернула свою длинную шею.

Никогда в жизни Широколобый не испытал такого унижения. Почему, почему он этого плюгавого мерзавца не поднял на рога и не перебросил за спину?! Он как-то растерялся. Он в первое мгновение подумал, что буйволица, конечно, немного виновата. Он даже хотел, чтобы гнев хозяина пал на него, на Широколобого. Ну, стукнул бы его пару раз палкой, но нельзя же было так издеваться?!

Скотный двор был длиной шагов в сто, и пока он переходил его, хозяин бил и бил и кричал какие-то злобные слова. Наконец даже палка, как показалось Широколобому, сломалась от стыда. Могла бы сломаться и пораньше.

Всю эту ночь Широколобый не спал. Ему было стыдно вспоминать, что он чувствовал себя на этом скотном дворе, как в родной семье. Месть, месть, месть! Этот злобный дурак, так унизивший его из-за подоюника молока, даже не мог сообразить, что если бы его буйволица не забеременела от Широколобого, он вообще никакого молока не имел бы! Теперь Широколобый знал, что рано или поздно он подымет его на рога.

Он только не понимал, как теперь ему быть с любимой буйволицей. Конечно, провожать ее на скотный двор он уже никогда не будет. Но как теперь к ней подходить? Было неясно.

На следующий день они паслись в одном стаде, и он не подходил к ней, и она несколько раз, подымая голову, смотрела в его сторону, но он делал вид, что не замечает ее взгляда. Наконец она оказалась поблизости и опять, подняв голову, посмотрела на него, и он ясно прочел в ее взгляде: неужели ты нас не простишь?

И он одеревенел от возмущения. Это подлое — нас — он ей никогда не мог простить. Значит, душой она с тем. Хорошо. Он придумал еще один способ возмездия.

Теперь он не только не подходил к ней, но и во время осеннего гона, когда один молодой буйвол, по глупости не понимавший, что к чему, попытался ею овладеть, Широколобый отбросил его ударами рогов и погнался за ним. Он заставил его дважды обежать котловину Сабиды, пока тот не перебежал ручей и не скрылся в лесу.

Два года буйволица оставалась яловой, и хозяин, не понимая в чем дело (дороговато ему обошелся тот подойник молока), в конце концов продал буйволицу в соседнее село. Однако Широколобый никогда не забывал, что хозяина его бывшей буйволицы предстоит поднять на рога. Но тот, как назло, ему не попадался.

И, наконец, еще через два года попался. В тот день Широколобый пасся возле Верхнечегемской дороги и увидел хозяина своей бывшей буйволицы, проезжавшего на лошади в сторону правления колхоза. Такой случай мог не повториться.

И он погнался за всадником. То ли лошадь услышала приближающийся топот, то ли, как думал Широколобый, его яростная мысль о возмездии передалась оскорбителю, лошадь понеслась галопом. Но Широколобый уже набрал свою предельную скорость и неотвратно догонял всадника. Всадник верещал и, то и дело оглядываясь, наяривал лошадь камчой. Но он уже был обречен. Широколобый догнал его возле усадьбы Большого Дома.

Он поддел рогами брюхо лошади и хотел зашвырнуть ее за спину вместе с всадником, но уже вздыбленный в воздухе всадник как-то соскользнул и, перелетев через плетень, шмякнулся в мягкую пахоту кукурузного поля. Человек вскочил и с криком, который хорошо слышали в Большом Доме: «Убивают! Убивают!» — скрылся в кукурузнике.

Лошадь некоторое время подрыгала ногами, а потом перевернулась на бок и притихла. Седло сползло, одна подпруга оборвалась, и вид у нее был жалкий.

Двойной трусливый побег хозяина сначала по Верхнечегемской дороге, а потом по кукурузнику полностью утолили душу Широколобого. Хозяин буйволицы, конечно, был трус. Широколобый всегда подозревал, что жестокость — это храбрость трусов.

И теперь ему стало стыдно перед лошадью, беспомощно лежащей в кукурузнике. Он вспомнил, что из всех животных в тот проклятый вечер только одна лошадь не захотела видеть, как его оскорбляют.

И вдруг лошадь перевалилась на живот, встала на ноги и начала есть кукурузу, громко хрустя челюстями. Ешь, ешь вкусную кукурузу, думал Широколобый, ты заслужила ее. Однако лошадь недолго ела кукурузные стебли, вскоре раздался голос человека, идущего через поле, и Широколобый вернулся в стадо.

Оказывается, всадник при падении вывихнул руку.

В тот же день он пожаловался председателю колхоза, что Широколобый взбесился и теперь опасен для жизни людей. Правление колхоза уже было решило сдать Широколобого на заготовку мяса, но тут к председателю в кабинет вошел бригадир Кязым.

— Тебя что, тоже забодал Широколобый? — удивился председатель появлению Кязыма. Он уже знал, что несчастный случай произошел возле его дома.

— Его лошадь привел, — кивнул Кязым, насмешливо улыбаясь, — бросил ее в моем кукурузнике, а сам прибежал сюда.

— Проклятый буйвол, — отвечал пострадавший, — я про нее забыл сгоряча.

Оказывается, Кязым пришел домой сразу после бегства врага Широколобого. Узнав от домашних о том, что здесь произошло, он привел лошадь к себе во двор, переседлал ее и приехал на ней в правление колхоза.

— Как это он взбесился, — спросил Кязым, узнав, куда клонит пострадавший, — ты же сам говорил, что сломал палку о его спину?

— Так это когда было! — отвечал тот, — слава богу, четыре года прошло!

— Буйвол обиду помнит всю жизнь, — сказал Кязым, — неужели ты этого не знал? Ты ведь сам держал буйволов?

— Так что же мне теперь, порушить хозяйство и покинуть Чегем? — спросил хозяин буйволицы, показывая на свою неподвижную руку.

— Нет, — сказал Кязым, — он помнит обиду, пока не отомстит. Считай, что ты легко отделался.

Было решено, что если Широколобый еще раз нападет на человека, сдать его на бойню в счет мясоставок. Так в первый раз Кязым спас его от смерти, о чем Широколобый, конечно, не ведал.

...Время от времени, удивляясь не столько вони посейной дороги, сколько длине этой вони, Широколобый лежал в кузове мчащейся машины. В Чегеме и во многих местах Широколобый не раз встречался с вонью. Но там вонь никогда не бывала такой длинной. Сонливый Крепыш, просыпаясь и начиная двигаться, порядочно вонял. Но это была короткая вонь. Прошел — и не слышно. Когда Сонливый Крепыш спал, он почти не издавал вони. Особенно после дождя. Воняла кузня, но это была короткая вонь. Вонял табачный сарай, когда сушили табак. Ну и свиньи, конечно, воняли. Свинья — это ма-

ленькая ходячая вонь. Но и она прошла — и не слышно.

Но чтобы в мире была такая длинная вонь, когда едешь, едешь по ней, а она не кончается, такого он не знал. А что, если он попал на такую землю, у которой вонять такое же природное свойство, как у травы пахнуть травой? Нет, нет, подумал он, мы приедем в деревню, и там все будет как раньше, земля будет пахнуть землей, а трава травой. Однако здорово расплодились Сонливые Крепыши, если его так долго везут в деревню, где их еще нет.

И вдруг Широколобый замер от предчувствия невозможного счастья. А что, если его первая любовь, его коричневая буйволица жива и обитает именно в этой деревне? Конечно, она уже не та двухлетняя буйволица, так ведь и он порядочно постарел. Но ведь он теперь столько знает о жизни, о людях, о буйволицах. Он будет так ею дорожить. Ведь он теперь знает, как никто, какая это редкость среди буйволиц, верная душа, настоящая подруга. И у них еще будет буйволенок, ведь они еще не очень старые буйволы. Ах если б она оказалась там, но лучше не пытаться судьбу, не думать об этом.

Подумав о новой деревне, где ему придется пахать, Широколобый почувствовал, что он сильно соскучился по этому занятию. Когда Сонливый Крепыш затарахтел по чегемским полям, он сказал себе: ладно, если вы думаете, что я от этого умру, вы ошибаетесь. И он, конечно, не умер. Но он любил пахать. Из трех дел, которые он делал для людей — пахать, волочить бревна, перевозить грузы на арбе, — по-настоящему он любил только пахать.

Выволакивать бревна из лесу иногда любил, а иногда нет. И любил выволакивать именно тогда, когда бревна не поддавались от сопротивления рыхлой земли или от слишком крутого подъема, когда приходилось передними ногами становиться на колени и доволакивать бревна до плоского места. Он любил это дело, когда его подымал азарт, когда он сам удивлялся нешуточности своих сил и по возгласам людей чувствовал, что и они изумлены. А ходить под арбой он никогда не любил. Это была тупая, однообразная работа.

Но пахать! Это ровное и легкое выворачивание жирной земли, оно давало наслаждение душе, потому что ему, буйволу, передавалось состояние пахаря. А человек, идущий за плугом, всегда чувствовал, что он делает правильное, главное дело жизни. Он отворачивал пласт зем-

ли, как отворачивают одеяло, чтобы положить под него малютку-зерно.

Широколобый чувствовал, что пахарь, выворачивая землю пласт за пластом, ласкает и ласкает ее острием лемеха, готовит ее к приятию семени и сам причастен к великой тайне ее будущей беременности. И как бы он ни покрикивал на поворотах, как бы ни уставал после этой работы, он уносил с поля эту великую тайну, когда он распахивал ее лоно и крепко вминался босыми ногами в ее сырое, плодоносное тело. И Широколобый чувствовал себя счастливым соучастником этой тайны.

С тех пор как начали пахать на Сонливом Тупице с пашущим, как заметил Широколобый, ничего такого не происходит. Пашущий всегда соскакивает с трактора крикливым, бесплодно-измотанным. И Широколобый знал, что по законам самой природы грешно и вредно оплодотворять землю, не притрагиваясь к ней. Земля должна чувствовать и помнить ноги того, от кого она забеременеет. И хороший чегемский крестьянин всегда пахал босым. Широколобый был уверен, что это искусственное осеменение земли, когда во время зачатия пахарь и земля не соприкасаются, не кончится добром. Земля-то молчала, но попусту взвинченный, воспаленный тракторист что-то чувствовал, и даже на взгляд Широколобого слишком грубо обращался с Сонливым Крепышом, срывал на нем свою смутную злобу. Но ведь сам по себе Сонливый Крепыш ни в чем не виноват, он был ошибочно приручен какими-то заблуждающимися людьми. Так думал Широколобый.

Сейчас он вспомнил, как первый раз в жизни опахивал кукурузу. До этого чегемцы кукурузу мотыжили, как мотыжили табак и все, что растет на огородах.

Бригадир Кязым первым в Чегеме догадался, что кукурузу можно не мотыжить, а опахивать, только надо сеять ее рядами. Чегемцы не верили, они просто смеялись над тем, что можно буйвола или быка заставить опахивать рослую кукурузу, а животные не будут ее трогать.

Когда Кязым впряг в плуг Широколобого и ввел его в поле, десяток чегемцев с шутками и прибаутками, пригостившись у плетня, смотрели, что будет. Широколобому самому было смешно. Как это можно пройти мимо рослой, нежной, вкусной кукурузы и не откусить ее стебель? И что же? Кязым был прав.

Оказывается, как-то неловко опахивать кукурузу и одновременно объедать то, что опахиваешь. Вот и полу-

чается, что идешь между рядами зеленых стеблей и некоторые из них так соблазнительно мажутся о твое тело, а ты идешь себе и только опахиваешь их корни. Потому что неудобно. Чтобы схватить кукурузный стебель, хоть на мгновение надо остановиться, но останавливаться нельзя, потому что ты папешь да и человек рядом.

С тех пор, как заметил Широколобый, многие кукурузные поля Чегема перестали мотыжить и начали сеять кукурузу не вразброс, как раньше, а рядами, и опахивали ее буйволами и быками. Правда, туповатые быки не всегда чувствовали всю сложность своего неудобного положения и порой на ходу хватали кукурузные стебли. За это им рты подвязывали веревками, что довольно позорно, если разобраться.

Смолоду Широколобый, что скрывать, любил поозорничать на кукурузных полях. При его силе, конечно, никакая ограда не могла его удержать. Но так вкусно бывало похрустеть сахаристыми стеблями кукурузы, что как-то забывалась предстоящая палка. Плохо было то, что другие животные — ослы, коровы, козы — тоже устремлялись за ним в пролом и начинали есть кукурузу. Прогнать их бывало как-то неудобно, потому что и сам ведь незаконно вломился в поле.

В конце концов ему приделали к голове омерзительную деревяшку, чтобы он ничего не мог видеть, кроме травы под ногами. Мир померк. Теперь он не видел не только кукурузное поле, но и небо, и луга, и деревья, и заруды. Дня три Широколобый терпел, а потом разъярился и стал биться головой о землю и бился до тех пор, пока не расколошматил деревяшку. И он снова увидел огромный, прекрасный, многоцветный мир. И больше он никогда не проламывал оград и больше ему на лоб не нацепляли этой мерзкой деревяшки, этой тюрьмы для глаз.

...Машина остановилась перед закуской, и шофер с Бардушей зашли перекусить. Когда машина остановилась, вонь от неожиданности ушла вперед, но через мгновение вернулась и улеглась рядом с машиной, как верная свинья. Широколобый все так же старался выцеживать из воздуха запах моря. Оно было где-то недалеко и пробивалось сквозь вонь, как надежда.

Сейчас Широколобый вспомнил историю своей третьей любви. Неожиданно в чегемском стаде появилась новая буйволица. И она сразу же понравилась Широколобому и

еще одному буйволу. Широколобый уважал этого буйвола за силу и храбрость.

В ту весеннюю ночь, когда стая обнаглевших от голода волков пыталась зарезать буйволенка, и все буйволы стали кругом, охраняя буйволят, этот буйвол сражался рядом с Широколобым. И он мужественно отражал нападения волков, хотя ему не удалось ни одного из них убить. Просто он не владел искусством подсечки. Он старался волка прямо проткнуть своими рогами, но тот всегда в таких случаях успевал отпрыгнуть. Другое дело — подсек и подбросил, на лету рвя ему внутренности!

Да, он уважал этого буйвола за силу и за храбрость, и временами ему хотелось схватиться с ним просто так, чтобы узнать, кто сильнее. Но повода не было. И они, как самые сильные, уважали друг друга.

И тут появилась эта буйволица. Широколобый заметил, что она и ему понравилась. Но когда Широколобый подошел к ней и положил ей на шею голову, а потом стал пастись рядом с ней, тот признал их парой и не стал больше к ней подходить. И так длилось три недели, и Широколобый думал, что все решено.

В тот день его отправили в лес таскать бревна, и он, проработав до полудня, пришел на выгон и увидел, что буйволов нет, и, конечно, догадался, что все они отдыхают на запруде. Он пришел туда и увидел такую картину.

Рядом с его буйволицей лежал этот буйвол и как ни в чем не бывало жевал жвачку, равнодушно поглядывая на берег, где стоял Широколобый. Они лежали так тесно, что хвост этого буйвола, время от времени высываясь из воды и шлепая свою спину, на ходу как бы случайно притрагивался к спине его буйволицы. Это видеть было неприятно, но еще терпимо. И вдруг черепаха, сидевшая на спине его буйволицы, сползла с нее и влезла на спину этого буйвола. Широколобый в порыве ревности, чему способствовала его уверенность, что мысли можно передавать на расстоянии, решил, что его буйволица подарила черепаху этому буйволу.

Горестно взревев про себя: «Мне черепах никто не дарил!» — он решительно фыркнул, бросился в запруду и выгнал всех буйволов на луг. Этот буйвол понял, что предстоит битва, и был к ней готов. Широколобый это знал. У противника было даже некоторое преимущество, все-таки Широколобый с утра работал, пока тот прохлаждался в запруде рядом с его буйволицей. Они разо-

шлись и побежали друг на друга. Как выстрел, щелкнули столкнувшиеся рога. Запахло костяным дымом.

Упершись друг в друга рогами, они стояли, покачиваясь, сдвигаясь с места, чтобы найти лучшую опору для толчка, но никто ничего не мог сделать. Рога так натерлись, что черепу было горячо у основания рогов.

Не сумев перебороть друг друга с первого столкновения, они снова разошлись. И Широколобый уже остановился, чтобы бежать на противника, но тот еще отходил, удлиняя разгон. Тогда Широколобый решил, что это несправедливо, и сам удлинил свой разгон. Противник, на этот раз остановившийся раньше Широколобого и увидев, что тот продолжает удлинять разгон, сам еще раз отошел. И теперь они стояли метрах в пятидесяти друг от друга, высматривая друг друга, нацеливаясь и выжидая. Широколобый ринулся, и противник, дрогнув, поспешил навстречу, боясь, что Широколобый пробежит большее расстояние и от этого наберет большую скорость.

И рога в наклоне щелкнули друг о друга как выстрел, и сразу же запахло костяным дымом. Уткнувшись друг в друга, они давили с такой неимоверной силой, что передние копыта Широколобого и его противника по бабки ушли в травянистую землю. И они надолго так замерли, едва-едва двигая рогами, и опять запахло костяным дымом и жар рогов у основания горячил лоб.

Задача состояла в том, чтобы силой давления рогов свернуть шею противнику, и тогда от боли он вынужден будет сам повернуться вслед за шеей, и тогда остается только гнать и гнать побежденного противника. Но и на этот раз ничего не вышло. И они снова далеко разошлись и, тяжело дыша, издали поглядывали друг на друга, стараясь не прозевать мгновенье, когда противник ринется.

И тут Широколобому пришла в голову боевая хитрость. Надо дожидаться, чтобы первым на него побежал противник, а потом чуть-чуть, незаметно для глаз, свернув направление, всю силу удара сосредоточить не на обоих рогах противника, а на его левом роге. И тогда, может быть, его шея не выдержит, и он вслед за ней повернет свое огромное туловище.

Противник ринулся. Широколобый чуть выждал, мысленно поймал основанием своего правого рога середину левого рога противника и с горестной яростью припомнив

про себя: «Мне черепах никто не дарил!!!» — бросился навстречу.

И они снова столкнулись. Но на этот раз раздалось не щелканье, а короткий сухой треск. Левый рог противника обломился и рухнул на землю. Это было так неожиданно, что тот растерялся и побежал. Широколобый, чувствуя, что случилось ужасное, неправильное, непоправимое, все-таки сторяча побежал за ним и несколько раз боднул его на ходу, пока тот не вломился в заключенный лес.

Конечно, Широколобый хотел победить и своей победой осрамить противника. Но не до такой степени. Он даже не знал, что у буйвола может сломаться рог. Он много раз встречал однорогих коров, иногда быков, но однорогих буйволов никогда. Это было ужасно. Он не хотел так унижить своего противника. Как же ему теперь жить с одним рогом? Это все равно, что усатому чегемцу жить с одним усом. Широколобый давно заметил, что если уж чегемец носит усы, то они всегда парные, как рога.

В довершение несчастья по выгону прошел пастух с козами и собакой. Собака, почуяв рог, подбежала к нему без всякого почтения, как будто это была дохлая ворона. Ухватившись зубами за обломанный край, она его зачем-то поволокла за собой, хотя ясно, что буйволиный рог не только собака, даже медведь не сумеет разгрызть. Конечно, можно было погнаться за ней и отнять у нее рог, но собака такая мелкая — унижительно гнаться за ней. Ужас! Ужас!

А возлюбленная буйволица, подняв голову, смотрела на него, ожидая, что он подойдет к ней. Очень неуместно. И он не подходил. И она начала пастись, время от времени удивленно подымая голову и как бы спрашивая: почему ты не подходишь? разве ты не победил?

Ее тупость раздражала Широколобого, и он к ней в тот день так и не подошел. Он к ней не подошел и на следующий день, хотя она много раз подымала голову и смотрела в его сторону. Эта дура никак не могла понять, что ему жалко своего вчерашнего противника, который теперь скорбно пасется в стороне, и из головы его торчит безобразный обломок.

Так кончилась любовь Широколобого. Он к этой буйволице больше никогда не подходил и никогда рядом с ней не ложился в запруде. Пострадавший буйвол тоже к ней никогда не подходил. А когда пришло время осеннего гона, она досталась низкорослому замухрышке, кото-

рого издали можно было принять за черного быка, и при том не очень крупного.

...Шофер и пастух Бардуша вышли из закуской. Бардуша, став на подножку, дотянулся до Широколобого и погладил его по шее.

— Ну что, Широколобый? — сказал он. И Широколобый по дыханию его понял, что он выпил, а по голосу его понял, что он жалеет его.

— Давай, давай, — заторопился шофер.

— Такого буйвола, — сказал Бардуша, усаживаясь рядом с ним и захлопывая дверцу, — я на этом свете больше не увижу!

Грузовик двинулся дальше. Вонь, от неожиданности на мгновение отстав от него, быстро догнала и распласталась рядом в воздухе. Но и море было где-то близко, и запах свободы иногда доходил до ноздрей Широколобого.

Сейчас он вспомнил далекий день на альпийских лугах. Тогда стадо из буйволов и коров вышло на чудесный склон с разновкусицей жирных и сочных трав. И они поедали и поедали эту траву, постепенно поднимаясь, и трава делалась все лучше и лучше. Рядом с ним паслась буйволица с уже довольно рослым буйволенком.

Теперь Широколобый не любил ни одной из буйволиц в чегемском стаде, а когда приходило время гона, он, как и остальные буйволы, делал то, что положено природой, и тут же забывал буйволицу, с которой свел его случай.

С тех пор, как он разлюбил, буйволицы стали похожи друг на друга, как люди. А когда он любил, он не только всех буйволиц, но и всех остальных животных, даже если они были одной масти, хорошо отличал. Любовь промывала глаза. А сейчас, поглядывая на буйволицу с буйволенком, не отстававших от него, он никак не мог припомнить, был он именно с этой буйволицей во время осеннего тона или с какой другой? Все-таки два года прошло с тех пор. Странно.

И, словно подслушав его мысли, из-за бугра вышел медведь и не спеша заковылял в сторону буйволенка, как будто был уверен, что Широколобый не станет его защищать, раз у него такие сомнения.

Широколобый пришел в поистине благородную ярость. Уже по привычке, горестно взревев про себя: «Мне черепах никто не дарил!» — он ринулся на медведя, свалил его с ног и прижал к склону.

Медведь заревел, изо рта у него вырвались клубы во-

ни, он попытался лапами достать до шеи Широколобого и в самом деле, как граблями, мазанул его своими страшными когтями. Но сами лапы были настолько ослаблены давящей силой Широколобого, что глубоко вкогтиться ему в шею он не смог.

Медведь стонал. Изо рта у него выходила пена и вонь, но он почему-то не умирал. Широколобый не прободал его, а только с невероятной силой втиснул в склон.

Долгое время он держал его так, и стоны медведя стали слабеть, но вонь не унималась. Тогда Широколобый решил разогнаться, проткнуть его рогами и перекинуть через себя. Только он отпятился, как медведь вдруг замертво свалился и, безжизненно подскакивая на неровностях склона, покатился вниз.

Широколобый следил за ним глазами, удивляясь, что медведь так неожиданно сдох, хотя в нем еще оставалось много воню. И вдруг в самом конце склона дохлое тело медведя остановилось, бесчестно ожило, отряхнулось и как ни в чем не бывало закосолапило в чащобу. Перехитрил!

Широколобый был так возбужден всем случившимся, что еще часа два яростно дышал, и воздух с шипеньем выходил из него. И тут вдруг появился пастух Бардуш с дровами на плече. Он сбросил свою ношу и стал подходить к Широколобому. Но Широколобый был в такой ярости, что даже его не хотел к себе подпускать. Почему он забыл про стадо? А что было бы с буйволенком, не оказись рядом Широколобого?

Конечно, потом он его подпустил к себе, и пастух внимательно ощупал раны на его шее. Он любил Бардушю. Пастух всегда угощал стадо солью, взбадривал его криками. Широколобый, конечно, ничего не боялся, но некоторые буйволицы и все коровы такие робкие, что им приятно, кушая альпийскую траву, слышать человеческий голос. Мало ли что, но если человек подает голос, зверь не подойдет.

Однажды Широколобый заболел на альпийских лугах. Он съел ядовитой травы. Несколько дней он пролежал у пастушеского балагана. И тогда Бардуш каждый день приносил ему вязанку веток со свежими, вкусными листьями, и он ел лежа, потому что встать не было сил. Бардуш выносил ему каждое утро и каждый вечер из балагана огромный котел лекарственного чая. И Широколобый лежа выпивал его.

На альпийских лугах жить прекрасно. Нигде в мире

нет такого вкусной, многообразной и жирной травы. Но одно плохо. После сильного града травы и кусты до того холодеют, что язык перестает чувствовать ядовитость растения или листика, которую обычно животные хорошо чувствуют. И если даже случайно потащат в рот, тут же сбрасывают с языка.

Но после сильного града растения леденеют, и язык ошибается. Так и случилось с Широколобым, но он был сильным от природы, и Бардуша его спас. Широколобый не знал, что старший пастух уже предложил его прирезать, но Бардуша взялся его вылечить и, в конце концов, отпоил его своим лекарственным чаем. И Широколобый никогда не забывал, как далеко приходилось идти Бардуше за этими вязанками веток со свежими вкусными листьями, которые он ел лежа.

...Машина притормозила у ворот бойни. Ворота распахнулись, грузовик медленно завернул и въехал во двор. Здесь он опять развернулся и задним ходом подошел поближе к весам, на которых взвешивали принятых животных.

Как только грузовик въехал во двор бойни, Широколобый почувствовал, что вонь дороги исчезла и появился запах крови. Оказывается, долгая вонь кончается кровью, подумал он. Да, это был запах крови. Широколобый его хорошо знал, потому что видел кровь животных, разорванных хищниками, и видел кровь хищников, разорванных его рогами.

Но вместе с этим запахом крови усилился запах моря, потому что бойня была расположена над морем. И с какой-то странной тревогой Широколобый ощущал, как в него входят два соленых запаха, запах крови и запах свободы.

Но он еще ничего не мог понять. Спереди раздавался какой-то непрерывный неприятный грохот, и из этого неприятного грохота время от времени вываливался еще более неприятный костяной стук.

Широколобый ясно понимал, что они еще не приехали в деревню. Потому что между деревней и воняющей дорогой должна быть дорога, которая не воняет. Так было, когда они выехали из Чегема. Был большой кусок невоняющей дороги. Значит, перед новой деревней кусок невоняющей дороги должен повториться. Раз его нет, значит, они еще не в деревне. Тогда где?

Но тут Бардуша влез в кузов и стал развязывать веревки, которыми были спутаны его ноги. Широколобый

как-то растерялся, поняв, что раз снимают веревки, значит, они куда-то приехали, где ему надо будет сходить. Пастух отбросил снятые веревки и легонько потрепал его по шее. И Широколобому это сейчас было очень приятно.

Его тревожил этот запах крови и этот чуждый грохот машин, из которого время от времени выпадал костяной стук, мучительно напоминающий что-то знакомое. Здесь было страшно, но рядом с ним был пастух Бардуша, и, значит, разумная сила человека его оберегает, а ему следует только подчиняться ей. Теперь Бардуша более требовательно похлопал его по шее, и это значило, что надо встать.

Широколобый поднялся, с трудом передвигая затекшими ногами. Бардуша открыл задний борт, работник бойни приладил мостки, и Широколобый, поощряемый добрыми похлопываниями пастушеской ладони, спустился вниз.

Грохот. Костяной стук. Грохот. Костяной стук.

— Давай, — сказал весовщик, и Бардуша подогнал Широколобого к весам.

Для удобства взвешивания площадка весов была расположена на уровне земли и до того ископчена ногами многочисленных животных, что по виду не отличалась от окружающей земли. Широколобый подумал, что это обыкновенная земля, но когда стал на площадку весов, почувствовал, что она таит в себе неприятную неустойчивость. Но он решил терпеть, раз это надо пастуху.

— Ничего себе, — сказал весовщик, взглянув на стрелку весов, — девятьсот пятьдесят пять килограммов!

— Такого буйвола, — сказал Бардуша, и вдруг в голове у него смешалось все, что он думал о Широколобом: могучая память, трогательная привязанность к буйволицам, сила, храбрость, чувство собственного достоинства, и он, не зная о чем сказать, добавил: — больше на свете нет... Он рог сломал в драке другому буйволу. Понимаешь, рог?!

Он почувствовал, что слова его прозвучали неубедительно. Может быть, весовщик даже не знает, что живая природа ничего крепче буйволиных рогов не создавала.

Но весовщик почувствовал какой-то излишний напор в словах этого деревенщины и решил на всякий случай не давать ему выхода.

— Слушай, ляй-ляй-конференция не надо мне сейчас, — сурово оборвал он его, — мясо есть мясо! Держи квитанцию! Дальше! Дальше!

— Эх, Широколобый, Широколобый, — сказал Бардуша и, шагнув на весы, в последний раз потрепал его по холке. Он повернулся, не оглядываясь, дошел до своего грузовика и сел в кабину, крепко хлопнув дверцей. В это время в ворота бойни въезжала машина с партией коров. Два грузовика осторожно разъехались, и чегемская машина, выехав на шоссе, свернула направо и, набирая скорость, двинулась в сторону Чегема.

Все еще стоя на площадке весов, чувствуя своей могучей тяжестью ее колеблющуюся поверхность, Широколобый понял, что это мост. Такое ощущение всегда вызывали мосты. Но где река и куда ведет этот мост?

Открыв ворота узкого дощатого коридора, работник бойни загнал туда Широколобого. Широколобый увидел перед собой десятка два коров, которые стояли, плотно прижавшись друг к другу, то и дело вздрагивая и вытягивая головы. Взглянув на выражение их глаз, он вспомнил, что такое же выражение глаз он встречал у животных в лесу, когда они чувствуют близость хищника или им кажется, что хищник близок.

В ноздри ударил густой запах крови, но запах моря доносился с прежней силой. Из этого он понял, что, войдя в этот узкий коридор, он приблизился к невидимой крови, но не удалился от моря.

И снова сквозь грохот каких-то машин Широколобый слышал неприятный костяной стук, теперь гораздо более отчетливо вываливающийся из этого грохота. Грохот машин был бессмысленный, потому что мертвый. Костяной стук имел смысл, потому что был живой и означал живую боль. Теперь он вспомнил, где и когда он слышал этот костяной стук. Как-то зимой они всем стадом проходили по обледенелому мосту, и одна буйволица поскользнулась и с таким вот костяным стуком рухнула на мост. И теперь помимо его воли что-то страшное вырисовывалось в сознании: сначала они почему-то падают, а потом кровь.

Так оно и было на самом деле. Несколько коров выпускали в первый отсек. Работник бойни подносил к губам животного ручку с металлическим наконечником, включал ток, и животное, оглушенное электрическим разрядом, падало на деревянный помост. Тут ему перерезали глотку, подцепляли на крюк, который тащил его через весь цех, где рабочие, как на конвейере, поочередно обрабатывали тушу.

Несмотря на ужас и беспокойство, внушаемые этим

костяным стуком, Широколобый твердо верил, что за ним должен прийти пастух Бардуш. Он уведет его отсюда. Широколобый несколько раз оглядывался, но пастуха не было видно. Однако он твердо продолжал верить, что пастух придет, именно потому, что здесь так плохо и в таком плохом месте он его долго не может держать.

Он снова всмотрелся в дергающуюся массу сцепившихся, взволнованных коров и заметил, что многие из них стараются повыше вытянуть головы, чтобы увидеть то страшное, что, как они догадывались, здесь происходит. И, смутно догадываясь о том страшном, что здесь происходит, они все-таки любопытствовали отдельно от страха и даже испуганно радовались, что это страшное хотя бы в это мгновение происходит не с ними.

И тут вдруг Широколобый увидел то, что мысленно и во сне видел много раз. Он увидел лошадь! То ли потому, что он слишком всматривался в ближайших коров, то ли потому, что лошадь до этого стояла, опустив голову, но он ее только теперь заметил. Ему показалось, что страшный хозяин этого места до сих пор прятал от него лошадь, а теперь зазевался, и лошадь, вытянув шею и прильнув губами к доскам ограды, внюхивалась в запах моря. И он увидел большой, печальный лошадиный глаз и слезы, стекающие по морде.

Он там, Где Лошади Плачут! Его и пастуха Бардуш обманули! И сразу же кончилось тревожное, растерянное, сиротливое ожидание пастуха. Он понял, что в этом мире для него остались только два соленых запаха — запах крови и смерти, запах моря и свободы. И он понял, что он один и может надеяться только на самого себя.

И сразу же он почувствовал мощь собственного тела и спокойствие собственного духа. Он понял, что надо делать. В это время позади него открылись ворота, и новую партию коров загнали в коридор. Они стали сзади теснить его. Но теперь ему никто не мог помешать.

Одним боковым ударом рогов он сразу вышиб две доски и просунул в пролом голову. Запах моря усилился. Услышав треск досок, работник бойни, впускавший животных в коридор, подбежал, схватил его за рога и попытался водворить голову обратно. Проще было бы оставить падающий дуб.

Сунув голову в пролом свободы, Широколобый вслед за головой потащил к свободе тело. Пролом был узкий, но желание свободы было столь велико, что Широколобый

вывалился наружу, обрушив все доски стены, вбитые между ближайшими столбами.

Запах свободы усилился. Но это был большой загон, выстроенный на случай поступления крупных партий скота, которые нельзя сразу обработать. Впереди, метрах в двадцати, виднелась ограда из дубовых досок, и он понял, что ее надо проломить. Остановившись посреди загона, он внюхивался в воздух, чтобы определить, откуда сильнее идет запах моря, чтобы именно в том месте прошибить ограду.

Когда он обрушил стену коридора, вслед за ним ринулись коровы и, пьянея от радости, с бестолковым мычанием стали носиться взад-вперед. Лошадь заржала и галопом пустилась вдоль загона. На шум собрались те работники бойни, которые были во дворе. Прильнув к забору, они ждали, что будет дальше.

Растерявшийся было весовщик сейчас взял себя в руки. Он решил, что если буйвола вернуть первым в коридор, порядок будет легко восстановить. За долгое время работы на бойне, всегда видя перед собой растерянных и покорных животных, он не испытывал никакого страха перед буйволом. Он подбежал к Широколобому, когда тот уже нацелился на место в ограде, которое было поближе к морю. Весовщик раздраженно схватил его за хвост и пытался повернуть в сторону коридора. С необычайным проворством буйвол крутанулся на месте, подсек правым рогом весовщика, его левое бедро, и небрежно перекинул через себя. Те, что выглядывали из-за ограды, дружно охнули. Весовщик рухнул, но сторяча, шатаясь, встал на ноги. Широколобый, удивившись его живучести, повернул к нему голову и хотел его добить, но вдруг вспомнил кончиком своего правого рога неприятную дряблость его бедра, отвернулся от него и тут же забыл о его существовании.

Снова поймав ноздрями место в заборе, которое было поближе к морю, он рысью пошел на него и, одним ударом проломив, очутился во дворе бойни. Верхняя поперечина обрушившейся части забора каким-то образом застряла у него между рогами. Он брезгливо потрянул головой, но она еще крепче засела между рогами. Тогда он с такой яростью мотнул головой, что доска, взлетев метров на десять, упала за его спиной.

Именно в это мгновение главный инженер бойни, еще ничего не знавший о происшествии, случайно поднимая над столом тяжелую, похмельную голову, увидел, как перед

ошном его кабинета, расположенного на третьем этаже, беззвучно поднялась большая доска, остановилась, словно раздумывая, как ей быть дальше, а потом, медленно разворачиваясь, пошла вниз, самозванно имитируя какую-то фигуру высшего пилотажа.

Главный инженер накануне крепко выпил и сейчас мрачно поздравил себя с первой алкогольной галлюцинацией. Нельзя ж так пить, как и все пьющие в такие минуты, с ненавистью подумал он о себе, я уже немолодой, а все хорохорюсь, хорохорюсь.

И тут к нему в кабинет влетела секретарша и задрезжала:

— Георгий Лаврентьич, буйвол взбесился!

Раздраженный своим собственным состоянием и этим крикливым вторжением, он вскочил:

— Запретить! — воскликнул он от неожиданности. — То есть как взбесился?

— Он ранил весовщика и разбил загон! Может, в милицию позвонить?

Главный инженер подбежал к окну, увидел мечущихся в загоне коров, людей, уносящих раненого весовщика, пролом в заборе и, главное, большую доску, лежавшую посреди загона. Да, это была, безусловно, она, та самая.

— Зачем милицию, — сказал он неожиданно спокойным голосом, — звони в «Скорую помощь». Сами справимся с ним.

Выскочив во двор бойни, Широколобый увидел, как люди шархнулись от него и побежали. Мимоходом подумав о них: мелко! мелко! — он стал внюхиваться в запах моря. Каменная стена с железными воротами отделяла бойню от моря. Он понял, что надо бить по воротам, другого пути нет.

До ворот было всего метров двадцать, и надо было как можно быстрее набирать конечную скорость. Черный ураган весом в тонну гулко врезался в створку ворот и сильно погнул ее. Он снова отбежал, нацелился и, напружинившись, помчался. На этот раз удар был такой силы, что Широколобый от сотрясения на миг потерял сознание. Створка вырвалась из петель, громяхая и подпрыгивая, покатила по прибрежной гальке и, перевернувшись у моря, затихла.

И море распахнулось перед Широколобым. Разбрасывая копытами гальку, даже не слишком быстрой рысцой, он подбежал к морю и стал пить его. Напившись моря, он погрузился в море и поплыл.

Через двадцать минут машина «Скорой помощи» въехала во двор бойни. Весовщика с пробитой насквозь ляжкой увезли, как героического матадора.

Коров и одинокую лошадь снова загнали в узкий коридор, пролом которого уже был заделан. Но работники бойни не скоро успокоились. Многие стояли у разбитых железных ворот и смотрели на уходящего буйвола.

Старый забойщик Месроп не устал всем рассказывать, что сорок лет тому назад было подобное происшествие. Только тогда буйвол не в море ушел, а пробил деревянные ворота, ведущие в город, и, пробежав по всем улицам, выбежал в горы и скрылся в лесах.

А Широколобый плыл и плыл в открытое море.

В это время главный инженер бойни договаривался с председателем соседнего рыболовецкого колхоза, чтобы тот послал вслед за буйволом моторную лодку с людьми, и они, пристрелив буйвола, привезли тушу на бойню.

Так как в обязанности председателя рыболовецкого колхоза не входили ловля и отстрел плавающих в море буйволов, он отхлопотал у главного инженера две буйволиные ляжки. Главный инженер дал согласие, и высокие стороны на этом договорились.

Часа через три моторная лодка отчалила от причала. Тот, что был с карабином, сидел на передней банке и, глядя на далекую черную точку буйволиной головы, заранее волновался. Он знал, что буйвол ранил весовщика бойни.

...Свобода — это когда в жаркий летний день много воды. Широколобый плыл и плыл. Самое великое свойство души — доброта. Самое естественное состояние доброй души — добродушие. Широколобый был добродушно настроен. За три часа пребывания в море он остыл от всех страстей, испытанных на бойне, и теперь думал о родном Чегеме и о том, как будут удивлены люди и буйволы, узнав, откуда он вернулся. Хорошо, что был когда-то Великий буйвол, первым вырвавшийся оттуда, Где Лошади Плачут, и хорошо, что буйволы хранят память о нем. Кто его знает, решился бы Широколобый на все, на что решился, если бы не знал, что уже был однажды непокорный храбрец.

Проплыв километра три прямо в открытое море, Широколобый, подчиняясь могучему инстинкту дома, стал постепенно сворачивать налево, и теперь, если бы по линии его пути провести прямую, она бы пересекла море и вышла к чегемским нагорьям.

Он чувствовал, что плыть ему долго. Остаток дня и

всю ночь. Но его пронизывала великая радость. Он знал, что выйдет на берег как раз в том месте, где давно-давно он, неуклюжий буйволенок, вместе с матерью и отцом когда-то первый раз вошел в море.

Свобода — это когда в жаркий летний день много воды. И кругом до самого горизонта была свобода, большая, прохладная, ласковая. Кругом была свобода, и внутри Широколобого была свобода, и от этого ему было хорошо, хорошо. И тут он вспомнил о Сонливом Крепыше. Широколобый, улыбаясь про себя, представил, что бы случилось с Сонливым Крепышом в море, если он застрял в маленьком чегемском ручье.

Чайка, издали приняв рогатую голову Широколобого за большую корягу, удобную для отдыха, легко спикировала на него и уселась между его рогами.

Прекрасно, подумал Широколобый, посмотрим, как белые морские вороны выклевают из головы клещей. Интересно, водятся в море черепахи или нет?

Услышав нарастающий сзади шум моторной лодки и увидев краем глаза сидящих на ней людей, Широколобый не обеспокоился. Свобода моря была такой огромной, а люди, даже если они несут несвободу, были по сравнению с морем такими маленькими в своей маленькой лодке, что при таком смехотворном соотношении сил и беспокоиться было нечего.

Когда до буйвола оставалось метров пятнадцать, тот, что сидел на моторе, выключил его. Лодка по инерции продолжала идти вперед.

— Если я его не убью с первого выстрела, — сказал вполголоса тот, что был с карабином, — сразу же включай мотор! А то набросится!

← Знаю без тебя, — сказал тот, что сидел на руле.

Тот, что был с карабином, заметно волновался. Когда лодка поравнялась с Широколобым, он тщательно прицелился в пяти метрах от головы буйвола.

Когда он поднял карабин, Широколобый смутно вспомнил, что эта железная палка имеет какое-то опасное предназначение. Но свобода была такая огромная и прекрасная, а люди в лодке были такими ничтожными, что Широколобому, всю жизнь не ленившемуся думать и вспоминать, сейчас было лень вспоминать.

Человек тщательно прицелился, но не нажимал спускового крючка, пока нос лодки не опередил головы буйвола. Так, предусмотрительно сообразил он, будет безопасней удирать, если он не убьет буйвола одним выстре-

лом. Он выстрелил, но Широколобый уже не услышал выстрела, потому что пуля, влетевшая в его ухо, влетела раньше, чем дошел до него звук.

Через пять минут рыбаки, окружив веревкой рога Широколобого, намотали оба конца на заднюю банку и крепко привязали их. Тот, что сидел на руле, дернул шнур, и мотор включился. Лодка пошла вперед, веревка натянулась, и лодка остановилась и даже пошла назад, словно Широколобый в последний миг ожил и перетянул ее. Но лодка снова сдвинулась вперед и пошла, хотя тяжелое тело буйвола сильно тормозило ход. Чайка, отлетевшая после выстрела, увидев, что рыбаки волочат за лодкой то, на чем она сидела, почувствовала себя обкраденной и, подлетев к лодке сверху, притормаживая крыльями, некоторое время вглядывалась в голову Широколобого. Потом взмахнула крыльями и отлетела. Сделав осторожный полукруг, лодка повернула в сторону бойни.

— Председатель сказал, что если мы его привезем, бойня выдаст ляжку, — сказал тот, что сидел с карабином, — он сказал, что мы разделим ее на троих.

— Если не обманет, — сказал тот, что сидел на руле.

— Не должен обмануть, мы все же рисковали. Он меня, знаешь, сколько уговаривал... Здорово тормозит, — сказал тот, что сидел с карабином, — полхода забирает.

— Еще бы, — сказал тот, что сидел на руле, — такая зверюга, дай бог.

— А что, махнем в город, — сказал тот, с карабином, — мясо загоним. А этим скажем, что не нашли. Ушел!

— Дубина, — сказал тот, что сидел на руле, — нас же с берега видят, как на ладони.

— А-а-а, — сказал тот, что сидел с карабином.

— Не думай, что ты умнее других.

Предзакатное море переливалось розово-сиреневыми бликами.

Белые дома города и мягкие, пушистые холмы над ними, и цепи дымчатых гор, уходящие в бесконечность неба, и далекие, но различимые для любящего глаза пятна голых утесов над Чегемом, — все, все утопало в примирающем свете закатного солнца.

И это же солнце озаряло могучую голову Широколобого и горело в его открытых, немигающих глазах. Со стороны могло показаться, что буйвол плывет и плывет, догоняет и догоняет моторную лодку. Но со стороны некому было посмотреть, да и нет в этом мире сторонних.

СОДЕРЖАНИЕ

Петух	3
Детский сад	9
Рассказ о море	20
Запретный плод	26
Тринадцатый подвиг Геракла	34
Мой первый школьный день	47
Время по часам	60
Мученики сцены	83
Долги и страсти	95
Мой кумир	111
Мой дядя самых честных правил...	129
Лошадь дяди Кязыма	143
Письмо	155
Начало	174
Ночь и день Чика	189
Чаепитие и любовь к морю	295
Животные в городе	324
Возмездие	346
Защита Чика	362
Чик на охоте	389
Дороги	433
Широколобый	443

ИБ № 4585

Фазиль Искандер

ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА

Редактор **С. Шевелев**

Художник **В. Гошко**

Художественный редактор **А. Романова**

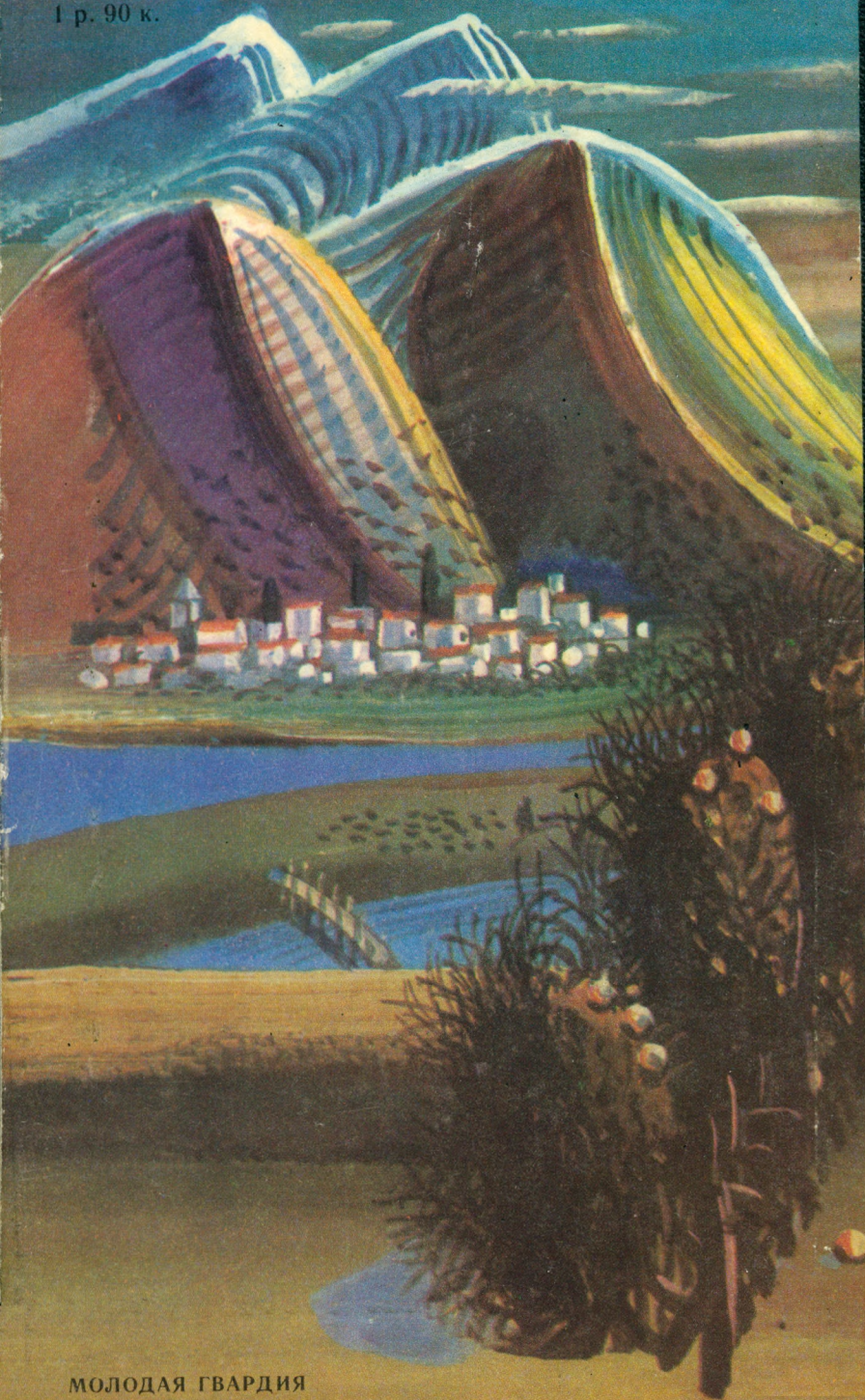
Технический редактор **Н. Носова**

Корректоры **Е. Сахарова, В. Назарова**

Сдано в набор 24.10.85. Подписано в печать 14.03.86. А07666.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 25,2.
Усл. кр.-отт. 25,62. Учетно-изд. л. 28,0. Тираж 100 000 экз.
Цена 1 р. 90 к. Заказ 1946.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типо-
графии: 103030, Москва, К-30, Суцеская, 21.

1 р. 90 к.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ